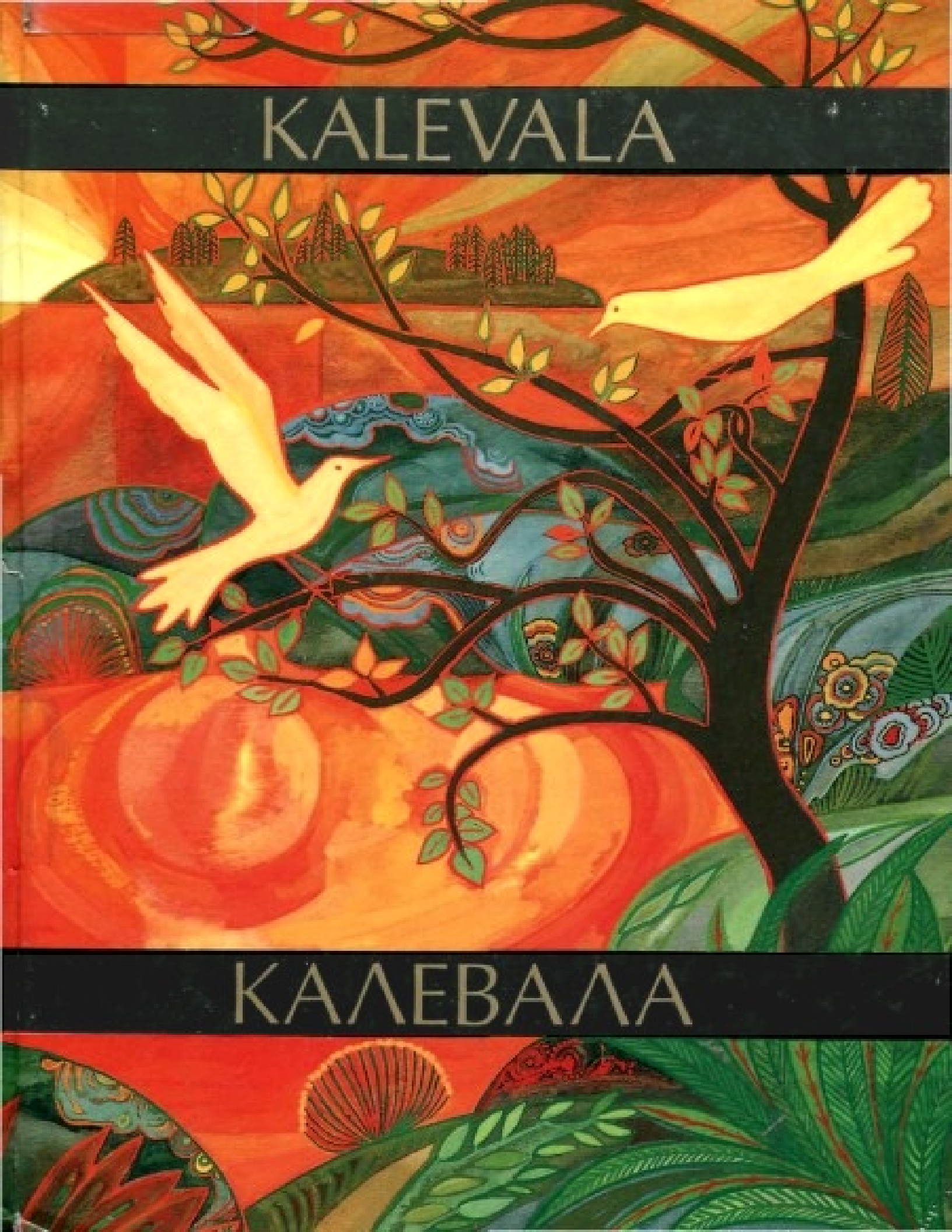
KALEVALA



КАЛЕВАЛА

Annotation

Калевала — один из немногих величайших памятников человеческого Знания, дошедших до наших дней. Это сконцентрированная мудрость северных народов, воплощённая в эпосе. Читать её и понимать — значит познавать код бытия наших предков. Лённротовской Калевале всего 150 лет. За эти годы она была переведена на 45 языков. Но, по утверждению исследователей, этому произведению не менее 4000 лет и оно существовало задолго до образования карельского и финского народа. Именно земле Карелии мы благодарны за сохранение этого величайшего наследия предков.

Данное издание представляет собой новый перевод поистине бессмертного произведения, выполненный на современном русском литературном языке. В отличие от предыдущих переводов, сохраняющих свое значение и сегодня, этот более точно передает содержание эпоса и ближе к оригиналу по звучанию поэтической строки.

Издание приурочено к 150-летию первого выхода в свет окончательной версии эпоса. В связи с повышенным интересом к книге и многочисленными заявками на нее издательство приняло решение выпустить второе издание сборника.

- Калевала[1]
  -
  - «Калевала» — поэма Лённрота
  - Песнь первая
  - Песнь вторая
  - Песнь третья
  - Песнь четвертая
  - Песнь пятая
  - Песнь шестая
  - Песнь седьмая
  - Песнь восьмая
  - Песнь девятая
  - Песнь десятая

- Песнь одиннадцатая
- Песнь двенадцатая
- Песнь тринадцатая
- Песнь четырнадцатая
- Песнь пятнадцатая
- Песнь шестнадцатая
- Песнь семнадцатая
- Песнь восемнадцатая
- Песнь девятнадцатая
- Песнь двадцатая
- Песнь двадцать первая
- Песнь двадцать вторая
- Песнь двадцать третья
- Песнь двадцать четвертая
- Песнь двадцать пятая
- Песнь двадцать шестая
- Песнь двадцать седьмая
- Песнь двадцать восьмая
- Песнь двадцать девятая
- Песнь тридцатая
- Песнь тридцать первая
- Песнь тридцать вторая
- Песнь тридцать третья
- Песнь тридцать четвертая
- Песнь тридцать пятая
- Песнь тридцать шестая
- Песнь тридцать седьмая
- Песнь тридцать восьмая
- Песнь тридцать девятая
- Песнь сороковая
- Песнь сорок первая
- Песнь сорок вторая
- Песнь сорок третья
- Песнь сорок четвертая
- Песнь сорок пятая
- Песнь сорок шестая
- Песнь сорок седьмая

    - Песнь сорок восьмая
    - Песнь сорок девятая
    - Песнь пятидесятая
    - «Калевала». Словарь
    - «Калевала». Перечень действующих лиц,
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68

- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105

- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142

- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179

- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216

Калевала[1]

Перевод: Эйно Киуру и Армаса Мишина
Вступительная статья: Армас Мишин
Художник: Т.Г. Юфа, М.М. Юфа

«Калевала» — поэма Лённрота

Ежегодно, двадцать восьмого февраля, отмечается День «Калевалы». Именно в тот день в 1835 году Элиас Лённрот, создатель этой не просто замечательной, а уникальной поэмы, скромно подписал инициалами «E.L.» предисловие к ней, после чего рукопись передал в типографию. В 1835–1836 годах она вышла двумя книгами и очень скромным тиражом — 500 экземпляров. Однако Лённрот продолжал работать над поэмой еще четырнадцать лет. Окончательная версия эпоса была опубликована в 1849 году. К этому времени «Калевала» приобрела европейскую известность. В XX веке ее слава стала всемирной.

I

Элиас Лённрот (09.04.1802 — 19.03.1884) родился в местечке Самматти на юго-западе Финляндии в большой семье сельского портного. Читать он научился уже в шестилетнем возрасте. Но в школу начал ходить с двенадцати лет и учился с перерывами, поскольку вместе с отцом вынужден был добывать средства на жизнь. В основном это было портновское мастерство, но благодаря хорошему слуху и голосу Элиас зарабатывал еще и в качестве бродячего певца и псалмопевца. Впрочем, это не мешало ему заниматься самообразованием. Обладая прекрасной памятью и усидчивостью, он изучил латынь настолько, что смог стать учеником аптекаря в Хямеенлинна. В 1822 году поступил в Туркуский университет, однако, будучи студентом-филологом, продолжал подрабатывать домашним учителем в богатых семьях.

В 1824–1828 годах он жил в семье профессора медицины Й. А. Тёрнгрена. Тёрнгрены проводили лето в своем имении Лаукко недалеко от г. Тампере. Здесь-то Элиас Лённрот и увлекся народной поэзией. В окрестностях Лаукко он записал несколько вариантов народной баллады «Гибель Элины» и на их основе создал свой вариант — целую поэму о любви, верности и коварстве. Здесь же, в имении профессора Тёрнгрена, Лённрот познакомился с профессором-

историком Рейнгольдом фон Беккером. Под его руководством он стал читать труды ученого-историка Х. Г. Портана и его соратника К. Ганандера о народной мифологии и поэзии, сборники С. Топелиуса-старшего[2].

Первым шагом Лённрота к «Калевале» была его диссертация «Вяйнямёйнен, божество древних финнов», которую он защитил в 1827 году.

Создание «Калевалы» потребовало от Лённрота многих лет собирательской и «составительской» деятельности. С 1828 по 1845 годы Лённрот совершил одиннадцать путешествий в поисках народных песен. Он познакомился с десятками, если не с сотнями рунопевцев Финляндии, Карелии, Ингерманландии (территория Ленинградской области). Наиболее известные из них — Ю. Кайнулайнен, А. Перттунен, О. Малинен, В. Киелевяйнен, С. Трохкимайнен, М. Карьялайнен и др. Мысль о возможности составления из карельских и финских народных песен некой целостности (свода, эпоса) имеет длительную историю. Пожалуй, первым ее выразил финский просветитель Х. Г. Портан в конце XVIII века. Он предположил, что все народные песни происходят из единого источника, что они согласуются между собой по главному содержанию и основным сюжетам и что, сравнивая их варианты друг с другом, можно возвращать их к более цельной и подходящей форме [3].

Он же пришел к заключению, что финские народные песни можно издать так же, как «Песни Оссиана» шотландского поэта Д. Макферсона (1736–1796). Портан не знал, что Макферсон издал свои собственные стихи под видом песен древнего слепого певца Оссиана.

Идея Портана в начале XIX века приобрела форму социального заказа, выражающего потребности финского общества.

Известный языковед, фольклорист, поэт К. А. Готтлунд, еще будучи студентом, в 1817 году писал о необходимости развития «отечественной литературы». Он был уверен в том, что если бы из народных песен пожелали сформировать упорядоченную целостность, будь то эпос, драма или что-нибудь другое, то родился бы новый Гомер, Оссиан или «Песнь о Нибелунгах»[4].

Один из друзей Лённрота, К. И. Кеккман, читая сборник С. Топелиуса-старшего из серии «Древние, а также более современные песни финского народа», в 1825 году писал А. Шегрену: «Если бы для

начала… удалось напечатать все, что было собрано и что еще можно собрать, то наверняка — хотя бы разок в этой жизни! — какой-нибудь Аристарх сумел бы создать из всего этого кое-что»[5].

Совсем не случайно Кеккманом был назван Аристарх Самофракийский (217–145 гг. до н. э.), филолог, живший в Александрии, работавший с текстами Гомера, комментировавший их.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» были хорошо известны Лённроту уже в юности. Имя Гомера он называет в своих дневниках, запечатлевших его первое путешествие в 1828 году. Несомненно, он был знаком и с теорией немецкого ученого Ф. А. Вольфа, согласно которой гомеровские поэмы — это результат позднейшей работы составителя или составителей над песнями, до этого существовавшими в устной традиции.

Потребность в произведении, подобном «Илиаде» или «Песне о Нибелунгах», вызывалась несколькими причинами. В Финляндии начала XIX века происходит подъем финского национального самосознания. Толчком к этому послужило отторжение Финляндии от Швеции и присоединение к России в 1809 г., когда многовековое владычество «великой державы» закончилось. Появились возможности для самостоятельного развития нации, ее культуры и языка. Ведь до этого финская литература в основном создавалась на шведском языке. Лишь некоторые поэты (Я. Ютейни, Каллио) писали финно-язычные стихи, используя метрику финской народной поэзии.

Интерес к фольклору в эти годы значительно возрастает. Наряду с Э. Лённротом. народную поэзию собирают М. Кастрен, Й. Каян, Д. Эвропеус, Г. Рейн, Р. Полен. А. Шёгрен, А. Алквист и многие другие. Делаются все новые и новые открытия. Позднее становятся известными целые рунопевческие династии, как в Финляндии, так и в соседней Карелии (Сиссонены, Шемейкки, Перттунены, Малинены). Все это вдохновляло Лённрота в его стремлении воссоздать народный эпос.

Кроме того, складывающаяся финская нация нуждалась в произведении, которое рассказывало бы о великом прошлом народа, показывало бы его столь же великое будущее. Народная поэзия в той или иной форме отражала эти моменты.

Элиас Лённрот приходит к идее создания единого эпоса постепенно. Сперва он издает сборник «Кантеле» (1829–1831), песни

которого представляют собой его собственные варианты, скомпонованные из фольклорного материала. Потом он создает несколько поэм об отдельных героях («Лемминкяйнен», «Вяйнямёйнен», «Свадебные песни», «Собрание песен о Вяйнямёйнене»).

«Собрание песен о Вяйнямёйнене» (5052 строки) получило в науке название «Перво-Калевалы». Оно состояло из шестнадцати «песней» (laulanto), связанных между собой. В нем уже были и главные эпизоды и герои будущей «Калевалы». В предисловии к «Собранию» Лённрот показал читателю методику своей работы: «Едва ли прочтешь хотя бы одну из опубликованных здесь песен, которая не была бы составлена из рун, взятых по крайней мере от пяти-шести рунопевцев и соединенных между собой![6].

Конечно, нельзя принимать слова «составлена из рун» прямолинейно, механически. Лённрот брал из отдельных народных песен лишь фрагменты и строки, которые удовлетворяли его эстетический вкус и ложились в сюжет поэмы о Вяйнямёйнене.

Но это «Собрание», переданное Лённротом в 1834 году для публикации, было напечатано отдельной книжкой лишь в 1928 году. Сам Лённрот остановил публикацию поэмы, поскольку весной 1834 года записал в беломорской Карелии еще 13 200 строк песен от А. Перттунена, М. Карьялайнена, Ю. Кеттунена, С. Мийхкалинена, В. Сиркейнена и Матро (фамилия сказительницы осталась неизвестной). Этот материал побудил его к новым размышлениям и поискам более четкого и сложного сюжета.

По свидетельству финского ученого Вяйно Кауконена, исследовавшего буквально построчно обе версии «Калевалы», 1835 и 1849 годов, Лённрот вносил в текст «Собрания песен о Вяйнямёйнене» так много дополнений и изменений во все его части, что вряд ли найдется хотя бы пять — десять строк подряд, взятых из конкретной народной песни и сохранившихся в первоначальном виде» [7].

Лённротовская методика создания уже первой версии «Калевалы» имела творческий характер. Подлинной творческой свободы он достигает позднее. Убедившись в том, что механическим соединением народных песен и сюжетов ничего не добиться, Лённрот начинает писать поэму народными строками, редактируя их, обогащая, в частности, аллитерацией. Прекрасно зная особенности народной

поэзии, помня разного рода готовые строки — клише, формулы, выработанные веками народной традицией, он создавал эпизоды и конфликты, которых в народной поэзии не было.

При таком подходе к народному материалу видоизменялись не только сюжеты, но и портреты персонажей. Они все более индивидуализировались, за ними закреплялись определенные деяния. Вяйнямёйнен в «Калевале» — искусный певец, смастеривший кантеле, сперваиз щучьихкостей, потом из ствола березы. Илмаринен — умелый кузнец, сковавший чудесную мельницу сампо «из конца пера лебедки, молока коровы ялой, из зерниночки ячменной, из пушинки летней ярки». Лемминкяйнен — беспечный вояка, любимец женщин, приходящий на чужие пиры без приглашения, Ловхи — умная и хитрая хозяйка страны, куда ездят герои за невестами и откуда похищают сампо. Трагической фигурой в поэме Лённрота становится Куллерво — раб-мститель, натравивший на жену Илмаринена стаю медведей и волков и кончающий жизнь самоубийством за свой тяжкий грех (связь с девушкой, которая оказывается его сестрой). Не менее трагична судьба Айно — девушка настолько глубоко переживает решение родителей отдать ее замуж за старого Вяйно, что уходит к морю и там гибнет, возможно, не желая этого.

Доплыла до камня дева,
взобралась она на камень,
на скале морской уселась,
на блестящей луде пестрой —
камень в море погрузился,
в глубину ушел морскую,
с ним на дно ушла девица,
со скалою вместе — Айно.

(Песнь 4, 319–325)

Айно, пожалуй, самый поэтичный образ в лённротовской поэме. Он во многом — плод фантазии создателя «Калевалы». Само имя Айно («единственная») придумано Лённротом. Толчком для создания образа стали варианты народной баллады, записанные в деревнях северной

Карелии (Ухта, Вуоккиниеми, Келловаара). В них рассказывается о девушке Анни, которую мать обнаруживает мертвой в амбаре после того, как к ней посватался Осмойнен. Лённрот делает Айно сестрой Йовкахайнена, который проигрывает состязание в пении с Вяйнямёйненом, и чтобы спасти свою жизнь, обещает в жены Вяйнямёйнену свою сестру Айно. На гибели Айно сюжет о ней не кончается. Он переводится в мифологический план. Народный сюжет о рыбе-девушке, попавшей на удочку одного из эпических героев (Илмаринена, Лемминкяйнена, Вяйнямёйнена), подсказывает Лённроту продолжение истории об Айно. Вяйнямёйнен, почувствовав вину перед девушкой, выезжает на лодке с удочкой в море, ловит рыбу, но не узнает в ней утонувшей по его вине Айно. Все эти драматические коллизии дают завязку сюжета поэмы, образуют первоначальную пружину ее напряженности. Айно, ставшая, по воле Лённрота, сестрой Йовкахайнена и погубленная Вяйнямёйненом, дает повод ее брату мстить Вяйнямёйнену. В свою очередь будущий «король» Карелии упрекает его в том, что Вяйнямёйнен заставлял девиц топиться.

Вообще у героев «Калевалы» появляется прошлое, настоящее и будущее. Но у «Калевалы» есть и главный, «сквозной» конфликт, который также разработан Лённротом: это противостояние двух родов, двух стран. Похьелы и Калевалы, борьба между ними за обладание сампо.

Разумеется, и в народной поэзии карелов и финнов существуют «свой» и «чужой» миры. Но их взаимоотношения изображаются в пределах конкретной песни: герой едет в «тот» мир, чаще за невестами или без приглашения на свадьбу, отрубает голову хозяину и т. д. В песнях нет никакой истории длительных взаимоотношений. Нет в народных песнях и конкретных очертаний «этого» мира, той лённротовской страны Калевалы, главными представителями которой были Вяйнямёйнен, Лемминкяйнен, Илмаринен и, надо думать, Куллерво. Да и Похьела (Пяйвела, Пиментола, Луотола, Хийтола, Сариола, Юмалисто) все-таки в народных песнях не совсем та «страна», которая появляется в поэме Лённрота и в которой владычествует хозяйка Ловхи.

II

Сюжетный характер своей «Калевалы» Элиас Лённрот подчеркивал уже тем, что перед каждой главой давал краткое ее содержание, как это утвердилось в традициях западно-европейского романа. Переходы от главы к главе, от события к событию, от героя к герою тщательно готовились предыдущими событиями, намечались самим автором-повествователем, присутствие которого неназойливо ощущается в тексте. Оно состоит не только в том, что в нескольких концовках и началах глав звучат слова и голос повествователя, но и в том, что он проявляет сочувствие и к противоположной Калевале стороне (погибшей супруге Илмаринена, дочери Ловхи) и даже выражает понимание поступков Ловхи, защищающей свой род, иронизирует над Илмариненом и Лемминкяйненом. Вообще в «Калевале» нет прямолинейного противопоставления Калевалы и Похьелы: есть свои достоинства у Ловхи и свои недостатки и грехи у Вяйнямёйнена, Илмаринена, а тем более — у Лемминкяйнена.

Выбивающимися из сюжета обычно называют главы о Куллерво. Но, во-первых, дочь Ловхи, ставшая женой Илмаринена. продолжает историю взаимоотношений Похьелы и Калевалы (в свое время она содействовала Илмаринену при выполнении им трудных заданий, а теперь в доме Илмаринена у нее возникают сложные отношения с Куллерво), во-вторых, Лённроту необходимо было продолжить сюжет. Это сделано главами о Куллерво, который жестоко мстит хозяйке, жене Илмаринена. Гибель жены побуждает кузнеца выковать себе в жены Золотую деву, а потом и отправиться снова в Похьелу за новой невестой: дева из золота не могла заменить ему живую жену.

Образ Куллерво нужен был Лённроту еще и потому, что, будучи человеком XIX века, знающим о социальных противоречиях и конфликтах в мире, в том числе и в Финляндии, он не мог не отразить жгучие проблемы времени, проблемы «отверженных» в своей огромной эпической поэме, не мог не думать о будущем социальном устройстве общества. В эпизодах о Куллерво перекрещиваются время мифологическое и время историческое. Если в первом времени действуют люди-боги, то во втором — реальные рабы и господа. Эпическая жизнь героев явно нарушалась вторжением в нее социальной истории в лице взбунтовавшегося раба. Он приносит горе и чужим, и своим. Поэтому Лённрот и выводит его из сюжета: Куллерво кончает жизнь самоубийством. Если Айно обрела вторую

жизнь в облике рыбы, а Лемминкяйнена к действительности возвращает мать, то Куллерво уходит бесследно. Не зная, как решать социальные проблемы, Лённрот устами Вяйнямёйнена, получившего весть о гибели Куллерво, говорит:

Никогда, народ грядущий,
не давай детей родимых
глупому на попеченье,
чужаку на воспитанье!
Тот, кто дурно был воспитан,
был неверно убаюкан,
тот вовек не поумнеет,
мудрость мужа не постигнет,
даже если возмужает,
если телом и окрепнет!

(Песнь 36, 351–360)

Автор-повествователь, таким образом, не только рассказывает о деяниях мифологических героев в придуманном им сюжетном порядке, но и выражает свои взгляды на проблемы эпохи.

Поэмность «Калевалы» подчеркивается и ее композицией, архитектоникой. «Калевала» во всем симметрична. Начальным словам певца в ней соответствуют его заключительные слова, появлению Вяйнямёйнена — его уход, эпизодам о рождении Вяйнямёйнена — эпизоды о рождении сменившего его «короля» Карелии.

«Калевала» состоит из двух частей, в каждой по двадцать пять глав (песней), имеющих постоянную перекличку между собой. И в той, и другой частях вначале рассказывается о поездках за невестой, а потом — за сампо. В симметричных местах употребляются те же самые строчки-клише. Так, в 8-й песне Вяйнямёйнен просит сесть в свои сани деву Похьелы («Сядь со мною, дева, в сани, опустись в мою кошевку») — в 35-й Куллерво просит об этом же девушку, встреченную им на дороге, правда, несколько другими словами. Лемминкяйнен в 11-й песне похитил деву острова Кюлликки, Илмаринен похитил вторую дочь хозяйки Похьелы в 38-й. (И в том, и

другом случаях девушки одинаковыми словами просят отпустить их на волю.) «Измена» Кюлликки (она пошла без разрешения на деревенские игрища) привела к тому, что Лемминкяйнен отправляется в Похьелу за второй женой. «Измена» второй дочери Ловхи Илмаринену (она смеялась с чужим мужчиной, когда кузнец спал) побуждает Илмаринена отомстить ей, а затем отправиться вместе с Вяйнямёйненом отбирать у хозяйки Похьелы сампо. Можно привести еще немало примеров композиционной стройности «Калевалы».

Композиционная симметрия поэмы не мешает отходу в сторону от основного сюжета или даже остановке сюжетного движения. Главы, в которых повествуется о свадьбе Илмаринена и девы Похьи (21–25), развитию сюжета никак не помогают. Но именно через эти главы наиболее ярко дается лённротовское представление о народной жизни. Свадебные главы (приезд жениха, свадьба, советы невесте, советы жениху, встреча молодых в доме жениха) имеют внутреннее напряжение, поскольку они построены по законам драматургии, на контрастах эпизодических героев.

На уровне сюжета и композиции Лённрот добился той свободы, которой не было, да и не могло быть у народных певцов: они и не стремились к связному изложению всех известных им сюжетов, лежащих в основе карельских и финских эпических песен. Лённрот с большой свободой пользовался и материалом лирических свадебных, пастушьих, охотничьих песен и заклинаний. Он ставил строки и фрагменты из них в монологи и диалоги, тем самым углубляя психологию поступков героев, показывая их чувства, их душевное состояние.

Мастерство Лённрота-поэта лучше всего показать на уровне отдельных строк. Создатель «Калевалы» прекрасно знал народную поэзию, ее художественные особенности, своеобразие ее поэтики. Ведя сюжет, он пользовался всем арсеналом поэтических приемов (параллелизмами, аллитерацией, гиперболами, сравнениями, эпитетами, метонимиями). Строки народной поэзии под его пером обретали новый смысл, новую звукопись. Любой фрагмент народной песни, попадая в текст «Калевалы», изменялся сам и изменял соседние с ним строки.

В 1834 году Элиас Лённрот записал от Архиппы Перттунена такие заключительные строки певца:

Vaan ei laulaja hyväne
Laula syyten virsiänsä,
Eikä koski vuolaskana
Lase vettänsä loputin.
Siitä sinne tie menevi,
Rata uusi urkenevi
Paremmille laulajille.

Даже лучший песнопевец
Песен всех не выпевает.
Даже водопад проворный
Всей воды не изливает.
Тут стезя певцам открыта,
Дальше новый путь продолжен
Для хороших рунопевцев[8].

(Перевод Э. Киуру и А. Мишина)

В версию «Калевалы» 1835 года последние три строки песни А. Перттунена вошли без изменений, но в иное словесное окружение:

Vaan kuitenki, kaikitenki
Virren laulon, laulun taiton,
Oksat karsin, tien osasin.
Siitä sinne tie menevi,
Rata uusi urkenevi
Paremmille laulajille,
Taitavammille runoille
Nuorisossa nousevassa,
Polvessa ylenevässä.

Только все-таки, но все же
спел я руну, песнь исполнил,
срезал ветки, путь наметил.
Тут стезя певцам открыта.

Дальше новый путь продолжен
для хороших рунопевцев,
для певцов еще искусней
средь растущей молодежи,
восходящих поколений.

В окончательной версии «Калевалы» 1849 года строки сложились в таком виде:

Vaan kuitenki, kaikitenki
Laun hiihin laulajoille.
Laun hiihin, latvan taitoin,
Oksat karsin, tien osoitin,
Siitäpä nyt tie menevi,
Ura uusi urkenevi
Laajemmille laulajoille,
Runsahammille runoille
Nuorisossa nousevassa
Kansassa kasuavassa.

Только все-таки, но все же
я певцам лыжню оставил,
путь пробил, пригнул вершину,
обрубил вдоль тропок ветки.
Здесь теперь прошла дорога,
новая стезя открылась
для певцов, что поспособней,
рунопевцев, что получше,
средь растущей молодежи,
восходящего народа.

(Песнь 50, 611–620)

Строки Перттунена в окончательном варианте зазвучали сильнее. Сравните: Rata uusi urkenevi. Paremmille laulajille — Ura uusi urkenevi,

Laajemmille laulajille.

Сопоставляя строки двух версий «Калевалы», можно увидеть, какому тщательному отбору подвергались отдельные строки и слова, как заменялись они на более точные, звучные, чтобы придать тексту более глубокий смысл. В окончательном варианте певец-повествователь не просто «сумел» найти дорогу (osasin), но указал ее будущим певцам (osoitin).

Процитированная выше семистрочная заключительная песня А. Перттунена дала толчок для заключительной песни «Калевалы» (107 строк), где Лённротом были использованы многие строки других рунопевцев и сконструированы свои собственные. Так вырастали и все другие эпизоды «Калевалы». Как верно заметил исследователь «Калевалы» Вяйно Кауконен, изучивший ее строку за строкой, «калевальским» в «Калевале» является не то, что сходно с народной поэзией, а то, что ее отличает от нее» [9].

Интересно, что Лённрот, издавая «Калевалу» 1849 года, отказался от подзаголовка, который он дал «Калевале» 1835 года: «Старинные руны Карелии о древних временах народа Суоми». Во-первых, «Калевала» является поэмой, а не сборником народных песен. Во-вторых, не такие уж они древние, эти песни, если созданы Лённротом, человеком XIX века.

III

Русскому читателю так называемая полная «Калевала» (22 795 строк), то есть ее окончательная версия, опубликованная в 1849 году, широко известна по переводу Леонида Петровича Бельского. Впервые перевод был опубликовал в 1888 году в журнале «Пантеон литературы». С тех пор он много раз переиздавался в России. В 1989 году издательство «Карелия» напечатало этот перевод в том виде, в каком он появился в последний раз при жизни переводчика в 1915 году. Это издание подготовил и написал к нему предисловие член-корреспондент Российской Академии наук К. В. Чистов.

Сам факт многочисленных переизданий перевода Л. Бельского говорит о его высоких достоинствах. Однако с течением времени стареют даже хорошие переводы. Уже при жизни Бельского Э. Г.

Гранстрем перевел всю «Калевалу» заново. Его стихотворный перевод (а Гранстрем в 1881 году напечатал еще и первое прозаическое изложение эпоса) увидел свет дважды, в 1898 и 1910 годах, а потом, вплоть до конца 70-х годов был забыт [10].

Что касается текста перевода Бельского, то он постоянно редактировался. Наибольшую редакторскую работу провели М. Шагинян и поэт В. Казин (Москва, *1949)*. Отредактированный ими (правда, не всегда удачно) текст издавался неоднократно (1956, Петрозаводск; 1977, Москва; др. издания). Были и попытки нового перевода.

В 1915 году «Калевалу» для юношества изложил в прозе, вкрапливая в текст отдельные стихотворные строки, поэт Николай Асеев. Пользовался он при этом размером, близким русским былинам.

Переводчиком полной «Калевалы» мог стать С. Маршак, который для пробы перевел три больших фрагмента из поэмы «Калевала»: «Рождение Кантеле», «Золотая дева», «Айно». Отдельные места его переводов звучат адекватно оригиналу и удивительно просто:

Чуть кукушка закукует —
Сердце матери забьется,
По щекам польются слезы,
Капли слез крупней гороха,
Тяжелей бобовых зерен…

(Песнь 4, 509–514)

Однако переводческие пробы поэта-мастера не устроили О. В. Куусинена, известного государственного и общественного деятеля, по заданию которого эти пробы выполнялись. О. В. Куусинен искал переводчиков для так называемой сокращенной композиции «Калевалы», им самим и подготовленной. Переводчики этой композиции оказались в плену данного принципа: поэма превратилась в сборник мифологических, эпических, лирических, охотничьих, пастушьих песен. Перевод получился разностильным, в нем появилось много новых ошибок. Слог «Калевалы» то нарочито заземлялся, то перегружался поэтизмами и красивостями, а подчас становился просто

пародией на великое произведение: «Муж в кольчуге будет крепче в рубашонке из железа», «ходят грабли вдоль теченья, рыщут поперек потока», «волк доярку опрокинул, на нее медведь свалился», «где бы мне найти погибель, где, проклятому, издохнуть», «острие на грудь наводит, падает на меч с размаху», «выбери скалу такую, чтоб качались в небе сосны». Очень много в переводе неблагозвучных строк: «Мал, чтоб быть о битве вестью, но велик, чтоб быть рыбацким», «некому обнять пришельца, никого, кто б подал руку» и т. д.

Надо сказать, что любой русский переводчик «Калевалы» вступает в соревнование прежде всего с переводом Бельского. Да и у читателей сложилось впечатление о «Калевале» по этому переводу. Между тем реальная «Калевала» не во всем совпадает с представлениями Бельского. Он переводил ее как «финскую народную эпопею» героического характера, поэтому и принято у нас в России говорить о «Калевале» как о героическом эпосе. На самом же деле это далеко не так. Огромное количество строк, взятых Лённротом из лирической и заклинательной поэзии, заметно изменяли тональность произведения. Эпическое и лирическое в нем органически слилось.

Авторами нового русского перевода «Капевалы» двигало прежде всего желание дать более близкий к оригиналу перевод. За десятки лет существования «Калеваны» ученые уточнили многие неясные места в ней, особенно касающиеся ее фольклорного и этнографического содержания, мифологических мотивов. А главное, стало досконально известно, как рождалась «Калевала» под рукой Элиаса Лённрота.

Бельский, изучавший финский язык только попутно с работой над переводом, многого не знала и не мог знать. Иногдапросто непонимал, о чем идет речь воригинале. Дева Похьи, сидящая на радуге, говорит у Бельского Вяйнямёйнену:

Я к тебе усядусь в сани,
если ты обточишь камень,
изо льда жердины срежешь.

(Песнь 8, 108–110)

«Калевана», герои которой ездят в Похьелу за невестами, насыщена этой поэзией трудных заданий. Но что же трудного в том, чтобы обточить камень? В новом переводе это место, надеемся, передано адекватно: «За тебя, быть может, выйду, коль сдерешь ты с камня лыко, изо льда жердей наколешь».

Авторы нового перевода стремились точно передать этнографические детали, названия предметов материальной культуры. Ведь зачастую неверно воспроизведенная деталь искажала общую картину события, деяния. Предлагаем для сравнения два фрагмента переводов 5-й песни (строки 45–52):

Приготовился к уженью,
Леску длинную расправил,
Повернул уду рукою.
Вот крючок закинул в воду,
Стал удить, таща за леску.
Медь удилища дрожала,
Серебро шуршало в леске,
И в шнурке шумело злато.

(Перевод Л. Бельского)

Это рыболов искусный,
ловко лескою владевший,
рыбу сеткой поднимавший,
опускает лавню в воду,
поджидает, подсекает.
Медная уда трясется,
нить серебряная свищет,
золотой звенит шнурочек.

(Новый перевод)

Вяйнямёйнен ловит рыбу не просто удочкой, но рыболовным (и охотничьим) приспособлением, в котором вместо крючка внутрь наживки вводилась заостренная с обоих концов сигарообразная

палочка или кость, поворачивающаяся при заглатывании рыбой поперек ее горла или пищевода (лавня — Iavnis). Мы считали необходимым сохранить этот предмет в переводе, тем более что лавня — лишь одно из приспособлений для ловли рыбы, перечисленных в оригинале. У Бельского речь идет только об удочке.

Большой осторожности требуют при переводе строки, в которых отражены разного рода древние поверья, магические действия. Такими моментами особенно богата 46-я песнь, где рассказывается об охоте на медведя. Древние охотники не должны были произносить название зверя, а пользовались эвфемизмами — словами или выражениями, дающими описание зверя, на которого они шли охотиться, и действий, которые им приходилось совершать. Даже принеся добычу домой, охотники избегают слов, могущих повредить отношениям охотника и зверя. Совершенно недопустимы в переводе такие строки:

Помоги добыть удачу,
пособи убить медведя!

Не помешкал Вяйнямёйнен,
он содрал с медведя шубу
и на жердь повесил в клети,
мясо он в котел отправил…

(Перевод Н. Лайне и М. Тарасова)

Л. Бельский перевел эти строки ближе к оригиналу:

Помоги, пошли мне счастье.
Чтоб красу лесов поймал я!

(Песнь 46, 55–56)

Тотчас старый Вейнемейнен
Шубу снял с того медведя,
Тут же спрятал в кладовую,

Положил в котел он мясо…

(Песнь 46, 298–302)

Однако в оригинале первые две цитируемые строки не столь описательны. Обращаемся к новому переводу:

Дай, судьба, мне взять добычу,
завалить красавца леса!
Тут уж старый Вяйнямёйнен
шубу снять велел с любимца,
вынес на поветь амбара,
положил вариться мясо.

Как видите, в данном случае медведь сам становится гостем в доме охотника. Для него ставят вариться мясо, а потом его же садят с почетом за стол.

Поэтическая структура «Калевалы» — это цепь параллелизмов (прием, при котором последующая строка повторяет другими словами то, что сказано в предыдущей). Строки довольно часто аналогичны и синтаксически, и морфологически («Лисьи коготки — в кармане, в пазухе — медвежьи крючья», «В панцире мужчина крепче, муж уверенней в кольчуге», «Дева бурного порога, дочка быстрого потока». «Лодку к луде направляет, к берегу челнок подводит»). Такая структура придает тексту «Калевалы» зримую красоту и благозвучие. Мы стремились к более адекватной передаче этой калевальской формы:

Как у нашей свахи славной
в золотых кружочках шея,
в золотых тесемках кудри,
в золотых браслетах руки,
в золотых колечках пальцы,
в золотых сережках уши,
в золотых подвесках брови,
в скатном жемчуге реснички.

(Песнь 25, 635–647)

Гораздо труднее было соблюдать внутристрочные параллелизмы. Но во многих случаях, как нам кажется, мы добивались адекватности и здесь: «Сделал ноги, руки сделал», «слово молвил, так заметил», «спрашивает, вопрошает», «думу думает, гадает».

Другая особенность «Калевалы» — аллитерации (повторение первых звуков слов в строке). В связи с тем, что в финском языке ударение силовое и падает оно на первый и далее на каждый непарный слог, аллитерация является своего рода рифмой, но не в конце слов, а в начале. В русском языке такая передача аллитерации привела бы к искусственности звучания. Поэтому мы так же, как и другие переводчики, пользовались такого рода озвучиванием строк редко, чаше же всего прибегали к звукописи, свойственной русскому стиху: «песню племени поведать», «рода древнего преданье», «вековечный Вяйнямёйнен по морским плывет просторам», «Есть ли в доме, кто излечит злую рану от железа», «на песок ступил сыпучий».

Точно так же мы старались передать другие особенности стиля «Калевалы» (точные и зримые эпитеты, развернутые сравнения, гиперболы, метонимии). Если Лённрот обнаруживал в народной поэзии такие удачные с его точки зрения приемы, он оставлял эти строки почти без редактуры:

Лыжею скользнул по снегу,
словно быстрою гадюкой,
полозом сосны болотной —
как живучею змеею…

(Песнь 13, 197–200)

Но у Лённрота встречаются и такие сравнения, которые сочинены им самим:

Сам орел низвергся с мачты,
в лодку с высоты сорвался,
как с березы кополуха,

как с еловой ветки белка.

(Песнь 43, 255–258)

Основа метрики «Калевалы» — четырехстопный хорей, который звучит довольно разнообразно, поскольку в устной традиции рунопевцы нарушали ударения в словах в угоду мелодии и музыкальному ритму. Попытка передать это ритмометрическое разнообразие привела бы в переводе к мешанине стихотворных размеров. Авторы нового перевода не отходят от четырехстопного хорея, использованного впервые при переводе карельских рун еще Федором Глинкой, переложившим на русский язык две народные песни «Рождение арфы» и «Вейнамена и Юковайна» в 1827–1828 годах.

Общая тональность нашего перевода, однако, отличается от перевода Бельского, который намеренно героизировал лённротовский эпос, усиливал его героическое начало.

Мы исходили из того, что в «Калевале» отразилось в основном крестьянское миросозерцание. Герои чаще воздействовали на противоположную сторону не мечом, а магическим словом. Лённрот брал в диалоги и монологи огромное количество строк из заклинаний, а также из лирических песен.

Все это придавало оригиналу несколько иную интонацию, чем в переводе Л. Бельского.

Чтобы подчеркнуть поэмный характер «Калевалы», мы изменили и название каждой из ее пятидесяти частей: вместо слова «руна» в нашем переводе сказано слово «песнь» (песнь первая, песнь вторая и т. д.). Напоминаем, что и сам Лённрот пользовался в своей «Перво-Калевале» этим же словом.

Некоторую сложность для русского произношения представляют имена с дифтонгами и долгими гласными. Прежние переводчики писали: Лоухи, Кауко, Кауппи. Между тем, такого рода имена — двуслоговые. Поэтому в нашем переводе эти имена записываются так: Ловхи, Кавко, Кавппи. Название страны, где живет Ловхи, мы записываем также несколько по-другому, а именно Похьела.

*** * ***

Лённротовской полной «Калевале» в 1999 году исполняется 150 лет. За эти годы она была переведена на 45 языков. Сокращенных переводов существует около 150.

Во многих странах учеными и критиками написаны о «Калевале» горы литературы. В поисках вдохновения к ней во всем мире обращаются поэты, художники, композиторы. Под влиянием «Калевалы» Э. Леннрота в период национального пробуждения народов мира на романтической волне XIX века родились «Калевипоэг» эстонца Ф. Крейцвальда и «Песнь о Гайавате» американца Г. Лонгфелло. «Калевала» оказала свое воздействие и на латышский эпос «Лачплесис» А. Пумпура.

Финский и карельский народы, гордясь лённротовской «Калевалой», воспринимают ее как национальное достояние, но каждый народ по-своему. Для финнов — это национальный эпос, который выполнил свою главную роль: пробуждение национального самосознания, формирования нации. Финляндия в 1917 году стала суверенным государством. И когда возникала опасность утраты этой суверенности в двух войнах с Советским Союзом, «Калевала» снова поддерживала национальный дух славным прошлым.

Для карелов «Калевала» остается «народным эпосом». Ведь именно материал великих карельских рунопевцев — а это Архиппа Перттунен, Онтрей Малинен, Воассила Киелевяйнен и многие другие — стал основным эпическим материалом для лённротовского эпоса.

«Калевала» и сегодня — произведение-шедевр, прекрасный образец как для молодых, так и развитых литератур. Она привлекает внимание своей совершенной формой и гуманистическим содержанием. Каждая ее страница — высочайшая поэзия.

Будущие поколения читателей найдут в ней источник эстетической радости и вдохновения.

Армас Мишин

*** * ***

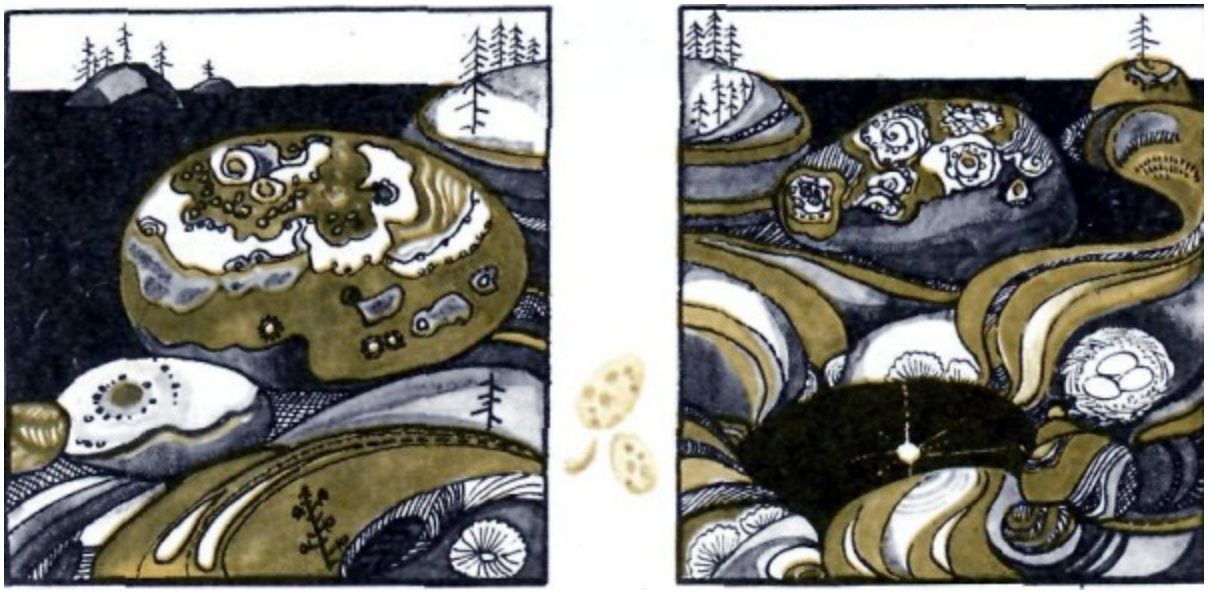
Переводчики выражают глубокую благодарность директору Института ЯЛИ Карельского научного центра РАН доктору исторических наук Савватееву Ю. А., содействовавшему включению в план работы Института перевода «Калевалы» и научного аппарата к эпосу, коллективам секторов литературы и фольклора, Ученому совету Института, Союзу писателей Республики Карелии, принимавшим участие в обсуждении и рецензировании перевода, комментариев и вступительной статьи. Свою признательность они выражают редколлегии журнала «Север», в течение двух с половиной лет публиковавшего в трудных для себя условиях «русскую» «Калевалу».

Переводчики признательны доктору филологических наук, члену-корреспонденту Академии РАН Чистову К. В., вдохновившему их своим добрым напутственным словом к переводу на страницах журнала «Север» и постоянно поддерживавшему их в дальнейшем, доктору философии, исследователю Хельсинкского университета Лаури Харвилахти и доценту Петрозаводского университета Старшовой Т. И. за компетентные замечания по работе.

* * *

Перевод поэмы Э. Лённрота выполнен в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии наук в 1992–1995 гг. Развернутые предисловие и научный комментарий к эпосу (их предполагается издать отдельной книгой) подготовлены в 1995–1996 гг. при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. В процессе работы переводчики были удостоены также стипендий финляндских гуманитарных фондов: в 1955 и 1996 гг. стипендии Фонда общего развития и просвещения Альфреда Корделина, в 1997 г. — финляндского фонда культуры. Первоначальный вариант данного перевода был напечатан в журнале «Север» в 1995-1997 гг.

Песнь первая



Зачин песни, стихи 1-102. — Дева воздуха опускается на хребет морской волны, где, забеременев от ветра и воды, становится матерью воды, с. 103–176. — Утка устраивает гнездо на колене матери воды и откладывает яйца, с. 177–212. — Яйца выкатываются из гнезда и разбиваются, кусочки превращаются в землю, небо, солнце, луну, тучи, с. 213–244. — Мать воды созидает заливы, мысы, и прочие берега, мелкие и глубокие места в море, с. 245–280. — Вяйнямёйнен рождается от матери воды. Его долго носит по волнам. Наконец он останавливается и выходит на берег, с. 281–344.

Мной желанье овладело,
мне на ум явилась дума:
дать начало песнопенью,
повести за словом слово,
песню племени поведать,
рода древнего преданье.
На язык слова приходят,
на уста мои стремятся,
с языка слова слетают,

рассыпаются речами.

Друг любезный, милый братец,
детских лет моих товарищ,
запоем-ка вместе песню,
поведем с тобой сказанье,
раз теперь мы повстречались,
с двух сторон сошлись с тобою.
Мы встречаемся нечасто,
редко видимся друг с другом
на межах земли убогой,
на просторах скудной Похьи[11].

Подадим друг другу руки,
крепко сцепим наши пальцы,
песни лучшие исполним,
славные споем сказанья.
Пусть любимцы наши слышат,
пусть внимают наши дети —
золотое поколенье,
молодой народ растущий.
Эти песни добывали,
заклинанья сберегали
в опояске — Вяйнямёйнен[12],
в жарком горне[13] — Илмаринен[14],
в острой стали — Кавкомьели[15],
в самостреле[16] — Йовкахайнен[17],
за полями дальней Похьи,
в Калевале вересковой.

Их отец мой пел когда-то,
ручку топора строгая,
этим песням мать учила,
нить льняную выпрядая,
в дни, когда еще ребенком
я у ног ее вертелся,

сосуночек несмышленый,
молоком грудным пропахший.
Много было слов у сампо[18],
много вещих слов — у Ловхи[19].
С песнями старело сампо,
с заклинаниями — Ловхи,
Випунен[20] почил в заклятьях,
Лемминкяйнен[21] — в хороводах.

Есть других немало песен,
мной заученных заклятий,
собранных с межей, с обочин,
взятых с веток вересковых,
сорванных с кусточков разных,
вытянутых из побегов,
из макушек трав натертых,
поднятых с прогонов скотных
в дни пастушеского детства,
в дни, когда ходил за стадом,
по медовым бегал кочкам,
золотым полянам детства
вслед за Мурикки чернявой,
рядышком с рябою Киммо.
Мне мороз поведал песни,
дождик нашептал сказанья,
ветер слов других навеял,
волны моря накатили,
птицы в ряд слова сложили,
в заклинания — деревья.
Я смотал в клубочек песни,
закрутил в моток сказанья,
положил клубок на санки,
поместил моток на дровни,
на санях привез к жилищу,
к риге притащил на дровнях,
положил в амбáр[22] на полку,

спрятал в медное лукошко.

Долго были на морозе,
долго в темноте лежали.
Уж не взять ли их со стужи,
не забрать ли их с мороза?
Не внести ли в дом лукошко,
положить ларец на лавку,
здесь под ма́тицею[23] славной,
здесь под крышею красивой?
Не открыть ли ларь словесный,
со сказаньями шкатулку,
узелок не распустить ли,
весь клубок не размотать ли?

Лучшую спою вам песню,
песнь прекрасную исполню,
коль дадут ржаного хлеба,
поднесут мне кружку пива.
Если пива не предложат,
не нальют хотя бы квасу,
натощак спою вам песню,
песнь исполню всухомятку
всем на диво в этот вечер,
дню ушедшему во славу,
дню грядущему на радость,
утру новому на счастье.

Так, слыхал я, песни пели,
складывали так сказанья:
по одной приходят ночи,
дни по одному светают —
так один родился Вяйно[24],
так певец явился вечный,
юной Илматар[25] рожденный,
девой воздуха прекрасной.

Дева юная природы,
дочь воздушного простора,
долго святость сохраняла,
весь свой век блюла невинность
во дворах больших воздушных,
средь полей небесных ровных.
Жизнь наскучила такая,
опостылела девице,
стало скучно, одиноко
непорочной оставаться
средь дворов больших воздушных,
средь полей небесных ровных.

Вот спускается пониже,
на морские волны сходит,
на морской хребет широкий,
на открытое пространство.
Налетел порыв свирепый,
ветер яростный с востока,
всколыхнул морскую пену,
раскачал морские волны.

Ветер девушку баюкал,
девицу волна носила
по морским пространствам синим,
по высоким гребням пенным,
понесла от ветра дева,
от волны затяжелела.

Бремя тяжкое носила,
чрево твердое таскала,
может, целых семь столетий,
девять жизней человечьих.
Не родится плод чудесный,
не выходит незачатый.

Матерью воды металась
на восток, на запад дева,
двигалась на юг, на север
к самым берегам небесным
в муках огненных рожденья,
в беспощадных болях чрева.
Не родится плод чудесный,
не выходит незачатый.

Плачет девица тихонько,
грустно жалуется, ропщет:
«Ой, как тяжко мне, бедняжке,
маяться тут, горемычной!
Как же вдруг я угодила
на открытые просторы,
чтоб меня баюкал ветер,
чтоб меня гоняли волны
по широкому пространству,
по бурлящему раздолью.
Лучше было б оставаться
девой воздуха, как раньше,
чем по морю, как сегодня,
матерью воды скитаться.
Зябко здесь мне, горемыке,
холодно мне здесь, несчастной,
жить на этих зыбких волнах,
плавать по воде студеной.

Ой ты, Укко[26], бог верховный,
всей вселенной повелитель,
поспеши в нужде на помощь,
приходи на зов в несчастье,
девушку спаси от болей,
юную избавь от муки.
Торопись, иди скорее,
побыстрей спеши на помощь!»

Времени прошло немного,
лишь мгновенье пробежало.
Видит: утка подлетает,
крыльями усердно машет,
ищет землю для гнездовья,
смотрит место для жилища.

На восток летит, на запад,
движется на юг, на север,
все же места не находит,
даже самого худого,
чтобы гнездышко устроить,
для себя жилище сделать.

Вот кружится, вот летает,
долго думает, гадает:
на ветру избу поставить,
на волне жилье построить?
Ветер дом на воду свалит,
унесет волна жилище.

Вот тогда воды хозяйка,
мать воды и дева неба,
подняла из волн колено,
из воды плечо явила
для гнезда красивой утке,
для уютного жилища.

Утка, стройное созданье,
все летает, все кружится,
видит среди волн колено
на морском просторе синем,
приняла его за кочку,
бугорочек травянистый,
полетала, покружилась,
на колено опустилась,

сделала себе жилище,
чтобы в нем снести яички,
шесть из золота яичек,
к ним седьмое — из железа.

Принялась яички парить,
нагревать колено девы.
День сидела, два сидела,
вот уже сидит и третий.
Тут сама воды хозяйка,
мать воды и дева неба,
чувствует: горит колено,
кожа как огонь пылает,
думает: сгорит колено,
сухожилия спекутся.

Дева дернула коленом,
мощно вздрогнула всем телом —
яйца на воду скатились,
на волну они упали,
на осколки раскололись,
на кусочки раскрошились.

Не пропали яйца в тине,
в глубине воды — осколки,
все куски преобразились,
вид приобрели красивый:
что в яйце являлось низом,
стало матерью-землею,
что в яйце являлось верхом,
верхним небом обернулось,
что в желтке являлось верхом,
в небе солнцем заблистало,
что в белке являлось верхом,
то луною засияло,
что в яйце пестрее было,

стало звездами на небе,
что в яйце темнее было,
стало тучами на небе.

Времена идут все дальше,
чередой проходят годы
на земле под новым солнцем,
новым месяцем полночным.
Все плывет воды хозяйка,
мать воды и дева неба,
по воде плывет спокойной,
по волнам плывет туманным,
перед нею — зыбь морская,
небо ясное — за нею.
Девять лет уже проходит,
год уже идет десятый —
голову из волн высоких,
из пучины поднимает,
занялась она твореньем,
принялась за созиданье
на морских просторах ясных,
на пространствах вод открытых.

Чуть протягивала руку —
образовывала мысы,
ила донного касалась —
вырывала рыбам ямы,
глубоко вдыхала воздух —
омуты рождала в море.

Поворачивалась боком —
берега морей ровняла,
трогала ногами сушу —
делала лососьи тони,
суши головой касалась —
бухты вдавливала в берег.

Чуть подальше отплывала
на морской простор широкий,
луды делала на море,
скалы скрытые творила,
чтоб на мель суда садились,
мореходы погибали.

Вот уж острова готовы,
луды созданы на море,
подняты опоры неба,
названы края и земли,
знаки выбиты на камне,
начертания на скалах —
не рожден лишь Вяйнямёйнен,
вековечный песнопевец.

Вековечный Вяйнямёйнен
в чреве матери носился,
тридцать лет скитался в море,
столько же и зим метался
по морским просторам ясным,
по морским волнам туманным.

Думает себе, гадает,
как тут быть и что тут делать
в темном месте потаенном,
в тесном маленьком жилище,
где луны совсем не видел,
солнца не встречал ни разу.

Он такое слово молвил,
произнес он речь такую:
«Солнце, месяц, помогите,
посоветуй, Семизвездье,
как открыть мне эти двери,
незнакомые ворота,

как из гнездышка мне выйти,
из моей избушки тесной!
Покажите путь на берег,
выведите в мир прекрасный,
чтоб луною любоваться,
солнцем в небе восхищаться,
чтоб с Медведицей встречаться,
наблюдать на небе звезды!»

Раз луна не отпустила,
солнце путь не указало, —
потерпев еще немного,
поскучав еще маленько,
сам качнул он двери замка
цепким пальцем безымянным;
костяной открыл замочек
крепким пальцем левой ножки,
на локтях скользнул с порожка,
из сеней — на четвереньках.

В море он ничком свалился,
на волну — вперед руками,
оказался Вяйно в море,
среди волн герой остался.

Пять годов лежал он в море,
пять и шесть годов скитался,
семь и восемь лет проплавал,
наконец остановился
у безвестного мысочка,
у земли совсем безлесной.

На колени муж оперся,
на руках герой поднялся,
встал, чтоб солнцем восхищаться,
чтоб луною любоваться,
чтоб с Медведицей встречаться,

наблюдать на небе звезды.

Так рожден был Вяйнямёйнен,
рода славный песнопевец,
выношенный девой стройной,
матерью рожденный славной.

Песнь вторая

Вяйнямёйнен выходит на безлесную сушу и отправляет Сампсу Пеллервойнена засевать землю деревьями, стихи 1-42. — Не прорастает только дуб, но будучи посажен вновь, всходит и раскидывает ветви над всей землей, заслоняя своей листвой луну и солнце, с. 43–110. — Маленький мужчина выходит из моря и валит дуб; снова стали видны луна и солнце, с. 111–224. — Птички поют на деревьях; на земле растут травы, цветы и ягоды; только нет еще всходов ячменя, с. 225–236. — Вяйнямёйнен находит несколько семян ячменя на прибрежном песке, вырубает лес для пожога, но оставляет одну березу для того, чтобы на ней могли сидеть птицы, с. 237–264. — Орел в благодарность за это высекает для Вяйнямёйнена огонь, чтобы тот мог поджечь подсеку, с. 265–286. — Вяйнямёйнен сеет ячмень, молится, чтобы земля дала всходы и была всегда плодородной, с. 287–378.

Вот поднялся Вяйнямёйнен,
стал на твердь двумя ногами
там на острове средь моря,
там на суше без деревьев.

Много лет и зим проходит,
знай живет себе все дальше
там на острове средь моря,
там на суше без деревьев.

Думает герой, гадает,
долго голову ломает:
кто же мне засеет земли,
семена положит в почву?

Пеллервойнен[27], сын поляны,
Сампса, мальчик малорослый,
вот кто мне засеет землю,
семена положит в почву.
Сампса сеет, засевает
все поляны, все болота,
засевает все лощины,
каменистые долины.
На горах сосняк посеял,
на холмах посеял ельник,
вересняк — на суходолах,
поросль юную — в ложбинах.
Для берез отвел долины,
для ольхи — сухие почвы,
для черемухи — низины,
для ракит — сырые земли,
для рябин — места святые,
почву рыхлую — для ивы,
твердую — для можжевела,
для дубравы — берег речки.

Принялись расти деревья,
вверх побеги потянулись,
зацвели макушки елей,
разрослись верхушки сосен,
вырос березняк в долинах,

ольхи на земле сыпучей,
в долах — заросли черемух,
можжевел — на почве твердой,
чуден плод у можжевела,
у черемухи — прекрасен.

Вековечный Вяйнямёйнен
осмотреть решил посевы,
Сампсы первые посадки,
Пеллервойнена работу.
Видит: выросли деревья,
поднялась высóко поросль,
только дуб еще не вырос,
божье дерево не встало.

Посмотрел — расти оставил,
без опеки, без надзора.
Подождал еще три ночи,
столько же деньков помедлил,
вновь пошел его проведать,
переждал всего неделю,
только дуб еще не вырос,
божье дерево не встало.

Четырех он дев увидел,
пятерых невест из моря.
Девы на лугу косили,
травы росные срезали
на краю косы туманной,
там на мглистом островочке.
Что накосят, то сгребают,
собирают для просушки.
Тут из моря вышел Турсас[28],
муж из волн морских поднялся,
сено тотчас сунул в пламя,
в полыхающее пекло,

обратил в золу все сено,
всю траву сухую — в пепел.

Лишь золы осталась кучка,
ворох пепла получился.
Лист любви упал на пепел,
лист любви и желудь дуба,
из него дубочек вырос,
поднялся побег зеленый,
встал чудесной земляничкой,
разветвился, раздвоился.

Ветви далеко расправил,
широко раздвинул крону,
до небес дорос вершиной,
по свету раскинул ветви,
преградил дорогу тучам,
облакам закрыл проходы,
заслонил собою солнце,
месяца затмил сиянье.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
думать стал, умом раскинул:
кто бы дуб срубил могучий,
дерево свалил большое?
Тяжко в мире человеку,
рыбам жутко в море плавать
без сиянья солнца в небе,
блеска месяца ночного.
В свете нет такого мужа,
не найти героя в мире,
кто бы дуб срубил могучий,
повалил бы стовершинный!

Тут уж старый Вяйнямёйнен
произнес слова такие:

«Ой ты, Каве[29], мать родная,
дева милая природы!
Из воды пришли мне силу,
ведь в воде мужей немало,
кто бы дуб срубил могучий,
дерево свалил дурное,
заслоняющее солнце,
закрывающее месяц».

Вот из моря муж явился,
из волны герой поднялся,
не был он большого роста,
но и маленького — не был,
не длинней мужского пальца,
бабьей пяди не короче.

Мужичок был в медной шапке,
был герой в сапожках медных,
руки — в медных рукавицах,
рукавицы — в медных знаках,
медный пояс на герое,
в поясе топорик медный,
с палец было топорище,
с ноготь лезвие секиры.
Вековечный Вяйнямёйнен
думу думает, гадает:
с виду вроде бы мужчина,
обликом герой как будто,
высотой всего лишь с палец,
ростом с бычье лишь копыто.

Вымолвил слова такие,
произнес такие речи:
«Что за человек ты будешь,
что за муж ты, бедолага,
лишь слегка красивей смерти,

мертвеца чуть-чуть пригожей».
Мужичок из моря молвил,
из волны герой ответил:
«Я из тех героев буду,
муж из племени морского,
что пришел твой дуб повергнуть,
древо хрупкое порушить».

Вековечный Вяйнямёйнен
произнес слова такие:
«Вряд ли создан ты для дела,
вряд ли создан, вряд ли скроен,
чтобы дуб большой повергнуть,
древо страшное порушить».

Только вымолвил словечко,
посмотрел еще разочек,
видит — муж преобразился,
обновился, изменился —
ноги в землю упирались,
голова касалась тучи,
борода к коленям свисла,
волосы до пят спустились,
шириной в сажень межглазье,
шириной в сажень штанина,
полторы — в коленном сгибе,
в пояснице — две сажени.

Оселком топор шлифует,
лезвие секиры точит,
жало трет шестью камнями,
острие — семью брусками.
Он пружинисто шагает,
легкой поступью ступает,
хлопают порты от ветра,
развеваются штанины.
Сделал шаг, как будто прыгнул,

на песок ступил сыпучий,
сделал два, поставил ногу
на коричневую почву,
в третий раз шагнул и тут же
стал у огненного дуба.
Топором по дубу стукнул,
острым лезвием ударил,
раз ударил, два ударил,
вот и в третий замахнулся:
из железа хлещет пламя,
бьет огонь из корня дуба,
от ударов дуб кренится,
гнется чертова ракита.

Вот от третьего удара
дуб могучий повалился,
наземь рухнула ракита,
стовершинная свалилась.
Дуб упал к востоку комлем,
к западу пролег вершиной,
кроной к югу развернулся,
к северу — ветвями всеми.

Тот, кто ветку взял у дуба,
наделен был вечным счастьем,
тот, кто отломил вершину,
приобщился к вечным чарам,
кто у дуба лист отрезал,
овладел любовью вечной.
Щепки, что летели с дуба,
крошки — с острия секиры
на морскую гладь упали,
на широкие просторы,
их качал на волнах ветер,
зыбь морская колыхала
на хребте морском ладьями,

на волне крутой судами.
Щепки в Похьелу пригнало.
Маленькая дева Похьи
там свои платки стирала,
полоскала одеянья
в море на прибрежном камне,
на краю косы далекой.

Увидала щепку в море,
в короб щепку положила,
принесла на двор в плетенке,
к дому в кошеле закрытом,
чтобы стрел колдун наделал,
острых копий наготовил.

Лишь свалился дуб огромный,
злое дерево упало,
сразу солнце засветило,
заблестел на небе месяц,
тучи в небе побежали,
радуга дугой согнулась
над далеким мглистым мысом,
над туманным островочком.

Стали тут боры стройнее,
начал лес расти быстрее,
зашумели травы, листья,
птицы в кронах зазвенели,
на ветвях дрозды запели,
громче прочих птиц — кукушка.

Ягодники появились,
золотых цветов поляны,
травы разные возникли,
вышли разные растенья.
Лишь ячмень не прорастает,

драгоценный злак не всходит.

Вот уж старый Вяйнямёйнен,
думу думая, шагает
краем синего залива,
берегом воды обширной,
здесь он шесть находит зерен,
семь семян он поднимает,
с берега того морского,
с мелкого того песочка,
в кунью сумочку их прячет,
в шкурку с ножки белки летней.

Засевать принялся землю,
рассыпать зерно на поле
рядом с Калевы[30] колодцем,
на краю поляны Осмо[31].
Так протенькала синица:
«Не взойдет ячмень у Осмо,
Калевы овес не встанет,
коли почву не расчистишь,
для пожога лес не свалишь,
не спалишь огнем подсеку[32]».

Вековечный Вяйнямёйнен
попросил сковать секиру,
вырубил пожог просторный,
преогромную подсеку,
свел красивые деревья.
Лишь березоньку оставил,
где бы птицы отдыхали,
где б кукушка куковала.

Прилетел орел небесный —
пересек простор воздушный,
прилетел узнать, в чем дело:

для чего стоять осталась
эта стройная береза,
дерево породы славной?

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Для того стоять осталась,
чтобы птицы отдыхали,
чтобы мог орел садиться».

Так сказал орел небесный:
«Хорошо ты это сделал,
что березоньку оставил,
дерево породы славной,
где бы птички отдыхали,
где б сидеть удобно было».

Тут пернатый выбил пламя,
огненную искру высек.
Си́верик[33] зажег подсеку,
распалил восточный ветер,
всю дотла спалил подсеку,
превратил деревья в пепел.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
шесть отыскивает зерен,
семь семян в своем кисете,
в сумочке из куньей шкурки,
в кошельке из ножки белки,
в горностаевом мешочке.

Засевать пошел он землю,
рассыпать на почву семя,
сам сказал слова такие:
«Сею семя, рассеваю,
сыплю через божьи пальцы,
всемогущего ладони

на удобренную почву,
плодородную поляну.

Ты, владычица поляны[34],
почвы славная хозяйка,
землю побуди работать,
почвы мощь заставь трудиться,
у земли в достатке силы,
что вовеки не иссякнет,
если дочери природы
добротой не оскудеют.

Пробудись от сна, землица,
божий луг, очнись от дремы,
поднимай из недр побеги,
стебли укрепляй растений,
тыщами гони побеги,
сотнями толкай колосья
на моих полях, посевах,
за мои труды-заботы!

Ой ты, Укко, бог верховный,
ты родитель наш небесный,
облаков седых властитель,
повелитель туч небесных.
Собери совет на тучах,
сходку в солнечном сиянье,
подними с востока тучу,
с юго-запада вторую,
облаков гряду с заката,
с юга много туч дождливых,
дождь пролей из туч на землю,
медом брызни на посевы,
на зеленые побеги,
прорастающие шумно!»

И тогда верховный Укко,
облаков седых властитель,
свой совет собрал на тучах,
сходку в солнечном сиянье.
Поднял облако с востока,
с юго-запада второе,
облако привел с заката,
с юга — много туч дождливых,
облака сложил боками,
совместил краями тучи,
пролил их дождем на землю,
медом брызнул на посевы,
на зеленые побеги,
прорастающие шумно.
Вот поднялся всход остистый,
вышел стебель серебристый
из земли, из мягкой почвы,
вспаханной искусно Вяйно.

Через день ли, два денечка,
даже после третьей ночи,
по прошествии недели
вековечный Вяйнямёйнен
свой посев пошел проведать,
свою ниву, свою пашню,
осмотреть свою работу.
Поднялся ячмень на славу —
в шесть сторон торчат колосья,
три узла на каждом стебле.

Вековечный Вяйнямёйнен
смотрит, ниву озирает.
Тут весенняя кукушка
увидала ту березу:
«Почему стоять осталась
в поле стройная береза?»

Молвит старый Вяйнямёйнен:
«Потому стоять осталась
в поле стройная береза,
чтоб на ней ты куковала.
Покукуй ты нам, кукушка,
птица с грудью золотистой,
с серебристой грудью птаха,
с оловянною — певунья.
Утром пой, кукуй под вечер,
Позвени еще и в полдень,
чтобы стал наш край прекрасней,
чтоб леса милее стали,
берега — богаче дичью
плодородней — наши нивы.»

Песнь третья

Вяйнямёйнен копит знания и становится известным, стихи 1-20. — Йовкахайнен отправляется в путь, чтобы победить его в знаниях, но, проиграв состязание, требует поединка на мечах. Вяйнямёйнен, разозленный, заклятьями загоняет Йовкахайнена в болото, с. 21–330. — Йовкахайнен перепугался и после многих обещаний предлагает Вяйнямёйнену в супруги свою сестру. Довольный Вяйнямёйнен вызволяет его из болота, с. 331–476. — Йовкахайнен, пригорюнившись, отправляется домой и рассказывает матери, какая неудача его постигла в пути, с. 477–524. — Мать приходит в восторг, узнав о том, что Вяйнямёйнен будет ее зятем. Однако дочь эта новость очень огорчает, и она начинает плакать, с. 525–580.

Вековечный Вяйнямёйнен
время жизни коротает
в Вяйнёле своей прекрасной,
в Калевале вересковой,
[5] песни Вяйно распевает,
распевает, заклинает.

Дни поет без перерыва,
ночи все — без передышки,
древние поет он песни,
изначальные заклятья,
их не все герои знают,
их не каждый понимает
на исходе этой жизни,
в убывающее время.

Далеко несутся вести,
слух расходится повсюду
о чудесном пенье мужа,
о большом искусстве Вяйно.
Донеслись до юга вести,
Похьелы молва достигла.

Как-то юный Йовкахайнен,
худощавый Лаппалайнен[35],
будучи в гостях однажды,
странную услышал новость,
будто песни есть получше,
заклинанья — поискусней
в рощах Вяйнёлы прекрасной,
в Калевале вересковой,
лучше тех, что знал он раньше,
от отца когда-то слышал.

В нем обида зародилась,
злая зависть разгорелась,
оттого, что Вяйнямёйнен
был певцом намного лучше.
К матушке своей спешит он,
к батюшке идет родному,
говорит, что в путь собрался,
что поехать он решился
к избам Вяйнёлы суровой

с Вяйно в пенье состязаться.

Запрещал отец сыночку,
сыну мать не разрешала
ехать к Вяйнёлы жилищам,
с Вяйно в пенье состязаться:
«Там тебя заклятьем кинут,
заклинанием забросят:
лбом — в сугробы, ртом — в порошу,
пальцами — в крутую стужу,
так, что и рукой не двинешь,
шевельнуть ногой не сможешь».

Молвил юный Йовкахайнен:
«Знания отца прекрасны,
мудрость матери прекрасней,
лучше всех своя наука.
Если захочу сравняться,
стать с мужами вровень в пенье,
сам певца я очарую,
сам словами околдую,
первого певца на свете
сделаю певцом последним,
обувь вырублю из камня,
сотворю порты из теса,
камень на груди повешу,
положу плиту на плечи,
дам из камня рукавицы,
на голову — шлем из камня».
В путь собрался, не послушав.
Мерина из стойла вывел,
изрыгающего пламя,
высекающего искры.
Огненного впряг он в сани,
в расписные, золотые,
в сани добрые уселся,

разместился поудобней,
вицею коня ударил,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Потрусил неспешно мерин,
побежал неторопливо.

Едет, катит Йовкахайнен,
едет день, второй несется,
едет он уже и третий.
Вот на третий день поездки
к Вяйнёлы межам приехал,
к Калевале вересковой.

Старый вещий Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
сам в дороге находился,
отмерял свой путь неспешно
среди Вяйнёлы прекрасной,
Калевалы вересковой.

Ехал юный Йовкахайнен,
мчался он навстречу Вяйно.
Тут с оглоблею оглобля,
гуж с гужом перехлестнулись,
с хомутом хомут столкнулись,
стукнулись концами дуги.

Вот сидят мужи в раздумье,
вот гадают, размышляют.
Из дуги вода сочится,
пар струится из оглобли.

Спрашивает старый Вяйно:
«Ты такой откуда будешь,
что неловко наезжаешь,
налетаешь неуклюже?

Ты хомут мне разворотишь,
ты мне дуги раскромсаешь,
сани жалкие сломаешь,
исковеркаешь кошёвку[36]».

Вот тогда-то Йовкахайнен
слово молвил, так ответил:
«Пред тобою — юный Йовко.
Сам ты из какого рода,
из какого дома будешь,
жалкий, из каких людишек?»

Вековечный Вяйнямёйнен
тут уж имя называет,
сам при этом добавляет:
«Раз ты юный Йовкахайнен,
должен ты посторониться.
Ты меня ведь помоложе!»

Вот тогда-то Йовкахайнен
слово молвил, так заметил:
«Что там молодость мужчины,
молодость ли, старость мужа!
У кого познаний больше,
у кого получше память,
тот останется на месте,
пусть другой дает дорогу.
Раз ты старый Вяйнямёйнен,
рунопевец вековечный,
будем в слове состязаться,
посоперничаем в пенье,
испытаем-ка друг друга.
Чья возьмет, давай посмотрим».

Вековечный Вяйнямёйнен
так ответил, так промолвил:

«Ну какой я песнопевец,
ну какой я заклинатель,
если жизнь свою я прожил
только на полянах здешних,
на межах полей родимых,
слушал песнь родной кукушки.
Только все-таки, но все же
дай моим ушам услышать,
что всего верней ты знаешь,
лучше прочих понимаешь?»

Молвил юный Йовкахайнен:
«Кое-что, конечно, знаю.
Вот что мне всего яснее,
что всего точней известно:
дымоход есть в крыше дома,
у печи чело над устьем.

Хорошо в воде тюленю,
псу барахтаться морскому:
семга вкусная — под боком,
рядышком — сиги в избытке.
У сигов поляны гладки,
ровны потолки у семги.
Нерестится щука в стужу,
пасть слюнявая — в морозы.
Робок окунь крутогорбый —
осенью живет в глубинах,
летом на мели играет,
плещется на мелководье.

Если этих знаний мало,
знаю кое-что другое,
ведаю дела важнее:
Север на оленях пашет,
пашет Юг на кобылицах,

Лаппи — на быках матерых.
Бес-горы деревья знаю,
сосны Чертова утеса.
Высоки деревья эти,
мощны сосны преисподней.

Есть три грозных водопада,
есть три озера огромных,
три вершины есть высоких
под воздушным этим сводом,
в Хяме есть падун Гремучий,
в Карьяле[37] порог есть Катра.
Нет проплывших через Вуоксу[38],
Иматру[39] перешагнувших».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Детский опыт, память бабья,
но не мужа с бородою,
не женатого героя!
Изложи вещей истоки,
изначальные познанья!»

Молвил юный Йовкахайнен,
так сказал он, так ответил:
«Знаю я синиц начало:
из породы птиц — синица,
из семейства змей — гадюка,
ерш — из рыбьей родословной.
Знаю, что железо хрупко,
черноземы Похьи — кислы,
кипяток нещадно жжется
и ожог огня опасен.

Мазь первейшая — водица,
пена — лучшая примочка.
Бог был первый заклинатель,

Юмала был первый лекарь.
Из горы — воды начало,
в небе — пламени рожденье,
в ржавчине — исток железа,
в скалах гор — начало меди.

Кочка старше прочей суши,
ива старше всех деревьев,
первый дом — навес сосновый,
черепок — котла начало».

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Помнишь ли еще хоть что-то
или вздор ты свой окончил?»

Молвил юный Йовкахайнен:
«Я еще немало знаю.
Времена такие помню,
как распахивал я море,
делал в море углубленья,
ямы вскапывал для рыбы,
углублял глубины моря,
наливал водой озера,
складывал в холмы каменья,
стаскивал утесы в горы.

Был шестым к тому ж героем,
был седьмым я человеком
среди тех, кто землю делал:
строил этот мир прекрасный,
кто опоры неба ставил,
свод небесный нес на место,
месяц поднимал на небо,
помогал поставить солнце,
кто Медведицу развесил,
звездами усыпал небо».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Говоришь ты здесь неправду.
Не было тебя при этом,
как распахивали море,
вскапывали дно морское,
вырывали рыбам тони,
бездну моря углубляли,
воду в ламбушки вливали,
воздвигали гор вершины,
скалы складывали в горы.

О тебе совсем не знали,
не слыхали, не видали
среди тех, кто землю делал,
строил этот мир прекрасный,
кто опоры неба ставил,
нес на место свод небесный,
месяц поднимал на небо,
помогал поставить солнце,
кто Медведицу развесил,
звездами усыпал небо».

Вот тогда-то Йовкахайнен
вымолвил слова такие:
«Коль познаний маловато,
призову свой меч на помощь.
Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
ты, хвастливый песнопевец,
что ж, давай мечи померим,
на длину клинков посмотрим».
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Не страшны твои угрозы,
ни мечи твои, ни знанья,
ни стремленья, ни хотенья.
Только все-таки, но все же

ни за что с тобой не стану
измерять мечей, несчастный,
на клинки смотреть, ничтожный».

Тут уж юный Йовкахайнен
рот скривил, набычил шею,
злобно бороду подергал,
вымолвил слова такие:
«Я того, кто не согласен,
кто мечей не хочет мерить,
превращу в свинью заклятьем,
в борова с поганым рылом.
Расшвыряю всех героев,
тех налево, тех направо,
загоню в навоз коровий,
втисну в самый угол хлева!»

Прогневился Вяйнямёйнен,
прогневился, застыдился,
сам тогда он петь принялся,
начал заклинать искусно.
Это был не детский лепет,
детский лепет, бабьи песни,
это были песни мужа.
Дети не поют такого,
юноши — лишь половина,
женихи — лишь каждый третий
на исходе этой жизни
в убывающее время.
Пел заклятья Вяйнямёйнен:
колыхались воды, земли,
горы медные дрожали,
лопались от пенья скалы,
надвое рвались утесы,
камни трещины давали.
Одолел лапландца песней:

на дугу напел побеги,
на хомут — кустарник ивы,
на концы гужей — ракиту,
сани с бортом золоченым
сделал в озере корягой,
кнут с жемчужными узлами
превратил в тростник прибрежный,
обратил коня гнедого
в глыбу камня у порога,

в молнию — клинок героя
с золотою рукояткой,
самострел с узором тонким —
в радугу над водной гладью,
стрелы с ярким опереньем —
в стаю ястребов летящих,
вислоухую собаку —
в камень, из земли торчащий,
шапку с головы героя —
в грозовую тучу в небе.
Превратил он рукавицы
в листья лилий на озерке,
обратил зипун суконный
в облако на синем небе,
кушачок его туманный —
в Млечный Путь на небосводе.

Йовкахайнен сам был загнан
аж до пояса в болото,
до груди — в сырую пожню,
до подмышек — в грунт песчаный.

Тут уж юный Йовкахайнен
и почувствовал, и понял,
что и вправду оказался,
что на деле очутился

в состязании серьезном
с Вяйнямёйненом могучим.
Пробует ногою двинуть —
вытащить ноги не может.
Пробует поднять другую —
держит каменный ботинок.
Тут уж юный Йовкахайнен
чувствует: беда приходит,
злое лихо наступает.
Так сказал он, так промолвил:
«Ой ты, умный Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
поверни слова святые,
забери назад заклятья,
вызволи меня из лиха,
выйти дай из затрудненья.
Положу большую плату,
дам тебе великий выкуп».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Что же мне пообещаешь,
коль верну свои заклятья,
отменю слова святые,
вызволю тебя из лиха,
выйти дам из затрудненья?»

Молвил юный Йовкахайнен:
«Два имею добрых лука,
два прекрасных самострела,
сильно бьет один по цели,
лук другой стреляет метко.
Взять из них любой ты можешь».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Что твои мне луки, жалкий?
Для чего чужие дуги?

Луки я свои имею,
у стены стоят у каждой,

на колках висят по стенам,
в лес уходят без хозяев,
без героев — на охоту!»
Йовкахайнена заклятьем
погрузил еще поглубже.

Молвил юный Йовкахайнен:
«Две имею добрых лодки,
парусника два прекрасных,
первый легок в состязанье,
челн другой хорош для грузов.
Взять из них любой ты можешь».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Для чего твои мне лодки,
для чего челны чужие?
Лодки я свои имею,
корабли — у всех причалов,
на любом заливе — лодки.
Те устойчивы на волнах,
эти ходят против ветра».
Йовкахайнена заклятьем
погрузил еще поглубже.

Молвил юный Йовкахайнен:
«Двух коней имею добрых,
двух жеребчиков отменных,
первый конь прекрасен в беге,
конь другой хорош в упряжке.
Взять из них любого можешь».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Для чего твои мне кони,
белоногие созданья?

Я своих коней имею.
Те привязаны у яслей,
эти — без узды в загонах,
спины гладкие лоснятся,
словно ламбушки, — на крупах».
Йовкахайнена заклятьем
погрузил еще поглубже.

Молвил юный Йовкахайнен:
«Ой ты, умный Вяйнямёйнен,
отмени слова святые,
поверни назад заклятья,
шапку золота отмерю,
меру серебра отсыплю,
то, что взял отец в сраженьях,
на войне родитель дóбыл».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Что мне серебро чужое,
золото твое, паршивец!
Это все я сам имею,
все наполнены амбары,
все загружены корзины
золотом, как месяц, старым,
серебром, как солнце, древним».
Йовкахайнена заклятьем
погрузил еще поглубже.

Молвил юный Йовкахайнен:
«Ой ты, умный Вяйнямёйнен,
вызволи меня отсюда,
дай избавиться от лиха!
Все свои отдам я скирды,
все распаханные нивы
за одно свое спасенье,
избавление от лиха».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Не нужны твои ни скирды,
ни распаханные нивы.
Я свои поля имею:
в каждой стороне по полю,
в каждом поле — скирды хлеба.
Мне свои поля дороже,
скирды мне свои милее».
Йовкахайнена заклятьем
погрузил еще поглубже.

Тут уж юный Йовкахайнен
оробел вконец, несчастный,
в топь уйдя до подбородка,
бородой — в гнилую тину,
ртом — в болото, в моховину,
за бревно держась зубами.
Молвил юный Йовкахайнен:
«Ой ты, умный Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
поверни назад заклятье,
сохрани мне жизнь, бедняге,
отпусти скорей отсюда —
уж теченьем ногу тянет,
уж глаза песчинки режут.

Коль вернешь назад заклятья,
коль свой заговор отменишь,
дам тебе сестрицу Айно[40],
милой матери дочурку,
убирать твое жилище,
подметать полы в хоромах,
полоскать твою посуду,
грязные стирать одежды,
ткать накидки золотые,

выпекать медовый хлебец».

То-то старый Вяйнямёйнен
подобрел, развеселился,
ведь девица Йовкахайнен
станет старому опорой.

Сел на камень песнопенья,
на скалу отрады вечной,
пел мгновенье, пел другое,
пел уже мгновенье третье:
повернул назад заклятья,
взял обратно наважденье —

вылез юный Йовкахайнен:
скулы поднял из болота,
подбородок — из трясины,
конь опять возник из камня,
сани — из гнилой коряги,
кнут — из тонкой камышинки.

Сел в повозку Йовкахайнен,
опустился на сиденье,
в путь отправился, нахмурясь,
сильно сердцем опечалясь,
едет к матушке родимой,
едет к батюшке родному.

Быстро едет, поспешает.
Подкатил чудно к жилищу:
сани поломал о ригу,
о крыльцо сломал оглобли.

Мать сыночка порицала,
упрекал отец родимый:
«Поломал нарочно сани,
с умыслом разнес оглобли.

Что же ты так глупо едешь,
бестолково так несешься?»

Тут уж юный Йовкахайнен
прослезился, опечалясь,
пригорюнился, поникнул,
шапку на глаза надвинул,
губы стиснул от обиды,
нос невесело повесил.

Мать ему тогда сказала,
ласково его спросила:
«Отчего, сыночек, плачешь,
в юности рожденный, тужишь,
губы стиснул от обиды,
нос невесело повесил?»

Молвил юный Йовкахайнен:
«Ой ты, матушка родная!
Есть теперь на то причина,
повод для того серьезный,
есть причина горько плакать,
повод — сетовать печально.
Буду целый век свой плакать,
горевать всю жизнь я стану.
Отдал я сестрицу Айно,
доченьку твою просватал
Вяйнямёйнену в супруги,
в суженые — песнопевцу,
чтоб защитой стала старцу,
мужу дряхлому — опорой».

Мать свела свои ладони,
руку об руку потерла,
молвила слова такие:
«Не горюй ты, мой сыночек,
сокрушаться нет причины,

нет предлога убиваться:
я всю жизнь того хотела,
весь свой век о том мечтала,
чтоб иметь в роду героя,
мужа славного в семействе,
чтобы зятем стал мне Вяйно,
свойственником — рунопевец».

Йовкахайнена сестрица
обливается слезами,
день рыдает, два рыдает,
на крыльце ничком стенает
от большой своей печали,
от кручинушки великой.

Молвит мать такое слово:
«Что, единственная, плачешь?
К знатному уходишь мужу,
уезжаешь в дом высокий,
знай сиди перед окошком,
знай воркуй себе на лавке!»

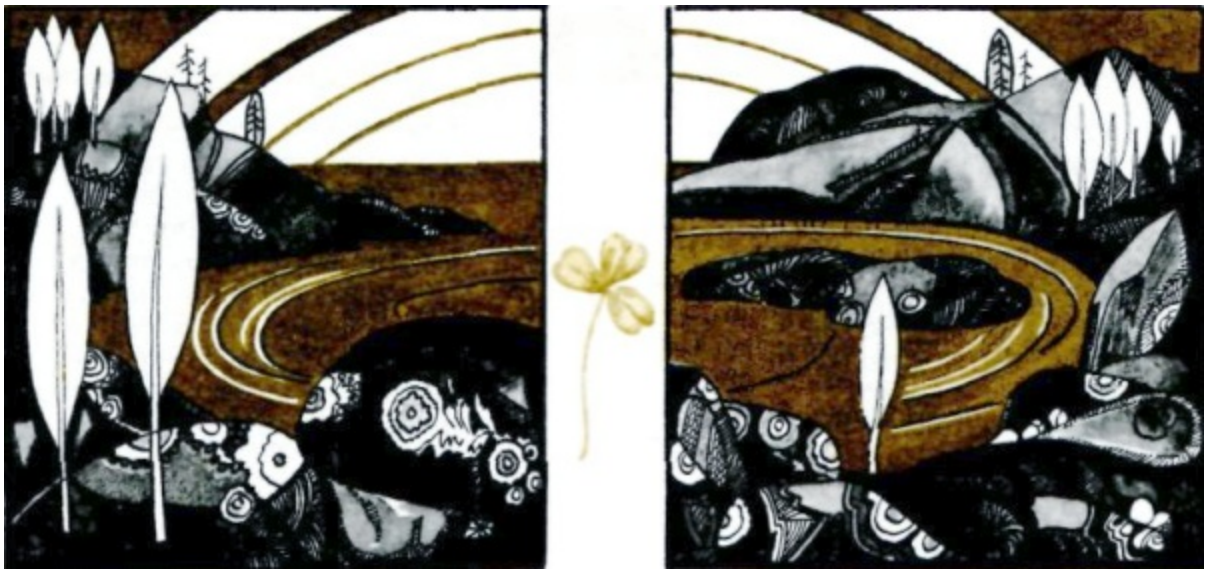
Молвит дочь слова такие:
«Ой ты, матушка родная,
есть о чем мне сокрушаться:
по косе красивой плачу,
по кудрям своим прекрасным,
по густым и мягким прядям.
Мне их в юности упрячут,
в молодости их укроют.

Стану век свой сокрушаться
по теплу родного солнца,
волшебству луны прекрасной,
красоте земли родимой,
коль придется их оставить,

в пору юную покинуть
у окна отца родного,
у ворот родного брата».

Так девице мать сказала,
старшая проговорила:
«Глупая, напрасно плачешь,
зря, несчастная, стенаешь.
Нет причины для печали,
нет предлога для заботы.
Божье солнышко сияет
и в других краях на свете —
не у двери братца только,
не у окон лишь отцовских.
Есть ведь ягодки на горках,
на полянах — земляничка
для тебя, моя бедняжка,
и в других краях далеких —
не на землях лишь отцовских,
не на братней боровине».

Песнь четвертая



Вяйнямёйнен встречается с сестрой Йовкахайнена, когда она ломает веники в лесу, и просит девушку стать его супругой, стихи 1-30. Та в слезах бежит домой и рассказывает матери о случившемся, с. 31–116. — Мать советует ей не печалиться, а наоборот, радоваться и носить красивые наряды, с. 117–188. — Девушка все плачет, говорит, что не желает стать супругой вековечного старца, с. 189–254. — Глубоко опечаленная, она оказалась в дремучем лесу, заблудилась и вышла на незнакомый берег моря, хотела искупаться и утонула, с. 255–370. — Дни и ночи плачет мать о своей утонувшей дочери, с. 371–518.

Айно, дева молодая,
Йовкахайнена сестрица,
в лес за вениками вышла,
за пушистыми — в березник.
[5] Батюшке связала веник,
матушке второй связала,
приготовила и третий
своему красавцу брату.

Путь домой уже держала,
сквозь ольшаник поспешала.
Шел навстречу Вяйнямёйнен,
девушку приметил в роще,
юную в нарядной юбке.
Так сказал он, так промолвил:
«Не для каждого, девица,
для меня лишь, молодая,
надевай на шею бусы,
надевай нательный крестик,
заплетай красиво косу,
ленточку вплетай из шелка».

Говорит ему девица:
«Для тебя ли, для другого
я носить не стану бусы,
ленточку вплетать из шелка.
Не хочу заморских платьев,
мне пшеничный хлеб не нужен!
Обойдусь простой одеждой,
ломтиком ржаного хлеба
у отца в родимом доме,
рядом с матушкой родною!»

Сорвала с груди свой крестик,
сдернула колечки с пальца,
бросила на землю бусы,
красную со лба повязку
отдала земле на пользу,
бросила на благо роще.
Поспешила к дому, плача,
на отцовский двор — стеная.

У окна отец трудился,
вырезая топорище:

«Что ты плачешь, дочь родная,
дочь родная, молодая?»

«Есть причина деве плакать,
повод — сокрушаться юной.
Потому, отец мой, плачу,
плачу я и сокрушаюсь:
крест с груди моей сорвался,
с опояски — украшенье,
крест серебряный нагрудный,
медные мои подвески».

У калитки брат трудился,
для дуги тесал лесину:
«Что, сестра родная, плачешь,
что рыдаешь, молодая?»

«Есть причина деве плакать,
повод — сокрушаться юной.
Потому, мой братец, плачу,
плачу я и сокрушаюсь:
с пальца сорвалось колечко,
с шеи бусы раскатились,
то колечко золотое,
те серебряные бусы».

В уголке крыльца сестрица
золотой вязала пояс:
«Что, сестра родная, плачешь,
что рыдаешь, молодая?»
«Есть причина деве плакать,
повод — сокрушаться юной.
Потому, сестрица, плачу,
плачу я и сокрушаюсь:
золото с бровей упало,
серебро с кудрей скатилось,
синий шелк скользнул с надлобья,

красный — с головы сорвался».

Мать на лесенке амбара
сливки с молока снимала:
«Что ты плачешь, дочь родная,
дочь родная, молодая?»

«Ой ты, мать моя, старушка,
ой, пестунья дорогая!
Есть причина деве плакать,
повод — сокрушаться юной.
Мать моя, затем я плачу,
плачу я и сокрушаюсь:
в лес за вениками вышла,
за пушистыми — в березник,
батюшке связала веник,
матушке второй связала,
приготовила и третий
своему красавцу брату.
Путь уже домой держала,
сквозь ольшаник поспешала.
Осмойнен в ложбинке встретил,
Калевайнен — на пожоге:
«Не для каждого, девица,
для меня лишь, молодая,
надевай на шею бусы,
надевай нательный крестик,
заплетай красиво косу,
ленточку вплетай из шелка!»

Сорвала с груди свой крестик,
бусы с шеи раскатила,
ленту синюю с височков,
красную со лба повязку
отдала земле на пользу,
сбросила на благо роще,

молвила слова такие:
«Для тебя ли, для другого
я носить не стану бусы,
ленточку вплетать из шелка.
Не хочу заморских платьев,
мне пшеничный хлеб не нужен.
Обойдусь простой одеждой,
ломтиком ржаного хлеба
у отца в родимом доме,
рядом с матушкой родною!»

Мать слова такие молвит,
дочке говорит родная:
«Не горюй, моя дочурка,
первенец мой, не печалься!
Год питайся чистым маслом —
станешь ты других бойчее,
на другой — свинину кушай, —
станешь ты других проворней,
в третий — блинчики на сливках, —
станешь ты других красивей.
Ты пойди на холм к амбарам,
отвори амбар получше.
Там на коробе есть короб,
есть шкатулка на шкатулке.
Распахни ты лучший короб,
крышку подними с узором[41],
там найдешь семь синих юбок,
шесть обвязок золоченых.
Соткала их дева Солнца,
дева Месяца связала.

Помню, в годы молодые,
в дни далекие девичьи
в лес по ягоды ходила,
за малиною под горку:

там ткала их дева Солнца,
там пряла Луны девица
на опушке синей чащи,
на краю любовной рощи.

Я приблизилась тихонько,
подступила осторожно,
стала спрашивать любезно,
начала просить покорно:
серебра у девы Солнца,
золота у девы Лунной
для меня, никчемной девы,
для просящего ребенка!

Поднесла мне дева Солнца,
дева Месяца дала мне
золота — на лоб навесить,
серебра — украсить брови.
Я домой пришла цветочком,
радостью — на двор отцовский.
День носила, два носила,
разбросала все на третий:
золото со лба стряхнула,
серебро — с бровей прекрасных,
унесла в амбар на горку,
положила их под крышку.
Там они лежать остались,
с той поры их не видала.

Лоб стяни ты этим шелком,
золото возьми на брови,
бусы звонкие — на шею,
золотой надень свой крестик,
полотняную сорочку,
сверх нее надень льняную,
сарафан надень суконный,
шелковый кушак — на пояс,

на ноги — чулки из шелка,
кéнги[42] — из узорной кожи.
Заплети красиво косу,
лентой прихвати из шелка.
Подбери к запястьям кольца,
к пальцам — перстни золотые.

Приходи домой обратно,
возвращайся из амбара
всей семье своей на радость,
близким людям — на усладу:
как цветочек, по лужочку,
как малинка, по тропинке.
Будешь ты стройней, чем раньше,
будешь прежнего красивей».

Так родимая сказала,
дочке так проговорила.
Не послушалась девица,
слову матери не вняла.
Вышла из дому, рыдая,
по двору пошла, стеная,
говорит слова такие,
речь такую произносит:
«Каковы счастливых думы,
каковы беспечных мысли?
Таковы счастливых думы,
таковы беспечных мысли —
как волнение на море,
словно плеск воды в корыте.
Каковы несчастных думы,
мысли уточки бездольной?
Таковы несчастных думы,
мысли уточки бездольной —
как сугроб весной под горкой,
как вода на дне колодца.

Очень часто мои думы,
часто мысли девы слабой
по увядшим травам бродят,
в молодом леске плутают,
по лугам-лужайкам кружат,
по кустарникам блуждают
дегтя черного чернее,
темной копоти темнее.

Мне б намного лучше было,
лучше было бы, наверно,
не рождаться, не являться,
взрослою не становиться,
доживать до дней печальных
в этом мире невеселом.
Коль угасла б шестидневной,
сгинула бы восьмидневной,
мне б немного надо было:
полотна один вершочек,
крохотный клочок землицы,
материнских слез немножко,
слез отцовских чуть поменьше,
ни одной слезинки брата».

День рыдала, два рыдала.
Снова мать ее спросила:
«Что ты плачешь, дочь-бедняжка,
что, несчастная, рыдаешь?»

«Потому, бедняжка, плачу,
горемычная, рыдаю,
что меня не пожалела,
отдала меня, малютку,
быть опорою для старца,
быть для дряхлого забавой,

для дрожащего — поддержкой,
для запечника — защитой.
Лучше бы ты приказала
под глубокими волнами
быть морским сигам сестренкой,
быть сестрой подводным рыбам.
Лучше в море оставаться,
под морскими жить волнами,
быть морским сигам сестренкой,
быть сестрой подводным рыбам,
чем опорой быть для старца,
для дрожащего — поддержкой.
Он за свой чулок запнется,
о любой сучок споткнется».

Тут она пошла на горку,
тут в амбар она вступила,
распахнула лучший короб,
крышку подняла с узором,
шесть нашла там опоясок,
семь сыскала синих юбок,
юбки все она надела,
затянула стан красивый,
золото на лоб надела,
серебро — себе на пряди,
синим шелком лоб стянула,
голову — тесьмою красной.

Вот отправилась в дорогу,
через поле, вдоль второго,
шла по землям, по болотам,
по лесам шагала темным.
Песню дева напевала,
напевала, говорила:
«Что-то тягостно на сердце,
ломит голову бедняжке,

хоть заныло бы сильнее,
заломило бы страшнее,
чтоб угасла я, бедняжка,
чтоб, несчастная, скончалась
от больших моих печалей,
от забот моих великих.

Верно, время наступило
этот белый свет покинуть,
в Маналу[43] уйти мне время,
в Туонелу[44] уйти навечно.
Батюшка мой не заплачет,
матушка не огорчится,
всхлипывать сестра не будет,
брат ревмя реветь не станет,
хоть бы в воду я упала,
к рыбам в море провалилась,
глубоко ушла под волны,
в тину черную морскую.

День шагала, два шагала,
наконец уже на третий
девушка пришла на море,
низкий берег тростниковый.
Тут девицу ночь настигла,
темнота ее застала.
Вечер здесь она рыдала,
до рассвета горевала,
на морском прибрежном камне,
на конце губы́[45] широкой.
Ранним утром, спозаранок,
глянула на кончик мыса:
на мысу три девы было,
девушки купались в море,
Айно к ним идет четвертой,
гибкой веточкою — пятой,

юбку сбросила на иву,
сарафан — на ветвь осины,
на земле чулки сложила,
на прибрежном камне — кенги,
бусы — на песке прибрежном,
кольца — на прибрежной гальке.

Был в воде утес узорный,
золотом сверкавший камень.
До утеса плыть решила,
на скалу присесть хотела.

Доплыла до камня дева,
взобралась затем на камень,
на скале морской уселась,
на сверкающем утесе —
камень в море погрузился,
в глубину ушел морскую,
с ним на дно ушла девица,
со скалою вместе — Айно.

Так вот курочка погибла,
так вот сгинула бедняжка.
Говорила, умирая,
утопая, рассказала:
«Я пошла купаться в море,
доплыла я до утеса.
Тут я, курочка, скончалась,
приняла погибель, пташка.
Пусть мой батюшка вовеки
никогда на этом свете
рыбы на море не ловит,
не берет из этих глубей!

Я на берег шла умыться,

шла на море поплескаться.
Тут я, курочка, скончалась,
приняла погибель, пташка.
Матушка пускай вовеки
никогда на этом свете
не берет воды для теста
из родимого залива!
Я на берег шла купаться,
я на море шла плескаться.
Тут я, курочка, пропала,
приняла погибель, пташка!
Пусть вовеки брат родимый
никогда на этом свете
не поит коня из моря,
в этом месте — боевого!

Я на берег шла купаться,
на море пришла плескаться.
Тут я, курочка, пропала,
приняла погибель, пташка.
Пусть сестра моя вовеки
никогда на этом свете
не приходит умываться
здесь на пристани родимой:
сколько есть водицы в море —
столько в нем девичьей крови,
сколько в этом море рыбы —
столько в нем меня, несчастной,
сколько тростника вдоль моря —
столько здесь костей бедняжки,
сколько водорослей в море —
столько в нем волос девичьих».

То была кончина девы,
гибель курочки красивой.

Кто же весточку доставит,
кто гонцом надежным будет
в знаменитый дом девицы,
в то красивое жилище?

Может быть, послать медведя
вестником молвы печальной?
Из него гонец не вышел,
он застрял в коровьем стаде.

Кто же весточку доставит,
кто гонцом надежным будет
в знаменитый дом девицы,
в то прекрасное жилище?

Может быть, отправить волка
вестником молвы печальной?
Не донес и волк известий:
он застрял в овечьем стаде.
Кто же весточку доставит,
кто гонцом надежным будет
в знаменитый дом девицы,
в то прекрасное жилище?

Может быть, отправить ли́са
вестником молвы печальной?
Не донес и лис известий:
он застрял в гусиной стае.

Кто ж вестей посланцем будет,
вестником молвы печальной
в знаменитый дом девицы,
в то прекрасное жилище?

Может быть, отправить зайца
вестником молвы печальной?!
Заяц так промолвил твердо:

«Слову данному я верен!»
Побежал, помчался заяц,
лопоухий вскок пустился,
косоротый вдаль несется,
кривоногий поспешает
в знаменитый дом девицы,
в то прекрасное жилище.

Подбежал к порогу бани,
у порога притулился:
девушек увидел в бане,
веничек в руке у каждой.
«Что ты в суп спешишь, зайчишка,
на жаровню, лупоглазый,
для хозяина — на ужин,
для хозяюшки — на завтрак,
дочери — на полдник вкусный,
на обед хороший — сыну?»

Лупоглазый так ответил,
гордо заявил зайчишка:
«Пусть является к вам Лемпо[46],
чтоб в котлах вариться ваших.
Я пришел сюда посланцем,
вестником молвы печальной:
уж красавица угасла,
та серебряная брошка,
оловянная застежка,
медный поясок красивый.
Дева в море погрузилась,
в глубину ушла морскую,
чтобы стать сигам сестренкой,
быть сестрой подводным рыбам».
Плачет мать, услышав это,
обливается слезами,
горько сетует сквозь слезы,

причитает сквозь стенанья:
«Ой вы, женщины-бедняжки,
никогда в теченье жизни
не укачивайте дочек,
не баюкайте родимых
для того, чтоб против воли
замуж выдавать красавиц,
как баюкала я дочку,
как я курочку растила!»

Плачет мать, струятся слезы,
катятся из глаз обильно,
из очей стекают синих,
по щекам бегут несчастной.

Катится слеза, струится,
катится из глаз водица,
по щекам бежит несчастной,
по груди ее высокой.

Катится слеза, струится,
катится из глаз водица,
падает с груди высокой
на тончайшие подолы.

Катится слеза, струится,
катится из глаз водица,
падает с подолов тонких
на ее чулочек красный.

Катится слеза, струится,
катится из глаз водица,
падает с чулочков красных
на ботинки золотые.

Катится слеза, струится,
катится из глаз водица,

с золотых ее ботинок
под ноги, в сырую землю.
Катится земле на благо,
в воду льется ей на пользу.

Как стекли на землю слезы,
так рекою обернулись —
целых три реки возникло
из водицы набежавшей,
в голове начало взявшей,
из очей ее стекавшей.

Выросло в потоке каждом
по три огненных порога,
в каждом огненном пороге
по три луды появилось,
на краю у луды каждой
золотой поднялся холмик,
на вершине каждой горки
по три выросло березы,
наверху березы каждой —
по три золотых кукушки.

Три кукушки куковали.
Первая: «Любви!» — кукует.
«Жениха!» — другая кличет.
Третья: «Радости!» — желает.

Что «Любви, любви» — желала,
та три месяца все пела
девушке, не полюбившей,
в море синем утонувшей.

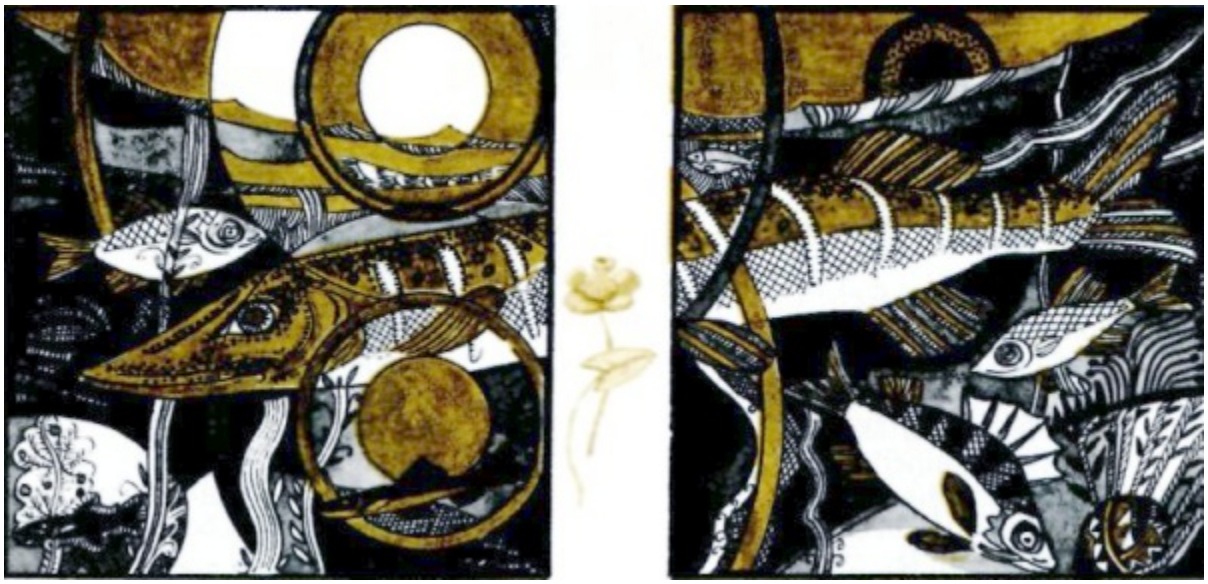
Та, что «Жениха!» — желала,
та полгода куковала
неудачливому свату,

опечаленному мужу.

Та, что «Радости!» — желала,
та весь век свой куковала,
пела матери несчастной,
до скончанья дней рыдавшей.

Мать девицы так сказала,
пенье слушая кукушки:
«Ты не слушай, мать-бедняжка,
слишком долго песнь кукушки!
Лишь кукушка закукует,
сразу сердце затоскует,
из очей польются слезы,
по щекам начнут струиться,
покрупней семян гороха,
больше зернышек бобовых,
век убавится на локоть,
на вершок твой стан увянет,
вся сама ты постареешь
от весенней песни птицы».

Песнь пятая



Вяйнямёйнен отправляется на море, чтобы выловить сестру Йовкахайнена. Она попадается ему на удочку в облике странной рыбины, стихи 1-58. — Он собирается порезать ее на куски, но рыбина выскальзывает из рук, уходит в воду и, вынырнув, признается, кто она на самом деле, с. 59–133. — Тщетно пытается Вяйнямёйнен уговорами и снастями поймать рыбину вновь, с. 134–163. — В тяжелых думах возвращается он домой и получает от своей покойной матери совет отправиться сватать за себя деву Похьи, с. 164–241.

Слух повсюду прокатился,
весть далёко разлетелась:
дева юная угасла,
сгинула навек девица.

[5] Вековечный Вяйнямёйнен
пригорюнился безмерно,
днем он плачет, плачет утром,
вот уже и ночью плачет,
что красавица погибла,

что навек уснула дева,
сгинула в зыбучем море,
под глубокою волною.

Шел герой, вздыхая тяжко,
сердцем маятным горюя.
Вот пришел на берег моря.
Так сказал он, так промолвил:
«Унтамо[47], свой сон поведай,
расскажи свой сон, почивший,
где живет семейство Ахто[48],
девы Велламо[49] ютятся?»

Унтамо свой сон поведал,
рассказал свой сон, почивший:
«Там живет семейство Ахто,
девы Велламо ютятся —
на краю косы туманной,
возле мыса островного,
под глубокими волнами,
на придонной черной тине.

Там живет семейство Ахто,
девы Велламо ютятся —
в небольшой избушке тесной,
в узкой маленькой каморке,
у скалы под боком пестрым,
в пазухе большого камня».

Тут-то старый Вяйнямёйнен
подошел к своим причалам,
удочки свои проверил,
осмотрел и переметы.
Положил крючок в мешочек,
кóванец[50] в карман упрятал,
начал выгребать на лодке,

прибыл к острову средь моря,
на конец косы туманной,
на пустынный мглистый берег.

Этот рыболов искусный,
ловко лескою владевший,
рыбу сеткой поднимавший,
опускает ла́вню[51] в воду,
поджидает, подсекает.
Медная уда трясется,
нить серебряная свищет,
золотой звенит шнурочек.

Вот однажды днем прекрасным,
спозаранок как-то утром
за крючок схватилась рыба,
в кованец таймень вцепился.
Вытащил он рыбу в лодку,
положил улов на днище.

Поворачивает, смотрит,
слово молвит, произносит:
«Что за рыбина попалась?
Никогда такой не видел.
Для сига гладка уж больно,
слишком светлая — для кумжи,
слишком серая — для щуки,
странная — для человека,
перьев нет — считаться рыбой,
нет подвесок — быть девицей,
пояска — быть девой моря,
нет ушей, чтоб стать супругой;
видно, все же — это семга,
окушок волны глубокой».

Нож за поясом у Вяйно

был с серебряною ручкой.
Вот свой нож он вынимает,
острое берет железо,
чтобы рыбину порезать,
чтобы лосося разделать
самому себе на завтрак,
на закуску в малый полдник,
на обед себе обильный,
на большой хороший ужин.

Лосося лишь начал резать,
стал пластать чуднýю рыбу,
семга прыгнула в пучину,
пестрая, в волне блеснула,
вырвавшись из лодки красной,
Вяйнямёйнена ладейки.

Подняла из волн головку,
правое плечо — из моря
на волне прибойной пятой,
на шестом валу высоком,
правою рукой взмахнула,
ножкою мелькнула левой
на седьмом высоком гребне,
на хребте волны девятой.

Так промолвила оттуда,
так промолвила, сказала:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
я не лососем явилась,
чтоб меня ножом пластали,
на кусочки разрезали
самому себе на завтрак,
на закуску в малый полдник,
на обед себе обильный,
на большой хороший ужин».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Для чего же ты являлась?»

«Я из моря появлялась,
чтобы стать твоей голубкой,
вечною женою в доме,
верною твоей супругой,
чтоб стелить тебе постели,
чтоб взбивать тебе подушки,
наводить в избе порядок,
подметать полы в жилище,
приносить огонь в избушку,
раздувать в печурке пламя,
выпекать большие хлебы,
печь медовые ковриги,
подносить в кувшине пиво,
для тебя готовить пищу.

Не была я вовсе семгой,
окунем волны глубокой —
молодой была девицей,
Йовкахайнена сестрицей,
той, о ком весь век ты грезил,
той, о ком всю жизнь ты думал.

Ой ты, старец бестолковый,
слабоумный Вяйнямёйнен,
удержать меня не смог ты,
деву Велламо морскую,
дочь единственную Ахто».

Молвил старый Вяйнямёйнен,
свесив голову уныло:
«Йовкахайнена сестрица!
Ты приди еще разочек!»

Не пришла ни разу больше,
никогда не появлялась:
повернулась, покатилась
с водной глади в глубь морскую,
в недра пестрого утеса,
внутрь коричневого камня.

Вековечный Вяйнямёйнен
думу думает, гадает,
как тут быть и что тут делать.
Невод шелковый закинул
поперек и вдоль залива,
вдоль пролива, вдоль другого,
протянул по водной глади,
вдоль по лудам лососевым,
водам Вяйнолы[52] прекрасной,
по заливам Калевалы,
по морским пучинам темным,
омутам большим, глубоким,
Йовколы широким плесам,
побережьям дальней Лаппи.

Наловил немало рыбы,
всякой живности подводной,
не сумел поймать лишь рыбки,
о которой долго грезил, —
девы Велламо прекрасной,
дочери красивой Ахто.

Тут уж старый Вяйнямёйнен,
свесив голову уныло,
наклонив печально шапку,
говорит слова такие:
«Ох я, глупый, неразумный,
бестолковый, горемычный,
был когда-то дан мне разум,

был рассудок мне дарован,
сердце мне дано большое,
было все в былое время.
Только нынче, в эту пору,
в этом возрасте преклонном,
на исходе целой жизни
мысли все перемешались,
думы унеслись куда-то,
все не так идет, как надо.

Та, о ком весь век я думал,
та, кого я ждал полжизни, —
дева Велламо морская,
что ушла недавно в море,
та, кого хотел я в жены,
в вечные свои супруги, —
на крючок ко мне попалась,
оказалась даже в лодке,
я же взять не догадался,
унести домой добычу,
отпустил обратно в море,
под волну воды глубокой!»

Он пошел, вздыхая тяжко,
он побрел, горюя сильно,
поспешил к родному дому.
Так сказал он, так промолвил:
«Пели прежде мне кукушки,
птицы радости былые,
пели вечером и утром,
куковали также в полдень.
Что же нынче не кукуют,
что же смолк красивый голос?
Грусть им голос надломила,
извела забота песню.
Потому и не кукуют,

не поют мои кукушки
мне на радость каждый вечер,
по утрам — на утешенье.

Я теперь совсем не знаю,
как тут быть и что мне делать,
как мне жить под этим небом,
по земле ходить родимой.
Если б мать жила на свете,
в здравии была родная,
мне она бы подсказала,
как тут быть, как удержаться,
от печали не сломаться,
от заботы не угаснуть
в это тягостное время,
в этом мрачном настроенье!»

Из могилы мать сказала,
из-под волн проговорила:
«Мать твоя жива покуда,
в здравии еще родная,
вот она тебе подскажет,
как тебе прожить на свете,
от печали не сломиться,
от заботы не угаснуть
в это тягостное время,
в этом мрачном настроенье.
В Похьеле бери невесту.
Там красивее девицы,
дочери в два раза краше,
в пять и в шесть — порасторопней
неуклюжих дев из Йовки,
глупых недотёп из Лаппи.

Там сосватай, мой сыночек,
лучшую из дочек Похьи,

что лицом мила, пригожа,
что своим прекрасна станом,
240 на ногу легка, проворна,
что ловка в своих движеньях».

Песнь шестая

Йовкахайнен таит злобу на Вяйнямёйнена и выслеживает его на пути в Похьелу, стихи 1-78. — Он видит, как Вяйнямёйнен переезжает верхом на коне через реку, и стреляет в него, однако попадает лишь в коня, с. 79–182. — Вяйнямёйнен падает в воду, сильный ветер уносит его на морской простор, и Йовкахайнен радуется, думая, что Вяйнямёйнен спел свою последнюю песню, с. 183–234.

Вековечный Вяйнямёйнен
навестить решил однажды
то холодное селенье,
темной Похьелы деревню.

Взял коня под цвет соломы,
цвет горохового стебля,
удила засунул в зубы,
обуздал свою лошадку,
сам верхом на ней уселся,
обхватив бока ногами.

Едет он, катит тихонько,
путь неспешно отмеряет
на коне под цвет соломы,
скакуне под цвет гороха.

Едет Вяйнолы полями,
краем Калевалы славной,
конь трусит, бежит дорога,
дом все дальше, цель все ближе.

На морской хребет приехал,
на открытые просторы,
сухи у коня копыта,
не забрызганы лодыжки.
Юный парень Йовкахайнен,
худощавый Лаппалайнен,
злобу давнюю лелеял,
гнев вынашивал и зависть
к Вяйнямёйнену седому,
к древнему певцу заклятий.

Огненный он лук сработал,
выгиб лука разукрасил,
сделал выгиб из железа,
верх его отлил из меди,
золотом весь лук отделал,
серебром облагородил.

Тетиву где взял для лука,
где добыл тугую жилу?
Жилы взял у лося Хийси[53],
нить льняную взял у Лемпо.

Лук искусно разукрасил,
самострел доделал быстро.
Был чудесным лук по виду,

стоящим — снаряд отменный:
красовался конь на ложе,
по прикладу мчал жеребчик,
дева на дуге лежала,
у курка скакал зайчишка.

Целый ворох стрел наделал,
кучу настрогал трехпёрых,
стержни выточил из дуба,
острия — из пней смолистых.
Только стержень дострогает,
тут же стрелку оперяет
перьями касаток малых,
воробьиными летками.

Закаляет эти стрелы,
укрепляет эти пики
черным ядом змей ползучих,
кровью гадов ядовитых.

Только стрелы приготовил,
тетиву напряг на луке,
начал ждать он старца Вяйно,
мужа Сувантолы[54] вечной.
Ждал все утро, ждал весь вечер,
ждал однажды даже в полдень.

Долго ждал приезда Вяйно,
долго ждал, не уставая,
у окна сидел упорно,
на крылечке ждал бессонно,
вслушивался у прогона,
караулил на поляне,
за спиной колчан набитый,
наготове лук под мышкой.

Ожидал вдали от дома,
за вторым, соседним домом,
на мысу косы огнистой,
у сигнального кострища.
Ждал над огненным порогом,
над стремниною священной.

Вот однажды днем прекрасным,
как-то утром спозаранок
к северу он взгляд свой бросил,
посмотрел затем под солнце,
точку черную приметил,
что-то синее увидел:
«Уж не туча ли с востока,
не заря ль встает с восхода?»

Это не с востока туча,
не заря встает с восхода —
это старый Вяйнямёйнен,
заклинатель вековечный,
в Похьелу как раз он ехал,
в Пиментолу[55] направлялся,
на коне под цвет соломы,
скакуне под цвет гороха.

Тотчас юный Йовкахайнен,
тощий парень Лаппалайнен,
лук свой огненный хватает,
самострел свой самый лучший
Вяйнямёйнену на гибель,
на смерть мужу Сувантолы.

Мать с вопросом подоспела,
так родная говорила:
«На кого ты лук нацелил,
на кого навел железный?»

Так ответил Йовкахайнен,
так сказал он, так промолвил:
«На того я лук нацелил,
на того навел железный —
на погибель старцу Вяйно,
на смерть мужу Сувантолы.
Вяйнямёйнена повергну,
меткую стрелу направлю
через сердце, через печень,
через мышцы меж лопаток».

Мать стрелять не разрешала,
отвращала, запрещала:
«Не стреляй ты в старца Вяйно,
не губи ты калевальца!
Вяйно — из большого рода,
он к тому же мне племянник.

Коли Вяйно ты повергнешь,
коль застрелишь калевальца,
в мире радости не станет,
на земле не будет песен.
Радость — лучше в этом мире,
песни на земле — приятней,
нежели в селеньях Маны,
нежели в жилищах Туони!»

Йовкахайнен, юный парень,
призадумался немного,
призадумался, помедлил —
выстрелить рука велела,
запретила бить другая,
жилы пальцев принуждали.

Наконец он так промолвил,

произнес слова такие:
«Пусть хоть дважды сгинет радость,
канет всякое веселье,
пусть все песни изведутся,
застрелю, не испугаюсь!»

Лук каленый напрягает,
тянет он струну зацéпом[56],
тетиву к курку подводит,
заступив ногою стрéмя[57].
Из колчана стержень вынул,
перышко — из кисы лисьей,
взял стрелу из самых быстрых,
выбрал самый лучший стержень,
вставил в желобок на ложе,
в тетиву упер льняную.

Огненный свой лук он поднял
к правому плечу прикладом,
принял стойку боевую,
в старца Вяйно лук нацелил,
сам сказал слова такие:
«Бей, кривуля из березы,
из сосны изгиб, распрямься,
отпружинь, струна льняная!
Коль рука нацелит ниже,
пусть стрела возьмет повыше,
коль рука нацелит выше,
пусть стрела возьмет пониже!»

Спусковой крючок он тронул,
выстрелил стрелою первой —
выше чума полетела,
в небеса над головою,
к дождевым умчалась тучам,
к облакам бегущим взмыла.

Выстрелил, не внял запрету,
выстрелил второй стрелою —
Ниже чума полетела,
в землю-мать стрела вонзилась —
чуть весь мир не рухнул в Ману,
холм песчаный чуть не треснул.

Вскоре выстрелил и третьей —
угодил стрелою третьей
в шею лося голубого[58].
Он сразил под вещим Вяйно
жеребца, что из соломы,
лошадь ту, что из гороха.
Ей в плечо стрела вонзилась
через левую подмышку.

Вековечный Вяйнямёйнен
пальцами уткнулся в море,
в волны бухнулся руками,
рухнул в пенистую бездну
с шеи лося голубого,
с лошаденки из гороха.

Тут поднялся сильный ветер,
волны вздыбились на море,
волны Вяйно подхватили,
унесли подальше в море,
на простор морской широкий,
на открытое пространство.

Юный парень Йовкахайнен
так сказал, кичась хвастливо:
«Вот теперь-то, старый Вяйно,
ты живым уже не сможешь
никогда на этом свете,

никогда в подлунном мире
по своим ходить полянам,
боровинам Калевалы!

Шесть годков теперь ты плавай,
семь печальных лет качайся,
колыхайся восемь весен
на морских просторах пенных,
на волнах крутых, раздольных,
шесть годков — еловой чуркой,
семь годков — сосновым кряжем,
восемь — старою корягой!»

Тут он в избу возвратился,
дома мать его спросила:
«Неужель убил ты Вяйно,
Калевы большого сына[59]?»

Тут уж юный Йовкахайнен
матери своей ответил:
«Застрелил теперь я Вяйно,
погубил я калевальца,
море подметать отправил,
веником махать по волнам.
Бросил в самую пучину,
прямо в круговерть морскую,
пальцами он ткнулся в воду,
в волны бухнулся руками,
на бок повернулся в море,
на спину упал на волны.
Пусть его валы гоняют,
пенные мотают гребни!»

Мать на это отвечала:
«Плохо сделал ты, несчастный,
что убил ты старца Вяйно,

калевальца свел в могилу,
мужа Сувантолы славной,
красоту всей Калевалы!»
240 на ногу легка, проворна,
что ловка в своих движеньях».

Песнь седьмая

Много дней плавает Вяйнямёйнен в открытом море. Его увидел орел и в благодарность за то, что Вяйнямёйнен оставил расти для него березу среди пожога, взял его к себе на спину и отнес к берегу Похьелы. Вяйнямёйнена подбирает хозяйка Похьелы, приводит к себе домой и хорошо с ним обходится, стихи 1-274. — Вяйнямёйнен, однако, скучает по своим краям, и хозяйка Похьелы дает обещание не только отправить его домой, но и выдать за него свою дочку, если он выкует для Похьелы сампо, с. 275–322. — Вяйнямёйнен обещает послать к ней кузнеца Илмаринена, чтобы тот выковал сампо, и получает от хозяйки Похьелы и сани, и лошадь, чтобы поехать домой, с. 323–368.

Вековечный Вяйнямёйнен
по морским плывет просторам;
пнем качается еловым,
движется сосновым кряжем,
по волнам шесть дней кочует,
летних шесть ночей блуждает,
впереди — лишь зыбь морская,

позади — лишь свод небесный.

Так еще провел две ночи,
так два дня проплавал долгих.
Вот уже девятой ночью
через восемь дней, пожалуй,
стало тягостно бедняге,
тяжело, невыносимо —
на ногах исчезли ногти,
стерлись на руках суставы.

Вот тогда-то Вяйнямёйнен
произнес слова такие:
«Ах, какой я разнесчастный,
разнесчастный, горемычный,
зря родимый край покинул,
прежние места оставил,
чтоб в ненастье оказаться,
в море день и ночь качаться,
чтоб меня баюкал ветер,
бурные гоняли волны
по открытым этим водам,
по широкому простору.
Здесь мне зябко, неуютно,
тягостно, невыносимо
постоянно жить на волнах,
на морском хребте качаться.

И совсем мне неизвестно,
как мне быть и что мне делать
в этом возрасте преклонном,
в иссякающие годы:
на ветру ль свой дом поставить,
на воде ль срубить избушку?

На ветру свой дом поставлю,

ветер — зыбкая опора;
на воде срублю избушку —
унесет избу волною».

Вот летит из Лаппи[60] птица,
вот летит орел с восхода.
Не из самых он огромных,
птица не из самых малых.
Бил одним крылом по морю,
ударял другим по небу,
вод морских хвостом касался,
клювом колотил по лудам.

Полетал он, покружился,
осмотрелся, пригляделся —
Вяйнямёйнена приметил
на морском пространстве синем:
«Что ты делаешь средь моря,
как на волнах оказался?»

Вековечный Вяйнямёйнен
произнес слова такие:
«Вот что делаю средь моря,
как на волнах оказался:
ехал я за девой в Похью,
в Пиментолу — за невестой.

Ехал знай себе неспешно
по морской спокойной глади.
Вот в один из дней прекрасных,
спозаранок как-то утром
прибыл я к заливу Луото[61],
к устью Йовколы приехал —
подо мной коня убили,
самого убить хотели.

Вот я и свалился в воду,
пальцами уткнулся в волны,
чтоб меня баюкал ветер,
чтоб меня гоняли волны.

Тут дохнул северо-запад,
тут восток свирепо дунул,
далеко меня умчало,
унесло в просторы моря.
Много дней я здесь блуждаю,
много здесь ночей кочую
средь морских просторов вольных,
средь раздолья вод широких.
Я совсем теперь не знаю,
не догадываюсь даже,
что за смерть меня настигнет,
что за гибель будет раньше:
то ль умру голодной смертью,
то ли под водою сгину».

Тут сказала птица неба:
«Не горюй ты, не печалься,
заберись ко мне на спину,
стань у основанья перьев.
Подниму тебя из моря,
понесу, куда захочешь.
Помню времена былые,
лучший день припоминаю:
жег ты Калевы подсеку,
Осмолы валил дубравы,
дерево стоять оставил,
стройную одну березу,
где бы птицы отдыхали,
где б и мне местечко было».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
поднял голову из моря,

выбрался из вод глубоких,
из волны герой поднялся,
на крыло орла взобрался,
стал у основанья перьев.

Вот орел, небесный житель,
Вяйнямёйнена уносит
по стезе ветров небесных,
по дороге суховеев,
в дальние пределы Похьи,
в край туманной Сариолы[62].
Здесь орел оставил Вяйно,
сам поднялся в поднебесье.
Вот и плачет Вяйнямёйнен,
вот и плачет, и стенает
здесь, на берегу у моря,
тут, на месте безымянном,
на боках его — сто ссадин,
тыща — от ударов ветра,
бороденка потрепалась,
волосы свалялись в космы.
Две-три ночи здесь проплакал,
столько же и дней, несчастный:
он не знал, не ведал вовсе,
по какой пойти дороге,
чтоб домой к себе вернуться,
в край знакомый возвратиться,
в ту родимую сторонку,
в прежние места родные.
Похьи маленькая дева,
белокурая служанка,
так договорилась с солнцем,
с солнцем ясным и с луною:
вместе утром подниматься,
в то же время пробуждаться.
Пробудилась чуть пораньше,

до луны, до солнца встала,
до того, как крикнул кочет,
сын куриный кукарекнул.
Пять овец остричь успела,
шерсть шести уже скатала,
наткала сукна из шерсти,
из сукна одежд нашила,
прежде чем взошло светило,
до того, как солнце встало.
Длинные столы помыла,
подмела и пол широкий
голиком из тонких прутьев,
веником из свежих веток.
Замела метелкой мусор
в медный кузовок красивый,
понесла его за двери,
по двору пошла на поле,
к дальнему пределу нивы,
к изгороди самой крайней,
там она на мусор встала.
Вот прислушалась, вгляделась,
услыхала плач на море,
громкий ропот — за рекою.

Быстро к дому повернула,
в дом вошла без промедленья,
так сказала, появившись,
так, войдя, проговорила:
«Слышала я плач у моря,
громкий ропот — за рекою».
Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
выбежала на подворье,
подошла к своим воротам,
чутко уши навострила,
молвила слова такие:

«Этот плач — не плач ребенка,
этот плач — не жен стенанье,
так рыдают лишь герои,
с бородой мужчины ропщут».
Лодку на воду столкнула,
трехтесинную — на волны,
начала грести поспешно,
и гребет сама, и правит,
к Вяйнямёйнену стремится,
едет к плачущему мужу.
Плачет, стонет Вяйнямёйнен,
Уванто жених рыдает
у речушки ивняковой,
среди зарослей черемух,
ус дрожит, уста трясутся,
не дрожит лишь подбородок.
Молвила хозяйка Похьи,
изрекла слова такие:
«Ой-ой-ой, старик несчастный,
ты в края попал чужие!»
Вековечный Вяйнямёйнен
голову свою приподнял,
так сказал он, так промолвил:
«Сам уже давно я понял,
что попал в края чужие,
в незнакомые пределы.
Был я дома лучше многих,
на родной земле известней».
Ловхи, Похьелы хозяйка,
изрекла слова такие:
«Не позволишь ли спросить мне,
разузнать не разрешишь ли,
что за муж ты и откуда,
из каких героев будешь?»

Вековечный Вяйнямёйнен

так ответил, так промолвил:
«Называли меня прежде,
величали меня раньше
вечеров отрадой вечной
и певцом долины каждой
там, на Вяйнолы полянах,
на опушках Калевалы.
Кем теперь я стал, несчастный,
вряд ли сам об этом знаю».

Ловхи, Похьелы хозяйка,
изрекла слова такие:
«Поднимись, герой, из дола,
встань на новую дорогу,
мне печаль свою поведай,
расскажи о злоключеньях!»

Мужа умиротворила,
успокоила героя,
провела его до лодки,
на корму сопроводила.
Вот сама взялась за весла,
принялась грести усердно
в Похью, поперек теченья.
Гостя в избу проводила,

там героя накормила,
обогрела, обсушила,
долго Вяйно растирала,
мяла, ставила примочки,
наконец-то исцелила,
силы мужу возвратила.
Спрашивая, говорила,
говорила, вопрошала:
«Что ж ты плакал, Вяйнямёйнен,
причитал, Увантолайнен[63],

там, на самом гиблом месте,
возле моря на прибрежье?»

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так ответил:
«Есть причина, чтобы плакать,
повод — пребывать в печали.
Долго плавал я по морю,
разгребал руками волны
на морской открытой глади,
на раздолье вод широких.

Вечно буду горько плакать,
горевать все годы жизни,
что родной оставил берег,
из краев уплыл родимых
к этой двери незнакомой,
к этим чуждым мне воротам.
Ранят здесь меня деревья,
ветки хвойные кусают,
каждая сечет береза,
каждая ольха стегает.
Мне знаком здесь только ветер,
только солнце мне родное
в этих землях чужедальних,
у дверей, мне не знакомых».

Ловхи, Похьелы хозяйка,
говорит слова такие:
«Не печалься, Вяйнямёйнен,
не горюй, Увантолайнен,
будешь здесь ты жить прекрасно,
чувствовать себя вольготно:
ешь лосося прямо с блюда,
ешь свинины сколько хочешь».

Вековечный Вяйнямёйнен
сам сказал слова такие:
«Впрок нейдет еда чужая
даже в доме хлебосольном.
Муж в краю родимом лучше,
выше он в родимом доме.
Если б дал мне Милосердный,
коль дозволил бы Создатель
поскорей домой вернуться,
в край родимый возвратиться!
Лучше на земле родимой
из-под лаптя пить водицу,
чем в земле чужой, немилой
мед — из чаши золоченой».

Ловхи, Похьелы хозяйка,
слово молвила, сказала:
«Что ты дашь за то в награду,
коль тебя домой доставлю,
отвезу к родному полю,
на тропу к родимой бане?»
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Что ты у меня попросишь,
коль на родину доставишь,
отвезешь к родному полю,
где своя поет кукушка,
где свои щебечут птички?
Золота возьмешь ли меру,
шапку ль серебра попросишь?»

Ловхи, Похьелы хозяйка,
слово молвила, сказала:
«Ой ты, умный Вяйнямёйнен,
прорицатель вековечный,
мне ведь золота не надо,
серебра не надо вовсе:

золото — детей забава,
серебро — краса на сбруе.
Сможешь ли сковать мне сампо,
расписную крышку сделать
из конца пера лебедки,
молока коровы ялой,
из крупиночки ячменной,
из шерстиночки ягнячьей?
Я отдам тебе девицу,
дочь свою — за то в награду,
провожу в края родные,
где твои щебечут птицы,
где петух поет родимый, —
на межу родного поля».

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так ответил:
«Не смогу сковать я сампо,
расписную крышку сделать.
Отвези в края родные —

Илмаринена пришлю я,
выкует тебе он сампо,
смастерит любую крышку,
укротит твою девицу,
доченьку твою утешит.

Он кузнец у нас умелый,
он искуснейший кователь:
выковал когда-то небо,
крышку воздуха отстукал —
молота следов не видно,
не найти клещей отметин».

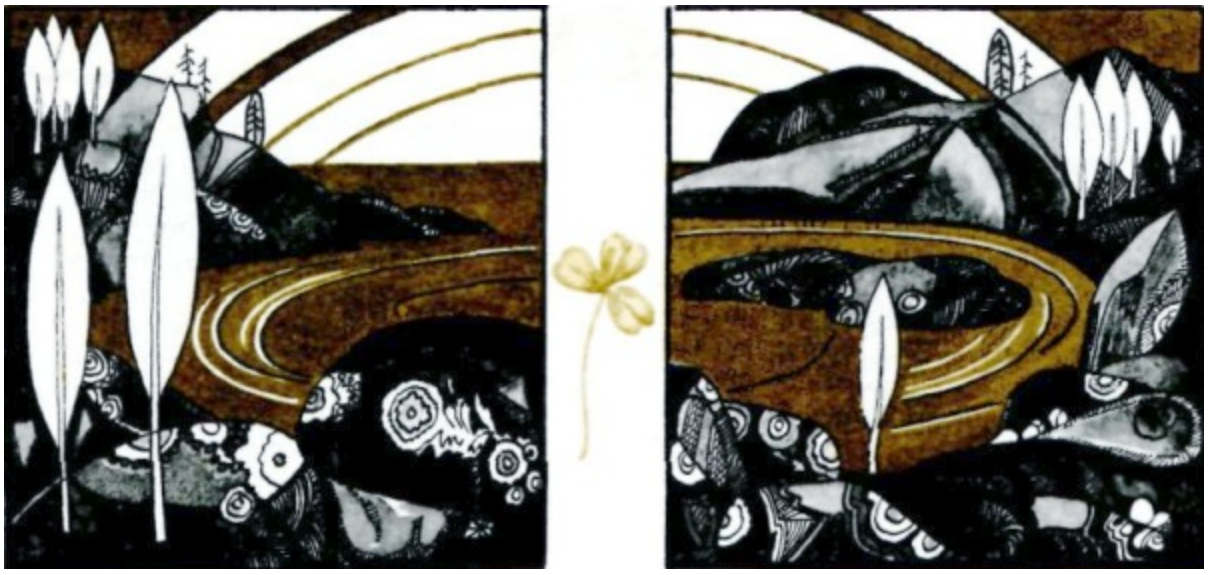
Ловхи, Похьелы хозяйка,
так ответила, сказала:

«Дочь тому я отдала бы,
поручила бы родную,
кто мне выковал бы сампо,
сделал крышку расписную
из конца пера лебедки,
молока коровы ялой,
из крупиночки ячменной,
из шерстиночки ягнячьей».

Запрягла гнедого в сани,
в расписные заложила,
до кошевки проводила,
усадила Вяйно в сани,
на прощанье так сказала,
молвила слова такие:
«Головы не задирай ты,
не смотри наверх, покуда
конь от бега не устанет
или вечер не наступит.
Если голову поднимешь,
если ты наверх посмотришь,
ждет тебя твоя погибель,
на тебя падет несчастье».

Вековечный Вяйнямёйнен
плеткою коня ударил,
в путь льногривого понудил.
Вот он едет, поспешает,
из владений темной Похьи,
из туманной Сариолы.

Песнь восьмая



По пути домой Вяйнямёйнен встречает красиво одетую деву Похьи, уговаривает ее стать ему женой, стихи 1-50. — Дева обещает принять предложение Вяйнямёйнена, если тот выстругает лодку из кусочков ее веретенца, спустит лодку на воду, не дотрагиваясь до нее, с. 51–132. — Вяйнямёйнен начинает тесать лодку, ранит колено топором и не может остановить кровь, с. 133–204. — Тогда он отправляется искать знахаря, находит старика, который готов остановить кровотечение, с. 205–282.

Та прекрасная девица —
слава Похьи, гордость моря —
на дуге сидит воздушной,
на небесном коромысле
в одеяниях опрятных,
в белых праздничных одеждах,
золотые ткет полотна,
ткет серебряные ткани,
золотом челнок сияет,
серебром сверкает бёрдо[64].

Челночок жужжит в пригоршне,
вертится в ладони шпулька,
слышен шорох медных нитей,
звон серебряного берда —
дева Похьи ткет полотна,
серебром их украшает.

Вековечный Вяйнямёйнен
едет-катится неспешно
из владений темной Похьи,
из туманной Сариолы.
Вот немного он проехал,
одолел пути чуточек,
услыхал жужжанье шпульки
в вышине над головою.

Глянул в небо Вяйнямёйнен,
посмотрел в простор небесный:
радуга сияет в небе,
на ее изгибе дева
ткет полотна золотые,
ткет серебряные ткани.
Вековечный Вяйнямёйнен
придержал коня гнедого,
произнес слова такие,
так заметил, так промолвил:
«Сядь со мною, дева, в сани,
опустись в мою кошевку».

Так ответила девица,
так промолвила, спросила:
«Для чего я сяду в сани,
для чего — в твою повозку?»

Вековечный Вяйнямёйнен
так ответил юной деве:

«Для того ты сядешь в сани,
для того — в мою повозку,
чтобы печь мне хлеб медовый,
доброе готовить пиво,
песни петь на каждой лавке,
быть отрадою в окошке,
в славных Вяйнолы жилищах,
на подворье Калевалы».

Так ответила девица,
так промолвила, сказала:
«Я ходила за марéной[65],
средь цветов резвилась желтых,
поздним вечером вчерашним,
перед солнечным закатом,
мне пичуга пела в роще,
дрозд насвистывал на пашне,
пел о волюшке девичьей,
распевал о бабьей доле.

Стала спрашивать у птицы,
узнавать у этой птахи:
«Ой ты, черный дрозд на пашне,
спой, сама хочу услышать,
у кого житье получше,
у кого приятней доля:
у девицы ль в отчем доме,
у невестки ль в доме мужа?»

Мне синица так пропела,
просвистел мне дрозд на пашне:
«Светлым день бывает летний,
доля девичья — светлее.
Лютое в мороз — железо,
доля женская — лютее.
Девушка в отцовском доме —

словно ягодка на горке,
женщина в жилище мужа —
словно на цепи собака.
Редко раб[66] находит ласку,
никогда вовек — невестка».

Вековечный Вяйнямёйнен
произнес слова такие:
«Пусты песенки синицы,
трель дрозда — совсем никчемна.
Дома девушка — ребенок,
взрослой станет возле мужа.
Сядь со мною, дева, в сани,
опустись в мою кошевку.
Я не из пустых героев,
я других мужчин не хуже».

Так ответила девица,
так промолвила, сказала:
«Назвала б тебя героем,
нарекла б тебя мужчиной,
если б волос вдоль разрезал
ножиком тупым, неострым,
завязал узлом яичко,
чтобы узел был не виден».

Вековечный Вяйнямёйнен
конский волос вдоль разрезал
ножиком тупым, неострым,
сталью, кончик потерявшей,
завязал узлом яичко
так что узел был не виден.
Пригласил девицу в сани,
в пóшевни[67] позвал красотку.

Дева так в ответ сказала:

«За тебя, быть может, выйду,
коль сдерешь ты с камня лыко,
изо льда жердей наколешь,
чтобы лед не разломался,
на куски не раскрошился».

Вековечный Вяйнямёйнен
сделал все, не растерялся:
он надрал из камня лыка,
изо льда жердей нарезал
так, что лед не разломался,
на куски не раскрошился.
Пригласил девицу в сани,
в пошевни позвал красотку.

Дева так в ответ сказала,
молвила слова такие:
«За того пошла бы замуж,
кто бы вытесал мне лодку
из кусочков веретенца[68],
из осколков льнотрепалки[69],
лодку на воду спустил бы,
новенький корабль — на волны,
не толкнув его коленом,
не задев его руками,
не коснувшись даже локтем,
не качнув его плечами».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:
«Не найдется в этом мире,
под воздушным этим сводом
корабельщика такого,
кто бы мог со мной сравниться».

Взял кусочки веретенца,

крошки пятки веретенной,
мастерить пустился лодку,
шить кораблик стодощатый
на стальной горе высокой,
на большой скале железной.

Стал тесать на спор ладейку,
похваляясь, — лодку строить.
День работал, два работал,
третий день уже трудился —
камня топором не тронул,
острым жалом не коснулся.

Вот на третий день однажды
Хийси дернул топорище,
лезвия коснулся Лемпо,
рукоять толкнул нечистый —
по скале топор ударил,
в камень лезвие попало,
отскочил топор от камня,
сталь вошла в живое тело
мужу славному — в колено,
в палец на ноге вонзилась.
Это Лемпо сталь направил,
Хийси подтолкнул на жилы.
Кровь потоком побежала,
потекла руда рекою.

Старый вещий Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
тут сказал слова такие,
тут повел такие речи:
«Ты, топор с носком горбатым, —
с ровным острием, секира —
думал ты, что ствол кусаешь,
думал, что сосну срубаешь,

ствол кондовый рассекаешь,
ствол березовый кромсаешь
в миг, когда вонзался в тело,
в миг, когда врезался в жилы?»

Начал сказывать заклятья,
заклинания святые.
До основ вещей добрался,
до последних слов заклятий,
слов лишь нескольких не вспомнил
из заклятия железа,
тех, что могут стать запором,
могут быть замком надежным,
коль раненье — от железа,
коль порез от синей стали.

Кровь меж тем текла рекою,
водопадом изливалась,
затопляла стебли ягод,
верещатник на полянах.
Не было вокруг ни кочки,
чтоб ее не затопило
пенистым потоком крови,
изливавшимся обильно
из колена старца Вяйно,
из пораненного пальца.

Вековечный Вяйнямёйнен
шерсти клок настриг с утеса,
мха принес с болотной топи,
кочку выдернул из почвы,
чтоб заткнуть дыру дрянную,
чтоб забить ворота злые:
это течь не унимает,
даже капельки не держит.

Стала боль невыносимой,
нестерпимой пытка стала.
Вековечный Вяйнямёйнен
от жестоких мук заплакал,
заложил коня в упряжку,
жеребца запряг в кошевку,
хорошо в санях уселся,
в расписных расположился.

Резвого ударил вицей,
щелкнул плеткою жемчужной[70].
Конь трусит, бежит дорога,
сани мчат, пути — все меньше.
Встретилась ему деревня,
три дороги повстречались.

Вековечный Вяйнямёйнен
едет нижнею дорогой,
к нижнему подъехал дому,
спрашивает за порогом:
«Есть ли в доме, кто излечит
злую рану от железа,
утолит страданья мужа,
исцелит мои увечья?»

На полу сидел ребенок,
мальчик маленький — у печки.
Он на это так ответил:
«Нету в доме, кто излечит
злую рану от железа,
утолит страданья мужа,
боль героя обуздает,
исцелит твои увечья.
Есть такой в соседнем доме,
отправляйся в дом соседний».

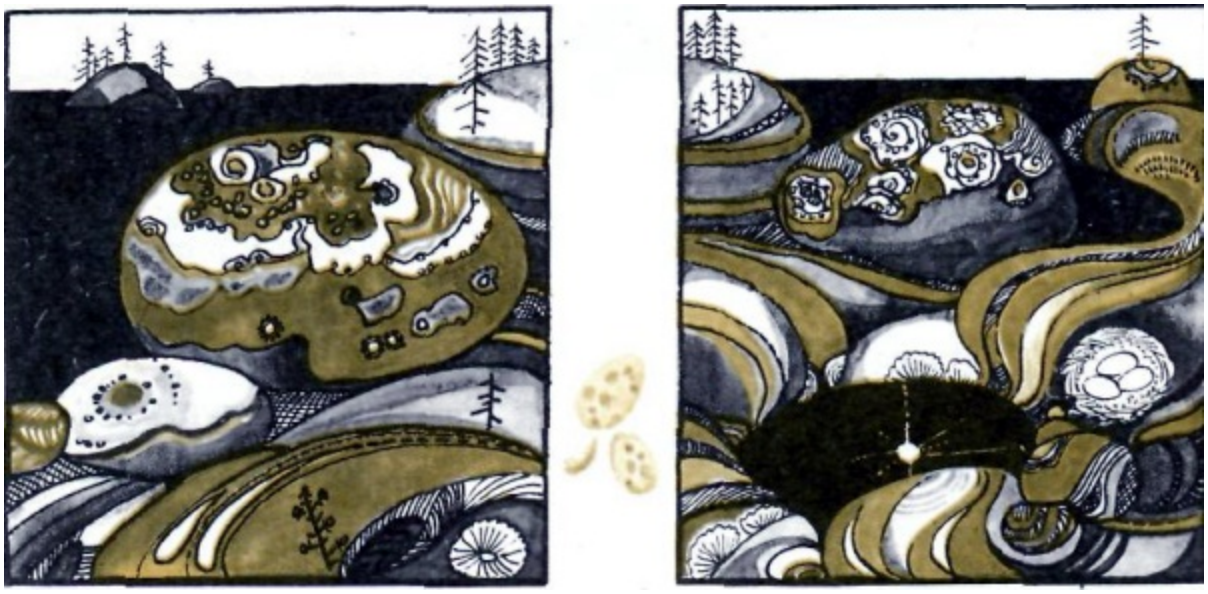
Вековечный Вяйнямёйнен
резвого ударил вицей,
снова едет-поспешает.
Вот еще чуть-чуть проехал,
прокатил дорогой средней,
к среднему подъехал дому.
Спрашивает за порогом,
под окошком вопрошает:
«Есть ли в доме, кто излечит
злую рану от железа,
усмирит жестокий ливень,
водопад уймет кровавый?»

Бабка там была у печки,
под накидкою — болтунья.
Так ответила старуха,
лязгнула тремя зубами:
«Нету в доме, кто излечит
злую рану от железа,
кто рожденье крови знает,
кто страданья утоляет.
Есть такой в соседнем доме,
отправляйся в дом соседний!»

Вековечный Вяйнямёйнен
резвого ударил вицей,
снова едет-поспешает.
Вот еще чуть-чуть проехал,
прокатил дорогой верхней,
к верхнему подъехал дому,
спрашивает за порогом,
под навесом вопрошает:
«Нет ли в доме, кто излечит
злую рану от железа,
усмирит поток кровавый,
излиянье черной крови?»

Там старик сидел на печке,
дед седой — под самой крышей.
Произнес седоволосый,
буркнул с печки бородатый:
«Посильнее течь смиряли,
помощнее — запирали
силою трех слов Господних,
знанием вещей начальных
устья рек, озер заливы,
жерла злобных водопадов,
бухты между берегами,
меж озерами — проливы».

Песнь девятая



Вяйнямёйнен рассказывает старцу о рождении железа, стихи 1-266. Старец проклинает железо и произносит заговор от кровотечения; кровь прекращает течь, с. 267–418. — Старец отправляет своего сына делать мази, смазывает и перевязывает рану. Вяйнямёйнен излечивается и благодарит Бога за помощь, с. 419–586.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
из своих саней поднялся,
сам поднялся, распрямился,
без подмоги, без поддержки.
Вот герой в жилище входит,
под навес, в избу вступает.

Вот серебряную кружку,
золотой кувшин приносят:
маловат кувшин огромный,
малой доли не вмещает
кровотока старца Вяйно,

благородного героя.

Буркнул с печки старец дряхлый,
проворчал седобородый:
«Что за муж ты и откуда,
из какого рода будешь?
Вытекло семь лодок крови,
восемь вылилось ушатов
из твоей ноги, бедняга,
на пол горницы просторной.
Помню все слова заклятья,
не могу начала вспомнить,
как железо зародилось,
ржа дрянная появилась!»
Вековечный Вяйнямёйнен
так промолвил, так ответил:
«Знаю сам, как сталь возникла,
как железо зародилось.
Воздух — это первоматерь,
влага — старшая сестрица,
младший брат ее — железо,
средний брат — огонь свирепый.

Укко, сам творец небесный,
сил воздушных повелитель,
воду отделил от неба,
от воды — земные тверди.
Не было еще железа,
сталь еще не нарождалась.

Укко, сам творец небесный,
о ладонь потер ладонью,
по руке рукой погладил
на своем колене левом.
Так три девы народились,
дочери самой природы,

три родительницы стали,
синеротого железа.

Шли, покачиваясь, девы,
краем облака ступали,
шли с набухшими грудями,
с наболевшими сосцами,
молоко текло на землю,
из сосочков проливалось
на поляны, на болота,
на спокойные озера.
Молоко, что было черным,
дева старшая давала,
молоко, что было белым,
дева средняя давала,
молоко, что было красным,
младшая давала дева.

Там, где черное струилось,
ковкое железо вышло;
там, где белое бежало,
сталь могучая возникла;
там, где красное точилось,
там чугун родился хрупкий.

Времени прошло немного.
Тут железу захотелось
повидаться с братом старшим,
с пламенем сойтись поближе.

Сделался огонь свирепым,
стало пламя непослушным,
чуть железо не спалило,
не сожгло родного брата.
Удалось уйти железу,
притаиться, схорониться

от огня свирепой пасти,
обжигающих объятий.

Спряталось тогда железо,
схоронилось, затаилось
посреди зыбучих топей,
в черных омутах трясины,
на хребтах болот огромных,
на вершинах плоскогорий,
там, где лебеди гнездятся,
серый гусь птенцов выводит.

В зыбунах лежит железо,
в жидкой грязи отдыхает.
Год лежало, два таилось,
вот и третий пролежало
меж двумя гнилыми пнями,
у подножья трех березок.
Тщетно пряталось железо,
зря из рук огня бежало:
вновь пришлось к огню явиться,
посетить его жилище,
чтобы стать клинком каленым,
сделаться мечом могучим.

Волк бежал болотом ржавым,
бором брел медведь косматый.
Проминалась топь под волком,
бор песчаный — под медведем:
ржа из глуби поднималась,
лезло шильями железо
из следов глубоких волчьих,
из больших следов медвежьих.

Вот родился Илмаринен,
вот родился, вот и вырос,
там, где уголь выжигают,

где поляна углежогов.
Подрастал с кувалдой медной,
с маленькими рос клещами.
Ночью Илмари родился,
днем уже построил кузню.
Стал искать для кузни место,
для своих мехов — участок.
Увидал он край болотца,
влажную полоску суши,
посмотреть пошел поближе,
разглядеть получше место:
тут мехи он и поставил,
тут и разместил горнило.
На следы наткнулся волчьи,
на следы напал медвежьи,
увидал шипы железа,
синие наросты стали
в тех следах глубоких волчьих,
в тех больших следах медвежьих.
Молвил он слова такие:
«Ой ты, жалкое железо,
до чего же ты ужасно,
до чего же неприглядно
на болоте в волчьем следе,
в рытвинах от ног медвежьих».
Сам гадает, размышляет:
«Что получится, что выйдет,
коль железо сунуть в пламя,
положить в огонь горнила?»
В страхе вздрогнуло железо,
ужаснулось, испугалось,
как напомнили про пламя,
про огонь сказали слово.
Так промолвил Илмаринен:
«Ты ничуть не беспокойся!
Своего огонь не тронет,

он родни губить не станет.
Как придешь к нему в жилище,
попадешь к огню в объятья,
сразу же похорошеешь,
станешь мощным, станешь прочным,
будешь для мужей мечами,
украшеньями для женщин».
С той поры, с тех дней далеких
из болот берут железо,
добывают в зыбкой хляби,
к кузнецу приносят в кузню.

Вот руду принес кователь,
положил ее в горнило,
раз качнул кузнец мехами,
два качнул, качнул и третий:
тут расплавилось железо,
поднялось, набухло шлаком,
расплылось пшеничным тестом,
поднялось ржаным замесом
средь кузнечного горнила,
в жарких огненных объятьях.

Тут железо закричало:
«Ой, кователь Илмаринен,
ты возьми меня отсюда,
вытащи скорей из пекла!»

Слово молвил Илмаринен:
«Коль возьму тебя оттуда,
можешь ты ожесточиться,
озлобиться, разъяриться,
брата своего порезать,
ранить матери сыночка».

Тут железо дало клятву,
кузнецу пообещало

на огне, на наковальне,
под ударами кувалды.
Молвило слова такие,
речь такую говорило:
«Есть деревья, чтобы резать,
камень — выгрызать середку,
чтоб на брата не бросаться,
сына матери не ранить.
Лучше будет мне намного,
будет мне куда приятней
стать для путника собратом,
для прохожего — оружьем,
чем родных и близких резать,
чем родню свою позорить».

Вот тогда-то Илмаринен,
тот кователь вековечный,
из огня извлек железо,
положил на наковальню,
сделал мягким, сделал ковким,
сделал режущим и острым:
копьями и топорами
и орудьями другими.

Лишь чего-то не хватало,
был еще изъян в железе:
мягковат язык железа,
не родился зуб у стали.
Твердость не придет к железу,
коль не закалишь в купели.

Тут кователь Илмаринен
сам об этом поразмыслил,
растворил золы немного,
едкий щелок приготовил
для закаливанья стали,

упрочения железа.
На язык берет он щелок,
пробует и размышляет,
говорит слова такие:
«Щелок этот непригоден
для закаливанья стали,
упрочения железа».
Тут пчела с земли взлетела,
синекрылая — с пригорка,
полетала, покружила,
возле кузни пожужжала.
Вымолвил тогда кователь:
«Пчелка, легкий человечек,
принеси на крыльях меда,
притащи во рту напитка
с венчиков шести цветочков,
с кончиков семи былинок
для созданья прочной стали,
упрочения железа».

Злобный шершень, птичка Хийси,
озирается, внимает,
смотрит зорко с края крыши,
из-под кровельной бересты,
как железо закаляют,
как умело сталь готовят.
Прилетел с жужжаньем шершень,
кинул всяких зелий Хийси,
бросил яды змей различных,
выделенья черных гадов,
муравьиного настоя,
тайных соков лягушачьих
в жидкость для закалки стали,
упрочения железа.
Тут кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,

так размыслил, так прикинул:
это пчелка прилетела,
птичка с медом возвратилась,
принесла напиток сладкий.
Вымолвил слова такие:
«Вот теперь пригоден щелок
для закаливанья стали,
упрочения железа!»
Быстро сунул сталь в напиток,
окунул в состав железо,
вынутое из горнила,
раскаленное средь жара.

От того рассвирепело,
в бешенство пришло железо —
съело собственную клятву,
честь сожрало, как собака,
даже брата порубило,
родственника искусало,
кровь заставило струиться,
красную — бежать ручьями».

Пробурчал старик на печке,
бородой тряхнул, прибавил:
«Вот узнал рожденье стали,
понял все его привычки.

Ой ты, жалкое железо,
ты, окалина дрянная,
сталь, волшебных сил начальных!
Отчего таким ты стало,
отчего разбушевалось?
Может, выросло великим?

Не было таким великим,
ни великим и ни малым,
не было высокородным,

вовсе не было свирепым,
молоком когда лежало,
молоком парным томилось
за сосцами юной девы,
в персях девушки прекрасной
там у края длинной тучи,
там под ровным небосводом.

Не было таким великим,
ни великим и ни малым
в дни, когда лежало грязью,
чистою водой стояло
посреди больших болотин,
на суровых плоскогорьях,
там ты в тину превратилось,
стало ржавою землею.
Не было еще великим,
ни великим и ни малым
в дни, когда тебя топтали,
в топях — лось, олень — в болоте,
волк месил тебя когтями,
попирал медведь ногами.

Не было еще великим,
ни великим и ни малым,
в дни, когда в болоте брали,
черпали из жидкой тины,
к кузнецу носили в кузню,
к Илмаринену — в горнило.

Не было еще великим,
ни великим и ни малым
в дни, когда вздувалось шлаком,
жгучей жижею лежало
в пекле жаркого горнила.
Клятву твердую давало

на огне, на наковальне,
под звенящею кувалдой,
в жаркой кузне возле горна,
где кузнец кует железо.

Отчего ж великим стало,
почему же обозлилось,
не сдержало твердой клятвы,
как собака, честь сожрало,
ранило родного брата,
родственника искусало?

Кто толкнул на злодеянье,
научил дурному делу?
Мать-отец ли научили,
или, может, старший братец,
или младшая сестрица,
или родичи иные?

Нет, не мать-отец учили,
и совсем не старший братец,
и не младшая сестрица,
и не родичи иные.
Бед само ты натворило,
смертному ты навредило.
Глянь-ка на свою работу,
зло свое исправь скорее —
или матери скажу я,
сообщу отцу родному.
Будет матери обидно,
ей прибавится печалей,
если сын поступит дурно,
совершит дитя злодейство.

Прекрати же, кровь, струиться,
перестань, руда, сочиться,

на меня ты, кровь, не брызгай,
не хлещи на грудь героя.
Как стена, замри на месте,
стой, как крепкая ограда,
стой, как меч-трава на море,
как осока средь болота,
как валун у края поля,
словно камень средь порога.

Если же струиться хочешь,
побыстрей бежать желаешь,
двигайся тогда по жилам,
по костям скользи быстрее,
будет там тебе приятней,
поудобней — под покровом.
Лучше двигаться по жилам,
лучше по костям струиться,
чем на землю течь впустую,
проливаться в пыль земную.

Молоко, на луг не лейся,
кровь невинная — на почву,
красная руда — на травы,
в землю — золото героев.
Ведь твое жилище — в сердце,
там, под легкими, твой погреб,
уходи туда скорее,
убегай туда проворней.
Ты не речка — вдаль стремиться,
ты не ламба — разливаться,
ты не ключ болотный — булькать,
протекать — не челн дырявый.
Кровь бесценная, не капай,
красная руда, не лейся!
Захлебнись, поток, заглохни!
Ведь заглох порог на Турье,

Туонелы река зачахла,
море ссохлось, небо ссохлось
в то засушливое лето,
в год неслыханных пожаров.

Коли так не подчинишься,
есть приемы и другие,
есть и способы иные:
попрошу котел из Хийси,
чтобы кровь сварить мужскую,
красную руду героя,
чтоб не уронить ни капли,
не пролить на землю крови,
красной не плеснуть на почву,
по земле не дать струиться.

Коли нет во мне героя,
нету мужа в сыне Укко,
чтоб унять теченье крови,
перекрыть поток из жилы,
есть еще отец небесный,
Бог, над тучами живущий,
что превыше всех героев,
всех мужей сильней на свете,
он уймет теченье крови,
запрудит поток кровавый.

«О, творец верховный Укко,
Юмала, наш бог небесный,
приходи в беде на помощь,
появись на зов героя!
Ты закрой десницей рану,
надави могучим пальцем,
вставь в отверстие затычкой,
латкой — на дыру дурную.
Наложи листок любовный[71],

золотой цветок кувшинки,
запруди кровотеченье,
перекрой поток кровавый,
чтоб на бороду не брызгал,
не струился на одежду!»

Так закрыл потока устье,
запрудил теченье крови.

Сына в кузницу отправил,
чтобы мазей наготовил,
заварив тысячелистник,
взяв верхушек трав пахучих,
тех, что сйму[72] источают,
медом землю окропляют.
Вот пошел мальчишка в кузню,
чтобы мазей наготовить.
Дуб ему в пути попался,
спрашивает так у дуба:
«Есть ли мед на этих ветках,
под корой — напиток сладкий?»

Дуб на это отвечает:
«Днем минувшим, днем вчерашним
мед на ветки с неба капал,
тек напиток на вершину
с дождевых небесных тучек,
с облаков, летящих быстро».

Он набрал дубовых щепок,
древа хрупкого осколков,
всяких трав собрал лечебных,
стебельков разнообразных,
что растут у нас не всюду,
не везде произрастают.
На огонь горшок поставил,

варево кипеть приладил,
полное коры дубовой,
добрых трав разнообразных.

Бурно варево кипело,
все три ночи клокотало,
три весенних дня варилось.
Стал испытывать лекарство,
пробовать, готовы ль мази,
действенно ли это зелье.

Не готовы были мази,
не надежно было зелье.
Трав еще в горшок добавил,
всевозможных разноцветий,
привезенных издалека,
из-за сотен переходов,
от восьми волхвов чудесных,
девяти шаманов добрых.

Поварил еще три ночи,
целых девять поготовил.
Вот горшок с огня снимает,
вот он смотрит, проверяет,
пробует, готовы ль мази,
действенно ли это зелье.

Разветвленная осина
на меже полей стояла.
Разломал ее нечистый,
расщепил на половинки —
их намазал этой мазью,
их натер он этим средством.
Сам сказал слова такие:
«Если есть в лекарстве этом
сила действия на раны,

на увечья, на ушибы,
пусть осина целой станет,
будет прежнего прочнее!»

Вот осина стала целой,
стала прежнего прочнее,
стала вся снаружи гладкой,
изнутри — совсем здоровой.

Испытал он мази снова,
снадобье опять проверил:
в камне трещину намазал,
щель — в расколотом утесе.
Прилепился камень к камню,
прочно склеились обломки.

Вышел тут сынок из кузни,
где варил для раны зелье,
добрые готовил мази,
передал лекарство старцу:
«Вот надежное лекарство,
чудодейственное зелье,
даже скалы может склеить,
накрепко скрепить утесы».

Языком проверил старец,
взял медовыми устами,
снадобье признал отменным,
посчитал надежным зелье.

Вот помазал раны Вяйно,
полечил больного мужа:
мазал снизу, мазал сверху,
раз мазнул и посередке.
Сам сказал слова такие,
произнес такие речи:
«Не в своей хожу я плоти,

я хожу во плоти Бога,
не своею силой движусь,
двигаюсь всевышней волей,
не своим я ртом вещаю,
говорю Творца устами.
Благозвучны мои речи,
речи Бога благозвучней;
у меня рука красива,
Господа рука прекрасней».

Лишь помазал этой мазью,
окропил немного зельем,
Вяйнямёйнена скрутило,
без сознания свалило,
в муках мечется, страдает,
не находит места Вяйно.

Старец боли заклинает,
гонит страшные мученья
на большую Гору болей,
на высокий холм Страданий,
чтобы там терзались камни,
скалы корчились от болей.

Размотал он тюк из шелка,
на полоски шелк разрезал,
на бинты его разделал —
так повязок наготовил.
Обвязал он этим шелком,
обмотал красивой тканью
рану на колене Вяйно,
пальцы на ноге героя.

Сам слова такие молвил,
произнес он речь такую:
«Божий шелк повязкой будет,

божья полость — покрывалом
на колене этом славном,
на ноге, на крепких пальцах!
Ты присматривай, Создатель,
охраняй, великий Боже,
чтоб не стала рана хуже,
чтобы вновь не заболела!»

Вот уж старый Вяйнямёйнен
облегченье обретает,
выздоравливает вскоре,
стал он весь снаружи гладким,
изнутри совсем здоровым,
никаких в середке болей,
никаких изъянов сверху,
никаких рубцов снаружи.
Лучше стало все, чем было,
стало прежнего прочнее.
Вот уже нога ступает,
вот уже колено гнется,
не болит совсем раненье,
не саднит ушиб нисколько.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
обратил свой взор на небо,
посмотрел с благоговеньем
в небеса над головою.
Сам такое слово молвил,
произнес он речь такую:
«Милость нам всегда — оттуда,
лишь оттуда нам защита,
от небес высоких этих,
от всезнающего Бога.

Славен будь, Творец всесильный,
возвеличен, Бог небесный,

что принес мне облегченье,
дал надежную защиту,
утолил мои страданья,
причиненные железом!»

Вековечный Вяйнямёйнен
к этому еще прибавил:
«Люди, возрастом постарше,
молодой народ растущий,
вы на спор не стройте лодки,
не бахвальтесь, начиная!
Богу лишь исход известен,
лишь Творцу итог подвластен,
мастера уменья — мало,
даже мастера большого!»

Песнь десятая

Вяйнямёйнен прибывает домой и уговаривает Илмаринена отправиться сватать за себя деву Похьи, которую он смог бы заполучить, выковав сампо, стихи 1-100. Илмаринен обещает никогда в жизни не ездить в Похьелу, поэтому Вяйнямёйнен вынужден с помощью своего могущества отправить его в путь против воли, с. 101–200. — Илмаринен прибывает в Похьелу, там его хорошо принимают и отправляют ковать сампо, с. 201–280. — Илмаринен выковывает сампо, и хозяйка Похьелы запирает сампо в каменной горе Похьелы, с. 281–432. — Илмаринен просит выдать за него девушку в награду за труд. Девушка выдумывает различные отговорки и заявляет, что еще не может оставить своего дома, с. 433–462. — Илмаринену дают лодку, он возвращается домой и сообщает Вяйнямёйнену, что выковал для Похьелы сампо, с. 463–510.

Вековечный Вяйнямёйнен
жеребца поймал гнедого,
заложил коня в повозку,
рыжего завел в оглобли.
Сам устроился удобно,

в санках ладно разместился.

Резвого ударил вицей,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Скачет конь, бежит дорога,
далеко вокруг несется
стук березовых полозьев,
дуг рябиновых скрипенье.

Едет шумно, поспешает,
по болотам, по равнинам,
по большим опушкам леса.
Едет день, второй уж едет,
лишь на третий день однажды
к длинному мосту подъехал,
к боровине Калевалы,
к пажитям широким Осмо.

Тут слова такие молвил,
произнес такие речи:
«Волк, волхва сожри дурного,
злая хворь, убей лапландца.
Он стращал — не быть мне дома,
говорил — не видеть больше
никогда на этом свете,
под луной ночной — ни разу
Вяйнолы полян родимых,
Калевалы нив прекрасных».

Принялся тут Вяйнямёйнен
петь заклятья, петь искусно,
ель напел с цветущей кроной,
древо с хвоей золотою:
ель взнеслась вершиной в небо,
тучу маковкой пронзила,
ветки в небе распрямила,
широко их распростерла.

Он волхвует, заклинает,
поднимает песней месяц
на вершину золотую,
Семизвездицу — на ветку.

Едет дальше, поспешает,
к дому милому стремится,
в думе горестной, в печали,
в шлеме, скорбно наклоненном;
он ведь Илмари запродал,
кузнеца отдать поклялся
за спасенье из неволи,
избавление из плена,
в Похьелу, обитель ночи,
в Сариолу, край тумана.

Жеребец остановился,
стал у новой нивы Осмо.
Тут уж старый Вяйнямёйнен
из своих саней поднялся:
он услышал стук из кузни,
звяканье — из дома углей.

Вековечный Вяйнямёйнен
поспешил скорее в кузню.
Там кователь Илмаринен
молотом стучал проворно.
Спрашивает Илмаринен:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
где ты пребывал так долго,
где все время обретался?»

Вековечный Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Там я пребывал так долго,

там все время обретался —
в темной Похьеле суровой,
в вечно мрачной Сариоле,
там ходил по тропам Лаппи,
по владеньям чародеев».

Тут кователь Илмаринен
так сказал, такое молвил:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель!
Что о странствиях расскажешь,
возвратясь к родным жилищам?»

Молвит старый Вяйнямёйнен:
Много есть, о чем поведать:
в Похьеле живет невеста,
в ледяной деревне — дева,
женихов не принимает,
самых лучших отвергает.
Хвалит девушку пол-Похьи,
красоту ее возносит:
на бровях сияет месяц,
на груди сверкает солнце,
на ключицах — Отавайнен,
на лопатках — Семизвездье.

Поезжай-ка, Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,
добывать себе невесту,
выбирать себе подругу!
Если сможешь сделать сампо,
расписать узором крышку,
девушку дадут в награду,
за труды твои — невесту!»

Илмаринен так ответил:

«Ой ты, старый Вяйнямёйнен!
Неужели посулил ты
в Похьелу меня отправить
за свое освобожденье,
за спасение из плена?
Никогда в теченье жизни,
свет пока сияет лунный,
не пойду к жилищам Похьи,
к избам мрачной Сариолы,
в землю, что мужей глотает,
что героев пожирает».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Есть еще второе чудо:
ель с вершиною цветущей,
древо с хвоей золотою
на краю поляны Осмо.
На вершине ели — месяц,
Семизвездица — на ветках».

Отвечает Илмаринен:
«Ни за что я не поверю,
сам покуда не узнаю,
сам воочью не увижу».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Если мне совсем не веришь,
что ж, пойдем посмотрим вместе:
правда это или враки!»

Посмотреть пошли герои
ель с вершиною цветущей,
вековечный Вяйнямёйнен,
с ним — искусный Илмаринен.
Подошли неспешно к ели
на краю поляны Осмо.

Вот стоит кузнец у ели,
чудо-дереву дивится:
там Медведица — на ветках,
месяц на вершине самой.

Молвит старый Вяйнямёйнен,
говорит слова такие:
«Поднимись, кузнец, на елку,
чтобы снять с вершины месяц,
взять Медведицу Большую
с чудо-ели златохвойной!»

Тут кователь Илмаринен
высоко залез на елку,
вверх вскарабкался до неба,
чтоб достать с макушки месяц,
взять Медведицу с вершины,
с чудо-ели златохвойной.

Молвит ель с цветущей кроной,
дерево с густой вершиной:
«Ой ты, муж какой неумный,
богатырь какой ты странный,
влез на елку, бестолковый,
неразумный — на вершину,
чтобы снять поддельный месяц,
звезды ложные похитить».

Вековечный Вяйнямёйнен
начал петь заклятья тихо:
ветер вихрем дуть заставил,
бурей бушевать принудил.
Сам сказал слова такие,
произнес такие речи:
«Ветер, в челн возьми героя,
суховей весенний, — в лодку,

чтоб быстрей доставить мужа
в темные пределы Похьи!»

Ветер вихрем закрутился,
бушевать принялся воздух,
Илмаринена приподнял,
подхватил, понес по небу
в темные пределы Похьи,
в земли мрачной Сариолы.

Быстро мчался Илмаринен,
быстро мчался, несся лихо,
ехал по дорогам ветра,
по путям весенних вихрей,
над луною, ниже солнца,
над Медведицей Большою,
в Похьелу, во двор примчался,
в Сариолу, прямо к бане,
даже псы не услыхали,
не учуяли собаки.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
на своем дворе стояла,
у пришельца так спросила:
«Из каких мужей ты родом,
из каких героев будешь?
Прилетел дорогой ветра,
вихря санным первопутком —
даже псы не услыхали,
не облаяли собаки!»

Вымолвил в ответ кователь:
«Не за тем сюда и прибыл,
чтобы лаяли собаки,
шерстохвостые ярились
под неведомою дверью,

под воротами чужими».

Тут уж Похьелы хозяйка
у пришедшего спросила:
«Ты знаком ли, гость
 нездешний,
доводилось ли встречаться
с этим Илмари искусным,
с кузнецом мастеровитым?
Мы его уж поджидаем,
мы давным-давно желаем,
чтобы в Похьелу приехал,
новое сковал нам сампо».

Тут кователь Илмаринен
молвит слово, изрекает:
«С ним знаком, я с ним встречался,
с этим Илмари искусным,
если сам я Илмаринен,
тот кузнец мастеровитый».

Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
быстро в избу забежала,
молвила слова такие:
Доченька моя меньшая,
милая моя, родная!
Лучшие надень наряды,
праздничные одеянья,
с кружевным подолом юбку,
с пышною каймою платье,
бусы дивные — на шею,
на виски надень подвески,
нарумянь поярче щечки,
личико покрой багрянцем!
Илмаринен прибыл в Похью,

славный мастер вековечный,
чтобы выковать нам сампо,
расписать узорный купол[73]».

Похьи юная девица,
диво суши, слава моря,
лучшие взяла наряды,
праздничные одеянья.
Облачилась, нарядилась,
украшения надела,
медные взяла обвязки,
золотые опояски.
По двору прошла красиво,
легким шагом — из амбара.
Взором стала веселее,
с виду — выше и стройнее,
личиком — еще прекрасней,
щечками — еще румяней,
золотом вся грудь сияет,
серебром чело сверкает.

Тут уж Похьелы хозяйка
кузнеца сама проводит
в эти Похьелы жилища,
в те хоромы Сариолы.
Сытно гостя накормила,
вволю гостя напоила,
угостила мужа славно,
так затем заговорила:

«Ой, кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных!
Сможешь ли сковать мне сампо,
сделать крышку расписную,
из конца пера лебедки,
молока коровы ялой,

из зерниночки ячменной,
из пушинки летней ярки?
Дам тебе за труд девицу,
дочь красивую — в награду».

Тут кователь Илмаринен
так сказал, такое молвил:
«Сампо я сковать сумею,
сделать крышку расписную,
из конца пера лебедки,
молока коровы ялой,
из зерниночки ячменной,
из пушинки летней ярки.
Я ковал и свод небесный,
купол мастерил воздушный
без начальных заготовок,
без исходного припаса.

Мастерить пошел он сампо,
делать крышку расписную.
Кузню спрашивает мастер,
ищет инструмент кузнечный.
Нет здесь кузни и в помине,
нет ни кузни, нет ни горна,
ни мехов, ни наковальни,
даже ручки от кувалды.
Тут кователь Илмаринен
так сказал, такое молвил:
«Пусть раздумывают бабы,
трусы пусть бросают дело,
но не муж, хоть из последних,
не герой, хоть из сонливых!»

Для горнила ищет место,
для мехов своих — пространство
в тех краях, на землях Похьи,

на межах полей просторных.

День искал, второй старался,
наконец, уже на третий
повстречал узорный камень,
увидал утес могучий.
Тут кузнец остановился,
тут развел огонь кователь.
В первый день мехи поставил,
во второй — очаг построил.

Вот кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
опустил в огонь припасы,
положил поковки в пламя.
Он к мехам рабов поставил,
самых сильных — у горнила.

Вот рабы вовсю качают.
пламя сильно раздувают.
Так три летних дня трудились,
так три ночи хлопотали —
скалы выросли на пятках,
между пальцами — каменья.

Вот уж в первый день работы
сам кователь Илмаринен
наклонился, пригляделся,
посмотрел на дно горнила:
что из пламени выходит,
появляется из горна?

Лук из пламени выходит,
золотой встает из пекла,
золотой, концы из меди,
серебром приклад сверкает.

Самострел прекрасен с виду,
лишь с повадками дурными:
что ни день, то жертвы просит,
в день иной берет и по две.
Сам кователь Илмаринен
не возрадовался луку,
разломал дугу на части,
лук обратно в пламя бросил.
Вновь к мехам рабов поставил,
самых сильных — у горнила.

День еще один проходит.
Сам кователь Илмаринен
наклонился, пригляделся,
посмотрел на дно горнила:
челн из пламени выходит,
лодка красная — из пекла,
нос из золота у лодки,
все уключины — из меди.

Хороша по виду лодка,
лишь с повадками дурными:
без нужды стремится в битву,
без причины рвется в драку.

Сам кователь Илмаринен
не обрадовался лодке:
разломал челнок на части,
в пламя выбросил обломки.
Вновь к мехам рабов поставил,
батракам велел работать.

Вот на третий день работы
сам кователь Илмаринен
наклонился, пригляделся,
посмотрел на дно горнила:

нетель из огня выходит,
златорогая — из пекла,
звездочка во лбу сверкает,
меж рогов — клубочек солнца.

Хороша по виду нетель,
лишь с повадками дурными:
по лесам бы все валялась,
молоко сливала б в землю.

Сам кователь Илмаринен
не обрадовался телке,
на куски ее порезал,
выбросил в горнило нетель.
Вновь к мехам рабов поставил,
батракам велел работать.

На четвертый день работы
сам кователь Илмаринен
наклонился, пригляделся,
посмотрел на дно горнила:
плуг из пламени выходит,
лемех золотой — из пекла,
нож из золота у плуга,
ручки кованы из меди.

Плуг прекрасен этот с виду,
лишь с повадками дурными:
бороздит поля чужие,
перепахивает пожни.

Сам кователь Илмаринен
не обрадовался плугу:
разломал его на части,
выбросил обратно в пламя.

Ветры дуть кузнец заставил,

вихри буйные — трудиться.

Ветры пламя раздували,
дул восток, старался запад,
395 юг еще сильней трудился,
север яростней работал.
Ветры пламя раздували,
дули день, другой и третий.
Из окна валило пламя,
400 искры из дверей летели,
сажа к небу поднималась,
черный дым сгущался в тучи.

Сам кователь Илмаринен
уж на третий день работы
405 наклонился, пригляделся,
посмотрел на дно горнила.
Видит — сампо вырастает,
всходит крышка расписная.

Сам кователь Илмаринен,
410 славный мастер вековечный,
принялся ковать усердно,
бить кувалдою упорно.
Выковал искусно сампо:
сделал сбоку мукомолку,
415 со второго — солемолку,
с третьего же — деньгомолку.

Новое уж мелет сампо,
крутится узорный купол.
Мелет в сумерках за вечер
420 полный за́кром[74] для питанья,
полный закром для продажи,
третий закром — для припасов.

Счастлива хозяйка Похьи,

унесла большое сампо
в каменную гору Похьи,
в глубь огромной вары медной,
за девять замков железных,
запустила корни сампо
в глубину на девять сажен,
в землю-мать внедрила корень,
в водоверть другой вонзила,
третий — в гору возле дома.

Тут кователь Илмаринен
попросил отдать невесту.
Так сказал, такое молвил:
«Выдадут ли мне девицу?
Ваше сампо уж готово,
купол ваш узорный сделан».

Похьелы красотка дева
так на это отвечала:
Кто же в будущие годы,
кто же здесь на третье лето
петь кукушечек заставит,
куковать — красивых пташек,
если я уйду отсюда,
укачусь в края чужие.

Если б курочка исчезла,
если бы пропал гусенок,
укатилась прочь брусничка,
матери своей дочурка, —
все пропали бы кукушки,
все бы пташки улетели
с дорогих угоров этих,
с золотых вершин родимых.

Да и некогда девице:

не могу же я оставить
девичьи свои заботы,
летние свои занятья.
Ягодки собрать мне надо,
обежать все бережочки,
с песней звонкой — все поляны,
рощи — с девичьей забавой».

Тут кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
опечалился, поникнул,
хмуро голову повесил —
думу думает, гадает,
об одном лишь размышляет,
как домой ему добраться,
как попасть в края родные
из чужой, из темной Похьи,
из туманной Сариолы.

Говорит хозяйка Похьи:
«Ой, кователь Илмаринен,
отчего, скажи, печален,
что ты голову повесил?
Не домой ли захотелось,
не в края ль свои родные?»

Так ответил Илмаринен:
«В край родной мне захотелось,
чтобы там свой век закончить,
на земле почить родимой».

Тут уж Похьелы хозяйка
и поит, и кормит мужа,
садит на корму героя,
в лодку — к медному кормилу,
ветру веять наказала,
северному дуть велела.

Тут кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
поспешил в края родные,
через море в путь пустился.
Ехал день, второй проехал,
наконец уже на третий
возвратился в край родимый,
на знакомую сторонку.

Молвит старый Вяйнямёйнен,
спрашивает, вопрошает:
«Брат, кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
новое сковал ли сампо,
сделал ли узорный купол?»

Так промолвил Илмаринен,
так сказал искусный мастер:
«Сампо новое уж мелет,
крутится узорный купол,
мелет в сумерках за вечер
полный закром для питанья,
полный закром для продажи,
полный закром для припасов».

Песнь одиннадцатая

Лемминкяйнен отправляется в знаменитый род Сари, чтобы сосватать за себя красавицу Кюлликки, стихи 1-110. Девушки Сари вначале насмехаются над ним, но вскоре знакомятся с Лемминкяйненом очень близко, с. 111–156. — Только дева Кюлликки, ради которой он прибыл на остров, остается недоступной, поэтому Лемминкяйнен похищает ее, насильно сажает в сани и отправляется в обратный путь, с. 157–222. — Кюлликки плачет, сетует на воинственность Лемминкяйнена. Тот обещает ей, что никогда не пойдет на войну, если она не будет бегать по соседям, и они оба дают клятву сдержать свои обещания, с. 223–314. — Мать Лемминкяйнена очарована молодой невесткой, с. 315–402.

Время рассказать про Ахти[75],
про беспечного задиру.
Этот Ахти Сарелайнен[76],
сын веселый рода Лемпи[77],
[5] вырос в доме знаменитом,
в холе матери любимой,
в доме за широкой бухтой,

у залива Кавконьеми.

Там на рыбе вырос Кавко,
там был вскормлен окунями,
мужем видным стал собою,
стройным парнем краснощеким,
стал со всех сторон красивым,
стал по всем статьям пригожим.
Лишь одна имелась порча,
лишь один изъян — в привычках:
все вертелся возле женщин,
по ночам ходил к красоткам,
с дéвицами веселился,
с длиннокосыми резвился.
Кюлликки[78] жила на Сари[79],
острова цветок прекрасный,
в доме выросла высоком,
поднялась в избе богатой,
сидя в горнице отцовской
посреди скамьи передней.

Время шло, молва летела,
издалека были сваты
в доме девушки красивой,
на подворье знаменитом.

Солнце сватало за сына —
не пошла в жилище солнца,
рядом с ним сиять не стала
в летний зной, в страду большую.
Сыну в жены сватал месяц —
замуж за него не вышла,
рядышком блистать не стала,
по кругам ходить воздушным.
Сватала звезда за сына —
не пошла девица к звездам

по ночам мерцать бессонно
на морозном зимнем небе.
Женихи пришли из Виро[80],
Ингрия[81] сватов прислала —
не пошла туда девица,
так она сказала сватам:
«Золота не изводите,
серебра не расточайте —
не пойду я замуж в Виро,
не пойду, вовек не стану
веслами ворочать в ,иро,
плавать между островами,
рыбою одной питаться,
лишь ухою пробавляться.
В Ингрию не выйду замуж,
в край холмистый, каменистый.
Там на все бывает голод —
на дрова и на лучину,
на пшеницу и на воду,
даже на ржаные хлебы».

Беззаботный Лемминкяйнен,
тот красавец Кавкомьели,
все-таки решил поехать,
высватать цветочек Сари,
знаменитую невесту,
длиннокосую девицу.

Сына мать не отпускает,
старая остерегает:
«Не ходи, сынок, не сватай
деву, что тебя получше,
ведь тебя не примут в Сари,
не возьмут в родню большую».

Так ответил Лемминкяйнен,

Кавкомьели так заметил:
«Если я не знатен домом,
не велик отцовским родом,
то возьму своею статью,
покорю своей красою».

Все же мать не отпускает,
уговаривает сына
не ходить в тот род великий,
род великий, именитый:
«Высмеют тебя там девы,
потешаться станут жены».
Что ему остереженья!
Говорит слова такие:
«Оборву насмешки женщин,
пресеку девиц ухмылки —
каждой подарю ребенка,
каждой дам в подол младенца,
вот и кончатся насмешки,
прекратятся все ухмылки».

Мать на это так сказала:
«Горе мне с тобой, сыночек:
женщин Сари опозоришь,
дев невинных перепортишь, —
распря страшная случится,
бойня грозная начнется,
женихи, что есть на Сари, —
сотня воинов с мечами, —
на тебя там ополчатся,
одного кругом обступят».

Что ему остереженья,
матери предупрежденья!
Жеребца берет получше,
запрягает лошадь в сани,

едет быстро, поспешает
в знатное селенье Сари,
в жены брать цветок прекрасный,
знаменитую невесту.

Потешались жены Сари,
девы сыпали насмешки.
Мол, во двор заехал странно,
несуразно, мол, примчался,
сани вовсе опрокинул,
зацепился за ворота.

Тут беспечный Лемминкяйнен
брови сдвинул, лоб нахмурил,
бороду помял рукою,
сам сказал слова такие:
«Что-то раньше я не видел,
и не видел, и не слышал,
чтобы жены насмехались,
чтобы девы издевались! И
Он на все махнул рукою,
так промолвил, так ответил:
«Есть ли здесь на Сари место,
есть ли хоть клочок свободный,
где бы мне повеселиться,
на лужайке порезвиться,
вместе с девушками Сари
в хороводах покружиться?»

Говорят девицы Сари,
полуострова красотки:
«Есть местечко здесь на Сари,
есть клочок земли свободной,
где б ты мог повеселиться,
на лужайке порезвиться,
коль наймешься ты подпаском,

пастушком пойдешь на выгон:
отощали дети Сари,
зажирели жеребята».

Беззаботен Лемминкяйнен.
В пастухи пошел по найму:
днем стада пасет коровьи,
с девами гуляет ночью,
в играх девичьих резвится,
в хороводах знай кружится.

Так беспечный Лемминкяйнен,
сам красавец Кавкомьели,
оборвал насмешки женщин,
девичьи пресек ухмылки:
не было такой девицы,
недотроги непорочной,
чтоб ее он не потискал,
не поспал с красоткой рядом.

Лишь одна была девица
из большого рода Сари,
не хотела дева замуж,
лучших женихов отвергла —
Кюлликки, цветочек Сари,
острова краса и гордость.

Беззаботный Лемминкяйнен,
тот красавец Кавкомьели,
истоптал сто пар сапожек,
перетер всю сотню весел,
покорить пытаясь деву,
Кюлликки завлечь стараясь.

Кюлликки, цветок красивый,
говорит слова такие:

«Что ты ходишь здесь, несчастный,
плаваешь, зуёк горластый,
не даешь покоя девам,
поясочкам оловянным[82]?
Замуж не пойду, покуда
не сотрется весь мой жернов,
пест[83] в щепу не разобьется,
ступа в пыль не истолчется.

Не пойду я за дурного,
за дурного, за дрянного,
я хочу, чтоб был он стройным,
как сама стройна я станом,
я хочу, чтоб был он видным,
как сама видна собою,
чтоб лицом он был прекрасен,
как сама лицом прекрасна».

Дней немного пролетело,
месяца — лишь половина,
вот однажды, днем прекрасным,
как-то вечером погожим
девы стайкою играли,
хоровод вели красотки
на лужке материковом,
на поляне вересковой.
Кюлликки была меж ними,
острова цветок прекрасный.
Вот примчался Лемминкяйнен,
подкатил герой беспечный
на своей лошадке резвой,
на отборном жеребенке.
Стал он посреди поляны,
в середине хоровода,
Кюлликки хватает в сани,
увлекает в расписные,

садит девушку на шкуры,
юную — на дно кошевки.

Жеребца кнутом ударил,
плеткою хлестнул ременной.
В путь пустился, покатился,
девушкам сказал, отъехав:
«Никогда о том, девицы,
никому не говорите,
что я к вам сюда являлся,
что я девушку похитил!
Если ж кто наказ нарушит,
будет худо вам, девицы:
женихов на смерть отправлю,
на войну пошлю заклятьем,
не увидите их больше,
не услышите вовеки
на прогонах деревенских,
на лесных полянах здешних».

Кюлликки, бедняжка, просит,
умоляет дева Сари:
«Выпусти меня отсюда,
отпусти дитя на волю,
я домой хочу вернуться,
к матушке своей скорбящей.

Если ж ты меня не пустишь,
мне домой не дашь вернуться,
пять моих родимых братьев,
семь сынов родного дяди
сыщут по следам зайчишку,
защитить сумеют деву».
Он не выпустил девицу.
Дева тихо разрыдалась,
молвила слова такие:

«Ах, зачем же я рождалась!
Зря рождалась, подрастала,
зря жила на свете, дева,
коль никчемному досталась,
к никудышному попала,
угодила к забияке,
вечно рвущемуся в драки».
Тут беспечный Лемминкяйнен,
Кавкомьели так промолвил:
«Кюлликки, моя голубка,
ягодка моя лесная,
не тужи, цветок, напрасно,
я тебя лелеять буду:
за столом держать в объятьях,
на руках носить повсюду,
если встану, встанешь рядом,
если лягу, рядом ляжешь.
Ты о чем, скажи, горюешь,
от каких забот вздыхаешь,
не о том ли ты печешься,
не о том ли ты вздыхаешь,
что ни хлеба, ни скотины,
ни припасов нет в хозяйстве?
Не тужи, цветок, напрасно,
у меня скотины вдоволь,
много живности удойной:
есть Морошка на болоте,
Земляничка на пригорке,
на бору мычит Брусничка.
Их совсем кормить не надо,
обихаживать и холить,
вечером встречать из леса,
по утрам пускать на выгон,
нет заботы ни о сене,
ни о соли, ни о пойле.
Иль о том твои печали,

иль о том твои заботы,
что мой род не именитый,
что мой дом совсем не знатный?
Пусть мой род не именитый,
пусть мой дом пока не знатный —
огневой клинок имею,
жало, сыплющее искры.
Именит клинок роднею,
знаменит происхожденьем:
он самим отточен Хийси,
высветлен богами в небе.
Им свое прославлю племя,
сделаю свой род великим
огневым клинком каленым,
искры сыплющим железом».
Тяжело вздохнула дева,
так в ответ ему сказала:
«Ой ты, Ахти, отпрыск Лемпи,
коль меня ты в жены хочешь,
в вековечные супруги,
курочкой себе под мышку,
поклянись мне страшной клятвой
не ходить в поход военный,
даже золота возжаждав,
серебра нажить желая!»

Тут беспечный Лемминкяйнен
говорит слова такие:
«Поклянусь я страшной клятвой
не ходить в поход военный,
даже золота возжаждав,
серебра нажить желая!
Дай и ты свою мне клятву
на село не бегать тайно,
даже вздумав веселиться,
в хороводах развлекаться!»

Так они скрепили клятву,
принесли обет суровый
перед Богом милосердным,
перед Ликом всемогущим:
Ахти — не ходить в походы,
Кюлликки — в село не бегать.
Тут беспечный Лемминкяйнен
резвого ударил вицей,
жеребца хлестнул вожжами,
сам сказал слова такие:
«До свиданья, нивы Сари,
корни елей, пней смолистых,
все места, где летом бегал,
где ходил зимой морозной,
по ночам искал защиты,
укрывался в непогоду,
где за курочкой гонялся,
уточкой своей прекрасной!»

Едут, катят потихоньку,
вот и домик замаячил.
Дева так ему сказала,
так сказала, так спросила:
«Вдалеке изба маячит,
нищенская развалюха.
Это чья ж изба такая,
кто ее хозяин жалкий?»
Тут беспечный Лемминкяйнен
молвил слово, так ответил:
«Не печалься ты о доме,
не вздыхай ты о хоромах,
избы новые поставим,
возведем дома получше,
срубим из кондóвых[84] бревен,
из кряжей поставим крепких».

Вот беспечный Лемминкяйнен
вскоре в дом к себе приехал,
к матушке своей родимой,
к той родительнице старой.

Мать такое слово молвит,
слово молвит, изрекает:
«Долго ж ты, сынок, скитался,
на чужбине обретался».

Тут беспечный Лемминкяйнен
так сказал, такое молвил:
«Осмеять хотел я женщин,
отомстить решил святошам
за издевки, за насмешки,
за обиды, униженья —
лучшую из них я выбрал,
в сани усадил на шкуры,
на удобное сиденье
под свою медвежью полость.
Так я отплатил девицам,
женщинам — за их насмешки.

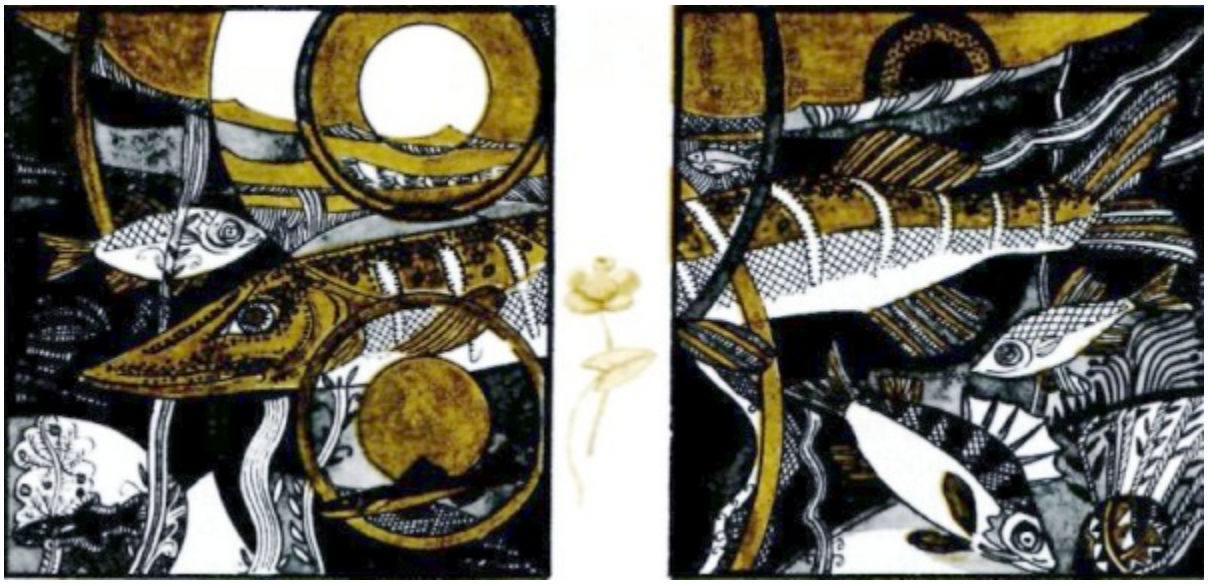
Ой ты, мать моя родная,
милая моя пестунья,
я достал, за чем поехал,
что просил, того добился.
Постели ты нам перины,
взбей пуховые подушки,
отдохнуть в родимом доме,
с молодой поспать девицей».

Отвечает мать на это,
произносит речь такую:
«Слава Господу на небе,
Вышнему — благодаренье,

что послал он мне невестку,
дал помощницу по дому,
превосходную ткачиху,
добросовестную пряху,
разворотливую прачку,
дал белильщицу полотен!
Будь и ты судьбой доволен —
славная тебе досталась,
славную послал Создатель,
славную дал Бог всевышний.
Пуночка чиста средь снега,
но твоя невеста чище,
пена волн бела на море,
но твоя белей невеста,
уточка стройна на волнах,
но твоя жена стройнее,
звездочка ярка на небе,
ярче звездочка, что рядом.

Настели полы просторней,
проруби пошире окна,
новые воздвигни стены,
новый дом поставь добротный,
сделай новые пороги,
двери новые — к порогам,
ты ведь выбрал молодую,
присмотрел себе красотку,
самого себя получше,
познатней себя сосватал».

Песнь двенадцатая



Кюлликки забывает свою клятву и отправляется на игрища деревенских девушек, чем очень сильно рассердила Лемминкяйнена. Он решил тут же бросить жену и пойти сватать деву Похьи, стихи 1-128. — Мать пытается воспрепятствовать отъезду сына, предупреждает его, что он найдет там погибель. Расчесав свои волосы, Лемминкяйнен с вызовом бросает гребень, заявив, что как только его ранят, начнет кровоточить и гребень, с. 129–212. — Лемминкяйнен принимает обереги, отправляется в путь и, прибыв в Похьелу, заколдовывает своими заклинаниями всех мужчин в доме Похьелы, кроме одного дрянного пастуха, с. 213–504.

Беззаботный Лемминкяйнен,
сам красавец Кавкомьели,
потихоньку поживает
с молодой своей супругой.
Не спешит в походы Ахти,
Кюлликки в село не ходит.

Вот однажды днем прекрасным,

как-то утром на рассвете
беззаботный Лемминкяйнен
к нерестилищам поехал.
К вечеру он не вернулся,
к ночи в дом не возвратился.
Кюлликки спешит в деревню,
в хоровод идет девичий.
Кто о том расскажет мужу,
кто о том нашепчет Ахти?
Айникки[85], сестрица Ахти,
обо всем ему сказала,
понасплетничала брату:
«Дорогой мой братец Ахти,
Кюлликки была в деревне,
у чужих была калиток,
в играх девичьих резвилась,
в хороводах веселилась».
Юный Ахти, славный Ахти,
беззаботный Лемминкяйнен
рассердился, обозлился,
затаил надолго злобу,
говорит слова такие:
«Ой ты, мать моя родная,
постирала бы рубашку
мне в змеином черном яде,
просушила бы скорее,
чтоб отправиться мне в битву
к Похьелы кострам походным,
на войну с сынами Лаппи.
Кюлликки была в деревне,
у чужих была калиток,
в играх девушек резвилась,
в хороводах веселилась!»

Кюлликки тогда сказала,
так промолвить поспешила:

«Ой ты, Ахти, мой любимый,
не ходил бы ты в сраженья!
Сон зловещий мне приснился,
лишь заснуть успела крепко:
полыхнул огонь из горна,
ярким пламенем взметнулся —
то под окнами промчится,
пронесется возле стенки,
то ворвется вихрем в избу,
заклокочет водопадом,
к потолку рванется с пола,
от окна к окну промчится».
Тут беспечный Лемминкяйнен
сам сказал слова такие:
«Бабьим снам не доверяю
так же, как и женским клятвам.
Ой ты, матушка родная,
принеси мои доспехи,
боевые дай одежды!
Мной желанье овладело
вновь пригубить пиво битвы,
мед сражения отведать!»
Мать на это отвечала:
«Ой ты, Ахти, мой сыночек,
не ходил бы ты в сраженье,
есть у нас и дома пиво
в небольшой ольховой бочке,
за дубовою затычкой.
Подносить тебе я стану,
пей хоть целый день до ночи!»

Так ответил Лемминкяйнен:
«Не хочу домашней браги,
лучше пить речную воду
с лопасти весла смолистой —
та вода намного слаще,

чем домашние напитки.
Принеси мои доспехи,
боевые дай одежды!
Я пойду к жилищам Похьи,
на поля сражений в Лаппи,
чтобы золотом разжиться,
серебром обогатиться».
Мать на это отвечала:
«Ой ты, Ахти, мой сыночек,
золота довольно в доме,
много серебра в амбаре.
Только днем вчерашним, в полдень,
на рассвете, ранним утром
раб пахал гадючью ниву,
клин распахивал змеиный,
сошником шкатулку поднял,
выпахал ларец с деньгами,
спрятаны в нем были сотни,
тысячи на дне лежали.
Отнесла в амбар шкатулку,
подняла ларец на полку».

Так ответил Лемминкяйнен:
«Что мне нажитое в доме.
Вот в бою добуду марку[86] —
мне она милее будет,
чем все золото в амбаре,
что сохой добыто в поле.
Принеси мои доспехи,
боевые дай одежды,
в Похью на войну отправлюсь,
в бой вступлю с сынами Лаппи.

Мной желанье овладело,
мне на ум явилась дума,
сам хочу услышать въяви,

увидать хочу воочью,
впрямь ли Похьелы невеста,
дева Пиментолы темной,
женихов всех отвергает,
даже молодцев хороших».

Мать на это отвечала:
«Ой ты, Ахти, мой сыночек,
Кюлликки — твоя супруга.
Нет жены своей превыше,
ведь нелепо — две супруги
на одной постели мужа».

Так промолвил Лемминкяйнен:
«Кюлликки моя — гулена,
пусть побегает по играм,
пусть поспит в избушке каждой,
пусть в кругу девиц резвится,
в хороводах веселится!»

Не пускает мать сыночка,
старая предупреждает:
«Только все же, сын родимый,
не ходи к жилищам Похьи
без познаний, без науки,
без волшебного искусства,
не ходи к кострам далеким,
на поля сражений в Лаппи.
Заклянет тебя лапландец,
заколдует Турьалайнен,
по уши загонит в пепел,
в угли жгучие — по локти,
пальцами — в горячий пепел,
в раскаленные каменья».

Так ответил Лемминкяйнен:
«Ведь меня уж заклинали

эти змеи-ворожеи,
три лапландца заклинали
ночью летнею одною,
волхвовали возле камня,
без одежд, без опоясок,
даже без единой нитки.
Лишь того они добились,
жалкие, лишь тем разжились,
что топор срубает с камня,
что сверло берет с утеса,
чурка с наледи сдирает,
смерть берет в пустом жилище.

Погубить меня сулили,
только вышло все иначе.
Повалить меня хотели,
уложить меня грозились,
бросить мостиком в трясину,
погрузить настилом в лужу,
подбородком — в ил паршивый,
бородой — в места худые.
Только я не из трусливых,
я не очень растерялся,
сам я стал певцом заклятий,
прорицателем могучим.
Сам загнал тех чародеев,
тех стрелков с волшебным луком,
тех волхвов с ножом железным,
колдунов со сталью острой
в страшные пороги Туони,
в глубину пучины грозной,
в водопад высокий самый,
в бездну жуткой водоверти.
Там пускай теперь подремлют,
там пускай поспят злодеи,
не взойдут покуда травы

сквозь их головы и шлемы,
не прорежутся сквозь плечи,
не пробьются сквозь лопатки
почивающих злодеев,
крепко спящих чародеев».
Все же мать не отпускает
Лемминкяйнена на битву,
не пускает мать сыночка,
не пускает и супруга:
«Не ходи, не отправляйся
в ту холодную деревню,
в темное селенье Похьи!
Там таится смерть героя,
гибель мужа поджидает,
Лемминкяйнена кончина.
Хоть сто раз ты мне расскажешь,
все равно я не поверю,
будто стал ты чародеем,
Похьелы мужей сильнее, —
языка не знаешь Турьи,
не владеешь речью Лаппи!»

Беззаботный Лемминкяйнен,
сам прекрасный Кавкомьели,
расчесал свой волос гребнем,
кудри щеткою разгладил,
на стене повесил гребень,
на столбе у печки — щетку,
вымолвил слова такие,
произнес он речь такую:
«Знайте: гибнет Лемминкяйнен,
терпит бедствие, несчастный,
коль руда идет из гребня,
коль струится кровь из щетки!»

В путь пустился Лемминкяйнен,

к темной Похьеле поехал,
пренебрег советом добрым,
материнским запрещеньем.

Снарядился, облачился,
натянул железный панцирь,
застегнул стальной свой пояс,
сам сказал слова такие:
«Муж в броне́[87] всегда сильнее,
в панцире железном крепче,
в обручах стальных[88] отважней
средь волшебников презренных:
самых слабых не боится,
не страшится самых сильных».

Меч свой верный он хватает,
свой клинок берет каленый,
что отточен в царстве Хийси,
что богами отшлифован,
заложил клинок свой в ножны,
к поясу чехол повесил.

Где взял о́береги[89] Ахти?
Где защитой заручился?
Там взял оберег свой малый,
там защитой заручился,
встав под матицей у двери,
косяков родных коснувшись,
постояв в прогоне скотном,
у калитки самой дальней.

Здесь герой предохранился
против женских чар зловредных.
Обереги те пустые —
ненадежная защита.
Обереги взял вторые —

от мужской зловещей силы —
у развилки двух тропинок,
на огромном синем камне,
на болотине зыбучей,
в роднике, покрытом рябью,
в грозном бурном водопаде,
в мощной водной круговерти.

Тут беспечный Лемминкяйнен
слово молвит, изрекает:
«Из земли, герои, встаньте,
духи древние с мечами,
из ключей — мужи с клинками,
с луками из рек явитесь.
Лес, воспрянь с лесным народом,
бор могучий — с грозной ратью,
дух горы — с надежным войском,
с чудищами — водный хийси,
с воинством — воды хозяйка,
старец вод — с чудесной силой,
из ложбин явитесь девы,
юные в тончайших платьях,
поскорей на помощь мужу,
знаменитому герою,
чтоб его не брали стрелы,
колдунов ножи стальные,
острое волхвов железо,
стрелы лучников зловредных!

Если ж этого все мало,
Я другое помню средство:
вознесу молитвы к выси,
помолюсь я богу Укко,
что по небу водит тучи,
управляет облаками.

Ой ты, бог верховный Укко,

древний наш отец небесный,
ты, вещающий сквозь тучи,
сквозь воздушные пространства,
принеси мне меч каленый,
в ножнах огненных, надежный,
разнесу им все помехи,
уничтожу все препоны,
изрублю земных злодеев,
покараю водных духов,
спереди свой путь расчищу,
сзади отведу опасность,
защищу себя я сверху,
заслоню с боков обоих,
стрелы колдунов отрину,
острое волхвов железо,
колдунов ножи стальные,
все мечи мужей поганых!»

Беззаботный Лемминкяйнен,
сам красавец Кавкомьели,
свистом вызвал жеребенка,
златогривого — из лога,
жеребенка впряг в повозку,
рыжего завел в оглобли,
сам в санях своих уселся,
примостился сам в кошевке,
вицей[90] резвого ударил,
щелкнул плеткой узловатой[91].
Конь несется — путь короче,
сани мчатся — цель все ближе,
золотом звенит дорога,
серебром — песок прибрежный!

Едет день, второй несется,
мчится вот уже и третий,
лишь на третий день поездки

встретилась в пути деревня.
Тут беспечный Лемминкяйнен
заспешил, быстрей поехал,
едет крайнею дорогой,
держит путь к избушке крайней.
Спрашивает за порогом,
молвит, стоя у навеса:
«Есть ли тот в жилище этом,
кто б мою супóнь[92] расслабил,
опустил мои оглобли,
снял дугу с моих оглобель?»
Молвил на полу ребенок,
известил малыш с приступка:
«Нет того в жилище этом,
кто б супонь твою расслабил,
опустил твои оглобли,
снял дугу с твоих оглобель».

Не горюет Лемминкяйнен,
резвого ударил вицей,
плеткою хлестнул жемчужной,
едет дальше, поспешает,
среднею спешит дорогой,
держит путь к избушке средней.
Спрашивает за порогом,
молвит, стоя у навеса:
«Есть ли тот в жилище этом,
кто мои бы принял вóжжи[93],
кто б супонь мою расслабил,
снял гужи́[94] с моих оглобель?»

Говорит с печи старуха,
лгунья старая — с лежанки:
«Есть, конечно, в этом доме,
кто твои отвяжет вожжи,
кто твою супонь распустит,

кто оглобли наземь сбросит.
Есть мужей таких десяток,
даже сотня наберется,
кто тебе подвоз устроит,
выдаст лошадь ездовую,
жалкого, домой доставит,
гнусного — в твои владенья,
на отцовские сиденья,
материнские дорожки,
к собственным воротам брата,
на концы мостков сестрицы,
до того, как день угаснет,
до того, как солнце сядет!»

Не горюет Лемминкяйнен,
говорит слова такие:
«Застрелить бы мне старуху,
погубить стрелой каленой!»
Погоняет лошадь дальше,
едет с шумом, поспешает,
едет верхнею дорогой,
едет в верхнюю избушку.

Вот беспечный Лемминкяйнен,
подъезжая ближе к дому,
вымолвил слова такие,
произнес такие речи:
«Хийси! Пасть заткни собаке,
челюсти захлопни псине.
Лемпо, сунь затычку в глотку,
в зубы клин забей надежный,
чтоб не тявкнула собака,
прежде чем пройду я мимо».

Прошагал во двор неслышно,
по земле кнутом ударил,

от кнута туман поднялся,
мужичок возник в тумане.
Хомуты он рассупонил,
сбросил на землю оглобли.
Тут беспечный Лемминкяйнен
стал прислушиваться чутко,
незамеченным пробравшись,
притаившись неприметным.
Услыхал из дома песни,
через мох в стене — сказанья,
сквозь стену игру услышал,
голоса певцов — сквозь ставни.

Заглянул тихонько в избу,
посмотрел тайком в окошко —
колдунов в избе бессчетно,
заклинателей — на скамьях,
у простенков — музыкантов,
знахарей — у самой двери,
ведунов — вдоль задней стенки,
подпевал — в закуте темном:
распевали песни Лаппи,
пели заклинанья Хийси.

Тут беспечный Лемминкяйнен
поспешил преобразиться,
изменил свое обличье,
в дом вошел сквозь щели сруба,
внутрь проник сквозь самый угол,
сам сказал слова такие:
«Песнь прекрасна окончаньем,
речи краткостью красивы,
песнь неначатая лучше,
чем неконченая песня».

Тут сама хозяйка Похьи,
что как раз топталась в доме,

средь избы переминалась,
слово молвила, сказала:
«Ведь была у нас собака,
был брехун под цвет железа,
мясо жрущий, кость грызущий,
кровь из свежей раны пьющий.
Что за муж ты и откуда,
из каких героев будешь,
как проник ты к нам в жилище,
как прошел сюда сквозь стену,
коль и пес тебя не слышал,
не учуяла собака?»

Отвечает Лемминкяйнен:
«Разве б я сюда явился
без умения, без знанья,
без могущества, без силы,
без волшебных чар отцовских,
без родительской опеки,
чтобы псы меня сожрали,
чтоб собаки разорвали.
В детстве мать меня купала,
маленьким еще ребенком,
трижды мыла ночью летней,
девять раз — осенней ночью,
чтобы стал я чародеем,
стал кудесником известным.
Сделала певцом для дома,
знахарем для всей деревни».

Беззаботный Лемминкяйнен,
сам красавец Кавкомьели,
обернулся чародеем,
заклинателем искусным —
полы шубы полыхали,
очи пламя извергали,

пел когда свои заклятья,
заклинанья — Лемминкяйнен.

Рунопевцев самых лучших
сделал худшими певцами,
в рот набил камней заклятьем,
в глотку навалил каменьев
самым лучшим чародеям,
самым славным рунопевцам.

Разогнал мужей несчастных,
раскидал своею песней
по бесплодным нивам дальним,
по непаханым полянам,
по лесным безрыбным ламбам,
где не водится и окунь,
в водопад свирепый Рутьи[95],
в струи огненной пучины,
сделал в речке бурунами,
в водопаде — валунами,
пусть огнем они сгорают,
искрами пускай взлетают.

Так беспечный Лемминкяйнен
заклинал мужей с мечами,
тех героев при оружье,
молодых заклял и старых,
поборол мужей матерых —
одного лишь так оставил,
пастуха забыл дрянного,
старика того слепого.
Тут пастух в шапчонке мокрой
вымолвил слова такие:
«Сын беспечный старца Лемпи,
юных ты заклял и старых,
поборол мужей матерых,

почему меня оставил?»

Так ответил Лемминкяйнен:
«Потому тебя оставил,
что и с виду ты противный,
хоть тебя я и не трогал.
Ты еще юнцом незрелым,
ты еще подпаском подлым
дочку матери испортил,
осрамил сестру родную,
даже кобылиц бесчестил,
стригунков совсем уж юных,
загонял кобыл в болото,
брал в вонючей скользкой жиже».
Тут пастух в шапчонке мокрой
рассердился, обозлился,
из избы за двери вышел,
через двор пошел на поле,
побежал к потоку Туони,
к падунам реки священной,
поджидать стал Кавкомьели,
караулить сына Лемпи,
как отправится из Похьи,
как домой к себе поедет.

Песнь тринадцатая

Лемминкяйнен просит хозяйку Похьелы выдать за него свою дочь. Та дает ему первое трудное задание: загнать и изловить лося Хийси, стихи 1-30. — Горделиво бахвалясь, Лемминкяйнен отправляется на лыжах загонять лося, но вскоре, к своему огорчению, понимает, что лося Хийси одним хвастовством не добудешь, с. 31–270.

Тут беспечный Лемминкяйнен
молвил Похьелы хозяйке:
«Выдай, старая, девицу,
приведи свою мне дочку,
ту, что лучше всех красавиц,
выше всех в кругу девичьем!»
Только Похьелы хозяйка
так в ответ ему сказала:
«Никакой не выдам дочки,
никакой не дам девицы,
и ни лучшей, и ни худшей,
ни высокой, и ни низкой.
У тебя ведь есть супруга,

прежде взятая хозяйка».
Так ответил Лемминкяйнен:
«Кюлликки на цепь в деревне
посажу к чужим порогам,
прикую к чужим воротам,
здесь возьму жену получше.
Приведи ж скорее дочку,
всех красивее девицу,
длиннокосых всех пригожей!»

Говорит хозяйка Похьи:
«Дочку я свою не выдам
за ничтожного мужчину,
за негодного героя.
Лишь тогда проси девицу,
лишь тогда цветочек сватай,
как догонишь лося Хийси[96]
на полях далеких Хийси».

Тут беспечный Лемминкяйнен
насадил на древко пику,
тетиву напряг на луке,
наготовил стрел каленых,
сам сказал слова такие:
«Насадил на древко пику,
тетиву напряг на луке,
наготовил стрел каленых,
нет лишь лю́лю[97] для скольженья,
для отталкиванья — ка́лху[98]».

Тут беспечный Лемминкяйнен
поразмыслил, пораздумал:
«Где бы раздобыть мне лыжи,
разыскать хотя б дрянные? "
Вот пришел он к дому Кавппи[99],
в кузню к Люликки[100] приехал:

«Ой ты, мудрый житель Вуойо[101],
ты, красивый житель Лаппи!
Добрые мне сделай лыжи,
выстругай красиво калху,
чтоб я лося смог настигнуть
на полях далеких Хийси! "

Люликки ему ответил,
Кавппи речь сказал такую:
«Зря пойдешь ты, Лемминкяйнен,
зря погонишься за лосем:
чурку лишь возьмешь гнилую,
да и ту — с трудом великим».

Не тужит герой беспечный,
говорит слова такие:
«Сделай люлю для скольженья,
для отталкиванья — калху!
Лося загонять отправлюсь
к рубежам далеким Хийси».
Люликки, умелец лыжный,
Кавппи, мастер делать калху,
люлю мастерит всю осень,
зиму калху ковыряет,
целый день строгает палку,
день второй — колечко ладит.

Для скольженья сделал люлю,
для отталкиванья — калху,
изготовил мастер палки,
насадил на палки кольца.
Палка стоит шкурку выдры,
шубку лисью — кольца к палкам!

Смазал мастер лыжи жиром,
салом их натер оленьим,

пораздумал, поразмыслил,
сам сказал слова такие:
«Есть ли в нашей молодежи,
в подрастающем народе,
кто сумеет встать на люлю,
оттолкнуться сможет калху? "
Лемминкяйнен так ответил,
молвил парень краснощекий:
«Есть средь нашей молодежи,
в подрастающем народе,
кто сумеет встать на люлю,
оттолкнуться сможет калху».

За спину колчан закинул,
лук тугой за плечи бросил,
палку ухватил проворно,
заскользил на скользкой люлю,
стал отталкиваться калху,
произнес слова такие:
«Нет нигде на божьем свете,
ни под этим небосводом,
ни в лесу — зверей подобных,
бегунов четвероногих,
чтоб их лыжи не настигли,
не догнали эти калху,
лыжи Калевы героев,
Лемминкяйнена полозья».
Хийси это услыхали,
Ю́тасы[102] про все узнали,
стали хийси делать лося,
ютасы творить оленя,
голову из пня создали,
из развилка ивы — рожки,
пальцы ног — из лоз прибрежных,
голени — из длинных кольев,
сделали хребет из прясла[103],

сухожилья — из соломы,
из речных кувшинок — очи,
из озерных лилий — уши,
из коры еловой — шкуру,
из стволов прогнивших — мясо.

Наставляет лося Хийси,
своего оленя учит:
«Мчись вперед, созданье Хийси,
убегай, олень прекрасный,
на места своих отелов,
на поля сынов лопарских.
Семь потов сгони с погони,
с Лемминкяйнена — побольше!»

Вот помчался лось из Хийси,
поскакал олень пятнистый,
вдоль амбаров дальней Похьи,
по земле сынов лопарских.
Сбил ушат копытом в чуме,
сшиб с огня котел кипящий,
вывалял все мясо в пепле,
выплеснул в очаг похлебку.
Шум и гам кругом поднялся
на земле сынов лопарских:
принялись брехать собаки,
дети Лаппи заревели,
жены Лаппи рассмеялись,
люди Лаппи зароптали.

Там беспечный Лемминкяйнен
продолжал за лосем гнаться
по сухим местам, по топям,
по открывшимся полянам.
Из-под лыж летело пламя,
дым из палок извергался,

все же лося не увидел,
не увидел, не услышал.

По низинам мчал, по взгоркам,
объезжал за морем земли,
обошел все дебри Хийси,
даже все угодья Калмы,
мимо рта промчался Смерти,
позади жилища Калмы.
Смерть уже уста разверзла,
Калма вытянула шею,
чтоб схватить зубами мужа,
проглотить живьем героя.
Не смогла схватить героя,
не успела, не сумела.

Краешек один остался,
уголок лесистой кóрбы[104]
на задворках дальних Похьи,
на обширных землях Лаппи.
Побежал и тот проверить,
осмотреть закраек корбы.

Лишь туда едва добрался,
шум и гам услышал страшный
в дальних Похьелы пределах,
на земле сынов лопарских.
Услыхал он лай собачий,
услыхал он плач ребячий,
услыхал он женский хохот,
услыхал невнятный ропот.
Беззаботный Лемминкяйнен
лыжи вмиг туда направил,
где собаки заливались
на обширных землях Лаппи.

Он сказал, туда явившись,
так спросил, прибыв на место:
«Почему хохочут жены,
почему здесь плачут дети,
почему стенают старцы,
отчего собаки лают?»
«Потому хохочут жены,
потому здесь плачут дети,
потому стенают старцы,
оттого собаки лают:
пробежал здесь лось из Хийси,
проскакал здесь быстроногий,
сбил ушат копытом в чуме,
сшиб с огня котел кипящий,
вылил варево на угли,
выплеснул в очаг похлебку».
Тут красавец краснощекий,
беззаботный Лемминкяйнен,
лыжею скользнул по снегу,
словно быстрою гадюкой,
полозом сосны болотной,
как живучею змеею,
сам сказал, скользя по снегу,
молвил, палкою толкаясь:
«Сколько есть мужей тут в Лаппи —
всем нести со мной оленя,
сколько есть тут женщин в Лаппи —
мыть котлы для варки мяса,
сколько есть детишек в Лаппи —
собирать щепу для топки,
сколько есть котлов здесь в Лаппи —
все собрать для варки лося!»

Поднатужился, напрягся,
отпихнулся, оттолкнулся,
первый раз ногою двинул, —

взору стал недосягаем,
он второй раз лыжей двинул —
недоступным стал для слуха,
в третий раз лишь оттолкнулся —
сел на спину лося Хийси.

Взял тяжелый кол кленовый,
свил березовую вязку,
лося привязал в загоне,
за дубовою оградой:
«Вот и стой тут, лось из Хийси,
бей копытом в прочном стойле!»
Стал поглаживать по шерсти,
стал похлопывать по шкуре:
«Отдохнуть бы здесь неплохо,
полежать на мягкой шкуре
вместе с девушкой красивой,
с курочкой, еще растущей!»

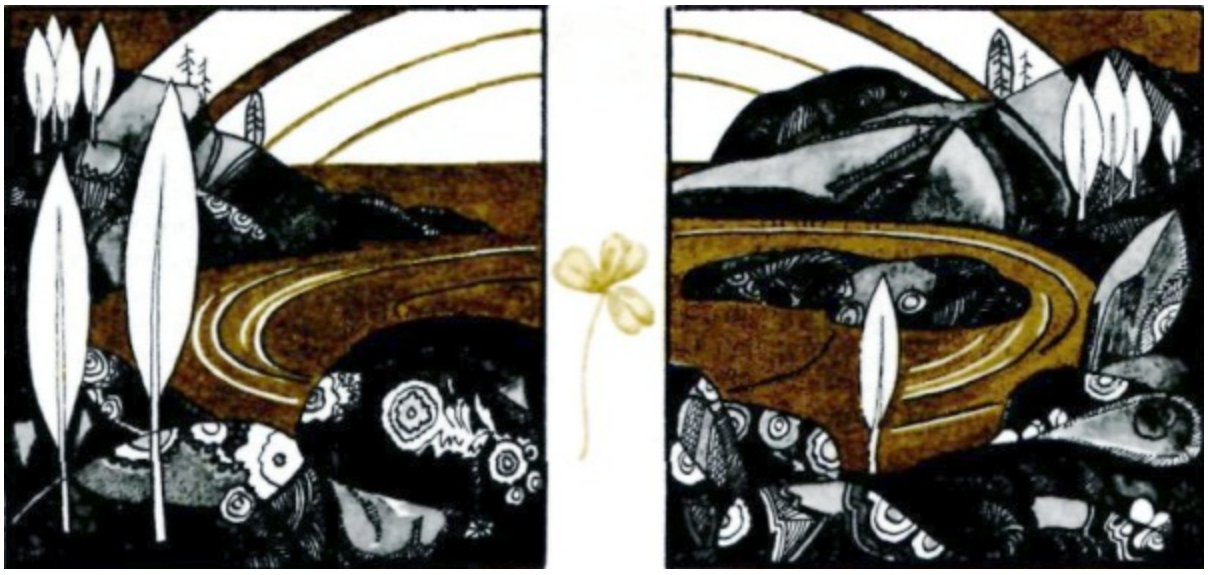
Тут взъярился лось из Хийси,
стал лягаться, благородный,
сам сказал слова такие:
«Пусть тебе позволит Лемпо
отдыхать на мягкой шкуре,
с девушкой своей валяться!»

Поднатужился, напрягся,
разорвал тугую петлю,
искорежил кол кленовый,
разломал загон дубовый,
вырвался олень на волю,
побежал своей дорогой —
по болотам, по полянам,
в гору мчал по мелколесью,
взору стал недосягаем,
недоступным стал для слуха.

Тут красавец краснощекий
рассердился, обозлился,
очень сильно прогневился,
ринулся на лыжах следом.
Только раз и оттолкнулся,
люлю под ногой прогнулась,
у проушины сломалась,
лопнула под пяткой калху,
отлетел конец от пики,
палка лыжная сломалась.
Убегает лось из Хийси,
головы уже не видно.

Тут беспечный Лемминкяйнен
сник в печали, впал в унынье,
посмотрел на снаряженье,
сам сказал слова такие:
«Пусть никто в теченье жизни,
пусть никто из всех героев
не бахвалится, охотясь,
добывая лося Хийси,
как бахвалился я, бедный.
Я лишился лыж хороших,
палку лучшую утратил,
самый быстрый меткий дротик!»

Песнь четырнадцатая



С помощью обычных охотничьих заклинаний и уговоров Лемминкяйнен наконец добывает лося и отводит его в Похьелу, стихи 1-270. — В качестве второго трудного задания ему назначают обуздание огнедышащего мерина Хийси, которого он добывает и пригоняет в Похьелу, с. 271–372. — В качестве третьего задания он должен подстрелить лебедя в реке Туонеле. Лемминкяйнен приходит к реке Туони. Там его подстерегает презренный пастух, который убивает Лемминкяйнена и сбрасывает в пороги Туони. В довершение всего сын Туони разрубает тело убитого на куски, с. 373–460.

Вот беспечный Лемминкяйнен
думу думает, гадает,
по какой тропе пуститься,
по какой пойти дорожке:
то ли бросить лося Хийси,
побрести домой тихонько,
то ли снова попытаться
пробежать еще на лыжах
к радости хозяйки леса,

девам корбы на усладу?

Молвил он слова такие,
произнес такие речи:
«Ой ты, Укко, бог верховный,
старец наш, отец небесный!
Сделай мне прямые лыжи,
легкие сработай калху,
чтоб я мог бежать по снегу
через топи, через тверди,
в земли Хийси мог добраться,
пробежать борами Похьи,
где дорожки лося Хийси,
где сохатого тропинки!
На просторы леса выйду,
из людской избы — на волю,
путь возьму на Тапиолу[105],
мимо Тапио[106] избушек.
Здравствуйте, холмы и горы,
здравствуй, гулкий темный ельник,
здравствуй, частый мой осинник,
сам приветствующий, здравствуй!

Распахнись, расщедрись, корба,
раскошелься, Тапиола,
проводи меня на остров,
отведи меня на горку,
где добыча притаилась,
спряталась лесная живность!

Нюрикки, сын Тапиолы,
муж опрятный в красном шлеме,
сделай затéси[107] на соснах,
крестики оставь на вáрах[108],
чтоб сумел я, бестолковый,
здесь чужой, найти дорогу,

в поисках даров таежных,
в промыслах лесной добычи!
Мьеликки[109], хозяйка леса,
чистая, с красивым станом,
золото пусти на волю,
серебро — рассыпь по лесу,
на ловца веди добычу,
на охотника — удачу!

Ключиками золотыми,
что висят в кольце на бедрах,
отвори амбары корбы,
отопри кладовки леса
в дни моей охоты славной,
в пору промысла лесного!

Если же сама не хочешь,
то пошли своих работниц,
повели своей прислуге,
прикажи своим служанкам!
Ну какая ж ты хозяйка,
если в доме нет прислуги,
нет хотя бы ста работниц,
тысячи служанок шустрых,
что пасут стада большие,
обихаживают живность.

Маленькая дева леса,
медоустая красотка!
Ты подуй в рожок медовый,
в сладкозвучную свирельку,
на ушко сыграй хозяйке,
золотой лесной старушке,
чтобы сразу услыхала,
чтоб скорее с ложа встала,
ведь она меня не слышит,

в дреме сладкой пребывает,
хоть давно молю усердно,
сыплю золото заклятий».

Только все же Лемминкяйнен
остается без добычи.
По болоту мчит, по суше,
по лесам скользит дремучим,
божьим угольным угорам,
угольным полянам Хийси.
День бежит, второй несется,
вот на третий день к полудню
на большую вышел гору,
на утес взбежал огромный,
глянул пристально на запад,
за болотину — на север:
избы Тапио маячат,
блещут двери золотые
с севера, из-за болота,
из кустарника под варой.
Вот беспечный Лемминкяйнен
подошел к жилищу ближе,
подбежал вплотную к дому,
прямо к окнам Тапиолы,
в избу заглянул, пригнувшись,
посмотрел в окно шестое:
там дарительницы жили,
живности лесной хозяйки,
в будничных своих одеждах,
в замусоленных лохмотьях.
Так промолвил Лемминкяйнен:
«Почему, хозяйка леса,
ходишь в будничных одеждах,
в рваном рубище для риги?
Отчего ты не умыта,
почему ты неопрятна,

выглядишь теперь так дурно,
смотришься так некрасиво?

Раньше здесь, в лесу бывая,
я всегда три замка видел —
замок был один из кости,
два — из дерева, из камня.
Шесть окошек золоченых
было по углам тех замков.
Заглянул в окно однажды,
стоя под окошком замка:
Тапио, хозяин дома,
замка добрая хозяйка,
Теллерво[110], их дочь-красотка,
Тапиолы домочадцы
золотом одежд блистали,
серебром сверкали платьев.
У самой лесной хозяйки,
у владычицы таежной,
руки — в золотых браслетах,
в золотых колечках — пальцы,
в золотых заколках — кудри,
в прядках золотых — прическа,
серьги золотые — в мочках,
в скатном жемчуге — вся шея.
Милая хозяйка леса,
медоустая старушка!
Обувь скинь, что для покоса,
лапти сбрось, что для пожога,
рубище сними для риги,
повседневную рубаху.
Нарядись в одежды счастья,
облачись в наряд удачи
в дни моей лесной охоты,
в пору поиска добычи!
Грустно мне всегда бывает,

очень грустно и обидно
оттого, что нет удачи,
нет удачи, нет добычи.
Хоть бы изредка давала,
присылала мне добычу.
Скучен вечер без веселья,
без добычи день скучнее.

Старец леса бородатый,
в шапке хвойной, хвойной шубе!
Приодень боры в полотна,
чащи — в ткани дорогие,
в синее сукно — осины,
ольхи — в лучшие наряды.
Серебра навесь на сосны,
золота — на ветви елей,
кондам дай на пояс меди,
серебра — сосёнкам юным,
золотых серег — березам,
пням — бубенчиков звенящих.
Сделай, как бывало прежде,
в дни поры твоей чудесной,
чтоб луной сверкали ели,
чтоб сияли солнцем сосны,
чтобы медом пахло в чаще,
симой сладкой — в синих рощах,
суслом — на краях опушек,
у болот — топленым маслом!

Милая девица леса,
Туликки, дочь Тапиолы,
живность выгони на склоны,
на открытые поляны.
Если дичь бежит лениво,
семенит неторопливо,
ты возьми в лесочке вицу,

в корбе выломай березку,
щекотни бока легонько,
тронь под мышкою тихонько,
чтоб скорее дичь бежала,
чтоб проворнее скакала,
чтобы шла навстречу мужу,
выходила на тропинку!

А когда навстречу выйдет,
ты пошли ее по тропке,
вытяни оградкой руки,
вдоль тропы поставь ладони,
чтобы дичь не увернулась,
в сторону не ускользнула.
Если дичь свернет с дорожки,
если спрячется в сторонке,
за уши поставь на тропку,
за рога верни на стежку!

Коль бревно лежит на тропке —
отодвинь его в сторонку,
преграждает путь валежник —
разломай его на части!
Если встретится ограда,
повали ограду наземь
на длину пяти пролетов,
меж семью свали колами!
Преградит река дорогу,
в ручеек тропа упрется —
протяни шелка мосточком,
сукна красные — настилом.
Перекинь их над проливом,
над широкой водной гладью,
поперек потока Похьи,
через водопад бурлящий.

Дома Тапио хозяин,
дома Тапио хозяйка,
старец с белой бородою,
золотой король таежный,
Мимеркки[111], хозяйка леса,
раздающая добычу,
в синей мантии старушка,
дух болот в чулочках красных,
золотом давай меняться,
серебром давай считаться.
Золоту всего лишь месяц,
серебро вчера добыто,
на войне богатство взято,
в битве нажита добыча.
В кошельке сотрутся деньги,
очень быстро потемнеют,
если золота не тратят,
если серебром не платят!»

Так беспечный Лемминкяйнен
по лесам на лыжах бегал,
песню спел у каждой чащи,
три — под мышкой каждой корбы,
умилил хозяйку леса,
ублажил владыку бора,
покорил служанок леса,
юных Тапио красавиц.

Вот они к нему пригнали
лося Хийси из укрытья,
из-за вары Тапиолы,
из владений замка Хийси,
вывели ловцу навстречу,
заклинателю на тропку.
Вот беспечный Лемминкяйнен
ловко свой аркан кидает

на лопатки лося Хийси,
на загривок верблюжонка,
чтобы сильно не брыкался,
если спину станут гладить.
Тут беспечный Лемминкяйнен
вымолвил слова такие:
«Царь земли, тайги хозяин,
славный житель боровины,
Мьеликки, хозяйка леса,
ты, дарительница дичи,
золотом я рассчитаюсь,
серебром я расквитаюсь, —
расстели свои полотна,
подложи платок любимый
под монеты золотые,
под серебряные деньги,
чтоб не падали на землю,
чтоб в пыли не замарались».
В Похьелу затем приходит,
говорит слова такие:
«Лося я нагнал на лыжах
на поляне дальней Хийси.
Ты отдай, хозяйка, дочку,
выдай деву молодую!»

Ловхи, Похьелы хозяйка,
так на это отвечала:
«Тут же выдам я девицу,
милую свою дочурку,
лишь ты мерина взнуздаешь,
лишь возьмешь коня из Хийси,
жеребенка с пенной мордой
на краю поляны Хийси».

Вот беспечный Лемминкяйнен
взял поводья золотые,

взял серебряную оброть,
мерина искать пустился,
светлогривого — по слуху
на поляне дальней Хийси.
Вот идет себе, шагает,
ковыляет потихоньку
на зеленую лужайку,
на межу святого поля.
Там выслеживает лошадь,
там выслушивает сивку,
подпоясанный уздечкой,
конской сбруею увешан.
Ищет день, второй уж ищет.
Вот на третий день однажды
на большую вышел гору,
на скалу взошел крутую,
повернул свой взор к востоку,
бросил взгляд пониже солнца,
лошадь на песке приметил,
светлогривую — меж елей,
пламенем пылала челка,
дым густой валил из гривы.

Так промолвил Лемминкяйнен:
«Ой ты, Укко, бог верховный,
ты небесных туч хозяин,
белых облаков властитель!
Твердь небесную разверзни,
в воздухе пробей прорехи,
сыпани железным градом,
льдинок набросай морозных
доброй лошади на гриву,
на спину коню из Хийси!»

Укко, сам творец верховный,
белых облаков властитель,

разорвал на части воздух,
небо — на две половины,
льда насыпал, стужи бросил,
град швырнул с небес железный,
конской головы чуть меньше,
человеческой — чуть больше,
доброй лошади на гриву,
на спину коню из Хийси.

Тут беспечный Лемминкяйнен
подошел к коню поближе,
разглядеть решил получше,
сам сказал слова такие:
«Хийтолы жеребчик славный,
горный конь с губою пенной,
с головою золотою,
сунь серебряную морду
в золотые колокольца,
под серебряные звоны!

Обойдусь с тобой не грубо,
буду погонять не быстро,
я поеду недалеко,
проскачу совсем немного,
прямо к Похьелы жилищам,
ко двору суровой тещи.
Если плеткой и ударю,
стегану легонько вицей —
шелковым платком приглажу,
мягкой оботру суконкой».
Рыжая лошадка Хийси,
жеребенок пенногубый,
вставил морду золотую,
лоб серебряный просунул
в золотые колокольца,
под серебряные звоны.

Так беспечный Лемминкяйнен
мерина взнуздал большого,
золотцу надел уздечку,
серебру накинул óброть[112],
сам вскочил коню на спину,
лошади на круп уселся.
Розгой резвую ударил,
вытянул хлыстом из ивы,
лишь чуть-чуть пути проехал
по вершине голой сопки,
съехал к северному склону
серебристой снежной вары,
прискакал к жилищам Похьи,
в избу со двора ввалился,
говорит, войдя в жилище,
молвит, в Похьелу явившись:
«Мерина взнуздал большого,
жеребца лихого Хийси,
на лужайке травянистой,
на меже святого поля,
изловил я лося Хийси
на полянах дальних Хийси.
Ты отдай, хозяйка, дочку,
выдай деву молодую!»

Ловхи, Похьелы хозяйка,
так в ответ ему сказала:
«Лишь тогда отдам я дочку,
выдам деву молодую,
как в реке подстрелишь птицу,
лебедь юную — в стремнине,
в Туонеле, в потоке черном,
в омуте реки священной,
выстрелив лишь раз из лука,
лишь одну стрелу затратив!»

Снарядился Лемминкяйнен,
сам красавец Кавкомьели,
клики лебедей послушать,
посмотреть на длинношеих
в Туонеле, в потоке черном,
в устье Маналы глубокой.
Быстрым шагом поспешает,
пробирается проворно
к Туонеле, реке священной,
к нижнему теченью Маны,
с добрым луком за спиною,
с полной сумкой стрел каленых.
Там пастух в шапчонке мокрой,
Похьелы старик незрячий,
притаился возле Туони,
около реки священной,
вертит головою, смотрит,
Кавкомьели поджидает.

Вот однажды днем прекрасным
Лемминкяйнена увидел,
приближавшегося быстро
к Туонеле, реке священной,
прямо к лютому порогу,
к той бушующей стремнине.

Из воды гадюку вынул,
ядовитую тростинку[113],
прострелил тростинкой сердце,
Лемминкяйненову печень,
через левую подмышку,
правое плечо героя.

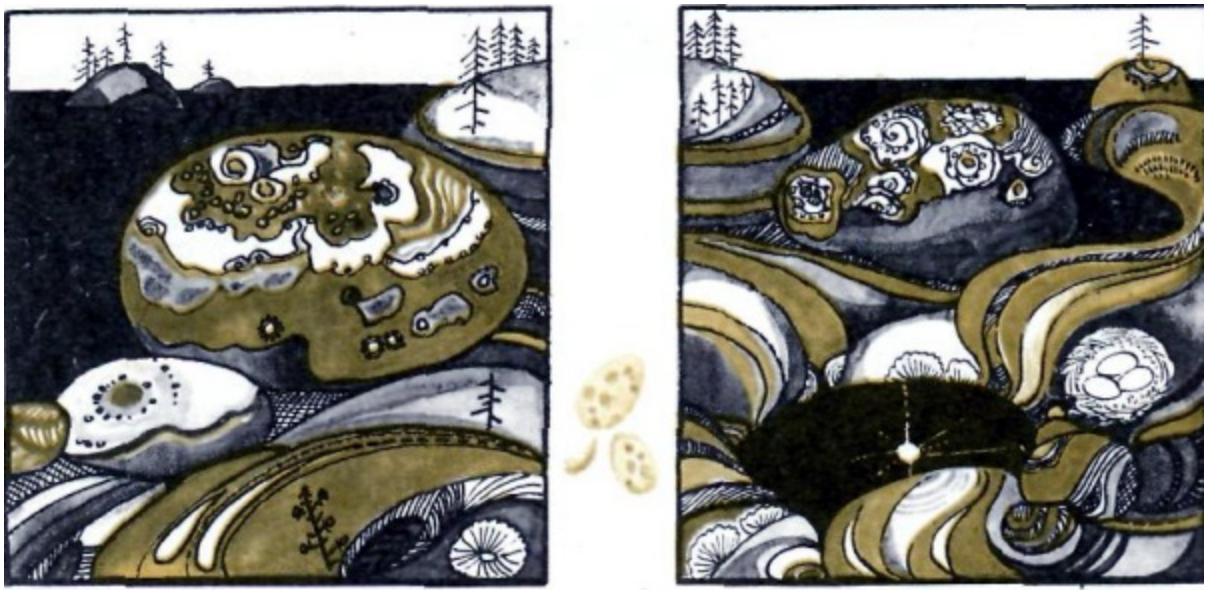
Тут беспечный Лемминкяйнен
боли страшные почуял,

так сказал он, так промолвил:
«Поступил я неразумно,
что спросить забыл, разведать
у родительницы милой
слова два хотя бы важных,
слова три, от силы, нужных,
как мне быть и что мне делать
в смертный час, годину злую,
как лечить укус гадюки,
раны от закрытой дудки.
Ой ты, мать моя родная,
вынесшая мук немало,
если б ведала и знала,
где теперь твой сын несчастный,
прилетела бы, примчалась,
поспешила бы на помощь,
сына милого спасла бы,
увела с дороги смерти,
юному не дав погибнуть,
сильному уснуть навеки».
Похьелы старик незрячий,
тот пастух в шапчонке мокрой,
Лемминкяйнена бросает,
сына Калевы толкает
в темные потоки Туони,
в круговерть стремнины страшной.
Так и сгинул Лемминкяйнен,
колотясь в камнях, умчался
в быстрине мелькнув, унесся
к Туонелы жилищам мрачным.
Кровожадный парень Туони
там мечом ударил мужа,
разрубил на части тело.
Лишь одним ударом сильным
разрубил на пять кусочков,
распластал на целых восемь,

выбросил в пучину Туони,
в глуби Маналы широкой:
«Здесь тебе лежать до веку,
с луком, стрелами своими,
лебедей стрелять в потоке,
водных птиц на быстрых струях!»

Так скончался Лемминкяйнен,
сгинул сватальщик упрямый,
в Туонеле нашел могилу,
в устье Маналы — кончину.

Песнь пятнадцатая



Вот однажды из оставленного Лемминкяйненом гребня начинает капать кровь, и мать сразу догадывается, что ее сын убит. Она спешит в Похьелу и спрашивает у хозяйки Похьелы, куда она спровадила ее сына, стихи 1-62. — Хозяйка Похьелы сначала упирается, но в конце концов признается, куда она послала Лемминкяйнена. Солнце сообщает матери, где он погиб, с. 63–194. — Мать отправляется к порогу на реке Туони, прочесывает длинными граблями воду, пока не выгребает все кусочки, и заново складывает из них сына. С помощью заклинаний и мазей она возвращает Лемминкяйнену прежний облик, с. 195–554. — Придя в себя, Лемминкяйнен рассказывает, как его убили на реке Туони, и отправляется с матерью домой, с. 555–650.

Мать родная Кавкомьели
думу думает, гадает:
«Где же сын мой, Лемминкяйнен,
Кавко мой куда девался,
почему не возвратился
из своих скитаний дальних?»
Мать не знает, горемыка,

выносившая сыночка,
где ее дитя родное,
где скитается, кровинка,
по сосновым ли пригоркам,
по угорам вересковым,
по волнам ли в море бурном,
по широкому простору,
на войне ли он жестокой,
в том сражении великом,
где бредут в крови по голень,
по колено тонут — в красной.

Кюлликки, супруга Кавко,
мечется, снует по дому,
по жилищу Кавкомьели,
Лемминкяйнена усадьбе.
Смотрит вечером на щетку,
поутру глядит на гребень.
Вот в один из дней прекрасных,
спозаранок как-то утром,
кровь из щетки показалась,
потекла рудá[114] из гребня.

Тут красавица супруга
слово молвила, сказала:
«Вот уже пропал мой милый,
сгинул Кавко мой прекрасный
на путях глухих, пустынных,
на неведомых дорогах —
кровь из щетки показалась,
потекла руда из гребня!»

Мать родная Кавкомьели
уж сама на гребень смотрит,
разревелась, разрыдалась:
«Горе, горе мне, бедняжке,

беззащитной, безутешной:
мой сынок, дитя родное,
мальчик милый, сиротинка,
знать, в беду попал большую,
знать, совсем уж пропадает,
погибает Лемминкяйнен —
кровь из щетки показалась,
потекла руда из гребня!»

Подхватив подолы платья,
полы подобрав рукою,
быстро в путь пустилась длинный,
побежала, поспешила.
Под ногой дрожали горы,
опускались, поднимались:
опускались вниз вершины,
поднимались вверх низины.

Вот пришла к жилищам Похьи,
стала спрашивать о сыне,
спрашивала, вопрошала:
«Ой ты, Похьелы хозяйка,
ты куда девала сына,
Лемминкяйнена родного?»

Ловхи, Похьелы хозяйка,
так ответила на это:
«Я не знаю, где сынок твой,
бродит где, куда он сгинул.
Запрягла гнедого в сани,
огненного заложила —
то ль в шугу куда заехал,
то ль закоченел на море,
то ли сгинул в глотке волка,
в пасти злобного медведя».

Мать на это отвечала:

«Говоришь ты все неправду!
Волк не ест моей породы,
родичей медведь не губит —
сын рукою душит волка,
кулаком медведя валит.
Коль ты правду не расскажешь,
где сынок мой Лемминкяйнен,
в новой риге дверь сломаю,
петли сампо искорежу».

Говорит хозяйка Похьи:
«Я его ведь накормила,
накормила — напоила,
вволю мужа угостила,
усадила гостя в лодку,
по порогам плыть пустила,
вот теперь уж и не знаю,
где он сгинул, бедолага,
может быть, в пороге бурном,
в белопенной водоверти».

Мать на это отвечала:
«Говоришь ты все неправду!
Лучше истину поведай,
перестань искать уловки:
ты куда услала Кавко,
калевальца снарядила?
Иль твой смертный час наступит,
верная придет погибель!»

Говорит хозяйка Похьи:
«Что ж, скажу теперь и правду:
лося догонять послала,
благородного оленя,
мерина взнуздать большого,
жеребца запрячь велела,

лебедь добывать послала,
в Туони брать святую птицу!
Вот теперь уж и не знаю,
где его настигла гибель,
где преграда удержала,
коль обратно не приходит,
коль не требует невесту,
дéвицу не просит в жены».
Мать пропавшего все ищет,
все о сгинувшем горюет,
по болотам волком мчится,
по глухим лесам — медведем,
выдрою плывет по водам,
муравьем бежит по суше,
семенит ежом по мысу,
берег зайцем пробегает,
камни двигает с дороги,
пни сбивает на обочья,
в сторону сметает хворост,
под ноги валежник стелет.

Долго ищет мать сыночка,
долго ищет, не находит,
спрашивает у деревьев,
о пропавшем вопрошает.
Молвит дуб, сосна вещает,
дерево в ответ вздыхает:
«Мне своих забот хватает
без чужих забот о сыне.
Мы, деревья, горемыки,
созданы себе на гибель,
чтобы нас в лесу рубили,
чтобы на дрова кололи,
чтоб готовили для риги,
чтоб валили для пожога».

Долго ищет мать сыночка,
долго ищет, не находит.
Повстречалась ей дорога,
мать дороге поклонилась:
«Божий путь, творенье Бога,
не видал ли ты сыночка?
Яблочко где золотое,
где серебряный мой посох?»

Так ответила дорога,
молвила слова такие:
«Мне своих забот хватает
без чужих забот о сыне.
Я, несчастная дорога,
создана себе на горе:
бегают по мне собаки,
скачут кони ездовые,
сапоги ступают грубо,
каблуки нещадно топчут».
Долго ищет мать сыночка,
долго ищет, не находит.
Встретилась луна в дороге,
мать ей низко поклонилась:
«Ты, луна, творенье божье,
не видала ли сыночка?
Яблочко где золотое,
где серебряный мой посох?»

Вот луна, созданье божье,
так печально отвечала:
«Мне своих забот хватает
без чужих забот о сыне.
Я, луна, и так несчастна,
создана себе на горе:
странствовать одной средь ночи,
в небесах сиять в морозы,

бодрствовать зимой холодной,
летом исчезать надолго».

Долго ищет мать сыночка,
долго ищет, не находит.
Встретилось в дороге солнце,
солнцу низко поклонилась:
«Солнышко, творенье Бога,
не видало ли сыночка?
Яблочко где золотое,
где серебряный мой посох?»
Знало солнышко немного,
у него догадки были:
«Изведен твой сын несчастный,
изведен, погублен, жалкий,
в Туонелу-реку он брошен,
в Маналы поток извечный,
по камням, гремя, унесся,
промелькнув в порогах пенных,
в дальние пределы Туони,
в устье Маналы извечной».

Мать родная Кавкомьели
сокрушается, бедняжка,
к кузнецу приходит в кузню:
«Ой кузнец мой, Илмаринен,
век ковал ты, век работал,
поработай и сегодня,
грабли смастери из меди,
зубья сделай из железа,
каждый зуб — по сто саженей,
черенок в пять раз длиннее!»
Тут кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
грабли выковал из меди,
зубья сделал из железа,

каждый зуб — по сто саженей,
черенок — в пять раз длиннее.
Вот родительница Кавко
получила эти грабли,
понеслась на берег Туони,
обратилась к солнцу с просьбой:
«О созданье Бога, солнце,
яркое творца светило!
Посияй сперва сильнее,
посвети потом слабее,
наконец — со всею силой;
усыпи народ усталый,
утоми народ подземный,
царство Туони убаюкай!»
Вот созданье Бога, солнце,
яркое Творца светило,
на изгиб березы село,
на прогиб ольхи спустилось.
Посияло посильнее,
посветило послабее,
наконец — со всею силой;
утомило люд усталый,
царство Маны усыпило:
молодых людей с мечами,
с посохами слабых старцев,
с копьями — мужей матерых.
После этого взлетело,
поднялось на свод небесный,
село там на старом месте,
в прежнем доме поселилось.
Тут родительница Кавко
принялась грести граблями,
начала искать сыночка
в волнах пенного порога,
в быстротечной водоверти.
Как ни ищет — не находит.

Вот спускается все ниже,
вот уже заходит в воду
до подвязок на чулочках,
вот уже в воде по пояс,

в Туонеле сыночка ищет,
тащит грабли по теченью,
против быстрого потока,
раз ведет, второй проводит,
в третий — выгребла рубашку,
вынула себе на горе,
провела еще разочек —
вот чулочки, вот и шапка;
принесли печаль чулочки,
шапка — горькую кручину.

Вот сошла еще пониже,
в устье Маналы спустилась,
вдоль реки ведет граблями,
поперек затем проводит,
в третий раз — наискосочек.
Только лишь с попытки третьей
сноп какой-то зацепили
эти грабли из железа.

Только был не сноп на зубьях —
был беспечный Лемминкяйнен,
сам прекрасный Кавкомьели.
Он граблями был подцеплен,
взят за палец безымянный,
за мизинец был подхвачен.

Всплыл беспечный Лемминкяйнен,
Калевы сынок поднялся
на больших граблях из меди
на поверхность вод прозрачных.

Малости не доставало:
головы лишь половины,
лишь руки и мышц различных,
не хватало и дыханья.

Мать, подумав, говорила,
горько плача, вопрошала:
«Можно ль это сделать мужем,
обернуть героем новым?»
Слышит ворон этот возглас,
так несчастной отвечает:
«Мужа нет уже в погибшем,
нет в погубленном героя:
съедены глаза сигами,
щукой выедены плечи.
Отпусти героя в море,
вытолкни в потоки Туони,
может, там трескою станет,
вырастет китом огромным».
Мать родная Кавкомьели
не столкнула сына в море.
Снова в поиски пустилась,
грабли медные схватила,
провела опять вдоль Туони,
вдоль и поперек теченья,
тянет руку, тянет череп,
тащит полхребта из Маны,
полребра — из водоверти,
много мускулов различных.
Собрала из них сыночка,
Лемминкяйнена сложила.

Плоть соединила с плотью,
с костью кость состыковала,
часть одну — с другою частью,
жилку — с жилкою другою.

Связывая сухожилья,
складывая их концами,
нити жилок заклинала,
заклинала, говорила:
«Ты, красивая хозяйка,
Суонетар — царица жилок,
пряха крепких сухожилий
со своей красивой прялкой,
с медным чудо-веретенцем,
с пряслицем на нем железным!
Ты приди в нужде на помощь,
на призыв явись поспешно,
принеси охапку жилок,
кожи узелок — под мышкой,
жилы все свяжи живее,
закрепи концы с концами,
где есть рваные раненья,
где сияют в теле дыры.

Если ж этого все мало,
дева есть на небосводе,
что сидит в ладье из меди,
в челноке с кормою красной.
Опустись на землю, дева,
с середины небосвода,
в лодке с жилками поплавай,
в челноке — с частями тела,
проплыви по сломам кости,
по разрывам мышц различных.

По местам расставь прожилки,
водвори в места былые,
сдвинь сосуды срезом к срезу,
встык поставь большие вены,
жилки кучные — внахлестку,
жилки мелкие — вплотную.

Тонкую возьми иголку
с тонкой шелковою ниткой,
все зашей иглой туманной,
оловянною прошивкой,
все концы свяжи узлами,
обмотай тесьмой из шелка!

Если ж этого все мало,
Бога попрошу покорно:
«Запряги своих лошадок,
оседлай коней прекрасных,
поезжай в санях узорных
через кости, через тело,
сквозь разорванные ткани,
по протокам жил подвижных,
прикрепи ты мясо к кости,
сочлени ты жилу с жилой,
серебро просунь в разломы,
золото — в разрывы жилок.

Там, где кожа отделилась,
положи лоскутик новый,
где прожилки оборвались,
новые продень прожилки,
там, где кровь ушла из тела,
свежей крови влей побольше,
там, где кости раздробились,
нарасти их новой костью,
там, где мясо отвалилось,
ты добавь немного мяса.
Мышцы уложи на место,
мускулы — туда, где были.
Мясо с мясом, кость с костями,
все соедини, как было!»

Так родительница Кавко

вновь героя сотворила,
облик прежний возвратила,
старую вернула внешность.

Жлы все заговорила,
крепко кончики связала, —
речь живую не вернула,
слов в уста не возвратила.
Так она тогда сказала,
молвила слова такие:
«Где достать такие мази,
раздобыть такого меду,
чтобы хворого помазать,
исцелить больного мужа,
чтобы вновь заговорил он,
чтобы вновь запел он песни?

Пчелка, маленькая птичка,
всех лесных цветов царица,
ты лети на поиск меда,
на добычу симы сладкой
в кущи Метсолы[115] прекрасной,
в чащи Тапиолы мудрой,
набери с цветов пахучих,
с колосков травы душистой,
чтоб намазать раны мужа,
чтобы исцелить ушибы!»

Пчелка, быстренькая пташка,
крыльями легко взмахнула,
скоро Метсолы достигла,
дебрей Тапиолы мудрой,
там цветочков поклевала,
мед на языке сварила,
собранный с шести соцветий,
с целой сотни трав душистых.

Пчелка шумно прилетела,
возвратилась хлопотливо,
крылья все — в меду пахучем,
перышки — в напитке сладком.
Тут родительница Кавко
приняла все эти мази,
стала ими мазать сына,
мужа исцелять больного —
не подействовали мази,
не вернули речи сыну.

Молвила слова такие:
«Пчелка, милая летунья,
ты слетай в края другие
за́ девять морей широких,
на морской далекий остров,
материк большой медовый,
в новую избушку Тури[116],
Палвойнена[117] дом без крыши.
Там медов чудесных много,
добрых мазей — сколько хочешь,
годных для любых прожилок,
для любых участков тела.
Принеси ты эти мази,
снадобья доставь скорее,
чтобы положить на раны,
чтобы окропить ушибы!»

Пчелка, легкий человечек,
снова быстро улетела
за́ девять морей широких,
за десятое полморя.
День летит, второй несется,
вот уже летит и третий,
на тростник не опускаясь,
на траве не отдыхая.

Вот на остров прилетела,
материк медовый в море,
на горящие пороги,
водоверть реки священной.

Там варили мед душистый,
чудные творили мази,
в маленьких горшках мешали,
в котелочках аккуратных,
где лишь пальчик помещался,
кончик малого мизинца.
Пчелка, легкий человечек,
всяких мазей получила.
Времени прошло немного,
минуло одно мгновенье,
глядь, пчела, жужжа, вернулась,
хлопотливо опустилась,
шесть горшков неся в охапке,
за плечами — семь посудин,
полных мазью благотворной,
полных снадобьем чудесным.
Вот родительница Кавко
стала мазать сына мазью —
девять мазей выбирает,
восемь снадобий хороших.
Только все же нету пользы,
проку нету никакого.

Молвила слова такие,
речь такую говорила:
«Пчелка, воздуха летунья,
в третий раз лети за мазью,
поднимись повыше в небо,
на девятый свод небесный,
много там напитков сладких,
меда доброго — сверх меры,

ими врачевал Создатель,
заговаривал Всевышний,
избавлял детей любимых
от ушибов темной силы.
Крылья обмакни в напиток,
окуни в медовый перья,
принеси на крыльях симы,
на плаще — побольше меду,
чтоб намазать поврежденья,
чтобы окропить ушибы!»

Пчелка, маленькая пташка,
молвила слова такие:
«Как же мне взлететь на небо,
слабосильному созданью?»

«Неба ты достигнешь просто,
долетишь туда чудесно —
над луной пройдешь, под солнцем,
между звездами промчишься.
Крыльями денек помашешь —
сядешь месяцу на брови,
на другой денек присядешь
ты Медведице на плечи,
отдохнешь уже на третий
на спине у Семизвездья,
там останется немножко,
там рукой подать до места,
где Создатель обитает,
восседает Бог блаженный».

Вот пчела взлетела с кочки,
медоносица — с травинки.
Полетела, запорхала,
крылышками замахала,
по кольцу луны промчалась,

пронеслась по кругу солнца,
по Медведицы ключицам,
по лопаткам Семизвездья,
прилетела в погреб Бога,
в кладовые Властелина,
там как раз творили мази,
зелья разные варили
в тех серебряных кувшинах,
в золотых горшках красивых.
Мед варился посередке,
по краям кипело масло,
с края южного — напиток,
с края северного — сало.
Тут пчела, пичуга неба,
набрала напитка вволю,
меда разного — премного.
Лишь мгновенье пролетело,
как пчела, жужжа, вернулась,
хлопотливо опустилась,
сто рожков неся в охапке,
тысячу других горшочков,
там был мед, а здесь водица —
чудодейственные мази.
Вот родительница Кавко
те испробовала мази,
на язык взяла по капле,
все пригодными признала:
«Эти мази — божьи мази,
Всемогущего примочки,
ими Бог лечил увечья,
раны окроплял Создатель».

Окропляет мать сыночка,
изувеченного лечит.
Мазь наносит на разломы,
на различные разрывы,

мажет сверху, мажет снизу,
посередке раз проводит.
Тут сказала речь такую,
так она проговорила:
«Пробудись от сна, почивший,
дремлющий, оставь дремоту,
подымись с дурного места,
встань с одра своих злосчастий!»
Пробудился муж почивший,
сбросил тяжкую дремоту,
вновь обрел искусство речи,
смог сказать слова такие:
«Долго же я спал, несчастный,
долго же дремал я, жалкий,
сладкий сон вкушал беспечно,
предавался крепкой дреме».

Мать герою так сказала,
молвила слова такие:
«Ты проспал бы здесь и больше,
много дольше пролежал бы,
не случись прийти родимой,
матери, тебя носившей.
Ты скажи, мой сын несчастный,
ты поведай мне, родимый,
кто тебя спровадил в Ману,
кто столкнул в пучину Туони?»

Тут беспечный Лемминкяйнен
так сказал своей родимой:
«Тот пастух в шапчонке мокрой,
Унтолы[118] слепец несчастный,
он меня спровадил в Ману,
он столкнул в пучину Туони,
из воды змею он поднял,
из волны гадюку вынул,

на несчастного направил.
Я же вовсе и не ведал,
от змеи не знал заклятья,
заговора от укуса».
Мать герою так сказала:
«Ох, герой ты неразумный,
ты волхвов заклясть грозился,
лопарей[119] заткнуть за пояс,
сам змеиных слов не знаешь,
заговора от укуса:
из воды змея явилась,
из пучины — дудка с ядом,
из мозгов морянки вышла,
из голов морских касаток.
Плюнула на воду ведьма,
харкнула на волны злюка,
вытянула ком водица,
солнце тут же размягчило,
ветер в люльке убаюкал;
дух воды качал легонько,
волны к берегу катили,
выбросил прибой на сушу».

Мать, родительница Кавко,
все баюкала сыночка,
вид былой ему вернула,
прежний облик возвратила,
сделала намного лучше,
чуть покрепче, посвежее,
наконец спросила сына:
«В чем еще твои изъяны?»

Тут ответил Лемминкяйнен:
«Есть во мне еще изъяны:
сердце я свое оставил,
я свои оставил думы

у девиц прекрасных Похьи,
у красавиц длиннокосых.
Та замшелая старуха
дочку за меня не выдаст,
если не убью морянку,
лебедь не сражу стрелою
на реке священной Туони,
вековечной водоверти».

Тут родительница Кавко
говорит слова такие:
«Ты оставь своих лебедок,
пусть живут себе морянки
там в потоке черном Туони,
в той горящей водоверти.
Поспеши к родному дому
с матерью своей несчастной.
Будь судьбой своей доволен,
восхвали на небе Бога,
что помог тебе, бедняжке,
что вернул обратно к жизни
со стези извечной Туони,
из жилищ печальных Маны.
Я сама бы не сумела,
ничего я не смогла бы,
если бы не воля Бога,
не Всевышнего деянье».

Тут беспечный Лемминкяйнен
в путь к себе домой пустился
с милой матерью родимой,
со своей пестуньей старой.
Я теперь покину Кавко,
Ахти своего оставлю,
возвращусь к нему не скоро.
Поведу сказанье дальше,

на стезю сверну другую,
новою пойду дорогой.

Песнь шестнадцатая

Вяйнямёйнен отправляет Сампсу Пеллервойнена искать нужные для постройки корабля деревья, а потом из дуба с помощью заклинания вытесывает лодку, но ему недостает трех слов, стихи 1-118. — Нигде их не найдя, отправляется в Туонелу, откуда его не хотят отпускать, с. 119–362. — Однако, прибегнув к своей магической силе, Вяйнямёйнен выбирается из Туонелы и по возвращении предупреждает людей, чтобы они не совершали злых поступков и не оказались в том ужасном положении, в котором пребывают недобрые люди, с. 363–412.

Старый вещий Вяйнямёйнен,
предсказатель вековечный,
мастерил челнок добротный,
новую ладью готовил
5 там, на острове туманном,
там, на сумеречном мысе.
Не было у Вяйно теса,
дерева — у корабела.

Кто же дерево отыщет,
ствол дубовый раздобудет
Вяйнямёйнену для лодки,
прорицателю — для киля?

Пеллервойнен, сын поляны,
Сампса[120], мальчик низкорослый,
вот кто дерево отыщет,
ствол дубовый раздобудет
Вяйнямёйнену для лодки,
прорицателю — для киля!

Вот идет он, вот шагает
в направлении восточном,
минул горку, взял другую,
одолел уже и третью,
золотой неся топорик,
с медной ручкою секиру.
Повстречал в пути осину
высотою в три сажени.

Захотел срубить осину,
по стволу секирой стукнуть.
Говорит ему осина,
языком разумным молвит:
«Что же ты, герой, замыслил,
что со мной задумал сделать?»

Сампса, юный Пеллервойнен,
говорит слова такие:
«Вот я что задумал сделать,
вот на что ты пригодишься:
Вяйнямёйнену на лодку,
прорицателю — на остов».

Тут осина удивилась,

стоветвистая сказала:
«Челн такой дырявым будет,
неустойчивым на волнах.
Изнутри я вся гнилая:
только этим летом трижды
проедал мне червь середку,
надругался над корнями.»

Сампса, юный Пеллервойнен,
продолжает путь-дорогу,
поспешает, размышляет,
направляется на север.

Повстречал сосну в дороге
высотою в три сажени.
Топором сосну ударил,
по стволу секирой стукнул,
сам сказал, такое молвил:
«Не могла бы ты сгодиться
Вяйнямёйнену для лодки,
для челна — певцу заклятий?»

Молвила сосна сердито,
громко так проговорила:
«Из меня не выйдет лодки,
шестиреберного судна!
Ствол мой весь давно изранен:
только этим летом трижды
ворон на ветвях качался,
в кроне каркала ворона».
Сампса, юный Пеллервойнен,
продолжает путь-дорогу,
поспешает, размышляет,
к югу шаг свой направляет.
Повстречался дуб в дороге
в девять сажен толщиною.

Спрашивает, вопрошает:
«Станешь ли ты, дуб могучий,
остовом рыбачьей лодки,
килем судна боевого?»
Дуб степенно отвечает,
мудро молвит желудевый:
«Дерева во мне хватает,
чтобы стать надежным килем:
не изранен ствол мой стройный,
нет во мне дупла гнилого.
Только этим летом трижды,
этой славною порою
солнце ствол мой обходило,
освещал вершину месяц,
на ветвях кукушки пели,
в кроне птицы отдыхали».
Сампса, юный Пеллервойнен,
тут с плеча берет секиру,
в ствол топор вонзает острый,
в дуб — отменную секиру.
Быстро повалил лесину,
наземь дуб поверг прекрасный.
Вот отсек сперва вершину,
расщепил на части комель.
Остов вытесал для лодки,
наготовил уйму досок
на корабль для рунопевца,
на челнок для старца Вяйно.

Тут уж старый Вяйнямёйнен,
предсказатель вековечный,
стал заклятьем делать судно,
ладить лодку — песнопеньем
из единственного дуба,
из его обломков хрупких.

Спел заклятье — сделал днище,
спел другое — борт приделал,
вскоре спел и третью песню.
Пел, уключины вбивая,
ребра лодки закрывая,
швы обшивки подгоняя.
Закрепив у лодки ребра,
подогнав обшивку, понял:
не хватает трех словечек,
чтоб края бортов доделать,
чтоб достроить нос у лодки,
завершить корму у судна.

Старый вещий Вяйнямёйнен,
предсказатель вековечный,
так промолвил, так заметил:
«Ах, какой же я несчастный!
Не спустить мне челн на воду,
на волну — корабль мой новый!»
Думу думает, гадает,
где ж найти слова заклятья,
заговор сыскать хороший:
не на темени ль касаток,
в голове лебяжьей стаи,
на спине гусей летящих?

Добывать слова пустился.
Стаю лебедей изводит,
клин гусей уничтожает,
ласточек — числом несметным:
не нашел словечка даже,
не добыл и половинки.

Думу думает, гадает:
«Сотня слов всегда найдется
в зеве летнего оленя,

в подъязычье белки белой».

Добывать слова пустился,
нужные искать заклятья.
Уложил оленей поле,
настрелял жердину белок,
разных слов собрал немало,
бесполезных изречений.

Думу думает, гадает:
«Сотню слов всегда добуду
в вечных Туонелы жилищах,
в хижинах подземной Маны».

В Туонелу пошел за словом,
в Маналу за вещим знаньем.
Шел, вышагивал степенно,
сквозь кустарник шел неделю,
сквозь черемушник — вторую,
третью — через можжевельник:
остров Маналы увидел,
Туонелы холмы приметил.

Вековечный Вяйнямёйнен
лодку зычно вызывает
возле переправы Туони,
в устье Маналы-потока:
«Пригони мне челн, девица,
плот пошли мне, дочка Маны,
чтобы реку переехать,
переплыть пролив широкий!»

Туони маленькая дева,
низкорослая служанка,
стиркой платьев занималась,
полосканием одежды

в устье Маналы широком,
Туонелы потоке черном.
Слово молвила, сказала,
так она проговорила:
«Лодку ты получишь тотчас,
как поведаешь причину —
в Маналу зачем явился,
не погубленный болезнью,
смертью праведной не взятый,
не сраженный прочей смертью».

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Вел меня сюда сам Туони,
выманил из мира Мана».
Туони маленькая дева,
низкорослая служанка,
говорит слова такие:
«Сразу видно: ты обманщик.
Если бы привел сам Туони,
выманил из мира Мана,
Туони сам и доставлял бы,
Маналайнен провожал бы
в головном уборе Туони[121],
в рукавицах вечной Маны.
Ты скажи мне правду, Вяйно,
в Маналу зачем явился?»

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Сталь меня послала в Туони,
привело железо в Ману».
Туони маленькая дева,
низкорослая служанка,
так ответила, сказала:
«Снова видно: ты обманщик!

Если б сталь послала в Туони,
привело железо в Ману, —
кровь стекала бы с одежды,
падала потоком с платья.
Ты скажи мне правду, Вяйно,
истину теперь поведай».

Вековечный Вяйнямёйнен
так заметил, так промолвил:
«В Маналу водой пригнало,
в Туонелу волной прибило».
Туони маленькая дева,
низкорослая служанка,
слово молвила, сказала:
«Снова ложь в ответе слышу!
Если бы водой пригнало,
если бы волной прибило,
влага бы текла с одежды,
капала вода с подола.
Правду истинную молви,
ты зачем явился в Ману?»
Тут уж старый Вяйнямёйнен
врет еще один разочек:
«Пламя в Туонелу пригнало,
в Маналу огонь направил».

Туони маленькая дева,
низкорослая служанка,
молвила слова такие:
«Снова видно: ты обманщик!
Если бы пригнало пламя,
в Маналу огонь направил,
волосы бы обгорели,
борода бы опалилась.

Ой ты, старый Вяйнямёйнен,

если лодку ожидаешь,
сущую скажи мне правду
после лжи своей последней,
как ты в Маналу явился,
не погубленный болезнью,
смертью праведной не взятый,
не сраженный прочей смертью».
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Хоть я и солгал немного,
раз-другой сказал неправду,
истину теперь открою.
Знанием я лодку делал,
пением корабль свой строил.
Пел и день и два заклятья,
вот на третий день нежданно
санки песен поломались,
лопнул полоз заклинаний:
я пришел за шилом в Туони,
за сверлом явился в Ману,
чтоб свои поправить санки,
песенный возок наладить.
Пригони теперь мне лодку,
свой челнок подай скорее,
переправиться мне надо,
переехать через реку!»

Туонетар его ругает,
дева Маны порицает:
«Ой, герой ты безрассудный,
здравомыслия лишенный!
Без причин приходишь в Туони,
в Маналу без всякой хвори.
Для тебя бы лучше было
поскорей домой вернуться:
много их, сюда пришедших, —
возвратившихся немного!

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Баба с полпути вернется,
но не муж, пускай из худших,
не герой, хоть из сонливых!
Пригони, девица, лодку,
челн подай мне, дочка Маны!»

Подает девица лодку,
старца Вяйно перевозит
в этой лодке через реку,
через тот пролив широкий,
говорит слова такие:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
неубитым едешь в Ману,
неумершим — в земли Туони».

Туони старая хозяйка,
повелительница Маны,
принесла для гостя пива,
в кружке подала двуручной.
Молвила слова такие:
«Выпей, старый Вяйнямёйнен».

Вековечный Вяйнямёйнен
осмотрел пивную кружку:
жабы в ней икру метали,
по краям кишели черви.
Он сказал слова такие:
«Не за тем сюда я прибыл,
чтобы пить из кубков Маны,
чтоб лакать из кружек Туони:
пиво пьющие — пьянеют,
чарку любящие — гибнут».

Молвила хозяйка Туони:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,

ты зачем явился в Ману,
шел зачем к жилищам Туони
прежде чем захочет Туони,
прежде чем попросит Мана?»

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Лодку для себя я строил,
новую ладью готовил,
трех словечек не хватило,
чтоб корму челна доделать,
новой лодки нос достроить.
Не нашел я тех словечек,
не сыскал нигде на свете,
в Туонелу пришлось поехать,
поспешить к жилищам Маны,
чтобы здесь добыть словечки,
заклинания запомнить».

Тут уж Туонелы хозяйка
слово молвила, сказала:
«Не дает заклятий Туони,
силой слов не наделяет!
Да к тому же ты вовеки
не уйдешь теперь отсюда,
ты домой не возвратишься,
не вернешься в край родимый».

В сон героя погрузила,
дремой путника сморила
на мохнатых шкурах Туони.
Муж на ложе отдыхает,
сладкий сон герой вкушает:
спит герой — не спит одежда.
В Туонеле была старуха,
бабка с челюстью кривою,
из железа нить сучила,

отливала нить из меди.
В сто ячеек сеть связала,
в тысячу — огромный невод
лишь одною летней ночью,
на одном прибрежном камне.

В Туонеле старик был дряхлый,
человек с рукой трехпалой,
он вязал из стали невод,
бредень мастерил из меди.
В сто ячеек создал невод,
в тысячу — огромный бредень
лишь одною летней ночью,
на одном прибрежном камне.

Туони сын железнорукий,
криворукий, кривопалый,
ставит невод в сто саженей
поперек потока Туони,
поперек и вдоль пролива,
наискось ведет вдобавок,
чтоб не скрылся Вяйнямёйнен,
не сбежал Увантолайнен
никогда на этом свете, —
лунный свет пока сияет, —
из жилищ суровой Туони,
хижин вековечной Маны.

Старый вещий Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Неужель конец приходит,
трудный день мой наступает
в избах Туонелы извечной,
в этих Маналы жилищах?»

Быстренько сменил свой облик,

стал совсем другим внезапно:
прыгнул в море черной тенью,
в камыше укрылся выдрой.
Заскользил змеей железной,
черною пополз гадюкой
поперек потока Туони,
сквозь железные тенета.

Туони сын железнорукий,
криворукий, кривопалый,
поутру пораньше вышел
проверять рыбачьи сети:
сто поймал больших тайменей,
тысячу мальков лососьих.
Не поймал лишь старца Вяйно,
мужа Уванто — в потоке.
Тут уж старый Вяйнямёйнен,
возвратясь домой из Туони,
вымолвил такое слово,
произнес такие речи:
«Пусть отныне Бог великий
не допустит, не позволит,
чтобы в Ману уходили,
в Туонелу — без приглашенья.
Много их, туда ушедших, —
возвратившихся немного
из домов далеких Туони,
обиталищ вечной Маны».

Он тогда еще добавил,
так сказал, такое молвил
для народа молодого,
подрастающего люда:
«Люди добрые, внемлите, —
никогда, нигде вовеки
не вините невиновных,

праведных не обвиняйте.
Вас возмездие настигнет
в вечных Туонелы жилищах:
там места — для нечестивцев,
там для грешников — лежанки
из булыжников горячих,
из каменьев раскаленных;
там из змей ползучих — полость,
там из гадов — одеяло».

Песнь семнадцатая

Вяйнямёйнен отправляется добывать слова у Антеро Випунена и пробуждает его от долгого сна под землей, стихи 1-98. — Випунен проглатывает Вяйнямёйнена, и тот, находясь в его животе, начинает сильно ему досаждать, с. 99–146. — Випунен уже думает, что у него в животе начались колики; с помощью множества заклинаний, уговоров и устрашений он пытается освободиться от Вяйнямёйнена, однако тот угрожает, что останется в животе до тех пор, пока не заполучит у Випунена необходимые для постройки лодки слова, с. 147–526. — Випунен песнопением передает Вяйнямёйнену все свои знания, и Вяйнямёйнен выходит из живота Випунена, возвращается к своим стапелям и завершает строительство лодки, с. 527–628.

Вековечный Вяйнямёйнен,
трех не раздобыв словечек
в этих Туонелы жилищах,
в хижинах извечной Маны,
[5] все гадает, размышляет,
в думах голову ломает:
где бы слов набрать пригодных,

раздобыть заклятий нужных?

Встретил пастуха дорогой.
Тот сказал слова такие:
«Есть хоть сотня слов пригодных,
есть хоть тысяча заклятий:
Випунен[122] во рту их держит,
Антеро хранит в утробе.
Но придется путь проделать,
одолеть дорогу надо.
Этот путь совсем нелегкий,
хоть не слишком и тяжелый:
пробежишь ты часть дороги
по концам иголок женских,
часть другую прошагаешь
по концам мечей каленых,
третью часть проковыляешь
по отточенным секирам».
Вековечный Вяйнямёйнен
в путь отправиться задумал.
В кузницу сперва приходит,
говорит слова такие:
«Ой, кователь Илмаринен,
из железа сделай обувь,
скуй из стали рукавицы,
сшей рубаху из железа,
из железа выкуй вáгу[123],
смастери рычаг из стали,
чтобы сталь была в середке,
сверху — ковкое железо.
Я пойду искать заклятья,
добывать слова отправлюсь:
Випунен во рту их держит,
Антеро хранит в утробе».

Тут кователь Илмаринен

слово молвил, так заметил:
«Випунен давно скончался,
Антеро почил навеки,
уж давно силков не ставит,
по лесам — своих ловушек.
Не возьмешь ты слов оттуда,
полсловечка не получишь».

Вековечный Вяйнямёйнен
все же в дальний путь пустился.
День шагает беззаботно
по концам иголок женских,
день второй идет беспечно
по клинкам мечей каленых,
день вышагивает третий
по отточенным секирам.

Випунен, хранитель песен,
вещий старец, муж могучий,
с песнями почил навеки,
с заклинаниями сгинул,
на спине осина встала,
на висках взросла береза,
поднялась ольха на скулах,
ивы куст — на подбородке,
елка беличья — в надбровье,
на зубах — сосна большая.
Подошел тут Вяйнямёйнен,
вынул меч, извлек железо
из ножон, обитых шкурой,
с пояса воловьей кожи.
На спине срубил осину,
повалил с висков березы,
с челюстей — большие ольхи,
срезал ивы с подбородка,
ели вырубил — с надбровья,

сосны выкорчевал с десен.

Подхватил рычаг железный,
Випунену в рот засунул,
вбил в оскаленные десны,
в челюсть дряхлую задвинул.
Слово молвил, так заметил:
«Просыпайся, человече,
пробуждайся от дремоты,
ото сна воспрянь скорее!»
Випунен, хранитель песен,
сбросил вмиг свою дремоту
от невыносимой боли,
нестерпимого мученья.
Начал грызть рычаг железный,
прокусил лишь оболочку,
прокусить не смог сердечник,
разжевать железный стержень.

Тут-то старый Вяйнямёйнен,
возле рта его стоящий,
заскользил одной ногою,
оступился левой пяткой,
к Випунену в рот свалился,
к Антеро скатился в глотку.

Випунен, хранитель песен,
широко свой рот разинул,
челюсти свои раздвинул,
проглотил с мечом героя,
пропустил в свою утробу
Вяйнямёйнена живого.
Випунен, хранитель песен,
произнес слова такие:
«Всякого поел я в жизни:
коз едал, едал овечек,
яловых вкушал буренок,

хряков ел и хрюшек разных —
никогда не ел такого,
не вкушал подобной пищи!»
Вековечный Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:
«Кажется, конец приходит,
смерть-погибель наступает
в этом тесном стойле Хийси,
здесь, в загоне вечной Калмы!»

Думу думает, гадает,
как тут быть и что тут делать.
На боку был нож у Вяйно,
рукоять ножа из капа,
сделал челн из рукояти,
создал пением кораблик.
На челне своем поехал,
вдоль кишки поплыл на веслах,
в каждом побывал изгибе,
в каждый заглянул закуток.

Випунен, хранитель песен,
ничего тут не почуял.
Вот тогда-то Вяйнямёйнен
кузнецом оборотился,
стал кователем железа.
Сделал кузницей рубаху,
рукава — мехáми[124] горна,
поддувалом — полушубок,
сделал трубами штанины,
раструбом чулок устроил,
наковальнею — колено,
молотом — свой крепкий локоть.

Стал ковать кузнец проворно,
молотом стучать упорно.

Напролет всю ночь работал,
день ковал, не отдыхая,
у кудесника в утробе,
в чреве ведуна большого.

Випунен, хранитель песен,
вымолвил слова такие:
«Из каких мужей ты родом,
племени какого будешь?
Съел мужей я больше сотни,
тысячу извел героев, —
никогда не ел такого,
головни из глотки лезут,
угли рот мне забивают,
шлак мне горло обжигает.
Выходи, чужой, из чрева,
убирайся вон, поганый,
до того, как мать узнает,
старая твоя прослышит
все, что расскажу старушке,
что поведаю родимой.
Огорчится мать родная,
опечалится старушка:
сын неладно поступает,
жизнь свою проводит дурно.

Что-то не пойму я толком,
не могу я догадаться,
ты пришел откуда, Хийси,
лиходей, откуда взялся?
И кусаешь ты, и гложешь,
и грызешь, и рвешь на части.
Может, ты творенье Бога,
может, Господа созданье,
кем-то сделан ты нарочно,
кем-то создан, кем-то послан,

может, сотворен за дéньги[125],
за хорошую оплату?

Если ты пришел от Бога,
от Всевышнего явился,
подчинюсь я божьей воле,
покорюсь всевышней власти:
Бог хорошего не бросит,
доброго губить не станет.
Если ты нарочно сделан,
если ты придуман кем-то,
я найду твое начало,
выясню происхожденье.

Раньше хвори шли оттуда,
шли оттуда все недуги:
из окрестностей шаманских,
из долин волхвов коварных,
из родимых мест злодеев,
из владений чудодеев,
с пустошей песчаных Калмы,
из самих глубин подземных,
из жилищ людей усопших,
со дворов мужей покойных;
шли из почвы разрыхленной,
из распаханного поля,
с галечников перекатных,
из песков сыпучих звонких,
из ложбин, обильных влагой,
из болотин, мха лишенных,
из ключей, водой звенящих,
из источников шумящих,
закромов лесного Хийси,
из щелей пяти утесов,
с бронзовой вершины горной,
с медного холма большого,

из кривых шумящих сосен,
колыхающихся елей,
с маковки сосны трухлявой,
из давно прогнившей мянды,
с лежбища недугов лисьих,
с наста на полях лосиных[126],
из берлог медвежьих в скалах,
обиталищ — косолапых,
с пустырей далекой Похьи,
из земель обширной Лаппи,
с нив, не знающих подроста,
с нераспаханных угодий,
с тех больших полей сражений,
с места гибели героев,
из кровавых тех потоков,
с трав, шуршащих на полянах,
с тех пространств морских широких,
с тех просторов необъятных,
из придонной тины черной,
глубей в тысячу саженей,
из потоков многошумных,
из горящих водовертей,
из порогов бурной Рутьи,
из водоворотов мощных,
с самой верхней крышки неба,
с края облака крутого,
со стези ветров весенних,
колыбели юных вихрей.

Не оттуда ль ты явился,
не оттуда ли спустился,
влез невинному в утробу,
безобидному — в желудок,
чтобы есть меня и мучить,
чтобы грызть и рвать на части?
Ты замри, собака Хийси,

Маналы кобель, затихни,
выходи из чрева, изверг,
прочь из печени, каналья,
перестань терзать мне сердце,
ковыряться в селезенке,
выворачивать утробу,
легкие сверлить несносно,
прогрызать мой пуп нещадно,
внутренности рвать на части,
раздирать мне позвоночник,
резать больно поясницу!

Если силы мне не хватит,
пусть придут, кто посильнее,
чтобы справиться с напастью,
чтоб разделаться с канальей.

Подниму земли хозяек,
вызову хозяев пашни,
приглашу мужей с мечами,
всадников из недр песчаных
быть опорой, быть поддержкой,
подкреплением, подмогой
в этом тяжком, трудном деле,
в одоленье мук нещадных.

Коль и это не поможет,
не подействует нисколько,
мощный бор, восстань с мужами,
можжевельник — с ополченьем,
корба — со своим семейством,
с челядью — глухая ламба,
встаньте, сто мужей с мечами,
тысяча — в железных латах,
чтобы гнать отсюда Хийси,
Ютаса теснить отсюда.

Коль и это не поможет,
не подействует нисколько,
поднимись, воды хозяйка,
в синем чепчике — из глуби,
в тонких платьях — из трясины,
выйди, чистая, из тины
слабосильному подмогой,
малорослому опорой,
чтоб меня совсем не съели,
без болезни не убили.

Коль и это не поможет,
не подействует нисколько,
Каве-мать, природы дева,
дорогая, золотая,
старшая из жен на свете,
первая среди родивших,
помоги в моих страданьях,
окажи в мученьях помощь,
чтоб осилить наважденье,
излечиться от болезни.

Коль и это не поможет,
не подействует нисколько,
Укко в середине неба,
на краю гремящей тучи,
поспеши в нужде на помощь,
на призыв приди скорее,
избавлять от наважденья,
заговаривать от порчи
огненным мечом могучим,
искры сыплющим железом!

Убирайся вон, негодный,
сгинь скорее, бес поганый!
Для тебя здесь нету места,

как бы в нем ты ни нуждался.
Поселись в другом жилище,
уноси свой дом подальше,
где живет твой повелитель,
где живет твоя хозяйка!

Вот когда туда прибудешь,
как до места доберешься,
до пределов предков древних,
до родительских владений,
там подай сигнал условный,
обозначь свое прибытье:
загреми, как гром грохочет,
как огонь, сверкни, как пламя!
Отвори пинком ворота,
выбей ставни из окошек,
в дом ворвись через проёмы,
вихрем залети в жилище,
крепко ухвати за икры,
за ноги — у самой пятки
хоть хозяина в закуте,
хоть хозяйку у порога,
выбей глаз главе семейства,
голову разбей хозяйке,
преврати их пальцы в крючья,
головы сверни им набок!

Если этого не хватит,
петухом порхни в окошко,
залети во двор куренком,
грудью — в мусорную кучу;
в стойле мерина прикончи,
завали в хлеву корову,
утопи рога в навозе,
хвост коровий выброс на пол,
выколи глаза скотине,

выверни коровам шеи!

Если принесен ты ветром,
ветром послан, вихрем пригнан,
дан весенним суховеем,
ледяным порывом лютым, —
улетай путями ветра,
вихря санным первопутком,
не присев нигде на ветку,
на ольхе не отдыхая,
на макушку медной сопки,
бронзовой горы вершину,
чтобы ветер там баюкал,
вихрь покачивал воздушный.

Если ты с небес явился,
с облаков, сулящих вёдро,
вознесись на небо снова,
на воздушные высоты,
к дождевым далеким тучам,
к звездам, на небе дрожащим,
пламенем пылать в просторах,
искрами сверкать в высотах,
на путях воздушных солнца,
на кругах луны полночной!

Коль тебя водой пригнало,
принесло волной морскою,
уходи, негодный, в воду,
погрузись опять под волны,
в замки из морского ила,
на хребты валов высоких,
чтоб тебя гоняли волны,
воды темные качали.

Коль ты из владений Калмы,
из жилищ людей усопших,

восвояси возвращайся,
на подворья этой Калмы,
в рыхлые пласты земные,
в развороченную почву,
где лежит народ ушедший,
род могучий почивает!
Если ж ты пришел оттуда —
из щелей лесного Хийси,
из жилищ своих сосновых,
из еловых обиталищ,
я верну тебя заклятьем
к лежбищам лесного Хийси,
к мяндовым его жилищам,
к обиталищам еловым,
чтобы там ты был, покуда
не сгниют полы в жилищах,
не покроет стены плесень,
потолок пока не рухнет!

Прогоню тебя заклятьем,
никудышного, отправлю
к косолапому в берлогу,
в дом его хозяйки старой,
в вечно влажные овраги,
на стоячие болота,
на зыбучие трясины,
на ключи болотных топей,
на безрыбные озера,
где и окушка не сыщешь.

Если там тебе нет места,
загоню тебя заклятьем
на задворки длинной Похьи,
на поля просторной Лаппи,
на безлесые равнины,
на непаханые нивы,

где ни месяца, ни солнца,
где и света не бывает.
Заживешь ты там счастливо,
зажируешь беззаботно:
там висят на соснах лоси,
благородные олени —
ешь, голодный, сколько хочешь,
насыщайся, ненасытный.

Заманю тебя заклятьем,
заклинаньем, повеленьем
в водопад могучей Рутьи,
в огненные водоверти —
кроной рушатся в них сосны,
комлями вперед — деревья,
сосны — мощными корнями,
деревá — широкой кроной.
Там поплавай, дух поганый,
средь кипенья водопада,
повертись в воде бурливой,
покрутись в теснинах узких.

Коль и там тебе нет места,
загоню тебя заклятьем
в черные потоки Туони,
в реку Маналы извечной,
чтоб не вышел ты оттуда,
чтоб не выбрался вовеки,
сам покуда не прибуду,
выручать тебя не стану,
девять взяв с собой баранов,
маткою одной рожденных,
девять взяв быков огромных,
ношенных одной коровой,
девять жеребцов прибавив,
жеребят одной кобылы.

Если надобна подвода,
если не на чем уехать,
предоставлю сам подводу,
дам прекраснейшую лошадь:
конь хороший есть у Хийси,
есть на сопке — красногривый,
мордой пламя изрыгает,
огненный поток — ноздрями;
все копыта — из железа,
все конечности — из стали,
может подниматься в гору,
на уступ легко взбираться,
коль на нем объездчик добрый,
многоопытный наездник.

Коль и этого все мало,
ты возьми у Хийси лыжи,
из ольхи — полозья Лемпо,
палку толстую — у беса.
Заскользи по землям Хийси,
покатись по рощам Лемпо,
пробеги по землям Хийси,
пронесись по землям беса.
Камень встретишь на дороге —
пусть на части разлетится,
на пути бревно увидишь —
надвое пусть распадется,
на пути герой возникнет —
отшвырни его подальше.
Убирайся вон, ненужный,
муж дрянной, уйди скорее,
до того, как день начнется,
как заря забрезжит божья,
до того, как солнце встанет,
как петух подаст свой голос!

Лишним — время убираться,
уходить пора — поганым
в час, когда сияет месяц,
освещает путь светило.
Если все же не отстанешь,
не отступишь, пес безродный,
у орла возьму я когти,
крючья алчущего крови,
чем хватает хищник мясо,
чем добычу коршун держит.
Ими я схвачу злодея,
усмирю тебя, негодный:
головой не пошевелишь,
даже и дохнуть не сможешь.
Ведь отстал же прежний Лемпо,
сгинул матерью рожденный,
лишь настало время божье,
подоспела божья помощь,
отступись и ты, безродный,
выйди, выродок ужасный,
сгинь, беспутная собака,
уберись, кобель ничейный, —
есть еще для бегства время,
есть пока луна на небе!»
Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Жить мне здесь совсем не худо,
время проводить не плохо:
мне печенка — вместо хлеба,
жир — хорошая приправа,
легкие на суп годятся,
сало для еды подходит.

Я поставлю наковальню
посередке — в мякоть сердца,
буду бить своей кувалдой

в те места, где побольнее.
Не спасешься ты вовеки,
не избавишься от боли,
если слов я не услышу,
не узнаю заклинаний,
не услышу слов побольше,
тысячу заклятий разных.
Не должны уйти познанья,
вещие слова — угаснуть,
знанья мощь — в земле погибнуть,
хоть волхвы и умирают».

Випунен, певец искусный,
тот знаток могучих знаний,
у кого в устах — премудрость,
мощь великая — в утробе,
тут раскрыл словесный короб,
распахнул шкатулку песен,
чтобы лучшие поведать,
славные пропеть сказанья
о причинах всех явлений,
об истоках изначальных.
Дети их не разумеют,
их не все поют герои
в этом возрасте унылом,
в убывающие годы.

Он раскрыл вещей начала,
корни всяческих явлений,
рассказал, как волей божьей,
как велением господним
сам собой родился воздух,
из него возникли воды,
воды выделили сушу,
суша родила растенья.

Пел, как месяц создавали,

поднимали солнце в небо,
ставили небес опоры,
устанавливали звезды.

То-то Випунен искусный
пел умело, вдохновенно!
Не слыхали, не видали
никогда того доселе,
чтобы кто-то пел получше,
чтобы сказывал вернее,
изо рта слова летели,
с языка срывались речи —
так рысак бросает ноги,
жеребец лихой — копыта.

Пел с восхода до заката,
ночь за ночью пел бессонно.
Даже солнце стало слушать,
даже месяц загляделся.
Волны замерли средь моря,
буруны — в конце залива,
перестали течь потоки,
водопад затих на Рутье,
Вуоксы бег остановился,
Замер Иордан на месте.

Вековечный Вяйнямёйнен,
услыхав тех слов довольно,
нужных слов запомнив много,
выбрав лучшие заклятья,
уходить уже собрался,
выбираться стал из глотки,
из утробы богатырской,
из могучего желудка.

Молвил старый Вяйнямёйнен:

«Ой ты, Випу Антеройнен,
ты раскрой свой рот пошире,
челюсти раздвинь получше,
чтоб мне выбраться отсюда,
чтоб уйти домой скорее!»

Випунен в ответ промолвил,
высказал слова такие:
«Ел я много, пил немало,
тьму извел различной снеди,
никогда не ел такого,
как противный Вяйнямёйнен.
Хорошо, что ты явился, —
лучше, если бы убрался».
Тут уж Випунен могучий
обнажил в гримасе десны,
рот большой раскрыл широко,
челюсти свои раздвинул.
Вековечный Вяйнямёйнен
многознатца рот покинул,
мужа вещего — утробу,
грудь большого чародея.
Выскользнул из уст разверстых,
соскочил проворно наземь,
словно белка золотая,
златогрудая куница.

Зашагал домой обратно,
к кузнецу явился в кузню.
Илмаринен вопрошает:
«Нужные слова узнал ли,
раздобыл ли заклинанья,
чтобы сделать борт для лодки,
для челна корму построить,
мачту впереди поставить?»
Вековечный Вяйнямёйнен

сам сказал слова такие:
«Сотню нужных слов услышал,
тысячу набрал заклятий,
вынес много из-под спуда,
из укрытья — заклинаний».
К лодке он свой путь направил,
к стапелям своим волшебным,
лодку там свою достроил,
укрепил борта у лодки,
у челна корму доделал,
мачту впереди поставил:
сделал лодку без тесанья,
без щепы корабль построил.

Песнь восемнадцатая

Вяйнямёйнен на новой лодке плывет сватать деву Похьелы, стихи 1-40. — Сестра Илмаринена увидела его и, поговорив с ним, узнала о цели его поездки. Она спешит сообщить брату, что заработанная им когда-то в Похьеле невеста — в опасности, с. 41–266. — Илмаринен после сборов и приготовлений также спешит на лошади по берегу в Похьелу, с. 267–470. — Увидев, что прибывают сваты, хозяйка Похьелы советует дочери выйти замуж за Вяйнямёйнена, с. 471–634. — Девушка, однако, обещает выйти за Илмаринена, выковавшего сампо, а уже подоспевшему в избу Вяйнямёйнену дает отказ, с. 635–706.

Вековечный Вяйнямёйнен,
пораздумав, поразмыслив,
присмотреть решил невесту,
длиннокосую сосватать
в темной Похьеле туманной,
в сумеречной Сариоле,
славную девицу Похьи,
знаменитую невесту.

Лодку в синий цвет покрасил,
половину судна — в красный,
золотом расцветил перед,
серебром корму отделал.
Вот однажды рано утром,
на рассвете, спозаранок
свой корабль спустил на воду,
стодощатый челн — на волны,
с крепких бревен окоренных,
с мощных стапелей[127] сосновых.

Мачту поднял посредине,
паруса на ней расправил,
натянул на рею красный,
на другую рею — синий.
Сам степенно сходит в лодку,
в челн спускается неспешно.
Вот плывет герой по морю,
по синеющим просторам.

Говорит слова такие,
молвит он такие речи:
«Ты сойди в мой челн, Создатель,
в эту лодку, Милосердный,
слабосильному поддержкой,
малорослому опорой
на больших просторах ясных,
на волнах морских широких.
Ветер, дуй, баюкай лодку,
волны, мой челнок несите,
чтобы не грести руками,
гладь воды веслом не трогать,
по морю несите лодку,
по широкому простору!»

Анникки, чье имя славно,
дева ночи, дочь потемков,
что сумерничает долго,
что встает до зорьки ранней,
поутру белье стирала,
одеянья полоскала
на конце причалов красных,
на краю мостков широких,
там на острове туманном,
там на сумеречном мысе.

Обернулась, огляделась,
глянула на мир прекрасный,
зорко в небо посмотрела,
берег моря оглядела:
на́ небе сияло солнце,
на море блистали волны.

Бросила свой взор на море,
посмотрела вдаль под солнце
через устье речки Суоми,
воды Вяйнолы широкой:
видит черное на море,
видит синее на волнах.

Слово молвила, сказала,
изрекла слова такие:
«Что там на море чернеет,
что там на волнах синеет?
Если ты гусей станица
или милых уток стая,
поднимись скорей на крыльях,
улети повыше в небо!

Если ты лососей луда
иль скопленье прочей рыбы,
уплывай скорей подальше,

уходи в глубины моря!
Был бы ты скалистой лудой
иль корягой водяною,
на тебя б волна катилась,
набегал бы вал могучий».

Лодка новая подходит,
подплывает челн все ближе
к краю мглистого мысочка,
к берегу косы туманной.

Анникки, чье имя славно,
поняла, что челн подходит,
стодощатый — подплывает.
Так промолвила, сказала:
«Если ты челночек брата,
батюшки кораблик новый,
подплывай к родным причалам,
поверни к родному дому,
к гавани родимой — носом,
к пристаням чужим — кормою!
Если ты чужая лодка,
проплывай скорее мимо,
поверни к другим причалам,
к этим пристаням — кормою!»

Не была своею лодка,
не была и чужеземной.
Это лодка старца Вяйно,
вечного певца кораблик.
Вяйнямёйнен подплывает,
разговор начать желает:
весть отдать, принять другую,
третью — громко всем поведать.
Анникки, чье имя славно,
дева ночи, дочь потемков,

корабельщика спросила:
«Ты куда собрался, Вяйно,
заводей жених, поехал,
снарядился, муж прекрасный?»
Вековечный Вяйнямёйнен
так из лодки отвечает:
«Собрался на ловлю лоха,
выехал на нерест кумжи
к черному потоку Туони,
к омутам глубокой Сары».

Анникки, чье имя славно,
говорит слова такие:
«Не мели-ка ты пустое,
время нереста я знаю!
Батюшка мой по-иному,
по-другому мой родитель
уезжал ловить лососей,
отправлялся брать тайменей:
был набит корабль сетями,
был заполнен челн снастями:
тут и сети, и веревки,
сбоку ботала лежали,
остроги — на днище лодки,
на корме — шесты большие.
Ты куда собрался, Вяйно,
Увантолы муж, поехал?»

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Добывать гусей поехал
к токовищам пестрокрылых,
к игрищам слюнявоклювых
на проливах дальней Саксы[128],
на речных открытых плесах!»

Анникки, чье имя славно,

слово молвила, сказала:
«Лжет ли кто, я сразу вижу,
говорит ли правду, — слышу.
Батюшка мой по-иному,
по-другому мой родитель
шел охотиться на гуся,
шел на игры красноклювых:
лук упругий был натянут,
самострел взведен красивый,
пес на поводке был черный,
поводок привязан к луку,
лайка берегом бежала,
по камням щенки скакали.
Признавайся, Вяйнямёйнен,
ты куда свой путь направил?»
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Ну а если б я поехал,
скажем, на войну большую,
на великое сраженье,
где в крови по икры бродят,
бьются в красной — по колено!»

Анникки все повторяет,
дева с брошкой оловянной:
«Знаю, как идут в сраженье.
Вот когда отец, бывало,
ехал на войну большую,
на великое сраженье,
сто мужей на веслах было,
тысяча — была без весел,
на носу у лодки — луки,
острые мечи — на скамьях.
Говори скорей всю правду,
всю поведай, без утайки:
ты куда собрался, Вяйно,
Сувантолы муж, поехал?»

Вот тогда-то Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Ты сойди в мой челн, девица,
в лодочку садись, красотка,
я поведаю всю правду,
всю открою, без утайки!»

Анникки в ответ сказала,
дева с брошкой оловянной:
«Пусть к тебе садится ветер,
вихрь опустится весенний!
Я челнок твой опрокину,
кверху дном поставлю лодку,
если правды не услышу.
Ты куда надумал ехать,
знать хочу теперь всю правду,
без утайки, без обмана».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Что ж, скажу теперь всю правду,
хоть до этого лукавил:
девушку поехал сватать,
добывать себе невесту
в темной Похьеле туманной,
в сумеречной Сариоле,
что героев пожирает,
что мужей в пучине топит».

Анникки, чье имя славно,
дева ночи, дочь потемков,
лишь всю правду услыхала
без обмана, без утайки —
бросила стирать одежды,
полоскать не стала платья
на краю мостков широких,

на конце причалов красных.
Собрала одежды в узел,
забрала подолы в руку,
скорым шагом заспешила,
заспешила, побежала.
К кузнецу домой явилась,
в кузницу пришла девица.
Там кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,
мастерил скамью стальную,
ту серебряную лавку.
На затылке — с локоть пепла,
копоти с вершок — на шее.

Стала Анникки у двери,
слово молвила, сказала:
«Братец милый, Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных!
Челночок мне сделай ткацкий,
кольца выкуй, перстни сделай,
золотые серьги — в уши,
пять иль шесть цепочек — в пояс,
правду всю тебе открою
без обмана, без утайки!»

Так ответил Илмаринен:
«Коли доброй будет новость,
сделаю челнок чудесный,
славные скую колечки,
крестик сделаю нательный,
головное украшенье.
Коль дурною будет новость,
даже прежние сломаю,
брошу в пламя украшенья,
зашвырну их под горнило!»

Анникки, чье имя славно,
говорит слова такие:
«Ой ты, братец Илмаринен,
думаешь ли брать невесту,
что уже давно сосватал,
сговорил в свои супруги?

Все куешь ты, все хлопочешь,
все стучишь без передышки,
летом делаешь подковы,
удила куешь зимою,
сани мастеришь ночами,
расписные строишь днями,
чтобы в Похьелу поехать,
чтобы девицу сосватать.
Знай: нашлись и похитрее,
попроворней отыскались —
девушку твою увозят,
суженую похищают,
ту, что сватал ты два года,
что присматривал три лета, —
старый Вяйнямёйнен едет,
по морским волнам несется
в лодке с золотой кормою,
на корме с правúлом медным,
в Похью темную стремится,
в сумрачную Сариолу».

Кузнеца взяла обида,
мастера — досада злая,
клещи выронил кователь,
выпустил из рук кувалду.

Слово вымолвил кователь:
«Анникки, моя сестрица,
смастерю челнок чудесный,
накую красивых перстней,

пару золотых сережек,
кучу поясных цепочек,
сладкую согрей мне баню,
всю обдай медовым паром.
Тонкими топи дровами,
мелкою щепой ольховой.
Набери золы немного,
щелоку свари маленько,
чтобы голову мне вымыть,
чтобы добела отмыться
от осеннего нагара,
зимней копоти и сажи».

Анникки, чье имя славно,
хоронясь, топила баню
ветром сваленной лесиной,
молнией сраженным кряжем.
В падуне брала каменья,
в каменку несла — для пара,
чистую носила воду,
из ключа любви таскала,
в рощице ломала ветки,
веничек любви вязала,
парила медовый веник,
грела на медовом камне,
из золы варила щелок,
мыло жидкое — из жира,
пенистый, шипучий щелок,
мыло мыльное — для брата,
чтоб жених намылил кудри,
добела все тело вымыл.
Сам кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
наковал колец для девы,
починил ее подвески,
сделал все, пока топилась,

подготавливалась баня,
передал девице в руки.
Дева так ему сказала:
«Баню я уже нагрела,
протопила, продымила,
я распарила твой веник,
лист любовный распушила.
Парься всласть, родимый братец,
лей себе водицу вволю,
чтоб как лен белели кудри,
чтоб как снег лицо сияло».

Вот кователь Илмаринен
сам пошел в парную баню,
всласть напарился, намылся,
наплескался, накупался,
вымыл он лицо до лоска,
уголочки глаз — до блеска,
как яичко стала шея,
белым — тело молодое.
Как пришел домой из бани,
не смогли узнать героя:
так лицо красиво было,
так румяны были щеки.

Он сказал слова такие:
«Анникки, моя сестрица!
Дай рубашку мне льняную,
праздничные одеянья,
чтобы мне принарядиться,
жениха надеть одежды!»

Анникки, чье имя славно,
подала рубашку брату,
на красивый стан помытый,
на распаренное тело.

Принесла штаны в обтяжку,
те, что мать когда-то сшила, —
брату на крутые бедра,
на его литые ноги.

Мягкие дала чулочки,
те, что мать вязала в девках, —
брату на тугие икры,
на упитанные ноги.
Добрую приносит обувь,
в Саксе шитые сапожки,
на чулочки шерстяные,
те, что мать вязала в девках.
Синюю дала поддевку
с темно-рыжею подкладкой
на тончайшую рубашку,
полотняную сорочку.
Подала кафтан суконный
с расклешенными полами —
натянуть поверх поддевки,
новенький кафтан, с иголки,
шубу с тысячью застежек,
с сотней петелек красивых —
натянуть поверх кафтана,
что обшит сукном прекрасным.
Принесла кушак на пояс,
золотом обшитый чистым,
тканный матерью в девицах,
связанный в девичьи годы.
Варежки дала с узором,
с кромкой золотой перчатки,
что вязали дети Лаппи
для красивых рук героя.
Принесла высокий ки́вер[129],
шлем — на кудри золотые,
купленный отцом когда-то,

в женихах приобретенный.

Вот кователь Илмаринен
облачился, снарядился,
приготовился к поездке.
Сак сказал рабу кователь:
«Стригунка впряги мне в сани,
рыжего коня — в кошевку,
чтоб в дорогу я пустился,
чтобы в Похьелу поехал!»

Так на это раб ответил:
«Шесть коней у нас хороших,
жеребцов, овес жующих.
Заложить какого в сани?»
Слово молвил Илмаринен:
«Жеребца возьми из лучших,
заложи коня в кошевку,
запряги гнедого в сани!
Шесть бубенчиков[130] хороших,
целых семь кукушек синих
на дуге расставь для звона,
на гужах развесь для гуда,
чтоб девицы любовались,
чтоб красотки восхищались!
Принеси медвежью шкуру
мне на сани для сиденья,
шкуру принеси тюленью
для навеса над санями».
Вот работник самый верный,
тот батрак, слуга наемный,
жеребца завел в оглобли,
заложил гнедого в сани.
Шесть бубенчиков расставил,
целых семь кукушек синих
на дуге звенеть развесил,

на гужах гудеть заставил.
Притащил медвежью шкуру
на хозяйское сиденье,
шкуру приволок тюленью
для навеса над санями.

Сам кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
бога Укко умоляет,
Павванену шлет молитву:
«Ты насыпь мне снега, Укко,
намети пороши тонкой,
чтоб мои скользили сани,
чтобы пошевни катились!»
Вот насыпал снега Укко,
тонкой набросал пороши,
стебли вереска засыпал,
ягод веточки упрятал.

Тут кователь Илмаринен
сел в свои стальные сани,
сам сказал слова такие,
произнес такие речи:
«Боже, сядь со мною в сани,
ты возьмись за вожжи, Счастье!
Счастье рвать вожжей не будет,
Бог ломать саней не станет!»
Вожжи в руку взял кователь,
принял кнут в другую руку,
жеребца кнутом ударил,
произнес слова такие:
«Ну-ка, двигай, Белолобый,
шевелись, льняная грива!»

Конь трусит, кователь едет
по морским песчаным гребням,

по заливам медоносным,
по холмам, ольхой поросшим,
с цоканьем вдоль моря мчится,
по песку со звоном скачет;
по глазам песчинки хлещут,
море в грудь швыряет брызги.

Мчится день, второй несется,
вот уже и третий едет.
Лишь на третий день кователь
нагоняет старца Вяйно.
Так сказал он, так промолвил,
произнес слова такие:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
по рукам давай ударим —
будем сватать, состязаясь,
соревнуясь, брать невесту:
не берут невесту силой,
против воли не увозят».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Я на уговор согласен —
не берут невесту силой,
против воли не увозят.
За того идти девице,
за кого сама захочет.
Пусть досада будет легкой,
пусть недолгою — обида».

Вот продолжили поездку
каждый по своей дороге:
челн бежал — метались волны,
конь скакал — земля гудела.
Времени прошло немного,
пролетело лишь мгновенье.
Вот залаял пес дворовый,

сторож крепостной затявкал
в Похьеле извечно темной,
в этой крепкой Сариоле.
Он сперва тихонько лаял,
редко тявкал поначалу,
задом к пожне прижимаясь,
по земле хвостом стегая.
Говорит хозяин Похьи:
«Ты пойди проведай, дочка,
что там лает пес дворовый,
что там воет вислоухий».

Так ответила девица:
«Некогда, отец родимый!
Хлев огромный чистить надо,
обрядить большое стадо,
жернова́[131] вертеть большие,
сеять мелкую мучицу.
Жернов, тяжкий, мелет мелко,
я же — мельник слабосильный».

Тихо лает пес проклятый,
серый страж рычит негромко.
Говорит хозяин Похьи:
«Посмотреть сходи, старуха,
отчего там Серый лает,
тявкает хранитель замка!»

Так ответила хозяйка:
«Недосуг, работы много —
мне кормить семью большую:
нужно полдник приготовить,
хлеб испечь, скатать ковригу,
замесить крутое тесто.
Хлеб велик — мелка мучица,
я же — пекарь слабосильный».

Говорит хозяин Похьи:
«Вечно недосуг хозяйкам,
заняты всегда девицы,
хоть сидят у печки, греясь,
хоть валяются в постели.
Посмотреть сходи, сыночек!»

Сын сказал слова такие:
«Недосуг, работы много —
мне топор поправить надо,
дерево свалить большое,
нарубить поленьев тонких,
дров поленницу поставить.
Дров — гора, поленья тонки,
дровосек я слабосильный!»
Лает пес без передышки,
заливается дворовый,
гавкает собака злая,
сторож острова ярится,
задом к пожне прижимаясь,
хвост поджав между ногами.

Говорит хозяин Похьи:
«Серый зря не станет лаять,
пес матерый — выть напрасно.
Не рычит же он на сосны!»
Сам отправился разведать.
Через двор прошел хозяин,
к дальней ниве прогулялся,
к заднему пришел загону.

По носу собаки глянул,
в направленье морды псиной
на вершины ветровые,
на ольховые макушки.
Вот уже хозяин понял,

почему так Серый лает,
гавкает земли избранник,
тявкает мохнатохвостый:
лодка красная спешила
по заливу Лемменлахти,
расписные санки мчались
вдоль опушки Симасало.

Тут же Похьелы хозяин
в дом направился поспешно,
быстро в избу возвратился,
слово молвил, так заметил:
«Гости едут издалека,
синим морем поспешают,
в расписных санях несутся
вдоль опушки Симасало,
на челнах плывут огромных
ближним берегом залива».

Говорит хозяйка Похьи:
«По каким узнать приметам,
что за гости прибывают?
Ой ты, маленькая дева!
Положи в огонь рябину,
дерево святое — в пламя.
Коли кровь сочиться будет,
значит, к нам идут с войною.
Коль вода сочиться будет,
прибывают гости с миром».
Маленькая дева Похьи,
та послушная служанка,
бросила в огонь рябину,
дерево святое — в пламя.
Кровь из веток не сочилась,
не текла ни кровь, ни влага —
мед струился из рябины,

сима сладкая сочилась.

Из угла старуха молвит,
из-под тряпок — приживалка:
«Если мед бежит из ветки,
сима сладкая сочится,
это значит: гости едут,
поезжáне[132] прибывают».
Тут уж Похьелы хозяйка,
за хозяйкою — и дочка,
быстро за порог скользнула,
выбежала на подворье,
взгляд свой бросила на море,
обратила взор под солнце.
Видит: судно подплывает,
лодка новая несется,
стодощатый челн подходит
по заливу Лемменлахти.
Лодочка сверкает синим,
челночок блистает красным.
В лодке муж сидит красивый,
держит медное кормило.
Видит: конь стремится резвый,
сани красные несутся,
расписные едут быстро
вдоль опушки Симасало.
Золотые семь кукушек
на дуге кукуют звонко,
шесть звоночков, птичек синих,
на гужах поют, ликуют,
статный муж сидит в кошевке,
сам герой упряжкой правит.

Молвит Похьелы хозяйка,
говорит слова такие:
«За кого из них ты выйдешь,

если захотят сосватать,
пригласят подругой вечной,
курочкой родной под мышку?
Тот, кто в лодке подъезжает,
на челне несется красном
по заливу Лемменлахти,
это — старый Вяйнямёйнен,
на челне везет богатства,
ценности — в огромной лодке.

Тот, кто в санках подъезжает,
в пестрых пошевнях несется
вдоль опушки Симасало,
это — славный Илмаринен,
он везет пустые враки,
полный короб обещаний.

Как войдут в жилище сваты,
принеси им кружку меда,
в братине подай двуручной,
протяни тому напиток,
за кого ты замуж хочешь!
Поднеси ты кружку Вяйно:
он везет с собой богатства,
ценности — в огромной лодке».
Тут красавица из Похьи
так разумно отвечала:
«Ой ты, матушка родная,
славная моя пестунья!
Выхожу не за богатство,
не за славу, не за имя —
за красивого героя,
за высокий стан прекрасный.
Да к тому ж девиц и прежде
не меняли на богатства.
Деву надо выдать даром

Илмаринену в невесты,
он ведь выковал нам сампо,
сделал крышку расписную».

Говорит хозяйка Похьи:
«Глупенькая ты овечка —
к кузнецу идешь ты в жены,
к вечно потному — в супруги,
чтоб стирать ему рубашки,
отмывать от сажи кудри!»
Так ответила девица,
молвила слова такие:
«Не пойду за старца Вяйно,
дряхлому женой не стану,
будут с ним одни заботы,
с престарелым — лишь печали».

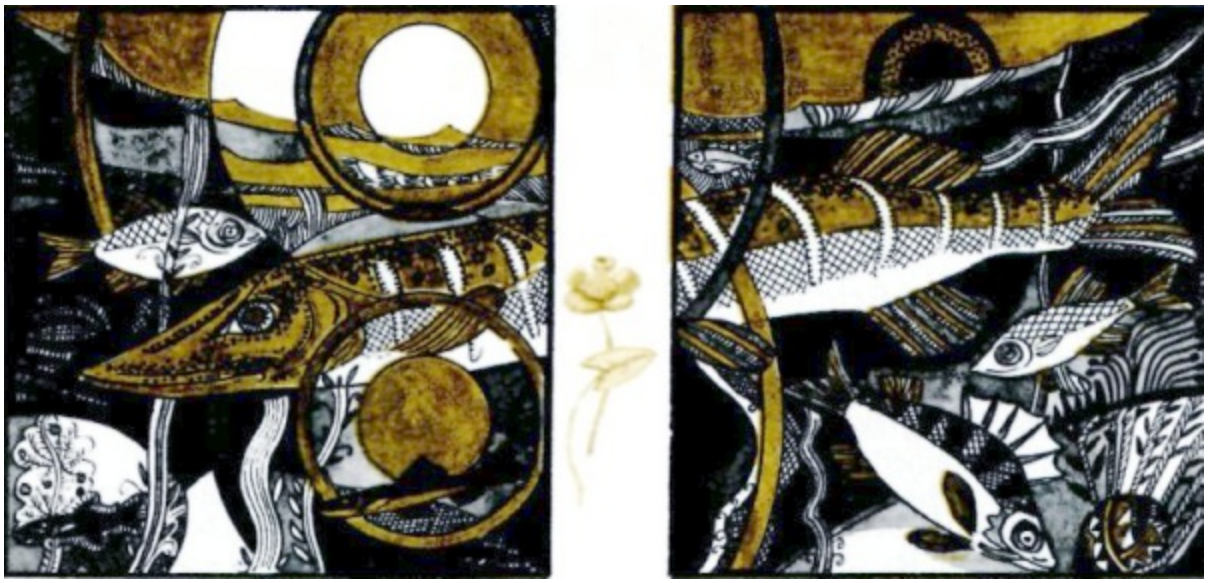
Вековечный Вяйнямёйнен
в доме первым оказался.
Лодку красную причалил,
свой корабль поставил синий
на катки из твердой стали,
на мостки из красной меди,
сам направился в жилище,
поспешил под крышу дома,
у дверей остановился,
став под матицей, промолвил,
произнес слова такие,
высказал такие речи:
«Станешь ли моей женою,
вековечною подругой,
неизменною супругой,
курочкою мне под мышку?»

Тут красавица из Похьи
поспешила так ответить:
«Вытесал ли ты мне лодку,

сделал ли большое судно
из кусочков веретенца,
из осколков льнотрепалки?»

Молвил старый Вяйнямёйнен,
сам сказал слова такие:
«Славное я сделал судно,
вытесал корабль добротный,
он устойчив даже в бурю,
он надежен в непогоду.
Может плыть и против ветра,
через волны проноситься,
пузырем скользить по гребням,
легкой двигаться кувшинкой
по широким водам Похьи,
по волнам, по гребням пенным».
Тут красавица из Похьи
так промолвила, сказала:
«С моря муж мне не по нраву,
не по сердцу мореходец:
ветер ум уносит в море,
вихрь весенний сушит разум.
Не бывать мне за тобою,
не могу я дать согласье
стать твоей подругой вечной,
курочкой тебе под мышку,
чтоб стелить тебе постели,
чтоб взбивать тебе подушки».

Песнь девятнадцатая



Илмаринен входит в дом Похьелы, сватает деву Похьи и получает опасные задания, стихи 1-32. — Благодаря советам девы Похьи благополучно выполняет трудные задания: перепахивает змеиное поле, добывает медведя Туонелы, волка Маналы, вылавливает большую щуку из реки Туонелы, с. 33–344. — Хозяйка Похьелы обещает выдать свою дочь и заключает брачный союз с Илмариненом, с. 345–498. — Огорченный Вяйнямёйнен возвращается из Похьелы и запрещает состязаться в сватовстве с молодыми, с. 499–518.

Тут кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
в дом решительно проходит,
в избу Похьелы вступает.
Вот приносят кружку с медом,
братину с напитком сладким,
Илмаринену подносят.
Так промолвил Илмаринен:
«До поры, пока на свете
золотой сияет месяц,

пить не стану я напитка,
коль невесты не увижу.
Подготовлена ли дева,
собрана ли в путь невеста?»
Тут уж Похьелы хозяйка
слово молвила, сказала:
«Трудно деву подготовить,
нелегко собрать невесту:
не совсем нога обута,
не обута и другая.
Деву тотчас подготовят,
снарядят невесту сразу,
лишь гадючье поле вспашешь,
взбороздишь змеиный выгон,
чтоб сохой земли не трогать,
плугом пашни не касаться.
Вспахивал ту ниву Хийси,
бороздил когда-то Лемпо
бронзовыми лемехами,
огневыми сошниками.
Даже мой сынок несчастный
клин невспаханным оставил».

Тут кователь Илмаринен
к девушке пошел в светелку,
сам сказал слова такие:
«Дева ночи, дочь потемков!
Помнишь ли, как здесь когда-то
новое ковал я сампо,
делал крышку расписную?
Поклялась ты вечной клятвой
перед божеством верховным,
перед ликом всемогущим,
обещала стать моею
вековечною супругой,
мужу славному подругой,

курочкой ему под мышку.
Мать тогда лишь обещает
дочь свою родную выдать,
как взрыхлю я клин змеиный,
как вспашу гадючью ниву».

Тут пришла на помощь дева,
подала совет герою:
«Ох, кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный!
Золотую сошку сделай,
плуг серебряный сработай.
Им взрыхлишь ты клин змеиный,
им гадючье поле вспашешь».

Вот кователь Илмаринен
бросил золото в горнило,
серебро — в очаг кузнечный,
сошку выковал неспешно,
сделал башмаки из стали,
пáголенки[133] — из железа,
натянул себе на ноги,
наложил себе на икры,
облачился в крепкий панцирь,
пояса надел стальные,
взял железные перчатки,
каменные рукавицы,
выбрал огненную лошадь,
мерина запряг из лучших,
ниву бороздить пустился,
начал вспахивать поляну.
Видит: головы вертятся,
черепа шипят, грозятся.
Он сказал слова такие:
«О змея, творенье Бога,
голову твою кто поднял,

кто заставил, кто понудил
голову — тянуться кверху,
шею гибкую — не гнуться?
Уходи скорей с дороги,
уползай в траву сухую,
ускользай в сырой валежник,
в мураве густой укройся.
Если голову поднимешь,
Укко череп твой проломит,
стрелами пробьет стальными,
размозжит железным градом».

Вот вспахал гадючье поле,
вот разрыхлил клин змеиный,
вывернул всех змей на бровки,
поднял всех гадюк на гребни.
Он сказал, работу справив:
«Я вспахал гадючье поле,
взбороздил змеиный выгон,
обработал клин червивый.
Приведут ли мне девицу,
отдадут ли мне невесту?»

Тут уж Похьелы хозяйка
слово молвила, сказала:
«Приведут тебе девицу,
отдадут тебе невесту,
коль возьмешь медведя Туони,
коль взнуздаешь волка Маны
в чащах Туонелы дремучих,
за дворами хижин Маны.
Сотни укрощать пытались —
не пришел никто обратно».

Тут кователь Илмаринен
поспешил в светелку к деве,

так сказал он, так промолвил:
«Снова мне заданье дали —
волка Маналы доставить,
привести медведя Туони
из лесов дремучих Туони,
Маналы окраин дальних».

Тут пришла на помощь дева,
подала совет герою:
«Ох, кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
сделай удила стальные,
недоуздок скуй железный
на скале среди потока,
между трех порогов пенных!
Только так возьмешь медведя,
волка Маналы взнуздаешь».

Вот кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
удила из стали сделал,
недоуздок — из железа
на скале среди потока,
между трех порогов пенных.
Укрощать пустился зверя,
сам сказал слова такие:
«Дева дымки, дочка хмари!
Решетом насей тумана,
хмари натруси погуще
на звериные тропинки,
чтоб шагов не слышно было,
чтобы звери не пугались!»

Вот взнуздал кователь волка,
вот надел медведю оброть
средь боров песчаных Туони,

в глубине чащобы синей.
Он сказал, придя обратно:
«Отдавай, хозяйка, дочку —
взял я Туонелы медведя,
волка Маналы осилил».

Тут уж Похьелы хозяйка
так промолвила, сказала:
«Отдадут тебе морянку,
утку синюю уступят,
коль возьмешь большую щуку,
рыбу верткую — в потоке,
в Туонеле-реке изловишь,
в устье Маналы поймаешь,
в воду невода не бросив,
сеть ручную не поставив.
Сто мужей ловить пытались —
не пришел никто обратно».

Илмаринен омрачился,
опечалился кователь.
Поспешил в светелку к деве,
вымолвил слова такие:
«Мне работу поручили,
потрудней заданье дали:
изловить большую щуку,
рыбу верткую — в потоке,
в этих черных водах Туони,
в устье Маналы извечной,
без сетей, без всякой снасти,
без другого снаряженья».
Тут пришла на помощь дева,
подала совет герою:
«Ох, кователь Илмаринен!
Не горюй ты, не печалься!
Выкуй огненную птицу,

грифа пламенного сделай!
Он тебе поймает щуку,
рыбу верткую, большую
в этих черных водах Туони,
в устье Маналы извечной».
Вот кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
сделал огненную птицу,
грифа пламенного создал,
когти выковал из стали,
из железа лапы сделал,
крылья — из бортов от лодки.
Там взошел орлу на спину,
между крыльями уселся
на хребте огромной птицы.
Стал давать орлу советы,
наставленья — птице неба:
«Мой орел, мой гриф крылатый!
Ты лети, куда направлю, —
к черному потоку Туони,
к устью Маналы извечной!
Там возьмешь большую щуку,
рыбу верткую поймаешь!»

Вот летит орел прекрасный,
машет крыльями могучий,
чтоб схватить в потоке щуку,
страшнозубую — в пучине,
в водах Туонелы глубокой,
в устье Маналы извечной.
По воде крылом проводит,
достает другим до неба,
бороздит когтями море,
клювом луды задевает.

Вот кователь Илмаринен

стал искать большую щуку
в водах Туонелы глубокой —
рядом с ним орел на страже.

Водяной из волн поднялся,
крепко в кузнеца вцепился,
гриф напал на водяного,
шею вывернул злодею,
голову пригнул каналье,
в тину затолкал поглубже.

Появилась щука Туони,
приплыла воды собака.
Не из малых эта щука,
рыба эта не из крупных:
в две секиры — язычище,
зубы — каждый с грабловище,
пасть — огромных три порога,
в семь челнов — длина хребтины.
Кузнеца схватить хотела,
проглотить живьем желала.
Прилетел орел свирепый,
яростная птица неба.
Не из малых был орлище,
был орел не из великих:
зев орлиный — в сто саженей,
глотка — в целых шесть порогов,
был язык длиной в шесть копий,
в пять серпов — орлиный коготь.
Увидал большую щуку,
рыбу верткую приметил,
налетел, вцепился в щуку,
чешую пронзил когтями.
Вот тогда большая щука,
рыба верткая в потоке,
потащила птицу в воду,

потянула в глубь морскую.
Вырвался орел из глуби,
из воды поднялся в небо,
муть лишь черную оставил
на просторах вод прозрачных.

Полетал он, покружился,
сделал новую попытку,
острый коготь свой вонзает
в спину той огромной щуки,
в крепкий горб речной собаки,
вот второй вонзает коготь
в твердую скалу стальную,
в бок железного утеса.
Отскочил от камня коготь,
лишь чуть-чуть утес царапнул,
щука в волны ускользнула,
чудище ушло под воду
из когтей орлиной лапы,
из железных пальцев грифа,
на боку — следы от когтя,
на плечах — большие раны.

Вот орел — стальные когти —
снова ринулся на щуку;
пламенем сверкали крылья,
жаром очи полыхали.
Ухватил когтями щуку,
лапою — воды собаку.
Вытащил большую щуку,
ту уродину речную,
вырвал из-под волн глубоких
на прозрачную поверхность.

Так орел железнопалый
только лишь с попытки третьей

одолел ту щуку Туони,
рыбу верткую, большую
выловил в потоке Туони,
в устье Маналы извечной:
не была вода водою —
месивом была чешуек,
даже воздух был не воздух —
тучею орлиных перьев.

Вот орел — стальные когти —
перенес большую щуку
на высокий дуб с плодами,
на сосну с широкой кроной.
Там на вкус ее отведал,
распорол у рыбы брюхо,
отщипнул груди кусочек.
напрочь голову отрезал.

Тут сказал орлу кователь:
«Ой, орел ты злополучный,
что за птица ты дрянная,
что за чудище такое,
коль успел отведать щуки,
распороть у рыбы брюхо,
отщипнуть груди кусочек,
напрочь голову отрезать?»
Вот орел — железный коготь —
рассердясь, в полет пустился,
высоко вознесся в небо,
к краю облака большого:
мчались тучи, твердь скрипела,
крышки неба накренялись,
божья радуга сломалась,
лунные рога согнулись.

Тут кователь Илмаринен
голову приносит щучью —

свой подарок для свекрови.
Так сказал он, так промолвил:
«Пусть сиденьем будет вечным
в доме Похьелы прекрасной».

Он сказал слова такие,
так сказал, такое молвил:
«Я вспахал гадючье поле,
взбороздил змеиный выгон,
волка Маналы осилил,
заковал медведя Туони.
Я поймал большую щуку,
рыбу мощную осилил,
взял в потоке темной Туони,
в устье Маналы извечной.
Отдадите ли девицу,
приведете ли невесту?»

Молвила хозяйка Похьи:
«Поступил ты очень дурно —
напрочь голову отрезал,
распорол у рыбы брюхо,
отщипнул груди кусочек,
мяса щучьего отведал!»

Тут кователь Илмаринен
произнес слова такие:
«Нет добычи без изъяна,
взятой даже в лучшем месте,
в водах Туонелы — тем паче,
в устье Маналы извечной.
Подготовлена ли дева,
собрана ли в путь невеста?»

Молвила хозяйка Похьи,
изрекла слова такие:

«Подготовлена невеста,
собрана в дорогу дева.
Уточку отдать придется,
милую мою морянку,
Илмаринену в невесты,
кузнецу навек в супруги —
спутницей ему до гроба,
курочкой ему под мышку».
На полу сидел ребенок,
с пола так запел младенец:
«Вот уже к жилищам нашим
принеслась чужая птица,
прилетел орел с востока,
коршун с неба к нам примчался —
бил крылом по тверди неба,
мел другим поверхность моря,
задевал хвостом за волны,
головой небес касался.
Покружился, повертелся,
присмотрелся, пригляделся,
на мужскую сел обитель,
постучал по крыше клювом:
из железа крыша замка —
в крепость не сумел проникнуть.

Покружился, повертелся,
присмотрелся, пригляделся,
полетел на женский терем,
постучал по крыше клювом:
крыша вся была из меди —
в крепость не сумел проникнуть.

Покружился, повертелся,
присмотрелся, пригляделся,
на девичью сел обитель,
постучал по крыше клювом:

крыша та была льняная —
в крепость девичью проникнул.
Подлетел к трубе высокой,
на стреху вспорхнул оттуда,
приоткрыл оконный ставень,
опустился на окошко,
сел орел на подоконник,
на углу присел пернатый,

стал рассматривать красавиц,
вглядываться в длиннокосых,
деву лучшую увидел,
отыскал, что всех красивей,
всех нежней, в венце
жемчужном,
всех милей, в венке цветочном.
Вот орел ее хватает,
цапает когтями коршун,
лучшую берет из стаи,
утку, что других стройнее,
всех милее, всех нежнее,
всех живее, всех белее.
Ту схватил летун воздушный,
ту зацапал, длинный коготь,
что держала шею прямо,
станом стройным выделялась,
всех нежней была крылами,
перышками всех красивей».

Молвила хозяйка Похьи,
так заметила, сказала:
«Как узнал ты, подвенéчный[134],
золотой мой, где услышал,
что девица подрастает,
длиннокосая взрослеет?
Серебра ли блеск увидел,

звон ли золота услышал,
наше ль солнце вам светило,
иль сиял наш ясный месяц?»

С пола вымолвил младенец,
нараспев сказал ребенок:
«Так узнал он, подвенечный,
так сумел найти, везучий,
путь к избе девицы славной,
ко двору красотки юной.
Об отце гремела слава:
он корабль большой построил.
Слава матери вернее:
мать знатна прекрасным хлебом,
караваями большими,
хлебосольством знаменита.
Так узнал он, подвенечный,
догадался, чужедальний,
что девица подрастает,
нареченная взрослеет:
по двору прошел однажды,
прогулялся за амбаром
как-то рано на рассвете,
как-то в утреннюю пору,
дым вставал, веревкой вился,
сажа густо поднималась
над избой девицы славной,
над усадьбой знаменитой.
Дева там муку молола,
жернова сама вращала:
рукоять кукушкой пела,
уткой крякала лопáтка[135],
вечея́[136] сверчком звенела,
жемчугами звякал жернов.

Приходил он и вторично,

прошагал по краю поля,
девица брала марену,
собирала желтый корень,
парила одежды в красном,
в желтом чане кипятила.

В третий раз прошел он мимо
под окошками девицы,
услыхал, как ткет невеста,
как постукивает бёрдо.
Челночок в руках порхает,
будто горностай в каменьях,
щелкают пластины бёрда,
будто дятлы на деревьях,
вертится навóй[137] проворно,
словно белка между веток».

Тут сама хозяйка Похьи
так промолвила, сказала:
«Дождалась теперь девица!
Разве я не говорила:
не кукуй в лесу еловом,
весело не пой в долинах,
прикрывай округлость шеи,
белизну руки прекрасной,
высоту девичьей груди,
стройность всей своей фигуры!

Осень целую твердила,
лето все я убеждала,
в пору страдную, весною,
в посевные дни — вторично:
тайную избу построим,
крохотные в ней окошки,
где бы ты ткала спокойно,
ни́ченки[138] лишь поднимала,

чтоб не знали, не слыхали
женихи и сваты в Суоми!»

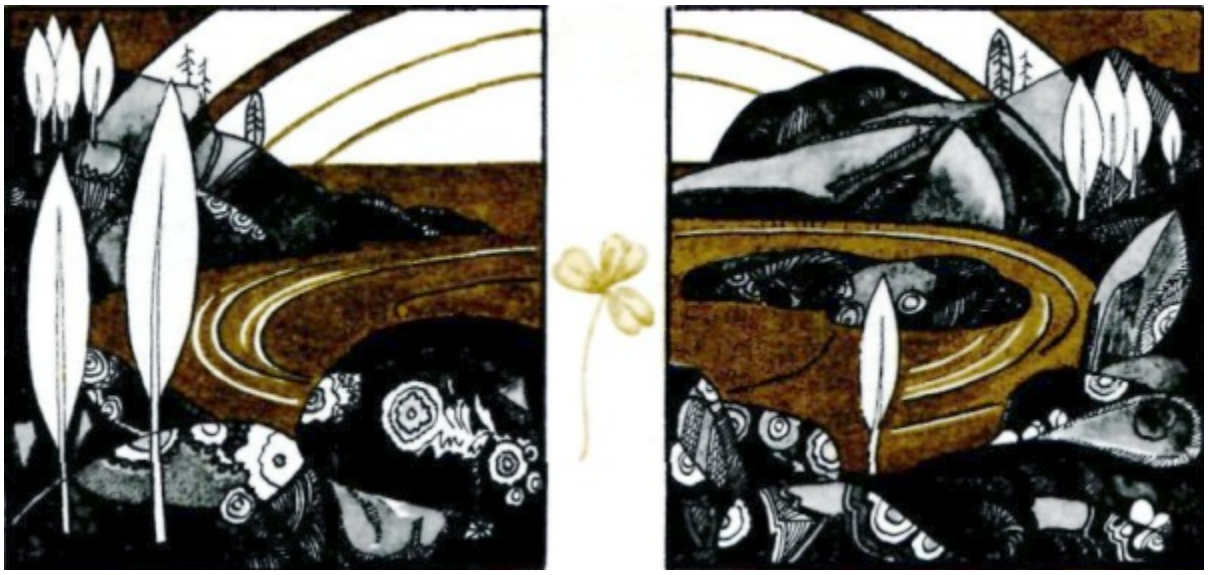
С пола так сказал младенец,
двухнедельный так воскликнул:
«Скрыть легко бывает лошадь,
пышнохвостую упрятать,
деву юную не спрячешь,
длиннокосую не скроешь,
хоть из камня сделай крепость,
хоть ее средь моря выстрой,
чтобы девушек там прятать,
чтобы там растить красоток, —
даже там девиц не спрятать,
не укрыть и там красоток,
чтобы сваты не прознали,
женихи не разыскали,
не явились в пышных шлемах
на конях стальнокопытных! —

Вот тогда-то Вяйнямёйнен,
опечалясь, пригорюнясь,
в путь обратный отправляясь,
так сказал, такое молвил:
«Горе, горе мне, бедняге!
Отчего ж не догадался
в ранней юности жениться,
вовремя найти супругу!
Только тот о всем жалеет,
кто жалеет, что женился,
что детей родил ребенком,
что семью он создал юным».

Остерег тут Вяйнямёйнен,
заказал Сувантолайнен
старцу зариться на юных,
притязать на дев красивых,

515 запретил соревноваться,
взапуски грести на волнах,
деву сватать, состязаясь,
с тем тягаясь, кто моложе.

Песнь двадцатая



В Похьеле забивают к свадьбе большого быка, стихи 1-118. — Варят пиво, готовят угощения, с. 119–516. — Отправляют вестников созывать народ на свадьбу, не приглашают только Лемминкяйнена, с. 517–614.

А сейчас о чем поведать,
песнь о чем теперь продолжить?
Вот о чем поведать надо,
вот о чем продолжить песню.
Мы споем о пире в Похье,
о застолье в Юмалисте.

Долго свадьбу собирали,
припасали угощенья
в этих Похьелы жилищах,
в славных избах Сариолы.

Что же к свадьбе припасали,
к предстоящему застолью,

к многолюдному веселью,
к продолжительному пиру,
чтобы весь народ насытить,
накормить толпу большую?

В Карьяле взрастал теленок,
в Суоми бык тучнел огромный.
Был не малым, не великим,
был теленком подходящим.
Хвост быка болтался в Хяме,
голова моталась в Кеми[139],
каждый рог был в сто саженей,
морда бычья — в полтораста.
Целую неделю ласка
обегала бычью шею,
ласточка весь день летела
между бычьими рогами,
если очень торопилась,
коль в пути не отдыхала.
Целый месяц белка мчалась
от хвоста до холки бычьей —
только все же и за месяц
до конца не поспевала.
Вот какой бычок огромный,
вот какой теленок Суоми,
взят был в Карьяле прекрасной,
к Похьелы межам доставлен.
Сто мужей в рога вцепились,
в морду — тысяча героев,
так быка домой тянули,
в Похьелу сопровождали.

Ковылял бычок вразвалку
вдоль пролива Сариолы,
муравy хватал с болотин,
небо задевал хребтиной.

Некому телка зарезать,
заколоть быка большого,
в Похье нет таких героев,
нет среди большого рода,
средь растущей молодежи,
среди старших поколений.

Вот пришел старик нездешний,
Вироканнас[140] тот карельский.
Он сказал слова такие:
«Погоди, телок несносный,
я приду с большой дубиной,
с колотушкою огромной,
меж рогов тебя ударю —
впредь не будешь божьим летом
мордою своей соваться,
тыкаться поганым рылом
в эти травы луговые
у пролива Сариолы!»
Забивать быка собрался,
резать взялся Вироканнас,
Палвойнен — держать скотину.
Головой мотнул бычище,
глянул черными очами —
улетел старик на елку,
в чаще сгинул Вироканнас,
Палвойнен — средь веток ивы.

Ищут вновь того, кто свалит,
кто забьет быка большого,
ищут в Карьяле красивой,
на просторных нивах Суоми,
ищут в ласковой России[141],
ищут в Швеции отважной,
на межах просторной Лаппи,
на земле могучей Турьи,

в Туонеле повсюду ищут,
в Манале, подземном мире.
Ищут всюду — не находят,
ищут — отыскать не могут.
Вновь пошли за скотобойцем,
свежевателем теленка,
на морском просторе ищут,
на хребте волны широкой.

Черный муж встает из моря,
из волны герой выходит
средь широкого простора,
средь открытого пространства.
Был герой не очень рослым,
маленьким он тоже не был:
мог лежать герой под чашей,
мог стоять герой под ситом.

Этот муж с железной дланью
был и сам под цвет железа,
шлем на голове — из камня,
на ногах — из камня кенги,
нож из золота у мужа,
ручка у ножа — из меди.

Так был найден скотобоец,
так отыскан свежеватель
для быка большого Суоми,
для чудовищной скотины.
Лишь быка герой увидел,
вывернул теленку шею,
сбил скотину на колени,
завалил быка на землю.

Много ли съестного вышло?
Не сказать, чтоб очень много:
мяса — сто ушатов полных,

колбасы — все сто саженей,
крови — целых восемь лодок,
шесть больших бочонков — жира,
все для славной свадьбы в Похье,
для застолья в Сариоле.

В Похьеле был дом построен,
срублена изба большая:
по длине — саженей девять,
в ширину — все семь саженей.
Запоет петух под кровлей —
на полу его не слышно,
зарычит в углу собака —
у дверей ее не слышно.

Похьелы хозяйка в доме
хлопотала по хозяйству,
посреди избы топталась.
Думала себе, гадала:
«Где ж мы пива раздобудем,
как мы браги наготовим
к нашей свадьбе предстоящей,
к предназначенному пиру?
Я начал не знаю браги,
пива доброго рожденья».

Там старик лежал на печке,
вот старик с печи промолвил:
«В ячмене — начало пива,
в хмеле — буйного напитка,
им нужна вода при этом,
им огонь свирепый нужен.

Хмель, веселый сын Шумилы,
маленьким был сунут в землю,
брошен в пахоту змеенком,

кинут зернышком крапивы
возле Калевы колодца,
на меже поляны Осмо.
Молодой взошел росточек,
поднялся побег зеленый,
он на деревце взобрался,
он вскарабкался на крону.

Счастье-дед ячмень посеял
на меже поляны Осмо.
Поднялся ячмень прекрасный,
дружные взошли посевы
на пожоге свежем Осмо,
сына Калевы новине.
Времени прошло немного —
хмель на дереве воскликнул,
закричал ячмень с поляны,
молвила вода в колодце:
«И когда ж мы будем вместе,
повстречаемся друг с другом?
В одиночку жизнь тосклива,
жить вдвоем-втроем прекрасней!»

Осмотар[142], хозяйка пива,
Капо, браги мастерица,
набрала семян ячменных,
шесть взяла отменных зерен,
хмеля — семь больших головок,
восемь ковшиков водицы,
ставит варево на пламя,
на огонь — котел для пива.
Пиво пенное варила
летним днем, летящим быстро,
на краю косы туманной,
мглистом острове далеком,
вылила в бочонок новый,

в чан березовый сцедила.

Заварить сумела пиво,
только не смогла заквасить.
Пораздумав, поразмыслив,
так промолвила, сказала:
«Что бы мне еще добавить,
что бы положить такое,
чтоб заквасить пиво в бочке,
забродить заставить брагу?»

Дева Калевы, красотка,
та, чьи пальчики прекрасны,
чьи движения красивы,
что всегда быстра, проворна,
посреди избы порхала,
возле печки хлопотала,
много сделать успевая,
меж двумя снуя котлами.
Видит у печи лучину,
подняла лучину с пола.

Повертела, посмотрела:
«Что же из лучины выйдет,
чем в руках у девы станет,
в пальцах у красивой Капо,
коль отдам лучину в руки,
в пальцы девушки красивой?»
Отдала лучину в руки,
в пальцы девушки красивой.
Приняла лучину Капо,
меж ладонями потерла,
провела по бедрам щепкой —
белка белая явилась.

Так сынка учила Капо,

так бельчонка наставляла:
«Золотце холмов лесистых,
цвет земли, краса пригорков!
Ты беги, куда направлю,
укажу куда дорогу:
в рощи Метсолы родимой,
в чащи мудрой Тапиолы.
Влезь на дерево поменьше,
влезь на крону, что погуще,
чтоб орел тебя не сцапал,
птица неба не схватила.
Принеси еловых шишек,
кожуры семян сосновых,
передай их в руки Капо,
в пальцы Осмотар — для пива».

Пробежать успела белка,
пышнохвостая — промчаться,
одолеть смогла дорогу,
расстояние большое,
чащу вдоль, насквозь — другую,
третью — наискось немножко,
к рощам Метсолы родимой,
к дебрям Тапиолы мудрой.
Видит три могучих ели,
маленьких сосны — четыре.
Поднялась на ель в низине,
на сосну взвилась на горке,
там орел ее не сцапал,
птица неба не схватила.

Нарвала еловых шишек,
кончиков сосновых веток,
бережно взяла когтями,
лапками к себе прижала,
принесла их в руки Капо,

в пальцы девушки красивой.

Капо опустила в брагу,
в свой напиток положила,
только пиво все не ходит,
брага свежая не бродит.
Осмотар, хозяйка пива,
Капо, браги мастерица,
все гадает, размышляет:
«Что еще сюда добавить,
чтоб заквасить пиво в бочке,
забродить заставить брагу?»

Дева Калевы, красотка,
та, чьи пальчики прекрасны,
чьи движения красивы,
что всегда быстра, проворна,
посреди избы порхала,
возле печки хлопотала,
много сделать успевая,
меж двумя снуя котлами.
Видит щепочку у печки,
поднимает щепку с пола.

Посмотрела, повертела:
«Что из этой щепки выйдет,
чем в руках у девы станет,
в пальцах у красивой Капо,
коль отдам находку в руки,
в пальцы девушки красивой?»

Отдала находку в руки,
в пальцы девушки красивой.
Приняла девица щепку,
меж ладонями потерла,
провела по бедрам щепкой —
вышла чудная куница.

Златогрудую учила,
сиротинку наставляла:
«Ой, голубушка куница,
в шубке денежной зверюшка,
побеги, куда направлю,
укажу куда дорогу:
к каменной норе медвежьей,
к той лесной усадьбе хвойной,
где медведи вечно бьются,
косолапые ярятся.
Набери дрожжей в ладони,
пенистой слюны — в пригоршню,
положи в ладони Капо,
Осмотар отдай для пива».

Пробежать смогла куница,
златогрудая — промчаться,
одолеть смогла дорогу,
расстояние большое,
поперек и вдоль две речки,
третью — наискось немножко,
до пещеры косолапых,
до жилья лесных хозяев.
Там медведи вечно бьются,
косолапые ярятся
на утесе из железа,
на горе из твердой стали.
Пена падает из зева,
дрожжи — из зловещей пасти.
Набрала дрожжей в ладони,
пенистой слюны в пригоршню.
Отнесла их в руки Капо,
в пальцы девушки прекрасной.

Осмотар бросает в пиво,

Капо погружает в брагу —
все еще не бродит пиво,
не бурлит питье мужское.
Осмотар, хозяйка пива,
Капо, браги мастерица,
все гадает, размышляет:
«Что еще сюда добавить,
принести какой закваски,
замешать какие дрожжи?»

Дева Калевы, красотка,
та, чьи пальчики прекрасны,
чьи движения красивы,
что всегда быстра, проворна
посреди избы порхала,
возле печки хлопотала,
много сделать успевая,
меж двумя снуя котлами;
стебелек нашла гороха,
подняла стручок зеленый.

Повертела, посмотрела:
«Что же выйдет из гороха,
что в руках родится Капо,
в пальцах девушки прекрасной,
коль отдам стручок ей в руки,
в пальцы девушки прекрасной?»

Вот стручок вручила Капо,
в пальцы девушки прекрасной.
Приняла стручок девица,
меж ладонями потерла,
провела стручком по бедрам —
из него пчела возникла.

Так свою учила пчелку,
наставляла эту птичку:

«Пчелка, быстрая летунья,
королева луговая!
Ты лети, куда направлю,
укажу куда дорогу:
к острову в открытом море,
к лудам на морском просторе!
Там девица почивает,
медный пояс, отдыхает,
сбоку — травка-медуница,
медоносица — в подоле.
Принеси на крыльях симы,
меда сладкого — в накидке,
с травяной макушки сочной,
с золотых соцветий ярких,
принеси в ладони Капо,
Осмотар отдай для пива».

Пчелка, быстрая летунья,
полетела, поспешила,
быстро путь преодолела,
расстоянье сократила,
поперек и вдоль два моря,
третье — наискось немножко,
к острову в открытом море,
к лудам на морском просторе.
Видит спящую девицу,
деву с брошкой оловянной,
на лужайке безымянной,
на поляне медоносной,
с золотой травой под боком,
с муравою серебристой.
Обмакнула крылья в симу,
перышки — в нектар пахучий
с травяной макушки сочной,
с золотых соцветий ярких.
Принесла в ладони Капо,

в пальцы девушки прекрасной.

Капо в брагу положила,
Осмотар — в хмельной напиток.
Сразу пиво забродило,
забурлил напиток свежий
в том ушате деревянном,
в том березовом бочонке.
Поднялся до ручек чана,
через край уже полился,
по земле потечь готовый,
побежать по половицам.

Времени прошло немного,
пролетело лишь мгновенье,
пить герои прибежали,
раньше прочих Лемминкяйнен,
выпил Ахти, выпил Кавко,
шустрый захмелел проказник
от напитка девы Осмо,
девы Калевы прекрасной.

Осмотар, хозяйка пива,
Капо, браги мастерица,
говорит слова такие:
«Горе, горе мне, несчастной!
Дурно я сварила пиво,
плохо сделала напиток:
поднялось из бочки пиво,
на пол вылился напиток!»

Снегирек пропел на ветке,
под стрехою дрозд чирикнул:
«Неплохое вышло пиво,
поднялся напиток добрый.
Надо вылить пиво в бочку,

бочку в погребе поставить,
пусть в дубовой бочке бродит,
в медных обручах доходит».
Так и зародилось пиво —
Калевы сынов напиток.
Славу добрую снискало,
стало всюду знаменитым,
потому как было добрым,
добрым только для разумных:
побуждало жен смеяться,
всем мужам несло веселье,
радость праведным давало,
буйства глупым прибавляло».
Вот тогда хозяйка Похьи,
разузнав рожденье пива,
принесла воды в ушате,
налила воды полбочки,
всыпала ячменных зерен,
хмеля множество головок.
Принялась варить напиток,
брагу крепкую готовить
в новой бочке деревянной,
в том березовом ушате.
Месяцами греют камни,
воду кипятят годами,
многие сожгли дубравы,
осушили все колодцы,
все чащобы поредели,
все источники иссякли —
все ушло на варку пива,
на закладку доброй браги
для широкой свадьбы Похьи,
многолюдного застолья.
Дым над островом клубится,
на мысу пылает пламя.
Дым встает густой и плотный,

к небу марево восходит
от костров, горящих грозно,
полыхающих опасно —
аж пол-Похьи застелило,
Карьялу всю ослепило.

Весь народ кругом дивился,
поражался, изумлялся:
«Дым такой откуда взялся?
Марево пришло откуда?
Дым войны — намного больше,
меньше — дым костров пастушьих».

Мать-старушка Кавкомьели
как-то утром спозаранок
за водой к ключу приходит,
видит дым густой и плотный,
с севера гонимый ветром.
Так промолвила, сказала:
«Это дым костров военных —
знак великого гоненья».

Сам же Ахти Сарелайнен,
сам прекрасный Кавкомьели,
присмотрелся, пригляделся,
так подумал, так размыслил:
«Не сходить ли поразведать,
посмотреть пойти поближе,
дым такой откуда взялся,
марево пришло откуда?
Может, это дым военный —
знак великого гоненья?»
Кавко сам пошел разведать,
разузнать причину дыма.
Это был не дым военный —
знак великого гоненья:

на кострах варили пиво,
приготавливали брагу
у пролива Сариолы,
там под мышкою у мыса.
Вот стоит и смотрит Кавко,
смотрит пристально, свирепо
гневным глазом, злобным оком,
рот кривя в усмешке мрачной,
наконец промолвил, глядя,
крикнул с берега пролива:
«Ой ты, теща дорогая,
Похьи добрая хозяйка,
навари хорошей бражки,
пива славного наделай
напоить гостей ораву,
Лемминкяйнена — особо
на его прекрасной свадьбе
с юной дочерью твоею!»

Вот уже готов напиток,
сварено питье мужское.
Унесли напиток красный,
квас поставили отменный,
поместили под землею,
в каменный спустили погреб
побродить в дубовой бочке,
за добротной пробкой медной.
Тут уж Похьелы хозяйка
принялась еду готовить.
На огне котлы клокочут,
треск идет от сковородок.
Завела большое тесто,
испекла большие хлебы
накормить гостей хороших,
угостить народ на славу
в Похьеле на долгой свадьбе,

в Сариоле — на пирушке.

Напекла хозяйка хлебов,
накатала караваев.
Времени прошло немного,
лишь мгновенье пробежало,
заходило пиво в бочке,
забродила брага в склепе:
«Вот теперь пришел бы бражник,
выпивальщик бы явился,
куковальщик мой искусный,
мой певец мастеровитый!»

Вот певца искать пустились,
славного певца для свадьбы,
куковальщика для пира,
для застолья музыканта.
Приводили петь лосося,
куковать просили щуку.
Но какой певец из лоха,
куковальщик — из щуренка!
Скривлена у лоха челюсть,
зубы редки у щуренка.

Вновь певца искать пустились,
славного певца для свадьбы,
куковальщика для пира,
для застолья музыканта.
Привели певцом ребенка,
куковальщиком — мальчишку.
Не умеет петь ребенок,
куковать — юнец слюнявый.
Неуклюжа речь ребенка,
мальчика язык негибок.

Пиво красное грозится,
молодой шумит напиток

в бочке маленькой дубовой,
за добротной пробкой медной:
«Коль певца ты не разыщешь,
славного певца для свадьбы,
куковальщика для пира,
для застолья музыканта —
обручи порву у чана,
вышибу у бочки днище».

Вот тогда хозяйка Похьи
с весточкой гонца послала,
нарочного в путь пустила.
Молвила слова такие:
«Ой ты, маленькая дева,
вечная моя служанка!
Созови народ на свадьбу,
пригласи мужей к застолью!
Приведи убогих, нищих,
всех несчастных, всех незрячих,
покалеченных, увечных.
Привези незрячих в лодках,
на коне — хромых, увечных,
покалеченных — на санках.
Позови народ всей Похьи,
жителей всей Калевалы,
пусть приедет старый Вяйно,
пусть певцом законным будет.
Не зови лишь Кавкомьели,
Сарелайнена на свадьбу!»

Маленькая та служанка
молвила слова такие:
«Отчего ж не звать мне Кавко,
Сарелайнена на свадьбу?»

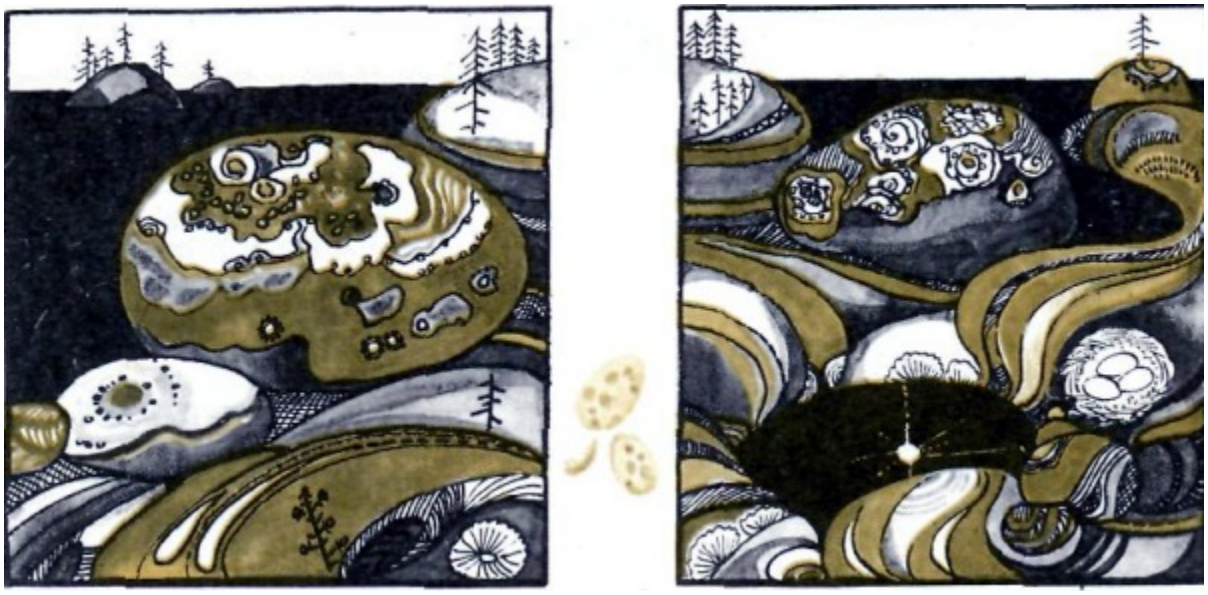
Тут уж Похьелы хозяйка

так служанке отвечала:
«Оттого не надо Кавко
приглашать на свадьбу в Похью,
что задира он известный,
всяких ссор и драк зачинщик,
вечно свадьбы посрамляет,
вечно пиршества позорит,
дев высмеивает чистых
в одеяниях нарядных».

Маленькая та служанка
так промолвила, сказала:
«Как же я узнаю Кавко,
чтоб не звать его на свадьбу?
Как узнать жилище Ахти,
Кавкомьели двор приметить?»

Молвила хозяйка Похьи,
так ответила, сказала:
«Кавко дом узнать нетрудно,
Сарелайнена жилище.
Дом на острове поставлен,
у воды — жилище Ахти,
у широкого залива,
у излуки Кавко-мыса».
Маленькая та служанка,
та наемная прислуга
в шесть концов разносит вести,
в восемь разных направлений.
Позвала народ всей Похьи,
жителей всей Калевалы,
всех работников наемных,
батраков в кафтанах узких.
Только Ахти миновала,
лишь его не пригласила.

Песнь двадцать первая



Жениха и сопровождающих его принимают в Похьеле, стихи 1-226. — Гостей досыта угощают яствами и пивом, с. 227–252. — Вяйнямёйнен поет хвалу хозяевам дома, с. 253–438.

Вот сама хозяйка Похьи,
старшая из женщин дома,
по двору как раз ходила,
по хозяйству хлопотала.
Слышит свист кнута с болота,
с берега — скрипенье санок.
На восток свой взгляд бросает,
обращает взор под солнце,
думает она, гадает:
«Что за люди подъезжают,
к берегам моим стремятся?
Уж не войско ли большое?»

Вот сама спешит разведать,

посмотреть идет поближе:
это вовсе и не войско —
сваты[143] прибыли толпою,
сам жених — посередине,
средь хорошего народа.

Тут сама хозяйка Похьи,
старшая из женщин дома,
поняла, что зять приехал,
так промолвила, сказала:
«Думала, что дует ветер,
сыплется гора поленьев,
волны рушатся на берег,
катится морская галька.
Посмотреть пришла на это,
поглядеть вблизи решила.
То совсем не ветер дует,
то не сыплются поленья,
рушатся не волны вовсе,
катится совсем не галька —
это зять с гостями едет,
поезжан везет две сотни.
Как меж них узнаю зятя,
жениха в толпе примечу?
Зять среди толпы приметен,
как черемуха средь рощи,
как дубок средь перелеска,
как меж звезд на небе месяц.

Жеребец у зятя черный,
схожий с волком ненасытным,
схожий с вороном летящим,
с грифом, реющим в просторах.
Шесть кукушек златоперых
на дуге кукуют звонко,
семь прекрасных пташек синих

на гужах не умолкают».

Шум донесся от прогона,
стук оглобель — от колодца:
зять уже во двор въезжает,
люди зятя — на подворье,
сам жених — посередине,
окружен народом славным.
Он не самым первым едет,
но не самым и последним.

«Побыстрей во двор, герои,
рослые мужи, — на волю!
Распускать супонь скорее,
вынимать из петель дуги,
опускать оглобли наземь,
зятя провожать в жилище!»

Пролетел жеребчик зятя,
сани быстрые промчались
по двору усадьбы тестя.
Говорит хозяйка Похьи:
«Ой ты, раб, слуга наемный,
казачок[144] пригожий самый!
Жеребца прими у зятя,
со звездой во лбу гнедого,
выпростай из медной сбруи,
из супони оловянной,
из гужей добротной кожи,
ивовой дуги упругой!
Жеребца прими у зятя,
отведи его неспешно
за шелковые поводья,
за серебряную оброть,
поваляться на толóке[145],
побарахтаться на поле,

на земле молочно-белой,
свежевыпавшей пороше.

Дай ты жеребцу напиться
в ближнем роднике прозрачном,
что зимой не замерзает,
что звенит ключом обильным
там, под елью золотою,
под мохнатою сосною!

Накорми коня досыта
из лукошка золотого,
небольшой корзинки медной
мытым житом, чистым хлебом,
летней пареной пшеницей,
яровой толченой рожью.
Отведи коня гнедого
в подобающее стойло,
на почетнейшее место
в той конюшне самой дальней.
Привяжи коня за повод,
за колечки золотые
к крепкому кольцу стальному,
к прочному столбу витому.
Жеребцу задай ты корма:
принеси овса кадушку,
колосков травы — вторую,
третью — сеяной мякины!

Поскреби ты лошадь зятя
гребешком моржовой кости,
чтобы шерсть не подсекалась,
волос конский не ломался.
Жеребца укрой попоной,
тканью, серебром расшитой,
золотой кошмой красивой,
медной красною накидкой.

Деревенские ребята,
зятя в избу проводите,
проходите в дом без шапок,
в горницу без рукавичек.

Дайте посмотреть на зятя,
сможет ли пройти он в двери,
чтобы не снимать их с петель,
чтобы косяки не трогать,
чтоб не повышать проема,
чтоб не понижать порога,
не ломать стены передней,
нижнего бревна не двигать.
Не вступить в жилище зятю,
не войти красавцу в двери,
чтобы не снимать их с петель,
чтобы косяки не трогать,
чтоб не повышать проема,
чтоб не понижать порога,
не ломать стены передней,
нижнего бревна не двигать —
зять на голову всех выше,
на ухо других длиннее.
Поднимись, косяк, повыше,
чтобы шапка не коснулась,
опустись, порог, пониже,
чтоб каблук не зацепился,
косяки, раздайтесь шире,
двери, сами распахнитесь —
входит зять в жилище наше,
муж великий в дом вступает.
Богу славному спасибо,
зять уже вошел в жилище!
Дайте я сама проверю,
горницу окину взглядом —
все ли тут столы помыты,

все ли ска́мьи здесь обтерты,
выскоблен ли пол в жилище,
вычищены ль половицы?
Всю избу я осмотрела,
дома вовсе не узнала:
из каких он срублен бревен,
из каких краев доставлен,
из чего у дома стены,
из чего полы у дома?
Из ежовой кости — стены,
лицевая — из оленьей,
задняя — из росомашьей,
притолока — из ягнячьей.
Балки сделаны из яблонь,
столб — из дерева витого,
из листов кувшинок — лавки,
крыша — из чешуек рыбьих.

Стулья в доме — из железа,
скамьи — из саксонских кряжей,
стол расписан позолотой,
пол в избе застелен шелком.

Печка отлита из меди,
выложен из плит припечек,
каменка — из крупной гальки,
бревен Калевы — подпечек».
Втиснулся жених в жилище,
зять вошел под крышу дома,
так сказал он, так промолвил:
«Ниспошли здоровья, Боже,
в эти славные покои,
в знаменитое жилище!»

Молвит Похьелы хозяйка:
«Будь здоров и ты, вошедший,

навестивший нас сегодня
в этом низеньком жилище,
в горнице из крепких сосен,
в гнездышке из лучших бревен!

Ой ты, маленькая дева,
ты, наемная батрачка,
запали скорей бересту,
кончик щепочки смолистой —
разглядеть хочу я зятя,
жениха глаза увидеть,
красны ли глаза, иль сини,
иль белы, как холст беленый!»
Тут уж маленькая дева,
та наемная батрачка,
принесла огня в бересте,
на конце щепы смолистой.

«Свет неровный у бересты,
пламя дымное у щепки
задымит все очи зятю,
закоптит ему все щеки.
Принеси огня на свечке,
света яркого на воске».
Тут уж маленькая дева,
та наемная батрачка,
принесла огня на свечке,
света яркого — на воске.

Светлый дым встает над воском,
пламя яркое — над свечкой.
Осветило очи зятя,
озарило лик прекрасный.

«Вижу, вижу очи зятя:
не красны глаза, не сини,

не белы, как холст беленый,
свéтлы, как морская пена,
как морской камыш, красивы,
как морской тростник, прекрасны.

Деревенские ребята,
зятя под руки ведите
на переднюю скамейку,
на почетное сиденье —
задом к синему простенку,
передом к столу большому,
ликом к званому застолью,
грудью к шумному веселью!»

Тут уж Похьелы хозяйка
поит-кормит приглашенных —
масло на устах лоснится,
пригоршни полны лепешек;
кормит всех гостей досыта,
лучше всех — родного зятя.

Был и лосось на подносах,
по краям была свинина,
до краев полны все чаши,
миски все набиты снедью,
чтобы гости угощались,
прежде прочих — зять родимый.

Молвит Похьелы хозяйка:
«Ой ты, маленькая дева!
Принеси-ка в кружке пива,
в братчине подай двуручной
всем гостям, к застолью званным,
прежде всех — родному зятю».
Вот уж маленькая дева,
та наемная служанка,

братчину кругом пустила,
в пять ободьев кружку с пивом,
чтоб хмельным усы обрызгать,
выбелить напитком пенным
всем гостям, к застолью званным,
зятю нашему — особо.

Что теперь нам скажет пиво,
хмель — из-за пяти ободьев,
если рядом рунопевец,
куковальщик превосходный?
Вековечный Вяйнямёйнен,
лучший мастер песни древней,
зван сюда певцом умелым,
заклинателем искусным.

Вот берет он кружку с пивом,
говорит слова такие:
«Пиво, наш напиток славный,
не пои мужей задаром!
Пусть мужи поют нам песни,
пусть кукуют златоусты!
Иначе хозяин спросит,
удивятся все хозяйки:
неужель иссякли песни,
языки у всех отсохли?
Знать, сварила дурно пиво,
завела плохой напиток,
коль певцы не запевают,
рунопевцы не ликуют,
не кукуют златоусты,
звонкой радости кукушки.

Кто ж теперь нам покукует,
кто же пропоет нам песни
на большой пирушке Похьи,

славной свадьбе Сариолы?
Ведь не петь же в доме лавкам,
коль молчат на лавках гости,
ведь не петь же половицам,
если петь не будут люди,
ликовать не станут окна,
коль хозяин не ликует,
стол приплясывать не будет,
коль застольники не пляшут,
дымник сам гудеть не станет,
коль под ним шуметь не будут».
На полу сидел ребенок,
у припечка — малолеток.
С пола так сказал ребенок,
от припечка — малолеток:
«Хоть годами я не вышел,
хоть совсем не крепок телом,
только все-таки, но все же,
раз уж не поют другие,
сытые молчат мужчины,
толстые — не распевают,
я спою, мальчонка тонкий,
закукую, худосочный,
я спою при тощем теле,
при худых боках сыграю,
чтоб веселым вечер сделать,
день прошедший возвеличить».

На печи промолвил старец,
высказал слова такие:
«Что возьмешь с ребячьих песен,
с лепетанья малолетних:
выдумки — в ребячьих песнях,
пустота — в девичьих виршах!
Песню мудрому отдайте,
гостю славному на лавке».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Есть ли тут средь молодежи,
есть ли в племени великом,
кто б свои мне подал руки,
пальцы мне вложил бы в пальцы,
стал бы сказывать сказанья,
петь бы начал песнопенья,
чтобы день воспеть ушедший,
славный вечер возвеличить?»
На печи старик промолвил:
«Здесь мы прежде не слыхали,
не слыхали, не видали
никогда на этом свете,
чтобы кто-то пел прекрасней,
чтобы куковал искусней,
чем я сам в былые годы
пел в ту пору молодую
в лодке на волнах залива,
куковал в борах песчаных,
в ельниках звенел кукушкой,
звонко в рощах заливался.
Голос громким был и славным,
и напев мой был прекрасным,
лился он, как льется речка,
как воды поток, струился,
лыжею скользил по снегу,
лодкой парусной — по волнам.
Сам теперь совсем не знаю,
сам не понимаю вовсе,
что мой голос загубило,
отчего охрип чудесный,
не струится, словно речка,
как поток воды, не льется, —
бороной скрипит по кочкам,
хворостиною по насту,

по песку реки — санями,
днищем лодки — по каменьям».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:
«Коль напарника не будет,
чтобы петь со мною вместе,
я один начну сказанье,
я один продолжу пенье,
раз уж я певцом был создан,
коль рожден был рунопевцем,
спрашивать пути не стану,
сам найду стезю сказанья».

Тут уж старый Вяйнямёйнен,
лучший мастер песни древней,
принялся творить веселье,
песенным занялся делом, —
рядом с ним все песни были,
под рукой — слова любые.
Заклинает Вяйнямёйнен,
и поет, и заклинает:
слов не исчерпаешь речью,
пеньем песен не убавишь,
раньше горы скал лишатся,
лилий — ламбушки глухие.
Вековечный Вяйнямёйнен
веселил гостей весь вечер:
женщины кругом смеялись,
улыбались все мужчины,
вместе слушали, дивились,
как чудесно пел им Вяйно,
радость всех переполняла,
даже тех, кто и не слушал.
Молвил старый Вяйнямёйнен,
так свое закончил пенье:

«Да какой я рунопевец,
да какой я заклинатель!
Ничего я не умею,
ни на что я не пригоден.
Если б это пел Создатель,
сладостными пел устами,
вот тогда бы было пенье,
вот бы было волхвованье!

В мед моря он превратил бы,
обратил в горох песчинки,
в солод — всю морскую тину,
в соль — все камешки морские,
рощи б сделал хлебным полем,
лес густой — пшеничной нивой,
обратил бы горы в мя́мми[146],
в яйца — скалы побережья.

Так он пел бы, заклинал бы,
волхвовал бы, колдовал бы.
В этот дом напел бы щедро
нетелей загон огромный,
полный хлев буренок разных,
выгон — молоко дающих,
сотнями — рога носящих,
тыщами — носящих вымя.

Так он пел бы, заклинал бы,
волхвовал бы, колдовал бы —
рысьих шуб мужьям напел бы,
женам их — суконных свиток,
дочерям — сапожек легких,
сыновьям — рубашек красных.
Дай и присно, Боже правый,
дай, Создатель милосердный,
чтобы так всегда тут жили,

чтобы так и дальше было,
на пирах в прекрасной Похье,
на гуляньях в Сариоле,
чтоб лилось рекою пиво,
чтобы мед бежал ручьями,
в этих Похьелы жилищах,
в славных избах Сариолы,
чтобы днем здесь песни пели,
вечерами веселились
на веку главы семейства,
в годы здравия хозяйки.
Пусть им Бог воздаст сторицей,
одарит Господь небесный,
даст на стол главе семейства,
даст хозяюшке в амбары,
сыновьям — на рыбной ловле,
дочерям — за ткацким станом,
чтоб не каялись вовеки,
через год не сожалели,
что так долго пировали,
что гостей пришло так много».

Песнь двадцать вторая

Невесту готовят к отъезду, напоминают ей о былых днях и рассказывают о предстоящих, стихи 1-124. — Невеста озабочена предстоящей разлукой с родимым домом, с. 125–184. — Ее принуждают плакать, с. 185–382. — Невеста горько плачет и сетует, с. 383–448. — Ее утешают, с. 449–522.

Вдоволь все напировались,
вволю все наугощались
в доме Похьелы на свадьбе,
на пирушке в Пиментоле.
Вот тогда-то и сказала
Илмаринену хозяйка:
«Что сидишь ты, благородный,
что ты ждешь, земли избранник?
Не отцова ль держит ласка,
материнское вниманье,
не убранство ли жилища,
не гостей ли вид прекрасный?

Не отцова ласка держит,
материнское вниманье,
ни при чем избы убранство,
красота гостей на свадьбе —
держит суженой пригожесть,
красота невесты юной,
белизна девичьей шеи,
нежность девы длиннокосой.

Женишок, любезный братец,
долго ждал ты, жди и дальше:
суженая не готова,
не наряжена невеста:
заплели одну ей косу,
надо заплести другую.

Женишок, любезный братец,
долго ждал ты, жди и дальше.
Суженая не готова,
не наряжена невеста:
на руку рукав надели,
на другую надевают.

Женишок, любезный братец,
долго ждал ты, жди и дальше.
Суженая не готова,
не наряжена невеста:
лишь одна нога обута,
обувают уж другую.
Женишок, любезный братец,
долго ждал ты, жди и дальше.
Суженая не готова,
не наряжена невеста:
на одной руке — перчатка,
на другую надевают.
Женишок, любезный братец,

долго ждал, не утомился.
Суженая уж готова,
уточка твоя одета.

В добрый путь пора, девица,
с Богом, проданная птичка!
Час разлуки горькой близок,
наступает миг прощанья,
рядышком с тобой разлучник,
у дверей уж твой повозник,
удила грызет жеребчик,
деву санки поджидают.

Жадной ты была до денег,
отдала поспешно руку,
торопясь, взяла залóги[147],
быстренько кольцо надела,
вот теперь и прыгай в сани,
прыткая, садись в кошевку,
шустрая, беги из дому,
бойкая, езжай скорее.
Ведь не слишком ты, девица,
присмотреться торопилась,
призадуматься стремилась.
Если в сговоре ошиблась,
век тебе придется плакать,
укорять себя все годы:
дом оставила отцовский,
бросила места родные,
мать покинула родную,
материнское подворье.
Ведь жилось тебе неплохо
во владениях отцовских!
На дворе росла цветочком,
земляничкой — на пригорке.
Утром поднималась к сливкам,

к молочку — с постели теплой,
к булочкам пшеничным — с ложа,
к маслу взбитому — с соломки.
Если масла не хотелось,
то свининки отрезала.
Не было забот-печалей,
горьких мыслей — и подавно:
соснам думы оставляла,
пряслам — все свои заботы,
пусть грустит сосна в болоте,
плачет на лугу береза.
Вольным листиком летала,
легкой бабочкой порхала,
ягодкой была на поле,
на межах полей — малинкой.
Ты из дома уезжаешь,
дом родимый покидаешь,
к матери чужой уходишь,
в дом чужой, в семью чужую.
Все в другой семье иначе,
все иначе в новом доме,
там иначе рог играет,
там поют иначе петли,
там иначе ходят двери,
там не так скрипят ворота.
То не так проходишь в двери,
то не так идешь в ворота,
как своя проходит дочка.
То не так огонь вздуваешь,
то не так ты печку топишь,
как того хозяин хочет.

Уж не думала ли, дева,
не считала ль, не гадала,
что пойдешь туда лишь на ночь,
что домой вернешься утром?

Ты пойдешь совсем не на ночь,
и не на ночь, и не на две,
ты пробудешь там побольше,
там останешься навеки,
навсегда отца покинешь,
мать — до дней ее последних.
Станет двор на шаг длиннее,
на бревно — порог повыше,
как домой пойти захочешь,
пожелаешь возвратиться».
Тут девица завздыхала,
завздыхала, застонала,
защемило сердце девы,
взор слезою замутило.
Молвила слова такие:
«Так я думала, считала,
в дни девичьи говорила,
в годы юные твердила,
что девица — не девица
под родительской опекой,
на дворе родном, отцовском,
в доме матери родимой.
Лишь тогда девицей станешь,
если, замуж собираясь,
на порог поставишь ногу,
в сани жениха — другую:
станешь на голову выше,
на пол-уха подлиннее.

Этого весь век хотела,
этого ждала все время,
словно дней ждала счастливых,
словно солнечного лета.
Вот мечта и стала явью:
приближается разлука,
вот нога уж на пороге,

в свадебных санях — другая.
Только что же приключилось,
отчего все изменилось:
ухожу без ликованья,
отбываю без веселья
из родимого жилища,
из девичьего гнездовья,
из отцовского подворья,
дорогой усадьбы детства.
Ухожу в большой печали,
ухожу в тяжелых думах,
как в объятья ночи темной,
как на хрупкий лед весенний,
где следов не остается,
никаких на льду — отметин.
Что же у других на сердце,
что других невест заботит?
Видно, вовсе не горюют,
не печалятся нисколько,
как печалюсь я, бедняжка.
Мысли черные на сердце,
сердце черное, как сажа,
мысли черные, как уголь.

У людей счастливых думы,
мысли у людей блаженных,
как заря весною ранней,
словно солнце вешним утром.
У меня ж такие думы,
мрачные на сердце мысли,
зыбкие, как берег ламбы,
черные, как будто тучи,
словно тьма осенней ночи,
словно зимний день унылый,
даже, может, потемнее,
помрачней осенней ночи».

Старая служанка дома,
многолетняя прислуга,
молвила слова такие:
«Вспомни, дева молодая,
что тебе я говорила,
сотни раз тебе твердила:
женихом не обольщайся,
губ красой не восхищайся,
блеску глаз не доверяйся,
стройностью не восторгайся!
Он красиво губы держит,
обольщает взглядом нежным,
хоть в устах таится Лемпо,
хоть во рту живет погибель.

Так девицу я учила,
наставляла сиротинку:
женихи когда приедут,
знаменитые прибудут,
ты поспорь, не поддавайся,
за себя постой потверже,
ты слова такие молви,
с речью обратись такою:
«Не моя судьба, как видно,
не моя, похоже, доля
быть в невестки увезенной,
быть в рабыню превращенной.
Девушка с моею статью
быть рабыней не захочет,
жить в неволюшке не сможет,
не захочет быть под гнетом.
Мне одно словечко скажут,
тотчас я двумя отвечу.
Если вцепятся мне в кудри,
если за волосы схватят,

я за кудри расквитаюсь,
отомщу за все обиды».

Не вняла моим советам,
наставлениям разумным —
в пекло самое суешься,
лезешь ты в кипящий деготь,
в лисьи саночки садишься,
по следам идешь медвежьим —
увезет лиса в салазках,
унесет медведь в котомке
к свекру в вечные рабыни,
в рабство долгое — к свекрови.

Ты сама идешь в ученье,
на страданье, на мученье.
Та наука будет трудной,
продолжительными — муки,
куплены уже и вожжи,
заготовлены и цепи,
не для прочих посторонних,
для тебя они готовы.

Вот узнаешь, горемыка,
на себе ты испытаешь
свекра челюсть костяную,
каменный язык свекрови,
деверя язык морозный,
горделивый нрав золовки.
Слушай, дева, что скажу я,
что скажу я, что промолвлю.
Дома ты была цветочком,
радостью — в избе отцовской:
называл отец луною,
мать звала сияньем солнца,
братец звал водицей светлой,

синеньким платком — сестрица.
В дом чужой уходишь нынче,
к матери чужой — в прислуги,
не сравнить ее с родимой,
с матерью твоей любимой:
слова доброго не скажет,
верного не даст совета.
Помелом облает свекор,
назовет свекровь обузой,
деверь обзовет колодой,
злою бабою — золовка.

Лишь тогда слыла б хорошей,
лишь тогда была бы годной,
если бы туманом тонким,
дымкою во двор летела,
легким листиком порхала,
малой искрой проносилась.

Не летаешь ты, как птица,
не порхаешь, как листочек,
не проносишься, как искра,
как дымок, не выбегаешь.

Ой ты, милая сестрица!
Все теперь ты променяешь:
батюшку ты променяешь
на неласкового свекра,
матушку ты променяешь
на свекровушку лихую,
своего родного братца
деверем плохим заменишь,
славную свою сестрицу —
горделивою золовкой,
чистую постель в покоях —
дымным ложем у кострища,

воды светлые залива —
грязной лужей дождевою,
берег чистый и песчаный —
топким берегом болотным,
милые поляны в рощах —
вересковою пустошкой,
наши ягодные горки —
пнями черного пожога.

Уж не думаешь ли, дева,
не мечтаешь ли, голубка:
кончатся твои заботы
после этого застолья?
Думаешь, поспать увозят,
подремать везут из дома.

Не для отдыха увозят,
не везут для сладкой дремы, —
бодрствовать тебя заставят,
не смыкать глаза ночами,
много выпадет печалей,
свалится обид немало.
Без платка когда порхаешь,
ты и горюшка не знаешь;
без повойника хлопочешь,
делаешь сама что хочешь.
Принесет забот повóйник[148],
головной платок — печалей,
полотняный — огорчений,
горестей — льняная кичка.

Чем не жизнь была в девицах!
Дева в батюшкином доме
что король в прекрасном замке,
лишь меча не носит сбоку.
У невестки жизнь другая!

Ведь невестка в доме мужа —
что в России арестантка,
только стражи не хватает.

Допоздна она в работе,
трудится из сил последних,
пот струей течет по телу,
каплями со лба стекает.
Как придет иное время —
девушку бросают в пекло,
гонят в жаркое горнило,
в лапы пламени большого.

Надо бы иметь бедняжке,
девице многострадальной,
речь ерша, лосося думы,
окуней озерных мысли,
рот плотвы, живот салаки,
утицы морской — познанья.
Ни одна не знает дева,
даже девять дев не знают,
матерью одной рожденных,
женщиной одной взращенных,
как рождается мучитель,
вырастает притеснитель,
мясо жрущий, кость грызущий,
волосы с корнями рвущий,
рассыпающий по ветру,
по весенним суховеям.
Погорюй, поплачь, девица,
посильней поплачь, невеста,
проливай горстями слезы,
лей пригоршнями водицу,
окропи весь двор отцовский,
на полу налей озера,
затопи водой соленой,

раскати по полу волны!
Коль сейчас не станешь плакать,
наревешься, в дом вернувшись,
погостить когда приедешь,
как найдешь отца родного
задохнувшимся от дыма,
в бане, с веником под мышкой.

Погорюй, поплачь, девица,
посильней поплачь, невеста!
Коль сейчас не станешь плакать,
наревешься, в дом вернувшись,
погостить когда приедешь,
как найдешь ты мать родную
мертвою в хлеву коровьем,
с ношею сухого сена.

Погорюй, поплачь, девица,
посильней поплачь, невеста!
Коль сейчас не станешь плакать,
наревешься, в дом вернувшись,
погостить когда приедешь,
как найдешь родного брата
на своем дворе погибшим,
у крыльца избы угасшим.
Погорюй, поплачь, девица,
посильней поплачь, невеста!
Коль сейчас не станешь плакать,
наревешься, в дом вернувшись,
погостить когда приедешь,
как найдешь сестру родную
на тропе с бельем упавшей,
умершей с вальком под мышкой».

Дева юная вздохнула,
помолчала, повздыхала,

вот сама запричитала,
прослезилась, плакать стала.
Стала слезы лить горстями,
лить горючие — пригоршней,
двор отцовский затопила,
налила в избе озера.
Молвила слова такие,
так сама заговорила:
«Ой, сестрицы дорогие,
сверстницы мои родные,
все мои подруги детства!
Слушайте, что вам открою!
Не могу понять, постигнуть,
что со мною приключилось,
отчего так горько стало,
кто послал заботы эти,
кто принес тоску-кручину,
кто внушил мне грусть такую.

По-другому представляла,
по-иному век мечтала —
чаяла кукушкой вольной
куковать по всем пригоркам,
как до этих дней дозрею,
как дойду до этих мыслей.
Нет, не стала петь кукушкой,
куковать по всем пригоркам.
Как моря́нка[149] я на волнах,
как чирок среди залива,
плаваю по стылым водам,
в ледяных волнах купаюсь.
Ой ты, мать моя родная,
ой ты, батюшка родимый!
Для чего меня родили,
принесли на свет, бедняжку?
Почему должна я плакать,

выносить все эти муки,
эти тяжкие заботы,
эти горести-печали?

Лучше б, матушка родная,
милая моя пестунья, —
что меня носила в чреве,
что своей кормила грудью, —
пеленала бы пенечки,
камешки бы обмывала,
чем купать свою дочурку,
пеленать свою малютку,
чтоб затем отдать на муки,
чтоб обречь на истязанья!

Многие вокруг судачат,
говорят окрест иные:
никаких забот у глупой,
дум печальных — и подавно.
Говорить не надо людям,
незачем судачить бабам:
у меня забот побольше,
чем камней в пороге бурном,
чем кустов на влажных землях,
вереска — в местах песчаных.
Увезти б не смог и мерин,
конь с железною подковой,
чтоб дуга не содрогалась,
не тряслась, не напрягалась
от забот моих тяжелых,
от моих печалей черных».

На полу пропел ребенок,
малорослый — из закута:
«Стоит ли грустить девице,
слишком сильно убиваться?

Пусть грустит в конюшне лошадь,
пусть горюет черный мерин,
взнузданный, пускай потужит,
погрустит, большеголовый.
Череп у гнедого крепче,
череп крепче, кости тверже,
повыносливее шея,
лошадиный круп мощнее.

Ни к чему девице плакать,
незачем ей убиваться —
ведь уводят не в болото,
ведь бросают не в канаву —
с места хлебного увозят
на места — богаче хлебом,
из избы, богатой пивом,
в избу — пивом пообильней.

Ты бы в сторону взглянула,
посмотрела бы направо,
рядышком — жених надежный,
добрый молодец — под боком.
Добрый конь и муж хороший —
дома всякого опора.
Рябчики кругом порхают,
на дуге поют пичуги,
весело дрозды стрекочут,
на гужах ликуют звонко,
шесть кукушек златогрудых
с хомута крылами машут,
семь кукушек сизокрылых
с передка саней кукуют.
Не печалься, дорогая,
матушки родная дочка,
не туда везут, где хуже,
повезут туда, где лучше,

пахарю под бок положат,
ра́таю[150] — под одеяло,
хлеборобу — к подбородку,
рыбаку под мышку сунут,
в потный дух — к ловцу оленя,
к медвежатнику — под шубу.

Мужа ты взяла из лучших,
доблестней других героев —
не висят без дела луки,
колчаны не ждут на стенах,
не валяются собаки,
не лежат на сене дома.

Вот и этою весною
трижды рано на рассвете
у костра он пробуждался,
прямо с хвои поднимался,
трижды этою весною
росы мужа умывали,
чуб расчесывала хвоя,
ветки чистили одежду.

Муж — глава большого рода,
главный пестователь стада.
Живности у мужа много:
бродит по лесным чащобам,
бегает по всем пригоркам,
ищет тучные долины.
Сто голов средь них рогатых,
тыща — с выменем обильным.
Скирды есть на каждом поле,
закрома — у каждой речки.
Где ольшаник — там и нива,
где ручей — там клин ячменный,
где порог — там клин овсяный,

520 где река — поля пшеницы,
где каменья — там и деньги,
каждый камешек — монета».

Песнь двадцать третья

Невесту наставляют, как вести себя в замужестве, стихи 1-478. Старая бродяжка рассказывает о своем девичестве, замужестве и о своем уходе от мужа, с. 479–850.

Надо дать советы деве,
наставления — невесте.
Кто учить девицу должен,
умные давать наказы?
Осмотар всех жен достойней,
Калеватар — всех прекрасней,
пусть она девицу учит,
наставляет сиротину,
как в семействе быть приятной,
быть покладистой для мужа,
как прослыть невесткой славной,
быть в почете у свекрови.

Так она заговорила,
молвила слова такие:

«Ой, голубушка, невеста,
мой цветочек, мой листочек!
Что поведаю, послушай,
что скажу, запомни крепче!

Ты, цветочек мой, уходишь,
земляничка, убегаешь,
как ворсинка, улетаешь,
убываешь, нежный бархат,
отрываешься от дома,
от родимого подворья,
в дом чужой уходишь, дева,
навсегда — в семью чужую.
Все не так в чужом жилище,
в новом доме все иначе —
каждый шаг обдумать надо,
взвесить каждый свой поступок,
там не то, что в отчем доме,
что в усадьбе материнской,
там не будешь петь по рощам,
куковать на каждой тропке.
Как отправишься из дому,
все свое возьми с собою,
позабудь лишь три предмета:
сон дневной после обеда,
ласки матери родимой,
масло после каждой взбойки.

Забери с собой все вещи —
короб снов забудь на месте,
для девиц оставь домашних,
положи на край лежанки.
Разложи по лавкам песни,
радости свои — по окнам,
венику оставь веселье,
складкам простыней — забавы,

шалости — шесткам домашним,
полу — лень свою ребячью.
Иль отдай своей подружке,
сунь помощнице под мышку,
пусть она снесет в кустарник,
в вересняк пускай забросит.
Новые возьми привычки,
старые забудь замашки.
Батюшку-отца оставишь,
свекра-батюшку получишь —
кланяйся ему пониже,
ласково с ним обращайся.

Новые возьми привычки,
старые забудь замашки.
Ласки матери оставишь,
обретешь свекрови ласку, —
ей ты кланяйся пониже,
ласково с ней обращайся.

Новые возьми привычки,
старые забудь замашки.
Ласки брата здесь оставишь,
ласки деверя получишь, —
кланяйся ему пониже,
ласково с ним обращайся.

Новые возьми привычки,
старые забудь замашки.
Ласковость сестры оставишь,
обретешь золовки ласку, —
ей ты кланяйся пониже,
ласково с ней обращайся.

Не ходи вовеки, дева,
свет луны пока сияет,

в дом чужой, не зная нравов,
рода мужнего привычек.
В каждом доме свой обычай,
даже в лучшем — свой порядок.
Муж твою проверит мудрость,
даже лучший — испытает.
Мудрость там жене нужнее,
где живет семья беспутно,
выдержки тем больше нужно,
чем беспомощней хозяин.

Если дед — что волк за печкой,
что медведица — старуха,
что упырь под дверью — деверь,
во дворе что гвоздь — золовка,
все равно ты будь учтивой,
кланяйся ты всем пониже,
как в жилище материнском,
в доме батюшки родного
кланялась отцу родному,
матери поклоны била.

Ты должна иметь смекалку,
острый ум, характер добрый,
неусыпное раденье,
постоянное усердье,
зоркий взор, чтоб вечерами
холить огонек лучины,
чуткий слух, чтобы утрами
слушать голос петушиный.
Лишь разок воскликнет кочет,
не успеет спеть вторично, —
молодым уж подниматься,
старым — почивать в постели.

Коль петух будить не станет,
промолчит хозяйский кочет,

петуха заменит месяц,
час Медведица покажет.
Выбегай во двор почаще,
выходи смотреть на месяц,
на Медведицу Большую,
проверять по звездам время.

Если Ковш поставлен прямо,
черпаком на юг направлен,
ручкою на север смотрит,
значит, время подоспело
ложе муженька оставить,
жениха постель покинуть.
Угольки раздуй в загнетке,
разбуди огонь в горнýшке[151],
разожги сухие щепки,
не давая распаляться.

Коль в золе угасли угли,
искорки на дне загнетка,
растолкай тихонько мужа,
попроси у золотинки:
«Дай огня, мой драгоценный,
дай огниво, ненаглядный!»

Даст тебе кремня кусочек,
трута — маленький комочек,
высеки огонь умело,
укрепи в светце лучину,
чистить хлев ступай скорее,
покорми пойди скотину.
Матушки ревет буренка,
лошадь свекра ржет призывно,
деверя мычит корова,
мечется телок золовки —
ждут того, кто даст им сена,

кто им клевера подбросит.

По двору ходи лишь с ношей,
в хлев входи с охапкой сена,
с ласкою корми буренок,
с нежностью овечек потчуй!
Принеси скоту соломки,
напои телят слабых,
стебельков дай жеребятам,
ярочкам — помельче сена.
На свиней не надо шикать,
поросят пинать не надо:
принеси корыто свиньям,
поросятам — пойла в плошках.
Отдыхать не надо в хлеве,
спать нельзя в углу овчарни!
Как управишься ты в хлеве,
обрядишь свою скотину,
приходи скорее в избу,
вихрем залетай в жилище!
Там уже ребенок плачет,
маленький пищит в пеленках,
ведь не объяснит, бедняжка,
бессловесный не расскажет,
холод мучает иль голод,
или что-нибудь другое,
прежде чем придет родная,
спросит голосом родимым.
А когда ты в дом заходишь,
заходи сама — четвертой:
приноси с водой ведерко,
веник лиственный под мышкой,
с пламенем в зубах лучину,
ты сама четвертой будешь.

Станешь в доме прибираться,

подметать полы в жилище,
пол сперва водой побрызгай,
не набрызгай на ребенка.
Если на полу ребенок,
пусть он даже сын золовки,
подними его на лавку,
причеши, помой глазенки,
в руки сунь кусочек хлебца,
положи на ломтик масла.
Если нет в жилище хлеба,
щепкой пусть дитя играет.

Коль мытьем столов займешься, —
делай так хоть раз в неделю! —
не забудь края столешниц,
помни также и о ножках.
Окати водою лавки,
обмети крылом простенки,
оботри края скамеек,
щелочки в стене прочисти.

Пыль, что на столах скопилась,
собралась в избе на окнах,
обмахни крылом легонько,
оботри ветошкой влажной,
чтобы пыль не разлеталась,
к потолку не поднималась.

С потолка сотри всю копоть,
соскобли всю сажу с печки,
не забудь столба печного,
оботри получше грядки,
чтоб изба избой казалась,
чтоб жилье жилищем было.

Слушай, дева молодая,
что скажу тебе, промолвлю!

Ты без шушуна не шастай,
не шатайся без сорочки,
не ходи простоволосой,
босоногою не бегай,
чтобы муж не рассердился,
молодой не прогневился.

Берегись, остерегайся
на дворе рябин растущих:
то — священные деревья,
веточки на них — святые,
на ветвях — святые листья,
ягоды — того святее;
ими девицу научат,
сиротинушку наставят,
как милее стать для мужа,
стать сердечней для супруга.

Чуткий слух имей мышонка,
ноги быстрые — зайчонка.
Пусть спина покорно гнется,
гнется шейка молодая,
как растущий можжевельник,
как черемухи вершинка.

Бодрой будь, не будь сонливой,
не дремли, не забывайся,
не стремись присесть повсюду,
не спеши прилечь у печки,
не клонись к постели теплой,
не тянись к подушке мягкой.

Деверь ли вернется с пашни,
свекор ли придет с работы,
муж из леса возвратится,
ненаглядный твой — с подсеки,

ты подай с водою ковшик,
принеси им полотенце,
подойди ко всем с поклоном,
одари любезным словом.

Коль свекровь идет из клети
с коробом муки под мышкой,
выбеги во двор навстречу,
поклонись ты ей пониже,
попроси с мукою короб,
отнеси его в жилище.

Коль сама порой не знаешь,
догадаться не умеешь,
чем тебе теперь заняться,
за какое дело взяться,
поспеши спросить свекровку:
«Ой ты, милая свекровка!
Как у вас ведут хозяйство,
как работы выполняют?»
Вымолвит в ответ хозяйка,
слово выскажет такое:
«Так у нас ведут хозяйство,
так работы выполняют:
здесь толкут и мелют зерна,
ручку жёрнова вращают,
из колодца носят воду,
делают замесы теста,
для печи дрова приносят,
жарко печку нагревают,
круглые катают хлебы,
толстые пекут ковриги,
чистят, моют всю посуду,
ополаскивают миски».

Лишь узнаешь у свекрови,

что теперь должна ты делать,
набери зерна сухого,
к жерновам пойди в кладовку.
Вот когда придешь в кладовку,
к жерновам в чулане встанешь,
грохочи не глоткой зычной,
не своим девичьим горлом,
грохочи гремящим камнем,
рукояткою скрипучей!
Не кряхти при этом громко,
не вздыхай, вращая ручку,
чтобы свекор не подумал,
не помыслила свекровка,
что кряхтишь ты там от злости,
что вздыхаешь от досады.
Решетом просей мучицу,
принеси домой — берестой.
Замеси покруче тесто,
хлебы раскатай получше,
чтоб комков не оставалось,
неразмешанной закваски!

Коль ушат положен набок,
на плечо возьми ушатец,
подхвати под мышку ковшик,
отправляйся за водою.
Ты неси ушат красиво
на плече, на коромысле,
ветерком лети обратно,
мчись весенним суховеем,
не задерживайся долго,
у колодца ты не мешкай,
чтобы свекор не подумал,
не помыслила свекровка,
что любуешься собою,
на себя в источник смотришь,

на здоровый свой румянец,
на красу свою девичью.

Коль пойдешь к костру поленьев,
чтобы дров набрать охапку,
не бросай плохих поленьев,
не гнушайся и осиной.
Опусти охапку тихо,
не швыряй поленья шумно,
чтобы свекор не подумал,
не помыслила свекровка,
что в сердцах дрова швыряешь,
нрав капризный проявляешь.

Как отправишься в кладовку,
за мукой в амбар хозяйский,
долго там не оставайся,
на тропе в амбар не мешкай,
чтобы свекор не подумал,
не помыслила свекровка,
что муки ты не жалеешь,
раздаешь хозяйкам сельским.
Как посуду мыть затеешь,
плошки полоскать возьмешься,
у кувшина вымой ручку,
в кружках вычисти утóры[152],
моешь кружку — край почисти,
моешь ложку — ручку вымой.
Ложкам счет веди в хозяйстве,
не забудь число посуды,
чтоб собаки не таскали,
чтобы кошки не катали,
чтобы птицы не клевали,
не разбрасывали дети.
Ведь детей в деревне много,
не сочтешь белоголовых,

что растаскивают кружки,
что разбрасывают ложки.

Как наступит банный вечер,
наноси водицы в баню,
веники распарь на камне,
выветри из бани горечь.
Не задерживайся в бане,
не рассиживайся долго,
чтобы свекор не подумал,
не помыслила свекровка,
что валяешься на лавке,
на полочке отдыхаешь.

Как придешь домой оттуда,
пригласи в парилку свекра:
«Дорогой любезный свекор!
Для тебя готова баня —
есть вода, распарен веник,
вымыты полки и лавки,
парься вволю, жарься вволю,
всласть водою обливайся.
Я сама парку подкину,
под полком в прохладе сяду».

Как придет пора пряденья,
для тканья наступит время,
не ищи ума в деревне,
рук искусных — за рекою,
мастерства — в соседнем доме,
бёрда — у других хозяев.

Напряди сама ты ниток,
насучи сама ты пряжи,
шерсть пряди не слишком круто,
нить льняную делай круче.

Намотай в клубок потуже,
накрути на мотови́ло[153],
с мотовила свей на вью́шку[154],
с вьюшки натяни на кро́сно[155]!
Бёрдышком стучи позвонче,
поднимай проворней ниты,
сшей суконные кафтаны,
сделай юбки шерстяные,
взяв шерстинки половинку,
взяв очес овечки зимней,
шерсточки овцы весенней,
первошерстка летней ярки.

Что поведаю, послушай,
повторю еще разочек!
Навари побольше пива,
солодового напитка,
взяв ячменную зернинку,
полполена дров потратив.

Солодить как жито станешь,
прорастать положишь зерна,
не мешай мутовкой солод,
не ворочай ворошилом —
перевертывай рукою,
поворачивай ладошкой,
забегай почаще в баню,
чтобы солод не закиснул,
на зерно не села кошка,
кот на солод не улегся.
Ты волков не опасайся,
не страшись лесного зверя,
как спешить ты будешь к бане
в середине темной ночи!

Если гость придет в жилище,

на него не злись напрасно!
Ведь всегда в хорошем доме
про гостей запасы держат,
мяса лишние кусочки,
порумянее лепешки.

Усади на лавку гостя,
с ласковой начни беседы,
угощай его словами,
прежде чем обед поспеет.

Уходить как соберется,
как уже начнет прощаться,
не ходи с ним до порога,
не веди его за двери —
милый может рассердиться,
муж любимый — прогневиться.

Коль сама ты пожелаешь
побывать в гостях в деревне,
отпросясь, иди к соседям,
с разрешения — в деревню.
У чужих в гостях бывая,
речи там веди умело,
не хули родного дома,
не ругай своей свекрови!

Если спросят молодухи,
жены прочие пристанут,
маслица свекровь дает ли,
как родная мать давала,
никогда не признавайся:
не дает свекровь мне масла.
Отвечай им, если спросят:
«Поварешкою приносит!»
Пусть лишь раз дает за лето

залежавшегося масла!

Вот еще о чем послушай,
вот еще про что добавлю:
как уйдешь теперь из дому,
как придешь в избу чужую,
не забудь про мать родную,
не печаль свою старушку!
Помни — мать тебя взрастила,
грудью собственной вскормила,
всем своим чудесным телом,
всем своим прекрасным станом,
не спала ночей с тобою,
оставалась без обеда —
все тебя качала в зыбке,
все заботилась о дочке.

Кто родную мать забудет,
опечалит дорогую,
в Маналу пусть не приходит,
в Туонелу благочестивых.
В Манале за все отплатят,
в Туони отомстят жестоко
тем, кто мать свою забудет,
кто родную опечалит,
выругают дочки Туони,
выбранят девицы Маны:
«Как ты мать свою забыла,
опечалила родную?
Мать помаялась немало,
вынесла большие муки,
на полке когда лежала,
на соломе в теплой бане,
в час, когда тебя рожала,
выводила в мир малютку».

На полу сидела бабка,

побирушка под накидкой,
что пороги обивает,
ходит по миру с сумою.
Вот как старая сказала,
как она проговорила:
«Петушок пропел подружке,
курий сын — своей красотке,
ворон спел порой весенней,
в пору летнюю прокаркал!
Это мне запеть бы надо,
птицам этим помолчать бы.
Ведь у них любимый рядом,
дорогой супруг под боком —
я ж бездомна, бесприютна,
бесприютна, одинока.
Выслушай меня, сестрица!
Как придешь в жилище мужа,
угождай не всем желаньям,
как я мужу угождала,
сладостным внимала трелям,
всем капризам потакала.

Дома я росла цветочком,
веткой вереска красивой,
стебелечком возносилась,
поднималась вверх росточком,
куманикой называлась,
золотцем именовалась,
на дворе отца — утенком,
в доме матери — гусенком,
водной птицею — у брата,
пташкой малой — у сестрицы.
Во дворе была цветочком,
в поле — ягодкой-малинкой,
возле берега резвилась,
прыгала в лугах цветущих,

песенки в долинах пела,
куковала на пригорках,
в рощах весело играла,
развлекалась на полянах.

Нюх ведет лису в ловушку,
в западню хорька заводит.
К жениху девицу тянет,
в дом чужой ведет обычай.
Так и создана девица,
убаюкана красотка —
стать невесткой в доме мужа,
быть служанкой для свекрови.
Вот я в край чужой попала,
ягодка — в чужие земли,
там меня за все бранили,
ели поедом, брусничку.
Каждый кустик там кусался,
каждая ольха стегала,
каждая береза била,
каждая осина грызла.
Я за мужа выходила —
за свекровушку попала.
Сватали — так обещали,
увозили — так сулили
целых шесть домов еловых,
разных комнат — вдвое больше,
вдоль полей, мол, — все амбары,
вдоль дорог — луга с цветами,
нивы ячменя — вдоль речек,
вдоль боров — овсы густые,
закрома зерном набиты,
обмолота ждут овины.
Сотня денег, мол, добыта,
добывается — вторая.

Я, дуреха, согласилась,
соблазнилась, молодая:
дом был на шести подпорках,
на семи колах — избенка,
ненавистью полны нивы,
неприязнью полны рощи,
полон двор моих несчастий,
лес моих печалей полон,
злоба ссыпана в сусеки,
в скирды сметано коварство,
сотня сказана ругательств,
наготове — и вторая.

Я не очень обижалась,
быть хорошею пыталась,
чтоб добиться уваженья,
чтоб найти любовь и ласку.
Я дрова носила в избу,
я нагар с лучин снимала —
лоб в дверях лишь разбивала,
голову лишь расшибала:
взгляд встречал меня недобрый,
взор сердитый — у порога,
глаз косой — среди жилища,
око злобное — у окон.
С гневных уст летело пламя,
с языка срывались угли,
с гневных уст дурного свекра,
с языка его дрянного.

Я не очень обижалась,
уживаться все пыталась,
быть покорною хотела,
быть послушною желала.
Словно заяц, я носилась,
как хорек, вертелась в доме,

очень поздно спать ложилась,
очень рано поднималась —
уваженья не добилась,
не нашла любви и ласки,
хоть сворачивала б горы,
хоть раскалывала б скалы.

В ступе зря толкла я зерна,
сеяла крупу напрасно —
все свекровка пожирала,
огнегорлая глотала,
за столом широким сидя,
за тарелкой золоченой.
Я же, бедная, питалась
с жерновов мучною пылью.
Был шесток столом невестки,
поварешка — вместо ложки.

Очень часто я, бедняжка,
жалкая невестка в доме,
приносила мох с болота,
хлеб со мхом себе месила,
черпала в колодце воду,
лишь водою пробавлялась.
Лишь тогда я ела рыбу,
ела корюшку, бедняжка, —
в дни, когда тянула невод,
выбирала сети в лодку.
Тут свекровь давала рыбу,
не дала такой ни разу,
чтоб еды хватило на день,
чтоб хоть раз поесть досыта.

Лето корм скоту носила,
зиму всю навоз метала,
как батрачка нанятая,

как несчастная рабыня.
В доме у моей свекрови
мне всегда совали в руки:
в риге — цеп потяжелее,
льнотрепало покрупнее,
на мостках — валек побольше,
в хлеве — подлиннее вилы.
Думали — не утомится,
не умается — считали,
хоть мужчины уставали,
утомлялись даже кони.

Так я, бедная служанка,
днями целыми старалась,
из силенок выбивалась.
Вот пришло иное время:
присудили — прямо в пекло,
предали огню на милость.

Ни за что меня бранили,
понапрасну осуждали,
хаяли мои привычки,
имя доброе чернили.
На меня хула валилась,
сыпались слова проклятий,
словно огненные искры,
словно с неба град железный.

Я и тут не обижалась,
оставалась бы и дольше
в услуженье у свекрови,
у жестокой бабы в доме.
Уж совсем мне тошно стало,
стало мне невыносимо —
стал жених мой волком лютым,
стал медведем мой красавец:
спал ко мне всегда спиною,

ел, работал — отвернувшись.

Оттого лила я слезы,
плакала, таясь в амбаре.
Вспоминала дни былые,
прежнее свое приволье
на дворах отца просторных,
в доме матери сердечной.

Тут уж я заговорила,
тут уж я запричитала:
«Мать меня родить сумела,
деву-яблочко взрастила,
подняла побег прекрасный,
не туда лишь посадила,
сунула росточек стройный
в почву жалкую, худую,
на поганую поляну,
меж тугих корней березы,
вечно плакать, горе мыкать,
сетовать до самой смерти.

Я рассчитывать могла бы
на места получше этих,
на подворья и пошире,
на покои попросторней,
на супруга и получше,
на героя и покраше.
Мне же увалень достался,
навязался недотепа:
статью ворону подобен,
длинным носом схож с вороной,
ртом своим похож на волка,
на медведя — всем обличьем.

Я могла б найти такого,

на любой взойдя пригорок,
взяв смолевый пень с дороги,
в роще — ствол гнилой ольховый,
лик слепила бы из дерна,
из лишайника — бородку,
рот — из камня, лоб — из глины,
из углей горящих — очи,
уши сделала б из капа,
ноги — из развилка ивы».

Так, несчастная, я пела,
так вздыхала, горемыка.
Мой красавец все услышал,
за стеною оказавшись.
Как он кинулся оттуда,
подбежал к дверям амбара —
по шагам его узнала,
догадалась по ухватке:
волосы торчком стояли,
чуб без ветра развевался.
Пасть от ярости оскалил,
выпучил глаза от злости,
дрын рябиновый — в ручище,
палка гнутая — под мышкой,
бил меня своей дубиной,
колотил кривою палкой.

Вечером — того похуже!
Как собрался спать ложиться,
положил под руку розги,
кнут с гвоздя схватил ременный,
чтоб меня терзать, беднягу, —
не кого-нибудь другого.

Вот пришла домой под вечер,
собралась в постель ложиться,

улеглась под боком мужа:
лечь-то он позволил рядом,
только стал толкать локтями,
злобно тыкать кулаками,
розгами хлестать нещадно,
бить моржовым кнутовищем.

Встала с ложа ледяного,
поднялась с постели стылой.
Следом муженек поднялся,
гнать меня из дому начал,
прядь мою схватил рукою,
злобно в волосы вцепился,
разметал по ветру кудри,
расшвырял по суховею.

Где же мне искать совета,
у кого найти защиту?
Сделала стальные кенги,
медные свила шнурочки,
у стены стояла долго,
слушала в конце прогона,
успокоится ли, злобный,
усмирится ли, жестокий.
Гневный муж не унимался,
лютый зверь не усмирялся!

Наконец я вся озябла,
бедная, закоченела,
у стены амбара стоя,
за дверями замерзая.
Думала я, размышляла:
больше я терпеть не в силах
этой ненависти вечной,
бесконечного презренья
в бесовском вертепе Лемпо,

в этом чертовом гнездовье.

Бросила я дом свой милый,
теплое свое жилище,
в путь отправилась, бедняжка,
по болотам, по суглинкам,
по чужим холодным водам.
Прикатила к нивам брата,
там скрипел засохший ельник,
пел сосняк пышновершинный,
каркали кругом вороны,
стрекотали там сороки:
«Дома твоего здесь нету,
нет родимого гнездовья!»

Не поверила сорокам,
побежала к дому брата.
Мне калитки проскрипели,
мне пожаловались нивы:
«Ты зачем домой явилась?
Что узнать здесь пожелала?
Твой отец давно скончался,
опочила мать родная,
стал тебе чужим твой братец,
страшной злыднею — невестка!

Не поверила калиткам,
в избу к брату поспешила,
подала я ручке руку —
ручка обожгла морозом.
Вот вошла сама в жилище,
у дверей остановилась.
Гордою была хозяйка —
не пришла обнять золовку,
мне руки не протянула.
Гордою была и гостья —

не пошла обнять невестку,
ей руки не протянула.
Протянула руку к печке —
холодны бока у печки.
Сунулась в очаг рукою —
в очаге остыли угли.

На скамейке брат разлегся,
развалился на лежанке,
сажи на плечах на сажень,
копоти с вершок — на теле,
с локоть — слой золы на космах,
с четверть — самой черной грязи.

Тут спросил у гостьи братец,
обратился так к вошедшей:
«Из каких краев заморских?»
Я на это отвечала:
«Что ж не узнаешь сестрицу,
матери своей дочурку?
Мы одной пестуньи дети,
птенчики одной пичуги,
мы одной семьи гусята,
одного гнезда цыплята».
Тут мой брат заплакал горько,
прослезился очень сильно.
Брат сказал своей супруге,
прошептал своей подруге:
«Накорми скорей сестрицу!»
Вероломная хозяйка
принесла мне щей из клети,
с них собака жир слизала,
их попробовала псина,
Мусти, черный пес, отведал.

Говорит мой брат супруге,
шепчет на ухо подруге:

«Принесла бы гостье пива!»
Вероломная хозяйка
принесла водицы гостье,
да и то совсем негодной:
той водою сестры мылись,
полоскались в ней золовки.

Я ушла тогда от брата,
дом покинула родимый.
По миру пошла, бедняжка,
словно жалкая бродяжка,
стала голью перекатной,
бедной женщиной безродной,
что стучит в чужие двери,
в незнакомые ворота.
Пущены по миру дети,
в люди посланы, сиротки.

Их, таких людей, немало,
много есть таких на свете,
кто меня корит нещадно,
кто меня бранит жестоко.
Мало лишь таких на свете,
кто сказал бы слово ласки,
молвил бы слова привета,
кто на печку пригласил бы,
как войду с дождя в жилище,
попаду в избу с мороза
в юбке с ледяным подолом,
в шубе, снегом заметенной.

Раньше, в годы молодые,
не смогла б вовек поверить,
хоть бы сто людей сказало,
хоть бы тыща подтвердила,
что такой пойду дорогой,

на стезю такую стану,
на какой я оказалась,
на какую я ступила».

Песнь двадцать четвертая

Жениха учат, как он должен обращаться с невестой, как должен с ней обходиться, стихи 1-264. — Нищий старик рассказывает, как ему удалось когда-то укротить свою жену, с. 265–296. — Со слезами на глазах сетует невеста, что теперь она должна навек покинуть свой родимый дом, и прощается со всеми, с. 297–462. — Илмаринен подхватывает невесту на руки, усаживает ее в сани и отправляется в путь. Вечером третьего дня они прибывают домой, с. 463–528.

Вот даны советы деве,
наставления — невесте.
Обращусь теперь я к братцу,
жениху подам советы:
«Женишок, любезный братец,
ты родного мне милее,
сына матери дороже,
сына батюшки приятней!
Ты послушай, мой любезный,
что поведаю, что молвлю
о невесте светлокосой,

курочке, тобою взятой!

Похвали судьбу за счастье,
за чудесную добычу!
Похвали сильней,
коль хвалишь!
Славная тебе досталась,
славную послал Создатель,
подарил тебе Всевышний.
Похвали отца родного,
похвали и мать побольше,
что девицу воспитала,
что взлелеяла невесту.
До чего чиста невеста,
до чего светла девица
под опекою твоею,
под защитою надежной.
Славная — с тобою рядом,
краснощекая — под боком,
цепкая, цепом молотит,
крепкая, косою косит,
бойкая, белье полощет,
полотно искусно белит,
ловко нить прядет льняную,
сноровисто ткет холстину.
Так звенит у девы бёрдо,
словно на холме кукушка,
так снует челнок в основе,
словно хорь среди поленьев,
так вращается катушка,
словно шишка в лапках белки.
По ночам не спит деревня,
все селенье — на пригорке
от постукиванья бёрда,
от жужжания катушки.
Ты, дружок мой, женишок мой,

мужа славного начало!
Выкуй косу поострее,
насади на косовище,
выстругай косьё[156] в воротах,
на пеньке отстукай жало!
Засияет утром солнце —
отведи на луг девицу,
посмотри, как дева косит,
как траву косою сносит,
как осоку подсекает,
луговой щавель сметает,
кочки заодно срезает,
начисто сечет побеги.

Подойдет пора иная —
дай челнок девице ткацкий,
крепкие найди набйлки[157],
выстругай навой хороший,
сделай ладные подножки[158],
собери снаряд ткачихи!
Посади к станку девицу,
дай девице бёрдо в руки,
зазвенит внезапно бёрдо,
застучат подножки стана,
донесется стук в деревню,
бёрда звон помчится дальше.
Будут спрашивать хозяйки,
бабы сельские — дивиться:
«Это кто же ткет полотна?»
Так ты должен им ответить:
«Это ткет моя родная,
золотиночка грохочет».
«Есть ли в полотне огрехи,
рвет ли бёрдо нить основы?»
«Нету в полотне огрехов,
бёрдо нить не обрывает.

Соткано, как девой Лунной,
спряжено, как девой Солнца
по узору Семизвездья,
по совету Звездной девы».
Ты, дружок мой, женишок мой,
мужа славного начало!
Как поедешь ты отсюда,
как отправишься в дорогу
вместе с юною девицей,
с курочкой своей красивой,
не вези свою голубку,
пташечку с косой льняною,
по ухабинам дороги,
по углам чужих заборов,
по пенечкам вдоль дороги,
по камням, по бугорочкам.
Ранее в избе отцовской,
прежде в доме материнском
по ухабам не возили,
на забор не наезжали,
за пенечки не цеплялись,
по каменьям не скакали.

Ты, дружок мой, женишок мой,
мужа славного начало!
Не вези свою девицу,
не веди свою подругу:
по углам в избе копаться,
по закуткам — ковыряться.
Ранее в избе отцовской,
прежде в доме материнском
по углам не копошилась,
по закуткам не возилась,
все сидела у окошка,
посреди избы кружилась
вечером — отцу отрадой,

утром — матери усладой.

Не вези, жених несчастный,
не веди голубку эту
разминать пестом бобóвник[159],
в ступе луб толочь сушеный,
хлебы печь с соломой тертой,
с горькою корой сосновой.
Ранее в избе отцовской,
прежде в доме материнском
не толкли пестом бобóвник,
в ступе луб не разминали,
хлебы не пекли с соломой,
с горькою корой сосновой.

Отвези ты нашу птичку,
отведи к обильным нивам
выгребать сусеки с рожью,
закрома с зерном ячменным,
испекать большие хлебы,
пиво доброе готовить,
хлеб замешивать пшеничный,
тесто ситное готовить.

Женишок, любезный братец!
Нашей курочке прекрасной,
драгоценному гусенку,
не давай грустить в разлуке!
Если час такой настанет,
если дева затоскует,
заведи коня в оглобли,
запряги гнедого в сани,
деву в дом свези отцовский,
в материнское жилище.

Нашу курочку родную,

коноплянку дорогую
не держи своей рабыней,
не считай своей прислугой,
позволяй ходить ей в погреб,
разрешай бывать в амбаре.
Ранее в избе отцовской,
прежде в доме материнском
не держали за рабыню,
не считали за прислугу,
в погреб заходить давали,
разрешали быть в амбаре.
Там ломоть отрежет ситный,
здесь яйцо крупней присмотрит,
молочка возьмет в кадушке,
постоит у бочки с пивом,
отопрет амбары утром,
вечерком запрет кладовки.
Ты, дружок мой, женишок мой,
мужа славного начало!
Если будешь добрым к деве,
прослывешь хорошим зятем:
как приедешь в гости к тестю,
как придешь в жилище к теще,
угостят тебя там славно,
напоят, накормят сытно,
выпрягут коня из санок,
отведут его в конюшню,
напоят коня, накормят,
поднесут овса лукошко.

Не считай, что наша дева,
наша птичка-коноплянка,
из безродного семейства,
из неведомого дома.
Дом у нашей девы знатный,
род великий, род обширный:

коль бобов посеять меру —
боб на каждого придется,
долгунца посеять меру —
волоконце лишь придется.

Никогда, жених любезный,
не наказывай девицу,
не учи батрацкой плетью,
не секи кнутом ременным,
розгами в пять виц не потчуй,
на крыльце жену не шлепай.
Ранее в избе отцовской,
прежде в доме материнском
не учили рабской плетью,
не секли кнутом ременным,
розгами в пять виц не драли,
на крылечке не хлестали.

За нее ты стой стеною,
будь надежною опорой,
не давай свекрови трогать,
не давай ругать и свекру,
обижать жену чужому,
возводить хулу — соседу.
Постегать семья прикажет,
наказать попросят люди,
пожалей ее, бедняжку,
пощади свою подружку,
ту, кого три года сватал,
ту, к кому всю жизнь стремился.
Ты учи свою супругу,
яблочко свое родное,
наставляй жену в постели,
за прикрытыми дверями.
Так учи ее два года:
первый год учи лишь словом,

год второй учи лишь взглядом,
в третий год ногою топни.

Коли тут не осознает,
не послушается дева,
в камыше сорви тростинку,
в верещатнике — хвощинку,
ею поучи девицу,
целый год еще советуй,
мягкой постегай хвощинкой,
стебельком сухой осоки,
не хлещи покуда плеткой,
не секи лозой девицу!

Коли тут не осознает,
не послушается дева,
вицу принеси из лесу,
ветвь березы — из лощины,
спрятав под полою шубы,
чтоб соседи не узнали.
Покажи тихонько деве,
замахнись, не ударяя.

Коль и тут не осознает,
не послушается дева,
вицей поучи девицу,
веткою наставь березы
в доме с четырьмя углами,
между стен, набитых мохом.
Не наказывай на поле,
на меже не бей девицу —
шум в деревне будет слышен,
ссора — на чужом подворье,
вопль жены — в соседском доме,
гвалт большой — в лесу далеком.

Постегай лишь плечи деве,

мягкие попарь местечки.
Никогда не бей по глазу,
никогда не бей по уху —
вздуется над бровью шишка,
затечет синяк под глазом.
Деверь сразу же спросил бы,
свекор так предположил бы,
пахари сказали б в поле,
посмеялись бы соседки:
«Может, на войну ходила,
может, в битве побывала,
или волк терзал бедняжку,
мял медведь, хозяин леса?
Не жених ли был тем волком,
не супруг ли — тем медведем?»

На печи там старец грелся,
на камнях печных, бродяжка.
Так промолвил с печки старец,
так проговорил бродяжка:
«Никогда, жених любезный,
женской блажи не потворствуй,
жаворонка нежным трелям,
как потворствовал я, бедный.
Покупал ей хлеб и мясо,
нес ей масло, нес ей пиво,
рыбу покупал любую,
доставлял все разносолья,
пиво — из своих селений,
из чужих краев — пшеницу.

Ничего я не добился,
не достиг расположенья.
Женушка в избу врывалась,
чуть не в волосы вцеплялась,
искривив лицо от злости,

выпучив глаза от гнева,
рявкала в остервененье,
в озлоблении орала,
обзывала толстозадым,
колуном тупым честила.

Вспомнил я другое средство,
способ отыскал получше:
ошкурил пруток березы —
сразу птичкою назвала,
можжевела ветвь очистил —
золотинке поклонилась,
похлестал маленько розгой —
обняла меня за шею».

Тут невеста завздыхала,
завздыхала, затужила,
принялась тихонько плакать.
Молвила слова такие:
«Тяжела людей разлука,
нелегко других прощанье —
тяжелей своя разлука,
ближе мне свое прощанье.
Ухожу я с горьким чувством,
расстаюсь — с тяжелым сердцем
с этой знатною деревней,
с домом этим знаменитым,
где росла я так чудесно,
так свободно вырастала
в годы юности девичьей,
в золотую пору детства.

Раньше я совсем не знала,
не догадывалась прежде,
что придется мне покинуть,
что оставить доведется

склоны этих гор прекрасных,
дорогих холмов вершины.
Знаю я: отъезд мой близок,
близок скорый час прощанья —
выпита разлуки чаша,
пиво горькое прощанья,
скоро санки развернутся
задом — к дому дорогому,
боком — к батюшкиной клети,
к хлеву — наискось немного.
Чем же оплатить сумею,
расставаясь, разлучаясь,
молоко своей родимой,
ласку батюшки родного,
дружбу братца дорогого,
нежность ласковой сестрицы?

Батюшка, тебе спасибо
за мое житье былое,
за былое угощенье,
за хорошие кусочки.
Матушка, тебе спасибо,
что меня качала в зыбке,
на руках меня носила,
юною кормила грудью.
Братцу говорю спасибо,
братцу и моей сестрице,
всей семье моей спасибо,
всем ровесницам-подружкам,
с кем я детство проводила,
с кем я вместе подрастала.
Батюшка ты мой родимый,
матушка моя родная,
весь мой род, великий, славный,
все мое родное племя,
не тоскуйте, не тужите,

не впадайте в грусть большую
оттого, что уезжаю,
отправляюсь в край безвестный!
Ведь и там есть божье солнце,
ведь и там сверкает месяц,
звездочки сияют в небе,
простирает ручку Ковшик
даже в самых дальних землях,
даже в тех краях далеких,
не единственно — над нами,
над отцовскими дворами.

Суждено мне распроститься
с золотым отцовским домом,
с этой горенкой родимой,
с материнским хлебосольством,
с берегом родным, с болотом,
со двором, с травой зеленой,
со своей водою светлой,
с золотым песком озерным —
пусть купаются здесь жены,
пастушки в воде резвятся.

Шалунам оставлю топи,
лежебокам — луговины,
отдыхающим — ольховник,
странствующим — верещатник,
мимо проходящим — прясла,
вдаль шагающим — прогоны,
пробегающим — подворье,
прислонившимся — простенки,
поломойкам — половицы,
подметальщикам — настилы,
поле — скачущим оленям,
чащи — прыгающим рысям,
луг отдам гусиной стае,

рощи — птицам перелетным.

Уезжаю безвозвратно,
ухожу вдвоем отсюда
в темноту осенней ночи,
на весенний лед непрочный,
где следов не остается,
никаких на льду отметин,
никаких в снегу узоров
от касания подолов.
Как сюда приеду снова,
навещу свой дом родимый,
не услышит мать рыданий,
слез отец мой не увидит,
как начну над ними плакать,
причитать у изголовья,
где трава уж зеленеет,
где поднялся можжевельник
над челом меня вскормившей,
надо лбом меня родившей.
Как сюда прибуду снова,
на дворы вернусь большие, —
здесь никто меня не вспомнит,
кроме двух былых знакомцев:
в изгороди нижней связки,
дальнего кола в ограде,
что поставила я в детстве,
что в девичестве вплетала.
Матушки родной корова,
мной вспоённая когда-то,
выкормленная девицей,
замычит в загоне глухо
на неприбранном подворье,
среди зимней непогоды, —
только та еще признает,
дочкою почтет хозяйской.

Вековечный конь отцовский,
мною вскормленный когда-то,
выхоженный юной девой,
во дворе заржет тихонько,
на неприбранном подворье,
среди зимней непогоды —
он меня еще признает,
дочкою почтет хозяйской.
Брата старая собака,
мною вскормленная в детстве,
выученная девицей,
в конуре залает тихо
на неприбранном подворье,
среди зимней непогоды —
та меня лишь и признает,
дочкою почтет хозяйской.
И никто меня не вспомнит,
как вернусь я в дом родимый,
хоть и гавани здесь те же,
те же все места родные,
те ж сиговые проливы,
тони рыбные — все те же.

Ты прощай, изба родная,
дом под крышею тесовой!
Хорошо опять вернуться,
побывать в родимом доме.

Ты прощай, мое крылечко,
сени с полом деревянным!
Хорошо бы возвращаться,
прибегать в родные сени!

Ты прощай, мое подворье,
двор с рябинами родными!
Хорошо бы возвращаться,

прибегать во двор любимый.
Ты прощай, мой край родимый:
ягодные боровины,
тропки средь лугов цветущих,
вересковые опушки,
сотни островов озерных,
омуты озер сиговых,
ельники холмов знакомых,
березняк далекой корбы».

Тут кователь Илмаринен
в сани подхватил девицу,
резвого кнутом ударил,
так сказал он, так промолвил:
«Берега озер, прощайте,
берега, опушки леса,
сосны на вершинах сопок,
стройные в бору деревья,
за избой — кусты черемух,
можжевельник — у колодца,
стебли ягод — на полянах,
стебли ягод, стебли злаков,
ветки ивы, корни ели,
ольх листва, кора березы».

Тут кователь Илмаринен
со двора поехал Похьи.
Дети Похьи петь остались,
дети пели, распевали:
«Черная примчалась птица,
из-за леса прилетела,
нашу уточку сманила,
соблазнила земляничку,
яблочко у нас украла,
нашу рыбку умыкнула,
мелкой денежкой сманила,

серебром уговорила.
Кто теперь сведет на берег,
кто тропу укажет к речке?
Без воды ушаты будут,
коромысла — без ведерок,
будет пол в избе немытым,
неподметенным — в покоях,
грязными — края у рюмок,
ручки черными — у чашек».

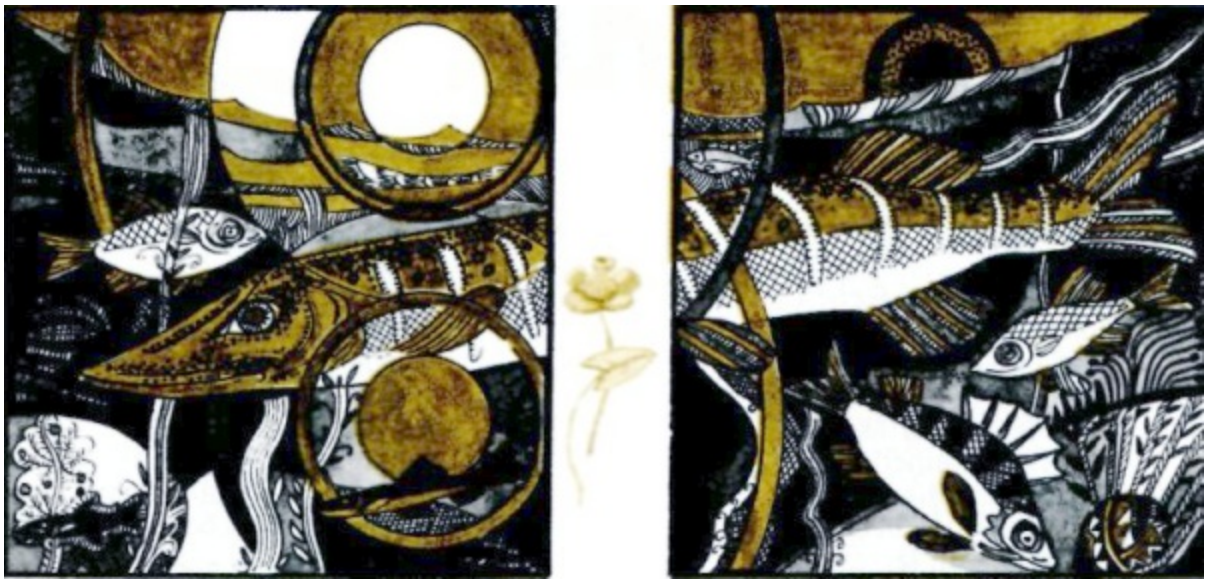
Там кователь Илмаринен
вместе с юною девицей
в легких саночках катился,
берегами Похьи мчался
вдоль медового пролива,
по хребту гряды песчаной.
Пел песок, звенела галька,
путь бежал, кошевка мчалась,
гулко гуж гудел железный,
стукал полоз деревянный,
тарахтел копыл крушинный,
крепкая дуга дрожала,
вицы заверток визжали,
кольца медные бренчали —
резвый конь так быстро мчался,
торопился белолобый,

ехал день, второй катился,
третий день вперед стремился,
он держал рукою вожжи,
деву прижимал другою,
ногу вытянул вдоль санок,
сунул под кошму другую.

Конь бежал, кошевка мчалась,
день катился, убавлялся.

Вот на третий день под вечер,
в час перед заходом солнца
завиднелся дом родимый,
показались избы Илмы[160].
Дым веревкой вился в небо,
густо сажа поднималась,
из дверей клубы валили,
устремлялись прямо к тучам.

Песнь двадцать пятая



Жениха, невесту и поезжан встречают в доме Илмаринена, стихи 1-382. — Всех угощают и поят пивом. Вяйнямёйнен поет и расхваливает хозяина, хозяйку, старшего дружку жениха, подружку невесты и всех гостей, с. 383–672. — На пути домой со свадьбы у Вяйнямёйнена ломаются сани, он исправляет их и продолжает путь, с. 673–738.

Дома долго ожидали,
все глядели, все глазели,
скоро ль будут поезжане
в доме Илмари с невестой.
У старух глаза слезились
от сидения у окон,
у молодок ноги гнулись
от томленья у калиток,
зябли ноги у детишек
от стоянья у простенков,
у людей истерлась обувь
от хождения на берег.

Вот однажды на рассвете,
как-то в день один прекрасный,
шум послышался из чащи,
скрип саней — из боровины.

Локка, славная хозяйка,
рода Калевы девица,
так промолвила, сказала:
«Это саночки сыночка!
Это он из Похьи едет,
с молодой женою катит!

Поверни домой, сыночек,
в сторону дворов родимых,
что твой батюшка поставил,
твой родитель обустроил!»

Вот кователь Илмаринен
вскоре ко двору подъехал,
к дому, что отец поставил,
что родитель обустроил.
Свищут рябчики красиво
на дуге из крепкой ивы,
радостно поют кукушки
в передке саней узорных,
белки весело резвятся
на оглобельках кленовых.
Локка, ладная хозяйка,
рода Калевы девица,
молвила слова такие,
так приветливо сказала:
«Ждали люди новолунья,
юные — восхода солнца,
дети — зрелой земляники,
волны — лодки просмоленной.

Не ждала я новолунья,
не ждала восхода солнца:
я ждала приезда сына,
сына милого с невестой.
Все ждала с утра до ночи,
запропал куда, гадала:
то ли ждет, как повзрослеет,
как девица раздобреет,
коли сразу не вернулся,
хоть и обещал приехать
по следам, еще приметным,
по следам, еще горячим.
По утрам в окно глядела,
напролет все дни смотрела —
что ж не едут санки сына,
не грохочут на ухабах,
к нашим маленьким подворьям,
к нашим узеньким прогонам.
Пусть хоть из соломы мерин,
пусть хоть в два копы́ла[161] сани,
все равно звала б кошевкой,
называла бы повозкой,
если б в ней катился братец,
вез красавицу сыночек.
Я весь век о том мечтала,
день-деньской в окно глядела:
голова склонилась набок,
в сторону сползла прическа,
начали глаза смежаться —
так ждала, чтоб сын приехал
к нашим маленьким подворьям,
к нашим узеньким прогонам.
Наконец сыночек едет,
напоследок прибывает.
С ним красавица девица,
краснощекая — под боком.

Женишок, любимый братец,
распряги коня гнедого,
отведи его на место
к давешней кормушке с сеном,
к прежнему с овсом корыту.
Пожелай нам всем здоровья,
поздоровайся с другими,
поклонись всему селенью!

Как положишь всем поклоны,
расскажи нам о поездке:
не встречался ли с хулою,
не болел ли ты в дороге
с дней, когда уехал к теще,
в дом к единственному тестю?
Девичью сломил ли волю,
взял ли крепости ворота,
сокрушил ли замок девы,
развалил ли стену дома,
вторгся ли в жилище тещи,
сел ли на скамейку тестя?
Вижу я и без расспросов,
без выведыванья знаю:
в здравии свой путь проехал,
в благоденствии — дорогу.
Взял голубку, с волей сладил,
крепости разбил ворота,
сокрушил из теса замок,
своротил из клена стену,
погостил в избе у тещи,
побывал в дому у тестя.
Уточка твоя — под боком,
курочка твоя — под мышкой,
дева чистая — под боком,
дева светлая — под мышкой.
Кто такую ложь придумал,

кто молву пустил дурную,
мол, жених впустую ездил,
мол, коня гонял напрасно?
Не пустым жених приехал,
не гонял коня напрасно:
было что везти гнедому,
было что тянуть каурке.
Добрый конь в поту примчался,
в мыле — резвый жеребенок
оттого, что вез цыпленка,
вез цветущую девицу.

Выдь, красавица, из санок,
божий дар, оставь сиденье!
Поднимайся без поддержки,
выбирайся без подмоги,
хоть и молод твой помощник,
хоть и вежлив твой попутчик.

Только встанешь из кошевки,
лишь поднимешься с сиденья,
по тропе ступай туманной,
по земле под цвет печенки,
что выравнивали свиньи,
что вытаптывали чушки,
утрамбовывали овцы,
кони гривой обметали.

Ты ступай шажком гусенка,
ножками утенка топай
по прогонам подметенным,
по утоптанным полянам,
по дворам, что свекор ставил,
обустроила свекровка!
Там, где брат строгает струги,
где сестра берет марену.
На ступеньки стань ногою,

по полу сеней прошествуй,
по сеням пройди медовым,
из сеней пожалуй в избу,
в дом под балку коренную,
под навес красивой кровли.
Ведь уже зимою прошлой,
ведь уже прошедшим летом
крякал пол из кости кряквы,
что тебе ходить по полу:
золотом звенела кровля,
что тебе стоять под кровлей;
ликовали окна в доме,
что тебе сидеть у окон.
Ведь уже зимою прошлой,
ведь уже прошедшим летом
ворковала ручка двери
о руке в красивых перстнях,
охали пороги дома
о твоих подолах тонких,
двери сами открывались —
открывальщицу впускали.

Ведь уже зимою прошлой
ведь уже прошедшим летом
повернулся дом навстречу
убиральщице избушки,
сени широко раскрылись
подметальщице навстречу,
голос подали ступеньки —
ждали с веником молодку.
Ведь уже зимою прошлой,
ведь уже прошедшим летом
двор тихонько повернулся
к той, кто щепочку поднимет;
все амбары приседали
перед той, кто дверь откроет,

гнулись грядки[162], гнулись полки,
под наряды прогибались.
Ведь уже зимою прошлой,
ведь уже прошедшим летом
все прогоны поджидали
ту, что здесь коров погонит;
хлев подвинулся поближе
к той, кто в хлеве приберется,
даже скотный двор раздался —
для тебя прибавил места.
Ведь уже и нынче утром,
ведь уже и днем вчерашним
все буренушка мычала
по тому, кто даст ей корма,
ржал тихонько жеребенок
по тому, кто кинет сена,
жалобно ягненок блеял
по тому, кто даст горбушку.

Ведь уже и нынче утром,
ведь уже и днем вчерашним
старики в окно глядели,
дети бегали на берег,
женщины у стен томились,
парни у дверей толпились
в ожидании молодки,
в ожидании невесты.

Здравствуй, двор со всем народом,
улица — с толпой героев,
с приглашенными — крылечко,
с прибежавшими — ступеньки,
с деревенским людом — сени,
здравствуй, кровля из бересты,
здравствуй, дом со всем народом,
с ребятишками — настилы!

Здравствуй, месяц — князь красивый,
поезжане от невесты!
Никогда здесь не бывало,
ни вчера, ни даже прежде,
столь торжественного люда,
столь красивого народа!
Женишок, мой славный братец!
Отведи платочек красный,
шелковое покрывало —
покажи свою куничку,
ту, что пять годочков сватал,
кем все восемь любовался.

Ту ли взял, за кем поехал?
Ты хотел голубку выбрать,
ту, что на земле всех краше,
что милее всех на море.
Вижу, вижу без расспросов,
без ответов понимаю:
ты привез домой голубку,
утку синюю доставил.
Самый нежный прутик вербы
взял ты в роще самой свежей,
ветвь черемухи душистой
взял в черемуховой чаще».

На полу сидел ребенок,
с полу речь повел такую:
«Что же ты привез, мой братец?
По обличью — пень смолевый,
по фигуре — бочка с дегтем,
чуть повыше мотовила.

Ой-ой-ой, жених несчастный!
О такой ли век свой думал?
Взять хотел ценою в сотню,

деву в тысячу — сосватать.
Вот и взял ценою в сотню,
взял уродливую — в тыщу!
Приволок ворону с топи,
с изгороди взял сороку,
пугало — с большого поля,
с пашни — черную грачиху.

Чем же век свой занималась,
что ты делала все лето?
Варежек не навязала,
не наделала чулочков.
В дом ни с чем пришла невеста,
без подарков — в избу свекра:
в сундуке шуршат лишь мыши,
лопоухие — в шкатулке!»

Локка, ладная хозяйка,
рода Калевы девица,
странные услышав речи,
молвила слова такие:
«Что ты мелешь, несмышленый,
что болтаешь ты, негодный?
Пусть других девиц поносят,
пусть иных срамят прилюдно,
только не девицу эту,
не гостей в жилище нашем.

Глупые слова промолвил,
повторил слова дурные —
с языка телка ночного,
изо рта щенка слепого!
Деву взял жених из лучших,
из красавиц самых славных,
взял как спелую брусничку,
как на горке земляничку,

взял как с дерева кукушку,
как пичужку снял с рябины,
красноперую — с березы,
с клена — птицу-белогрудку.

Не сыскал бы даже в Саксе,
не нашел бы даже в Виро
этой девушки прекрасней,
этой уточки милее,
этого лица красивей,
этой стати благородней,
этих чистых рук белее,
этой нежной шейки лучше.

Не пустой пришла девица:
шубы есть в ее приданом,
новых покрывал немало,
много есть суконных тканей.
Много у девицы этой
сделанного веретенцем,
самопрялкою красивой,
ловкими ее руками.
Есть тут белые полотна,
зимней выстираны вьюгой,
выбелены днем весенним,
высушены летним солнцем.
Тут и тонкие простынки,
тут и мягкие подушки,
тут и шелковые шали
и накидки шерстяные.

Молодуха, молодица,
краснощекая девица,
ты слыла прекрасной девой,
славной дочкою отцовской,
будь такой же молодухой,

будь невесткою такой же.

Не тужи ты, не печалься,
не отчаивайся, дева!
Привезли не на болото,
не на край канавы грязной —
привезли из мест богатых
на места еще богаче;
из избы, где пива много,
взяли в дом, где пива больше.

Молодуха, молодица!
Вот о чем спросить желаю:
ты видала ль, проезжая,
тучные стога на ниве,
скирды длинные на поле?
Это все — богатство дома,
это все жених поставил,
сам вспахал и сам посеял.
Ой девица-молодица!
Вот что я хочу добавить:
раз уж в дом войти сумела,
ты сумей ужиться в доме!
Хорошо здесь жить молодке,
здесь привольно быть невестке:
с простоквашей кадка рядом,
под рукой масленка с маслом.

Хорошо здесь жить девице,
курочке расти привольно —
здесь полки просторны в бане,
широки в жилище лавки.
Как отец — хозяин в доме,
словно мать — в избе хозяйка,
молодцы — родные братья,
девушки — родные сестры!

Коль придет тебе охота,
коль появится желанье
рыбки съесть, отцом добытой,
дичи, выловленной братом,
не проси, чтоб деверь подал,
чтоб тебе принес твой свекор,
обратись ты прямо к мужу,
попроси о том супруга!
Нет в лесу такого зверя,
нет таких четвероногих,
нет подобных птиц небесных,
нет летающих на крыльях,
нет и под водою даже
рыбьей стаи самой лучшей,
чтоб не добыл твой добытчик,
твой добытчик, твой кормилец.

Хорошо здесь жить девице,
курочке расти приятно —
к жерновам спешить не надо,
к ступе тяжкой торопиться.
Водопад здесь жито мелет,
здесь поток мельчит пшеницу,
волны здесь посуду моют,
пена моря полоскает.
Что за славная деревня!
В мире лучшее местечко!
Там — луга, повыше — нивы,
посреди — деревня наша,
чуть пониже — милый берег,
возле берега водица:
там привольно плавать утке,
колыхаться — водной птице».

Всех гостей тут напоили,
напоили, накормили,

накормили вволю мясом,
превосходными блинами,
хлебным пивом угостили,
сладким суслом из пшеницы.
Было что отведать гостю,
было что поесть, что выпить
в красных чашах деревянных,
в дорогих красивых мисках,
тут пирог — бери ломтями,
масло — отрезай пластами,
сиг — разваливай руками,
лосось — нарезай кусками
резаком посеребренным,
золотым ножом красивым.

Пиво здесь не покупали,
бражку не за марки брали —
пиво с матицы струилось,
из колков сочилась брага,
чтоб не засыхали глотки,
чтобы люди веселились.
Кто же стал певцом законным,
куковальщиком искусным?
Старый вещий Вяйнямёйнен,
песнопевец вековечный,
сам завел на свадьбе песни,
заклинанья петь принялся.
Вымолвил слова такие,
произнес такие речи:
«Ой вы, братцы золотые,
высказанные реченья,
вы, друзья мои, словечки,
слушайте, что я промолвлю!
Редко гуси — клювом к клюву,
редко сестры — с глазу на глаз,
редко братовья — бок о бок,

матери одной питомцы,
сходятся на этих землях,
в крае Похьелы убогой.

Так не взяться ли за пенье,
не приняться ль за сказанье?
Пенье — труд для песнопевца,
кукованье — для кукушки,
крашенье — для Девы красок,
ткачество — для Девы ткани.
Ведь поют же дети Лаппи,
в травяных лаптях герои,
изредка поев лосины,
бока тощего оленя.
Отчего ж не спеть мне песню,
что ж не петь и нашим людям,
на ржаных харчах добротных,
на припасах превосходных.
Ведь поют же дети Лаппи,
в травяных лаптях герои,
пригубив воды из чашки,
закусив корой сосновой,
отчего ж не спеть мне песню,
что ж не петь и нашим людям,
пива хлебного отведав,
пригубив ячменной браги.
Ведь поют же дети Лаппи,
в травяных лаптях герои,
у кострищ своих коптящих,
у дымящих головешек,
отчего ж не спеть мне песню,
что ж не петь и нашим людям
в этом доме знаменитом,
под чудесной этой крышей.

Славно здесь мужам живется,

хорошо живется женам
рядом с полубочкой пива,
у кадушки с медом сладким,
есть сиги в проливах близких,
лососи на ближних тóнях[163] —
пищи всей не съесть вовеки,
не испить хмельных напитков.

Славно здесь мужам живется,
хорошо живется женам,
тут за трапезой не тужат,
за едой не унывают,
здесь пируют беззаботно,
проживают здесь беспечно,
до поры, покуда живы
сам хозяин и хозяйка.

Так хозяина ли славить
иль хозяюшку вначале?
Древние мужи вначале
славили главу семейства,
кто принес избу с болота,
кто доставил дом из корбы,
с комлем — мя́ндовые[164] бревна,
сосны мощные — с вершиной,
уложил на лучшем месте,
на поляне подходящей
для жилища родового,
для красивого подворья.
Дом срубил из бревен бора,
из деревьев с гор громадных.
На утесах взял стропила,
слеги — в ягодных чащобах,
на холмах надрал бересты,
мха набрал с болотин талых.
Ладно срублено жилище,

аккуратно дом поставлен.
Сто мужей на срубе было,
тысяча была на крыше,
как рубили эти стены,
половицы настилали.

В дни, когда хозяин строил
эти дивные хоромы,
вихрь не раз лохматил кудри,
непогода чуб трепала,
оставлял не раз хозяин
рукавицы на каменьях,
шапку — на суку еловом,
с ног чулки — в болоте вязком.

Не единожды хозяин
спозаранок на рассвете,
до того, как люди встанут,
до того, как все проснутся,
просыпался у кострища,
в шалаше из хвойных веток.
Волосы чесал хвоею,
обмывал лицо росою.

Оттого любим хозяин,
оттого здесь гости в доме,
все поют в избе на лавках,
веселятся у окошек,
посередке распевают,
по закуткам заклинают,
топчутся у всех простенков,
ходят около заборов,
по всему двору гуляют,
бегают по всем полянам.

Вот уже воспет хозяин,

восхвалю теперь хозяйку
за еду, за угощенье,
за богатый стол просторный.

Напекла хозяйка хлебов,
толокна намяла много
расторопными руками,
всем десятком пальцев гибких.
Подала с почетом хлебы,
всех отменно накормила,
вдоволь было всем свинины,
вволю пышных колобочков.
Лезвия ножей тупились,
заворачивались жала,
лбы лососьи рассекая,
щучьи головы срезая.
Щедрая хозяйка дома,
эта славная большу́ха[165],
раньше петухов вставала,
прежде сыновей куриных,
эту свадьбу собирая,
пироги приготовляя,
делая питье хмельное,
ставя пиво молодое.

Щедрая хозяйка дома,
эта славная большуха,
пиво доброе сварила,
сделала напиток сладкий
из пророщенного жита,
хлебных зерен соложенных.
И не палкою мешала,
не корявым коромыслом —
все руками ворошила,
все ладошкой разгребала
в свежевыветренной баньке,

на полке отменно чистом.
Щедрая хозяйка дома,
эта славная большуха,
не дала росткам закиснуть,
солоду землей пропахнуть —
часто в баню забегала,
заходила даже в полночь,
не боясь волков свирепых,
злых зверей не опасаясь.

Вот воспета и хозяйка.
Дай теперь восславлю свата.
Кто был пáтьвашкой[166] назначен,
выбран тысяцким[167] на свадьбу?
Патьвашкой стал муж из лучших,
радость всей деревни — сватом
Как у патьвашки, у свата,
свитка тонкого суконца,
в самый раз она в подмышках,
по фигуре — в пояснице.
Как у патьвашки, у свата,
ладно сшит кафтан суконный:
по полу влачатся полы,
по земле — края подола.

Чуть виднеется рубашка,
лишь проглядывает малость,
словно соткана Луною,
девою с красивой брошкой.
Как у патьвашки, у свата
поясочек из тумана,
дочкой Солнца разукрашен,
девой с яркими ногтями —
в дни, когда огня не знали,
не было его в помине.

Как у патьвашки, у свата,
на ногах чулки из шелка,
на чулках из шелка ленты,
тонкотканые подвязки
чистым золотом расшиты,
чистым серебром повиты.

Как у патьвашки, у свата,
кенги добрые из Саксы,
словно лебеди на речке,
как свиязи на песочке,
словно гуси в перелеске,
словно птицы в буреломе.

Как у патьвашки, у свата,
в золотых колечках кудри,
в нитях золотых — бородка,
шлем на нем с высоким верхом, —
облака пронзает в небе,
сквозь лесные чащи светит —
не купить такой за сотню,
даже и за тыщу марок.

Вот и патьвашка прославлен.
Дай теперь восславлю сваху.
Где ж мы сваху[168] отыскали,
где удачливую взяли?

Там ее мы отыскали,
там удачливую взяли,
там за Таникою[169]-градом,
там за новым городищем.
Нет, не в тех местах неблизких,
нет, не в тех краях далеких.
Там ее мы отыскали,
там удачливую взяли —

на далеком Беломорье,
на просторе вод широких.
Нет, еще не там сыскали,
нет, не в той далекой дали!
На бору росла брусничка,
на лужайке — земляничка,
сочная трава — на поле,
золотой цветок — на ниве,
там мы сваху отыскали,
там удачливую взяли.

Рот ее красив, как будто
ткацкий челночок из Суоми,
у нее глаза прекрасны,
как на ясном небе звезды,
брови выгнуты у свахи,
словно лунный серп над морем.
Как у нашей свахи славной
в золотых кружочках шея,
в золотых тесемках кудри,
в золотых браслетах руки,
в золотых колечках пальцы,
в золотых сережках уши,
в золотых подвесках брови,
в скатном жемчуге реснички.
Думал, что сияет месяц, —
золотая брошь сверкала,
думал, солнышко сияет, —
то сверкал расшитый ворот,
думал, что корабль сияет, —
то сверкал кокошник свахи.
Вот прославлена и сваха.
Дай на весь народ посмотрим.
Все ли выглядят красиво,
хорошо ль глядятся старцы,
люди юные пригожи ль,

все ли смотрятся достойно?
Осмотрел я всех на свадьбе,
хоть и было мне известно:
никогда в жилище этом
не бывало и не будет
столь достойного народа,
столь красивого собранья,
стариков таких степенных,
молодежи столь пригожей.
Весь народ в кафтанах светлых,
словно в инее дубрава:
снизу — как заря сияет,
сверху — словно солнце всходит.

Серебра тут не жалели,
золотом не дорожили:
средь двора казной делились,
приносили дань у хлева
приглашенные на свадьбу
в честь пирушки многолюдной!»

Вековечный Вяйнямёйнен,
заклинатель изначальный,
в пошевни свои уселся,
в путь отправился обратный,
едет, песни распевает,
распевает, заклинает.
Песню спел, другую начал,
посредине третьей песни
полоз налетел на камень,
наскочил копыл на кочку —
сани у певца сломались,
полоз лопнул у кошевки,
треснули саней копылья,
сорвались с копыльев грядки[170].

Молвил старый Вяйнямёйнен,
высказал слова такие:
«Есть ли тут средь молодежи,
средь растущего народа,
средь стареющего люда,
поколенья уходящих,
кто б до Туонелы добрался,
побывал в жилищах Маны,
кто добыл бы в Туони шило,
кто бурав достал бы в Мане —
сани новенькие сделать,
дровни старые исправить?»

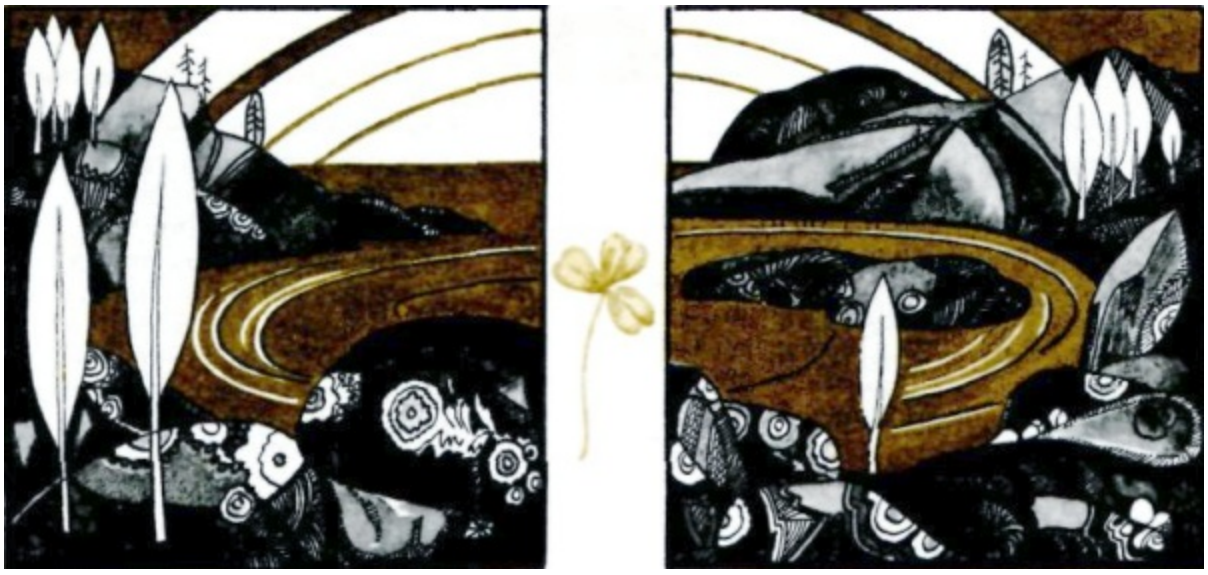
Молодые так сказали,
старые так отвечали:
«Нет средь юного народа,
средь стареющего люда,
нет во всем роду великом
мужа смелого такого,
кто б до Туонелы добрался,
побывал в жилищах Маны,
кто бы добыл в Туони шило,
кто бурав достал бы в Мане, —
сани новенькие сделать,
дровни старые исправить».

Тут уж старый Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
снова в Туонелу уходит,
в Маналу идет вторично.
Он принес бурав из Туони,
шило — из жилища Маны.

Вековечный Вяйнямёйнен
синий бор напел заклятьем,
стройный дуб средь бора создал,

гибкую напел рябину.
Так свои исправил сани,
сделал новые полозья,
новые забил копылья,
выгнул новенькие дуги.
Так он пошевни исправил,
смастерил другие сани.
Заложил коня в кошевку,
рыжего завел в оглобли,
сам в санях уселся чинно,
на сиденье разместился.
Конь бежит вперед без вицы,
без кнута, ретивый, скачет,
поспешает к прежним яслям,
к давешним своим кормушкам,
Вяйнямёйнена доставил,
лучшего из рунопевцев,
прямиком к родимой двери,
к самому порогу дома.

Песнь двадцать шестая



Раздосадованный тем, что его не приглашают на свадьбу, Лемминкяйнен решает отправиться в Похьелу вопреки запрету и предостережениям матери о многочисленных смертельных опасностях, которые ждут его в пути, с. 1 — 418. — Отправляется в путь и с помощью своих колдовских знаний благополучно преодолевает все опасные препятствия, с. 419–776.

Жил на острове наш Ахти,
возле мыса Кавконьеми.
Как-то вспахивал он поле,
бороздил однажды ниву.
Был у Ахти слух отменный,
ухо чуткое — у мужа.

Из деревни шум услышал,
из-за озера — скрипенье,
стук копыт — с равнин ледовых,
скрип полозьев — с боровины.
Мысль на ум ему явилась,

зародилось подозренье:
свадьбу Похьела играет,
потайной народ пирует.
Рот скривил, насупил брови,
черный ус помял рукою.
Кровь дурная закипела,
со щеки сошел румянец.
Пахоту тотчас оставил,
борозду — посередине,
на коня верхом уселся,
поспешил скорее к дому,
к матушке своей родимой,
в дом к родительнице старой.
Так сказал, войдя в жилище,
так промолвил, в дом явившись:
«Ой ты, матушка-старушка,
накрывай на стол живее,
чтобы муж поел голодный,
чтоб насытился несытый,
баню затопи скорее,
побыстрей нагрей парилку,
чтобы славный муж помылся,
чтобы заново родился!»
Быстро мать на стол накрыла,
подала еду сыночку,
чтоб наелся муж голодный,
чтоб насытился несытый
в срок, пока топилась баня,
в час, пока парилка грелась.
Тут беспечный Лемминкяйнен
очень быстро подкрепился,
забежал поспешно в баню,
заскочил скорей в парилку.
Там он, пуночка, помылся,
зяблик, перышки почистил.
Волосы льняными стали,

белою — крутая шея.
Вот пришел из бани в избу.
Так сказал он, так промолвил:
«Матушка моя, старушка!
Ты ступай в амбар на горке,
принеси мои одежды,
праздничные дай наряды,
чтобы мне в них облачиться,
чтобы ими стан украсить!»

Поспешила мать с вопросом,
старая осведомилась:
«Ты куда идешь, сыночек?
Может, рысь ловить уходишь,
загонять на лыжах лося
иль стрелять уходишь белку?»

Лемминкяйнен так ответил,
так сказал красивый Кавко:
«Ой ты, матушка родная!
Не за рысью отправляюсь,
погонюсь я не за лосем,
я стрелять не буду белку.
В Похьелу на свадьбу еду,
люда тайного пирушку.
Принеси мои одежды,
праздничные дай наряды,
что на свадьбы надеваю,
что ношу я на пирушках!»
Мать идти не разрешала,
запрещала и супруга,
эти две прекрасных девы,
три создания природы
ехать Кавко запрещали
в Похью славную на свадьбу.
Так сказала мать сыночку,

старшая — своей кровинке:
«Не ходи ты, мой сыночек,
мой сыночек, Кавкомьели,
в Похьелу на пир широкий,
на великое застолье.
Ведь тебя не приглашали,
видеть там не пожелали».

Тут беспечный Лемминкяйнен
так промолвил, так заметил:
«Только худших приглашают,
лучшие приходят сами.
Мне всегда призывом служит,
неизменным приглашеньем
меч мой огненный, надежный,
искрометное железо».

Мать родная Кавкомьели
уговаривает сына:
«Не ходи, сыночек милый,
не спеши на свадьбу в Похью.
Много ждет в пути препятствий,
ждет опасностей немало,
ждут тебя три лютых смерти,
три погибели великих».
Слово молвил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Бабам смерть повсюду снится,
чудится везде погибель.
Муж не убоится смерти,
гибели не устрашится.
Только все-таки, но все же,
я хочу теперь услышать,
что за гибель будет первой,
будет первой и последней?»
Мать ответила на это,

старая ему сказала:
«Расскажу как есть о смерти,
а не так, как мужу нужно.
Расскажу о первой смерти,
той, что раньше угрожает.
Лишь пройдешь пути немного,
перегон дневной проедешь,
огненный поток увидишь
поперек своей дороги,
огненный порог в потоке,
остров огненный в пороге,
камень огненный в середке,
огненный орел на камне,
он свой зуб ночами точит,
днями коготь заостряет
приходящему — на гибель,
прибывающему — на́ смерть».

Лемминкяйнен слово молвил,
так сказал красивый Кавко:
«Эта гибель — бабья гибель,
эта смерть — не смерть героя.
От нее я средство знаю,
способ ведаю хороший:
сотворю коня из чурки,
из ольхи создам героя,
рядышком со мной поедет,
впереди меня поскачет.
Сам нырну под воду уткой,
погружусь морянкой в глуби,
проплыву меж лап орлиных,
проскользну сквозь пальцы грифа.
Ой ты, мать моя родная!
Назови мне смерть вторую!»

Мать ответила на это:

«Смерть вторая — смерть такая:
лишь пройдешь пути немного,
перегон второй проедешь,
встретишь огненную яму
поперек своей дороги,
на восток длиною в вечность,
бесконечную — на запад,
в ней пылающие камни,
полыхающие глыбы,
сто мужей свалилось в яму,
тысячи в ней оказались,
с ними сто мечей могучих,
тысячи коней железных».

Лемминкяйнен слово молвил,
так сказал красивый Кавко:
«Эта смерть не смерть для мужа,
не погибель для героя.
От нее я средство помню,
способ помню, выход знаю:
сотворю из снега мужа,
из сугроба, наколдую,
я в огонь героя брошу,
затолкаю мужа в пламя,
пусть попарится в той бане,
медным веником помашет,
сам сторонкою проеду,
проскользну через горнило,
бороды огонь не тронет,
прядей не коснется пламя.
Ой ты, мать моя родная,
расскажи о третьей смерти!»

Мать на это отвечала:
«Третья смерть твоя такая:
ты пройдешь еще немного,

перегон дневной проедешь,
Похьелы ворот достигнешь,
самой узенькой калитки,
на тебя медведь насядет,
волк набросится свирепый
у ворот суровой Похьи,
в самом узеньком прогоне.
Съел тот волк героев сотню,
тысячу мужей угробил.
Отчего б тебя не скушать,
почему б не съесть беднягу?»
Лемминкяйнен так ответил,
так сказал красивый Кавко:
«Съесть овцу совсем не трудно,
разодрать легко барашка,
потрудней сожрать мужчину,
даже самого дрянного.
А на мне героя пояс,
мужа взрослого застежки,
пряжки истого героя,
так что мне еще не время
в глотку волка Унтамолы,
в пасть проклятого медведя.

От волков я средство знаю,
от медведя — оборону:
наколдую цепь медведю,
волку — удила стальные
иль сотру в труху медведей,
пропущу труху сквозь сито.
Выйду так из затрудненья,
так своей достигну цели».
Мать на это отвечала:
«Далеко еще до цели.
Это ты в дороге встретишь,
чудеса в пути увидишь:

три кончины для героя,
три погибели для мужа.
Вот когда туда прибудешь,
чудеса страшнее встретишь.
Лишь пройдешь пути немного,
вступишь на подворье Похьи —
там забор железный сделан,
частокол стальной поставлен
от земли до небосвода,
от небес до нижней тверди,
копья вместо крепких кольев,
гады черные в обвязках,
вместо гибких виц — гадюки,
ящерицы в перетяжках,
брошены хвосты болтаться,
палицы голов — вертеться,
пасти змей — шипеть ужасно,
внутрь — хвосты, наружу — пасти.
На земле — другие змеи,
на пути — иные гады.
Пасти кверху задирают,
по земле хвостами хлещут.
Всех других одна страшнее —
поперек лежит в воротах —
подлиннее балки в доме,
покрупней столба в сарае —
тянет вверх язык шипящий,
в высоту — свой зев свистящий,
не другим грозит бедою —
лишь тебе, мой сын несчастный!»
Лемминкяйнен так ответил,
так сказал красивый Кавко:
«Это гибель для ребенка,
смерть такая не для мужа.
Заклинать огонь умею,
усмирять — любое пламя,

знаю заговор гадюки,
знаю чары против змея.
Только что — лишь днем вчерашним —
я пахал гадючье поле,
бороздил змеиный выгон,
голыми хватал руками,
крепко зажимал ногтями,
тискал в кулаках могучих,
перебил гадюк десятки,
раздавил сто гадов черных,
на ногтях еще — кровища,
жир змеиный — на ладонях,
так что я не собираюсь,
не рассчитываю вовсе
в зев попасть змее огромной,
угодить гадюке в глотку,
удавлю я сам ползучих,
задушу поганых гадов,
прогоню с пути заклятьем,
на обочину отброшу,
сам войду в жилище Похьи,
со двора проникну в избу».

Мать ответила на это:
«Ни за что, сынок родимый,
не ходи ты в избу Похьи,
в те жилища Сариолы!
Там мужи сидят с мечами,
там с оружием герои,
спьяну все герои буйны,
во хмелю мужи драчливы.
Напоют тебя заклятьем
на каленый меч, бедняжку.
Были лучшие напеты,
благороднее — закляты».

Так ответил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Я живал уже и прежде
в этих Похьелы жилищах.
Не заклясть меня лапландцу,
не осилить мужу Турьи.
Сам лапландца заколдую,
одолею мужа Турьи,
рассеку заклятьем спину,
продырявлю подбородок,
разорву рубашки ворот,
изуродую ключицы».

Мать ответила на это:
«Ой ты, мой сынок родимый!
Хвалишься походом прежним,
похожденьями былыми.
Верно, ты живал и прежде
в этих Похьелы жилищах,
все прошел пруды и ламбы,
непроточные озера,
прогремел по всем порогам,
по теченьям попутным,
испытал дорогиТ'уони,
воды Маналы измерил!
Не пришла бы мать на помощь,
там лежал бы и поныне.
Что тебе скажу, запомни!
К избам Похьелы
прибудешь — на горе увидишь колья,
на дворе — столбы большие,
головы мужей — на каждом,
кол один еще не занят,
на него-то и насадят
голову твою, сыночек!»

Так ответил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Только жалкий убоится,
испугается никчемный,
лет пяти-шести гонений,
лет семи войны ужасной.
Их герой не побоится,
перед ними не спасует.
Принеси мои доспехи,
боевое облаченье.
Меч отцовский сам достану,
батюшкин клинок добуду,
что лежит на стуже долго,
много времени — в потемках.
Целый век там горько плачет,
ждет хозяина, тоскуя».

Получил свои доспехи,
облаченье боевое,
меч отцовский вековечный, —
друга верного в сраженье.
Вот он в пол клинок вгоняет,
меч вонзает в половицу,
меч в руках его согнулся,
как черемуховый прутик,
можжевеловая ветка.
Так заметил Лемминкяйнен:
«Вряд ли в Похьеле найдется,
тот отыщется едва ли,
кто захочет меч проверить,
к своему клинку примерить!»

Со стены дугу срывает,
лук тугой с колка хватает.
Говорит слова такие,
речь такую произносит:

«Назову того мужчиной,
нареку того героем,
кто мой лук взвести сумеет,
кто мой самострел зарядит
в тех жилищах Сариолы,
в избах Похьелы суровой».

Тут беспечный Лемминкяйнен,
тот красивый Кавкомьели,
на себя надел доспехи,
ратные свои одежды,
сам к рабу он обратился,
произнес слова такие:
«Ой ты, раб приобретенный,
мною купленный за деньги,
жеребца готовь к поездке
ратного коня — к походу,
чтобы мне на пир поехать,
на попойку люда Лемпо».
Раб послушный, раб покорный
выбегает на подворье,
жеребца впрягает в сани,
огнекрасного — в кошевку,
говорит, придя обратно:
«Я наказ уже исполнил,
снарядил коня в дорогу,
резвого запряг в кошевку».
Вот беспечный Лемминкяйнен
в путь уж должен отправляться,
ждет рука, велит другая,
пальцы крепкие торопят.
Он поехал, как задумал,
поскакал, не побоялся.
Мать советовала сыну,
старшая дитя учила
у дверей, под главной балкой,

у котла пред печкой стоя:
«Сын единственный, родимый,
мой питомец, мой помощник!
Где бы ни был на пирушке,
где бы ты ни оказался,
пей лишь половину кружки,
чашу — лишь до середины,
половину дай другому,
дай негодному остаток!
Там на дне таятся черви,
в кружке змеи копошатся».

Так еще дитя учила,
так сыночка вразумляла
на краю поляны дальней,
у калитки той последней:

«Где бы ни был на пирушке,
где бы ты ни оказался,
ты садись на полсиденья,
проходи лишь на полшага,
всем делись, что сам получишь,
отдавай плохим, что хуже.
Вот тогда героем станешь,
будешь мужем настоящим,
верх возьмешь ты на совете,
одолеешь всех на сходе,
средь толпы мужей отважных,
средь героев благородных».

Тут поехал Лемминкяйнен,
тронулся, в санях устроясь,
резвого прутом ударил,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Резвый конь помчался бодро,
лошадь быстро поскакала.

Ехал он совсем недолго,
проскакал совсем немного,
увидал тетерок стаю,
стая тут же упорхнула,
птицы с шумом улетели
из-под ног коня гнедого.

Несколько осталось перьев,
пуха птичьего немного.
Подобрал их Лемминкяйнен,
глубоко в кармане спрятал:
кто же знает, что случится,
что в дороге приключится —
пригодится все в хозяйстве,
все потребуется в деле.

Вот еще чуть-чуть проехал,
проскакал совсем немного —
что-то резвый конь зафыркал,
уши навострил жеребчик.

Вот беспечный Лемминкяйнен,
сам красивый Кавкомьели,
приподнялся на сиденье,
через бортик перегнулся:
так и есть, как мать сказала,
старая предупреждала.
Огненный поток увидел
перед лошадью бегущей,
огненный порог в потоке,
остров огненный в пороге,
камень огненный в середке,
огненный орел на камне,
изо рта огонь стремится,
вырывается из глотки,
пламенем пылают перья,

злыми искрами сверкают.

Лемминкяйнена заметил
с расстояния большого.
«Ты куда же едешь, Кавко,
поспешаешь, отпрыск Лемпи?»

Так ответил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Еду в Похью на пирушку,
к люду тайному на свадьбу.
Отойди чуть-чуть подальше,
отступи в сторонку малость,
путнику позволь проехать,
Лемминкяйнену — подавно,
дай-ка мне проехать мимо,
стороной пройти спокойно!»

Так ему орел ответил,
огнедышащий промолвил:
«Дам я путнику дорогу,
Лемминкяйнену — подавно,
через пасть мою проехать,
по моей промчаться глотке.
Вот где путь твой пролегает,
вот куда ведет дорога,
вот тебе твое застолье,
вечная твоя пирушка».

Лемминкяйнен и не дрогнул,
не повел герой и ухом!
За карман герой схватился,
кошелек поспешно вынул,
перья вытащил тетерки,
стал тереть и комкать перья,
тискать между двух ладоней,

меж десятком крепких пальцев —
родилась тетерок стая,
целый гурт глухарок вышел,
в зев орла метнул всю стаю,
в пасть прожорливую птицы,
в глотку огненного грифа,
в зубы хищника большого.
Так из затрудненья вышел.
Первый день пути закончил.

Резвого прутом ударил,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Побежал жеребчик резвый,
легконогий конь помчался.

Вот проехал часть дороги,
одолел пути немного —
конь опять насторожился,
жеребец опять зафыркал.

Приподнялся он в кошевке.
потянулся, присмотрелся:
все, как мать ему сказала,
старая предупреждала.
Видит огненную яму
поперек своей дороги,
на восток длиною в вечность,
бесконечную — на запад,
в ней — пылающие камни,
полыхающие глыбы.

Лемминкяйнен и не дрогнул,
принялся молиться Богу:
«Ой ты, Укко, бог верховный,
наш родной отец небесный,
подними с заката тучу,

вышли с запада вторую,
вынеси с востока третью,
тучу — с северо-востока.
Облака сведи краями,
тучи темные — боками!
Намети сугробы с посох,
высотою с древко пики,
снега набросай на камни,
на пылающие глыбы!»

Тут уж Укко, бог верховный,
старый наш отец небесный
тучу подослал с заката,
выслал с запада вторую,
подогнал с востока третью,
вызвал с северо-востока,
облака краями сдвинул,
тучи совместил боками.
Наметал сугробы с посох,
высотою с древко пики,
набросал на камни снега,
на пылающие глыбы.
Ла́мбушка[171] из снега вышла,
озеро воды холодной.
Тут беспечный Лемминкяйнен
мост наколдовал ледовый,
настелил меж берегами,
поперек студеной ламбы.
Так прошел он часть дороги,
переход дневной закончил.

Резвого прутом ударил,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Конь ретиво вскачь пустился,
побежал рысцой жеребчик:
проскакал версту, другую,

часть пути — земли избранник.
Лошадь вдруг остановилась,
словно вкопанная стала.

Сам беспечный Лемминкяйнен
приподнялся, пригляделся:
волк стоит в воротах Похьи,
на дворе медведь встречает
у широкого проема,
у конца прогонов длинных.
Тут беспечный Лемминкяйнен,
сам красивый Кавкомьели,
поскорей в карман забрался,
в кошелек засунул руку,
взял клочок овечьей шерсти,
стал теперь его тихонько
тискать меж своих ладоней,
меж десятком крепких пальцев.

На ладонь подул разочек —
сдул с руки овец отару,
целый гурт ягнят проворных,
ярочек большое стадо.
Бросились за стадом волки,
кинулись вослед медведи.
Сам беспечный Лемминкяйнен
весело свой путь продолжил.
Лишь чуть-чуть пути проехал,
подкатил к жилищам Похьи.
Там стоял забор железный,
изгородь была стальная,
в глубь земли на сто саженей,
в высь — на тысячу саженей.
Копья вместо крепких кольев,
гады черные в обвязках,
ящерицы в перетяжках,

вместо гибких виц — гадюки,
брошены хвосты болтаться,
палицы голов — мотаться,
черепа гадюк — качаться,
внутрь — хвосты, наружу — пасти.
Тут беспечный Лемминкяйнен
так размыслил, так подумал:
«Так и есть, как мать сказала,
как родная говорила:
вот стоит забор железный,
от земли до небосвода.
Низко ползает гадюка —
частокол уходит ниже,
высоко летает птица —
изгородь уходит выше».
Не горюет Лемминкяйнен,
не пугается нисколько.
Вытащил свой нож из ножен,
из чехла — железо злое,
полоснул им по забору,
пополам рассек жердины,
распахнул забор железный,
снес змеиную ограду
на длину пяти пролетов,
ширину семи заколин.
Сам герой поехал дальше,
прямо к Похьелы воротам.

Поперек ворот гадюка
извивалась, изгибалась,
подлиннее балки в доме,
покрупней столба в воротах,
сотню глаз змея имела,
языков имела тыщу,
все глаза размером с сито,
языки длиннее копий,

зубы словно граблевища,
в семь челнов длиною тело.

Не решился Лемминкяйнен,
не посмел вступить в сраженье
с той гадюкою стоглазой,
со змеей тыщеязыкой.

Лемминкяйнен так промолвил,
так сказал красивый Кавко:
«Черный змей, подземный житель,
Туонелы червяк противный,
между травами скользящий,
ползающий в листьях Лемпо,
проникающий сквозь кочки,
меж корнями проходящий!
Кто тебя, зловредный, поднял,
разбудил в траве засохшей,
чтоб ты вылез на поверхность,
чтоб вертелся на дороге?
Голову твою кто поднял?
Кто велел и кто принудил
голову держать высоко,
напрягать при этом шею?
Твой отец, иль мать велела,
или, может, братец старший,
иль сестрица молодая,
или вся родня большая?

Спрячь язык, захлопни челюсть,
голову упрячь подальше,
сам свернись клубком красивым,
аккуратным узелочком.
Пропусти, дай полдороги —
путнику проехать мимо —
иль совсем уйди с дороги,

жалкий, уползи в кустарник,
убирайся в верещатник,
затаись во мху, негодный,
шерстяной скатись куделью[172],
сгинь осиновою чуркой,
голову упрячь под дерном,
заберись поглубже в кочку,
ведь твое гнездо под дерном,
под бугром твое жилище.
Если голову поднимешь,
раздробит твой череп Укко,
иглами пронзит стальными,
размозжит железным градом».

Заклинал так Лемминкяйнен.
Нипочем змее заклятье,
знай шипит гадюка злобно,
кверху жало поднимает,
тянет свой язык из зева
Лемминкяйнену на гибель.

Тут беспечный Лемминкяйнен
старые заклятья вспомнил,
что от матери услышал,
выучил из уст родимой.
Заклинает Лемминкяйнен,
сам красивый Кавкомьели:
«Коль теперь не подчинишься,
отступить не согласишься,
ты от мук своих распухнешь,
вся раздуешься от боли,
надвое от злости лопнешь,
на три части разлетишься.
Мать найти твою сумею,
разыскать твою родную.
Знаю, змей, твое рожденье,

ведаю происхожденье:
Ты от Сюетар[173] родился,
ты зачат от Водяного.
Плюнула на воду ведьма,
харкнула на волны злюка.
Ту слюну качали ветры,
дух воды баюкал тихо,
шесть годов ее лелеял,
целых семь гонял, не меньше,
по морским просторам ясным,
по вздымающимся волнам.
Море слюни растянуло,
солнце жаром размягчило,
вынесла вода на сушу,
кинули на берег волны.
Шли три дочери природы
берегом морской пучины,
краем вспененной стихии,
на слюну они взглянули,
молвили слова такие:
«Что бы вышло из ошметка,
если б душу дал Создатель,
наделил его глазами?»
Услыхал слова Создатель,
так сказал он, так промолвил:
«Только зло из зла и выйдет,
только дрянь — из жабьей рвоты,
коль в нее ты вложишь душу,
наделишь ее глазами».

Те слова услышал Хийси,
муж учуял вероломный,
сам творцом предстать решился,
сам вложил в ошметок душу,
в мерзкую слюну отродья,
той, что Сюетар зовется:

так слюна змеею стала,
обернулась гадом черным.

Где для гада взяли душу?
В горне чертовом, у Хийси.
Где для гада сердце взяли?
Взять у Сюетар решили.
Где мозги для гада взяли?
В пене быстрого потока.
Где для гада злобу взяли?
В гневе огненных порогов.
Голову откуда взяли?
Из зерна боба большого.

Из чего глаза у гада?
Из семян льняных от Лемпо.
Из чего у гада уши?
Из листвы березы Лемпо.
Из чего у гада ртище?
Из застежки старой ведьмы.
Из чего язык у гада?
Из копья злодея Кейто.
Из чего у гада зубы?
Из остей ячменных Туони.
Из чего у гада десны?
Из десны девицы Калмы.
Из чего спина у гада?
Из обугленной жердины.
Из чего же хвост у гада?
Из косицы черта длинной.
Из чего кишки у гада?
Из ремня, что носит Калма.

Вот оно, твое рожденье,
вся твоя и честь, и слава.

Черный червь, подземный житель,

Туонелы червяк цветастый,
цвета вереска и почвы,
цвета радуги небесной!
Уходи с дороги мужа,
уползай с тропы героя!
Дай мне, путнику, пробраться,
Лемминкяйнену проехать
в Похьелу на пир широкий,
рода славного застолье!»

Вот змея зашевелилась,
потянулся гад стоглазый,
на обочину скатился,
сдвинулся на край дороги,
уступил тропу герою,
Лемминкяйнену — дорогу
в Похьелу на пир широкий,
на попойку колдовскую.

Песнь двадцать седьмая

Лемминкяйнен прибывает в Похьелу, где ведет себя довольно заносчиво, с. 1- 204. Хозяин Похьелы сердится, что не может одолеть Лемминкяйнена в искусстве волхвования, и требует его к поединку на мечах, с. 205–282. — В этой схватке Лемминкяйнен отрубает хозяину Похьелы голову; хозяйка Похьелы собирает против него войско, чтобы отомстить за это, с. 283–420.

Вот и проводил я Кавко,
самогóо красавца Ахти,
мимо ртов смертей премногих,
прямо перед пастью Калмы,
вывел к Похьелы подворьям,
к избам тайного народа.
Рассказать настало время,
наступил черед поведать,
как беспечный Лемминкяйнен,
тот красавец Кавкомьели,
в избы Похьелы явился,
в те жилища Сариолы,

в дом пришел неприглашенным,
на великий пир — незваным.
Вот беспечный Лемминкяйнен,
парень крепкий, краснощекий,
тотчас, как вошел в жилище,
прошагал на середину:
колыхнулся пол из липы,
гулко ухнул дом из ели.

Лемминкяйнен так промолвил,
высказал слова такие:
«Здравствуй, пир, с моим прибытьем!
Сам приветствующий, здравствуй!
Слушай, Похьелы хозяин!
Отыщи-ка ты в хозяйстве
ячменя, чтоб конь похрупал,
пива, чтоб герой напился!»

Сам хозяин Сариолы,
за столом сидевший длинным,
так из-за стола ответил,
вымолвил слова такие:
«Есть, конечно, на подворье
место, чтоб коня поставить.
Нет и для тебя запрета,
при достойном поведенье,
у дверей остановиться,
постоять под балкой главной,
между двух котлов висячих,
возле трех крюков железных».

Тут беспечный Лемминкяйнен
бороду помял рукою,
черную, как смоль, потрогал.
Так сказал он, так промолвил:
«Пусть сюда приходит Лемпо,

чтоб торчать у самой двери,
обтирать здесь вашу копоть,
осыпать лохмотья сажи!
Никогда отец родимый,
никогда родитель славный
не стоял в местах подобных,
у дверей, под балкой главной.
Места всем тогда хватало:
были для коней загоны,
для мужей — намыты избы,
для перчаток их — печурки[174],
для дельнúц[175] — колки на стенах,
для мечей пристенки были.
Что же нынче нет мне места,
как отцу в былое время?»

Двинулся в передний угол,
на конец стола пробрался,
на краю скамьи уселся,
на конце сосновой лавки,
скрипнула скамья под мужем,
лавка крепкая прогнулась.
Так промолвил Лемминкяйнен:
«Видно, гость я нежеланный,
если пива не подносят
в дом вошедшему герою».

Илпотар[176], хозяйка дома,
слово молвила, сказала:
«Ой ты, отпрыск рода Лемпи!
Мне таких гостей не нужно!
Ты на горе мне явился,
на беду мою приехал!
Пиво — в ячмене покуда,
сусло — в солоде пока что.
Хлебы печь не начинали,

мяса вовсе не варили.
Ты пришел бы на день раньше,
на день позже появился б».

Тут беспечный Лемминкяйнен
рот скривил, усы потрогал,
головой повел упрямо.
Сам сказал слова такие:
«Съедены давно все яства,
справлен пир, прошла и свадьба,
пиво кружками распито,
мед поделен меж мужами,
собраны кувшины в кучу,
кружки сложены горою.

Ой ты, Похьелы хозяйка,
длиннозубая старуха!
Дурно провела ты свадьбу,
справила, как пир собачий.
Напекла ты много хлеба,
запаслась ячменным пивом,
в шесть концов послала вести,
в девять разных направлений:
позвала всю голь, всю нечисть,
всех увечных, всех изгоев,
приживалок всех тщедушных,
казачков в кафтанах узких —
весь народ оповестила,
одного меня забыла.

Отчего ж такая плата,
за зерно мое — немилость?
Плошками несли другие,
горсточками отмеряли,
я же сыпал полной мерой,
отмерял всей полубочкой[177],

собственный ячмень отменный,
на своих полях взращенный.
Видно, я не Лемминкяйнен,
видно, гость я недостойный,
если пива не подносят,
на огонь котел не ставят,
варево в котле не варят,
не кладут свинины вдосталь,
чтоб наелся, чтоб напился,
раз уж я сюда добрался».

Илпо, добрая хозяйка,
молвила слова такие:
«Ой ты, девочка-служанка,
вечная моя батрачка!
Ты поставь котел вариться,
принеси для гостя пива!»

Девочка, ребенок глупый,
худшая из судомоек,
обмывательница ложек,
выскребала поварешек,
бросила в котел вариться
кость от мяса, хвост от рыбы,
вялую ботву от репы,
корочки сухого хлеба.
Принесла и пива в кружке,
кваса кислого — в кувшине,
чтоб напился Лемминкяйнен,
муж насытился голодный.
Молвила слова такие:
«Хватит ли в тебе отваги
разом выпить это пиво,
чашу мигом опрокинуть?»
Беззаботный Лемминкяйнен
заглянул в пивную кружку:

ползал червь по дну кувшина,
змеи в глубине кишели,
по краям вертелись гады,
ящерицы копошились.

Лемминкяйнен так промолвил,
так воскликнул Кавкомьели:
«В Туони с пивом провалитесь,
в Ману с кружками катитесь,
до того, как месяц встанет,
до того, как день угаснет!»
Он сказал слова такие:
«Ну и подлое ж ты пиво!
Все равно тебя я выпью,
раз ко мне попало в руки!
Пиво в рот нальем и выпьем,
мусор вышвырнем на землю,
вынув пальцем безымянным,
подцепив рукою левой!»
Глубоко в карман забрался,
в кошелек засунул руку.
Отыскал крючок в кармане,
кованец нашел в мешочке,
опустил в пивную кружку,
занялся уженьем в пиве —
на уду попали змеи,
на крючок — гадюки злые.
Выловил лягушек сотню,
черных гадов тыщу вынул.
Выбросил червей на землю,
пошвырял всех гадов на пол.
Вынул острый нож из ножен,
вырвал жесткое железо,
головы у змей отрезал,
шеи разрубил у гадов,
выпил пиво на здоровье,

темный мед — себе на радость.
Слово молвил, так заметил:
«Видно, здесь я гость немилый,
если пива не подносят,
не дают питья получше,
не дают рукою щедрой,
не несут большою кружкой,
раз не режут мне барана,
раз быка не забивают,
тушу бычью в дом не тащат,
двукопытного не вносят».

Вот тогда хозяин Похьи
слово молвил, так заметил:
«Для чего и приходил ты?
Кто тебя позвал на свадьбу?»

Молвил шустрый Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Приглашенный гость прекрасен,
только гость незваный лучше!
Слушай, муж, рожденный в Похье,
Похьелы самой хозяин,
принеси за деньги пива,
дай напитка мне за плату».

Тут уж Похьелы хозяин
рассердился, обозлился,
обозлился, прогневился,
ламбушку напел заклятьем,
вылил на пол перед Кавко.
Так сказал он, так промолвил:
«Вот река, чтоб ты напился,
ламбушка, чтоб налакался!»

Беззаботный Лемминкяйнен
так ответил, так промолвил:

«Я ведь вовсе не теленок,
не бычок тебе хвостатый,
чтобы воду пить из речки,
чтоб лакать из жалкой ламбы».

Волхвовать он сам пустился,
напевать заклятья начал.
Пением быка содеял
златорогого, большого,
вылакал рогатый ламбу,
выпил реку на здоровье.
Похьи сын, мужчина рослый,
сотворил словами волка,
на полу его поставил,
чтобы съел быка большого.

Ловкий парень Лемминкяйнен
беляка напел словами,
выпустил косого на пол
перед волчьей пастью прыгать.

Похьи сын, мужчина рослый,
создал песнею собаку,
чтобы зайца уничтожил,
чтобы растерзал косого.

Лемминкяйнен, парень бойкий,
белочку напел на грядку,
чтобы по жердям скакала,
чтобы пес на белку лаял.

Похьи сын, мужчина рослый,
песнею куницу создал:
златогрудая куница
белку цапнула с жердины.
Лемминкяйнен, парень бойкий,

рыжую напел лисицу,
съела, рыжая, куницу,
мех красивый погубила.

Похьи сын, мужчина рослый,
тотчас курицу накликал,
чтобы по полу ходила
перед рыжею лисицей.

Лемминкяйнен, парень бойкий,
ястреба напел словами,
птицу с быстрыми когтями,
чтобы курицу схватила.

Вымолвил хозяин Похьи,
сам сказал слова такие:
«Пир приятнее не станет,
коль народу не убудет.
Дом — в работу, гость — в дорогу.
Всякий пир конец имеет!
Уходи, паршивый хийси,
дай покой хорошим людям!
Убирайся прочь, поганец,
вон проваливай, паршивец!»

Молвил бойкий Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Не проймешь заклятьем мужа,
даже худшего не сгонишь,
с места своего не сдвинешь,
не принудишь в бег пуститься».

Вот тогда хозяин Похьи
со стены клинок срывает,
огненный свой меч хватает.
Слово молвил, так заметил:
«Ой ты, Ахти Сарелайнен,

ты, красивый Кавкомьели!
Что ж, давай мечи измерим,
на клинки свои посмотрим,
у меня ли меч получше
иль получше меч у Ахти?»

Молвил ловкий Лемминкяйнен:
«Что там мой клинок невзрачный —
весь костями он зазубрен,
искорежен черепами!
Только знаешь ли, приятель,
раз не ладится пирушка,
мы измерим, мы посмотрим,
поглядим, чей меч получше!
Мой отец в былое время
не боялся поединка —
сын неужто оплошает,
роду-племени изменит».
Вынул меч, извлек железо,
острие каленой стали,
вытащил из мягких ножен
с пояса воловьей кожи.
Измеряют, проверяют,
по длине клинки сличают,
был немного подлиннее
меч хозяина каленый,
был длинней на черный ноготь,
больше был на полсустава.
Молвил Ахти Сарелайнен,
так сказал красивый Кавко:
«У тебя клинок длиннее,
ты ударить должен первым!»

Вот тогда хозяин Похьи
расходился, размахался,
не достал, хоть и старался,

Лемминкяйнена макушки.
Угодил мечом по балке,
по причелине ударил:
пополам распалась балка,
вся причелина сломалась.

Молвил Ахти Сарелайнен,
так сказал красивый Кавко:
«Чем же балки виноваты,
чем причелины мешают,
что мечом ты бьешь по балкам,
по причелинам колотишь?

Слушай, уроженец Похьи,
Похьелы самой хозяин!
Тесно бой вести в хоромах,
среди баб сражаться трудно:
испоганим дом твой новый,
пол зальем кровищей красной.
Выйдем-ка во двор широкий,
чтоб сразиться на свободе,
в чистом поле побороться!
Даже кровь на воле лучше,
на дворе руда красивей,
на снегу она краснее!»
Вот во двор герои вышли,
принесли коровью шкуру,
расстелили на поляне,
чтоб ногами встать на шкуре.

Молвил Ахти Сарелайнен:
«Слушай, уроженец Похьи!
У тебя же меч длиннее,
у тебя клинок страшнее.
Вот такой тебе и нужен,
прежде, чем придет погибель,

раньше, чем лишишься жизни, —
первым бей, хозяин Похьи!

Первым бьет хозяин Похьи.
Раз ударил, два ударил,
в третий раз ударил вскоре,
только все же промахнулся,
даже мускула не тронул,
даже кожи не царапнул.

Молвил Ахти Сарелайнен,
так сказал красивый Кавко:
«Дай-ка я теперь ударю,
мой черед теперь подходит!»

Только Похьелы хозяин
уступать никак не хочет,
не задумываясь, рубит,
силится попасть, не может.

Искры сыплет меч свирепый,
пламя извергает жало
в мощной длани сына Лемпи.
Пламени язык метнулся,
бешено скользнул по шее
сына Похьелы суровой.

Так сказал красивый Кавко:
«Ой ты, Похьелы хозяин!
У тебя, несчастный, шея,
как заря, заполыхала!»
Тут уж Похьи уроженец,
Похьелы самой хозяин,
голову склонил пониже,
чтоб свою увидеть шею.
Тотчас бойкий Лемминкяйнен

свой удар наносит быстрый,
мужа бьет мечом могучим,
сталью острою — героя.

Только раз всего ударил,
голова скатилась наземь,
с шеи, буйная, слетела,
срезал, словно листья с репы,
словно колосок со стебля,
как плавник срубил у рыбы.
С шеи голова скатилась,
наземь череп повалился,
как глухарка-копалу́ха[178],
сбитая стрелою с ветки.

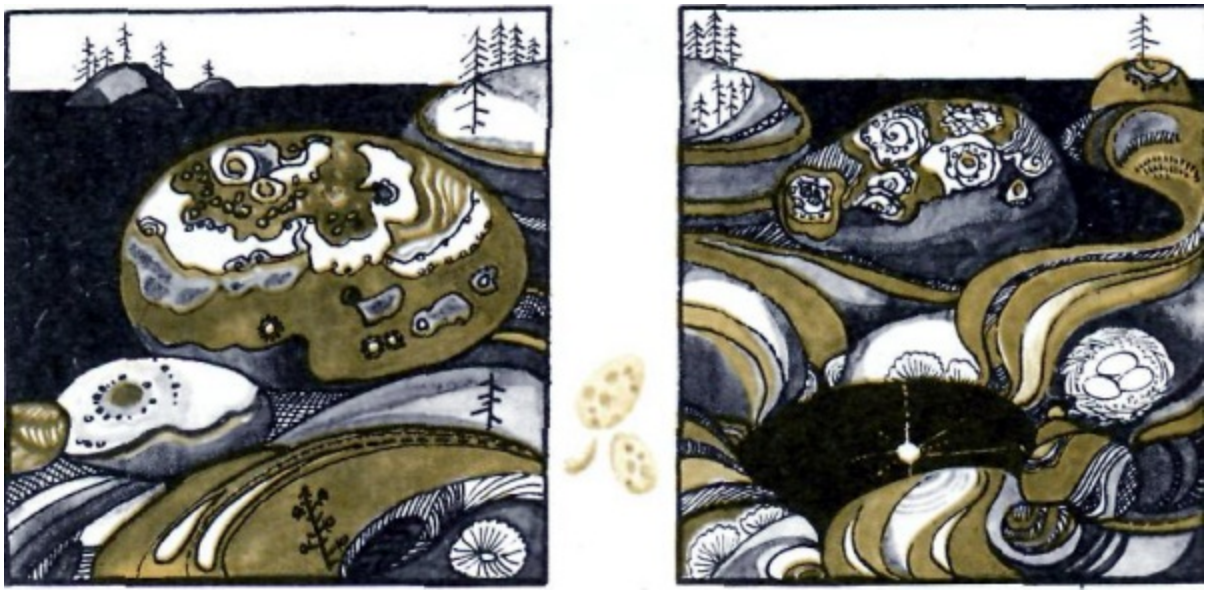
На горе сто кольев было,
тысяча шестов торчащих,
сотни черепов на кольях,
только кол один не занят.
Тут беспечный Лемминкяйнен
поднял голову бедняги,
со двора понес на гору,
насадил на кол свободный.

Тут уж Ахти Сарелайнен,
тот красивый Кавкомьели,
возвратясь в жилища Похьи,
слово молвил, так заметил:
«Дай воды, служанка злая,
чтобы мне отмыть ладони
от хозяйской крови скверной,
от руды дурного мужа!»
Тут хозяйка рассердилась,
рассердилась, обозлилась,
вызвала мужей заклятьем,
при оружии героев,

сто мужей с мечами было,
тыща целая — с клинками
Лемминкяйнену на гибель,
для расправы с Кавкомьели.

Время грозное приходит,
час расплаты подступает,
все тревожней, все опасней,
неуютней оставаться
Ахти, юному герою,
Лемминкяйнену на свадьбе,
на попойке в этой Похье,
на пиру людей коварных.

Песнь двадцать восьмая



Лемминкяйнен спешно бежит из Похьелы, встречает матушку и спрашивает у нее, где бы ему можно было спрятаться от воинов Похьелы, которые целой толпой идут воевать против него, одного-единственного героя, с. 1–164. — Мать пеняет ему за то, что он отправился в Похьелу, предлагает то одно, то другое место для убежища и советует, наконец, отправиться на остров за многие моря, где находил укрытие его отец в годину страшных войн, с. 165–294.

Тут уж Ахти Сарелайнен,
сам беспечный Лемминкяйнен,
спрятаться решил скорее,
убежать задумал тотчас
5 из суровой темной Похьи,
мрачного жилища Сары[179].

Вихрем вырвался из дома,
вылетел клубочком дыма,
чтобы скрыться от возмездья,

спрятаться от наказанья.

Лишь на воле оказался,
стал вертеться, озираться,
жеребца искать повсюду.
Жеребца нигде не видит —
на меже валун заметил,
ивы куст — у края поля.

«Как же быть и что тут делать,
у кого искать совета,
головы чтоб не лишиться,
чтобы чуба не утратить,
чтоб волос мне не оставить
на дворе суровой Похьи?»
Из деревни слышен грохот,
топот — из домов соседних,
словно молнии сверкают,
всюду в окнах — взоры злые.

Беззаботный Лемминкяйнен,
этот Ахти Сарелайнен,
изменить решил свой облик,
обрести иную внешность.
В высоту орлом взлетает,
рвется птицей в поднебесье:
солнце щеки обжигает,
месяц брови опаляет.
Тут беспечный Лемминкяйнен
к богу Укко обратился:
«Ой ты, Укко, бог чудесный,
муж рачительный небесный,
предержатель туч гремящих,
легких облаков властитель!
Напусти кругом туману,
сотвори на небе тучу,

чтобы мне в тумане скрыться,
чтоб к себе домой вернуться,
к матушке своей любимой,
к прародительнице мудрой».

Мчит орел, крылами машет,
только раз он оглянулся:
серый ястреб догоняет —
пламенем глаза пылают,
словно очи мужа Похьи,
Похьи прежнего владельца.

Вымолвил тут серый ястреб:
«Ой ты, Ахти, милый братец!
Помнишь ли былую битву,
не забыл ли поединок?»

Молвил Ахти Сарелайнен,
так сказал красивый Кавко:
«Ястребок, дружок пернатый,
улетай к себе обратно.
Расскажи, домой вернувшись,
в Похьелу свою явившись:
«Взять орла когтями трудно,
съесть пернатого непросто!»
Вскоре он домой добрался,
к матери своей явился.
Очень Ахти был расстроен,
очень сильно опечален.

Матушку у дома встретил,
проходя прогоном узким,
поспешая вдоль ограды.
Матушка его спросила:
«Ой, сыночек ты мой меньший,
ой ты, верный мой защитник!

Отчего в такой печали
возвращаешься из Похьи?
Может, обделили чаркой
в доме Похьелы на свадьбе?
Если обделили чаркой,
чарку подадут получше,
ту, что на войне добыта,
что отцом взята в сраженье».

Отвечает Лемминкяйнен:
«Ой ты, матушка родная!
Кто меня обделит чаркой!
Обделю таких хозяев,
обделю хоть сто героев,
тысячу мужей обижу».

Мать на это так сказала:
«Отчего ж ты так расстроен?
Может, конь твой был охаян,
жеребец твой был осмеян?
Если конь твой был охаян,
жеребца купи получше
на запас, отцом нажитый,
батюшкой твоим добытый!»

Отвечает Лемминкяйнен:
«Ой ты, матушка родная!
Если кто коня охает,
осмеять его посмеет,
сам хозяев тех охаю,
осмеять и сам сумею
всех мужей с их жеребцами,
всех героев с их конями».
Мать на это отвечает:
«Отчего же ты в печали,
в настроенье невеселом

возвращаешься из Похьи?
Может, высмеяли жены,
на смех подняли девицы?
Если высмеяли жены,
на смех подняли девицы,
их ославить тоже можно,
высмеять в любое время!»
Отвечает Лемминкяйнен:
«Ой ты, матушка родная!
Если б высмеяли жены,
на смех подняли девицы,
сам бы высмеял хозяек,
на смех поднял бы служанок,
сотню женщин осрамил бы,
тысячу других ославил».

Мать на это отвечает:
«Что с тобой, мой сын, случилось,
что случилось, приключилось
в дни твоей поездки в Похью?
Может, переел на свадьбе,
лишнего немного выпил,
отчего в постели ночью
сны ужасные увидел?»

Тут беспечный Лемминкяйнен
вымолвил слова такие:
«Пусть разгадывают бабы
сновидения ночные.
Сам ночные сны я помню,
а тем более — дневные.
Ой, родная мать-старушка!
Собери еду в котомку,
в торбу положи мучицы,
заверни в тряпицу соли!
Должен я бежать из дому,

край родимый свой оставить,
золотой свой дом покинуть,
дорогое мне жилище:
Похьела мечи готовит,
точит копья боевые».

Мать тогда ему сказала,
так настойчиво спросила:
«Почему мечи готовит,
точит копья боевые?»

Отвечает Лемминкяйнен,
говорит красивый Кавко:
«Потому мечи готовит,
точит копья боевые,
на мою погибель точит,
на мою беду шлифует.
Так случилось, приключилось
во дворе суровой Похьи:
мной убит владелец Похьи,
сам хозяин мной погублен.
Поднялась на битву Похья,
гиблый край восстал всем войском,
на меня пошел войною,
на беспомощного мужа».
Мать на это отвечала,
так сыночка упрекала:
«Разве я не говорила,
разве я не умоляла,
разве я не запрещала
в Похьелу ходить на свадьбу?
Если б ты меня послушал,
в доме матери остался,
под крылом своей родимой,
у родительницы старой —
не было бы этой битвы,

не случилось бы сраженья.

Ты куда ж теперь, сыночек,
мой сынок, моя кровинка,
где спасешься от возмездья,
спрячешься от наказанья,
чтобы голову не сняли,
чтобы с шеи не срубили,
чтобы чуба не лишили,
не сгубили нежных прядей».
Отвечает Лемминкяйнен:
«Я того не знаю места,
где свое найду спасенье
от возмездья за проступки.
Ой ты, матушка родная,
где советуешь укрыться?»

Мать сыночка так учила,
так учила, говорила:
«Где укрыться, я не знаю,
где укрыться, притаиться.
На горе сосною станешь,
можжевелом на опушке,
смерть тебя и там настигнет,
ждет тебя и там кончина:
на горе сосну нередко
на щепу и дранку рубят,
очень часто можжевельник
на ограды вырубают.
Коль в логу березой станешь
или в рощице — ольхою,
смерть тебя и там настигнет,
ждет тебя и там кончина.
Ведь болотную березу
на дрова нередко рубят,
очень часто и ольшаник

под нови́ну[180] вырубают.

Ягодкой пойдешь на горку,
станешь на холме брусничкой,
в отчем крае земляничкой,
на чужой земле черничкой,
смерть тебя и там настигнет,
ждет тебя и там кончина:
подберут в лукошко девы,
юные возьмут в корзинку.

Устремишься щукой в море,
скроешься сигом в потоке,
смерть и там тебя настигнет,
ждет тебя и там кончина:
юный муж, рыбак чумазый,
там свои поставит сети,
невод юные потянут,
сеткой старики поймают.

Обернешься волком в дебрях
иль в тайге медведем станешь,
смерть и там тебя настигнет,
ждет и там тебя кончина:
юный муж, стрелок чумазый,
заострит свой верный дротик,
чтоб в лесу прикончить волка,
завалить в тайге медведя».
Тут беспечный Лемминкяйнен
слово молвил, так заметил:
«Знаю сам места дурные,
непригодные укрытья,
где попал бы в лапы смерти,
где б меня нашла кончина.
Матушка моя, пестунья,
ты, вскормившая сыночка,

укажи мне, где укрыться,
где укрыться, затаиться.
Смерть уже в глаза мне смотрит,
гибель бродит перед носом,
только день один остался,
да и то едва ли полный».
Вот тогда-то мать родная
Лемминкяйнену сказала:
«Неплохое знаю место,
назову приют приятный,
где укрыться лиходею,
где злодею схорониться:
помню я земли полоску,
ведаю надел укромный,
клок земли неразоренной,
край, не тронутый мечами.
Поклянись священной клятвой,
безобманной, нерушимой:
шесть годов и даже десять
не ходить в поход военный,
хоть и серебра захочешь,
хоть и золота возжаждешь!»
Молвил славный Лемминкяйнен:
«Клятвою клянусь священной
не ходить ни летом первым,
ни вторым, ни третьим летом
в те великие сраженья,
в шум и звон мечей могучих.
На спине еще изъяны,
на груди — большие раны
от моих недавних игрищ,
от моих сражений прежних,
на больших холмах военных,
на геройском поле брани».

Лемминкяйнену родная

так промолвила, сказала:
«Ты возьми корабль отцовский,
уплывай скорей в укрытье,
за девять морей широких,
за десятое полморя,
на морской далекий остров,
на затерянную лу́ду[181]!
Там отец твой укрывался,
там спасался, хоронился
в годы грозные сражений
от безжалостных гонений.
Любо было там спасаться,
проводить чудесно время.
Год — другой ты там побудешь,
возвратишься уж на третий,
на знакомый двор отцовский,
к материнскому причалу!»

Песнь двадцать девятая

Лемминкяйнен отправляется на парусной лодке за море и благополучно прибывает на остров, с. 1–78. — Он там слишком смело ведет себя со всем женским населением, и рассерженные мужчины решают убить его, с. 79–290. — Лемминкяйнен пускается в бегство и покидает остров, как к своему большому огорчению, так и к огорчению девиц, с. 291–404. — Сильная буря на море разбивает корабль Лемминкяйнена, но сам он спасается, добравшись вплавь до берега, где ему дают новую лодку, и на ней он прибывает к родным берегам, с. 405–452. — Найдя сожженным свой дом и опустошенной всю округу, он плачет и сокрушается, предполагая, что убита и его мать, с. 453–514. — Однако оказывается, что мать жива, поселилась на новом месте, в глухой корбе, где Лемминкяйнен, к своей великой радости, и находит ее, с. 515–546. — Мать рассказывает, как люди Похьелы напали и сожгли дотла все дома. Лемминкяйнен обещает построить новые, еще лучше прежних, и отомстить Похьеле за причиненные страдания. Он рассказывает матери о своей прежней веселой жизни на острове, где он прятался, с. 547–602.

Вот беспечный Лемминкяйнен,
сам красавец Кавкомьели,
взял еды в мешок дорожный,
масла летнего — в масленку,
взял он масла на год целый,
на второй — набрал свинины.
Вот он прятаться пустился,
бросился искать укрытья.
Так сказал он, так промолвил:
«Убываю, убегаю,
на три лета удаляюсь,
на пять лет иду в укрытье.
Пусть сожрут всю землю черви,
пролежат все рощи рыси,
вытопчут поля олени,
гуси обживут кули́ги[182].
Матушка, прощай, родная!
Как народ нагрянет Похьи,
края темного орава,
головы моей запросит,
ты скажи: давно уж отбыл,
сразу же ушел из дому,
как подсеку подготовил,
где уже снята и жатва.»
Лодку на воду поставил,
на волну спустил кораблик
со стальных катков для лодки,
с медных стапелей для судна.
Паруса на мачте поднял,
полотняные расправил,
на корме уселся лодки,
примостился на сиденье,
опираясь на правило,
на могучее кормило.
Так сказал он, так промолвил,
произнес такое слово:

«Надувай мой парус, ветер,
суховей, гони кораблик!
Пусть несется струг сосновый,
мчится мяндовая лодка
на пустой, безмолвный остров,
безымянный мыс туманный!»

Ветер лодочку качает,
вдаль подталкивают волны
по широким водам ясным,
по открытому пространству.
Так два месяца качает,
колыхает третий месяц.

На мыске сидели девы,
у морской равнины синей.
Все смотрели, все глядели,
с моря взоров не сводили.
Та ждала родного брата,
эта — батюшку родного.
Пуще всех ждала девица,
та, что жениха встречала.

Кавко был далеко виден,
лодка Кавко — даже дальше:
словно облако большое
между небом и водою.
Девы острова гадают,
девы мыса размышляют:
«Что-то странное на море,
необычное — на волнах.
Если ты корабль знакомый,
лодка парусная — наша,
повернись к родному дому,
носом — к островным причалам,
чтоб мы новости узнали,

с берегов далеких вести,
в мире ли живут поморы
иль страдают от гонений».

Ветры парус раздували,
волны моря лодку гнали.
Вот беспечный Лемминкяйнен
лодку к берегу причалил,
подогнал корабль свой к луде,
к краю острова чужого.

Так сказал, когда причалил,
так спросил, едва лишь прибыл:
«Здесь на острове найдется ль,
есть ли тут земли полоска,
чтобы челн поднять на сушу,
чтобы лодку опрокинуть?»
Девы острова сказали,
молвили красотки мыса:
«Здесь, на острове, найдется,
сыщется земли полоска,
чтобы челн поднять на сушу,
чтобы лодку опрокинуть:
гавани у нас просторны,
стапелями берег полон,
приходи хоть с сотней лодок,
с тысячей челнов являйся».
Тут беспечный Лемминкяйнен
лодку вытянул на сушу,
на катки корабль поставил,
сам сказал слова такие:
«Здесь на острове найдется ль,
есть ли тут земли полоска,
чтобы слабый муж укрылся,
малосильный схоронился,
спрятался от шума битвы,

грохота мечей могучих?»
Девы острова сказали,
молвили красотки мыса:
«Здесь, на острове, найдется,
сыщется земли полоска,
чтобы слабый муж укрылся,
малосильный схоронился.
Есть тут крепости большие,
есть просторные подворья,
хоть бы сто пришло героев,
хоть бы тысяча явилась».
Тут беспечный Лемминкяйнен
слово молвил, так заметил:
«Здесь, на острове, найдется ль,
есть ли тут земли полоска,
березняк хотя бы малый
иль другой земли немного,
чтоб подсеку подготовить,
сделать добрую новину?»

Девы острова сказали,
молвили красотки мыса:
«Не найдется в этом крае,
нету здесь такого места,
чтобы лечь хотя б на спину,
или ржи посеять меру,
чтоб подсеку подготовить,
сделать добрую новину:
поделен на клинья остров,
на полоски мыс нарезан,
каждый клин на жребий выдан
каждый луг в суде оспорен».
Так промолвил Лемминкяйнен,
так спросил красивый Кавко:
«Здесь, на острове, найдется ль,
есть ли тут земли полоска,

где б свои пропеть напевы,
длинные исполнить песни.
На устах слова уж тают,
на язык приходят сами».

Девы острова сказали,
молвили красотки мыса:
«Здесь на острове найдется,
сыщется земли полоска,
где споешь свои нам песни,
лучшие свои напевы,
рощи есть для хороводов,
есть поляны для веселья».
Тут беспечный Лемминкяйнен
чародействовать принялся:
во дворы напел рябины,
у домов дубы поставил,
ветви ровные на дубе,
желудь на любой из веток,
с золотым колечком каждый,
на любом кольце кукушка.
Лишь кукушка закукует,
брызнет золото из зева,
медь польется с подбородка,
серебро из клюва птицы
на серебряный пригорок,
золотое возвышенье.
Распевает Лемминкяйнен,
распевает, заклинает:
жемчугом песчинки сделал,
каждый камешек — блестящим,
сделал красными деревья,
золотистыми — цветочки.

Распевает Лемминкяйнен,
средь двора напел колодец,

сверху — крышку золотую,
ковшик золотой — на крышку,
чтобы братья пили воду,
чтобы сестры умывались.

На лугу напел озерко,
на озерко — синих уток,
златобровых, сребролобых,
меднопалых, меднолапых.

Девы Сари изумлялись,
молодые восхищались
Лемминкяйнена заклятьям,
волхвованиям героя.
Молвил славный Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Спел бы песню и получше,
покрасивей бы исполнил,
если бы я пел под крышей,
за столом сидел широким.
Коль избы мне не предложат,
в доме не дадут мне места,
унесу слова в чащобу,
песни вывалю в кустарник».
Девы острова сказали,
молвили красотки мыса:
«Есть изба у нас для гостя,
для тебя найдется место —
принести слова со стужи,
с улицы доставить песни».

Вот беспечный Лемминкяйнен,
сразу, как вошел в жилище,
кружки создал заклинаньем
на конце стола большого,
кружки, налитые пивом,

медом полные кувшины,
миски доверху со снедью,
чаши до краев с едою:
вволю было в кружках пива,
меда доброго — в кувшинах,
про запас для гостя — масла,
да к тому же и свинины,
чтоб наелся Лемминкяйнен,
насладился Кавкомьели.
Только Кавко — слишком гордый:
ни за что он есть не станет
без ножа, без золотого,
что с серебряною ручкой.

Нож из золота он создал,
нож с серебряною ручкой.
Вот насытился, наелся,
пива доброго напился.

Стал беспечный Лемминкяйнен
заходить во все деревни,
веселиться в хороводах,
в играх девушек красивых.
Голову лишь повернет он —
уж его целуют в губы,
руку лишь слегка протянет,
хлопают по ней ладошкой.

По ночам ходил к девицам,
в темноте ночной — к красоткам.
Не было такой деревни,
что без десяти подворий,
не было такого дома,
что без десяти красавиц,
не было такой девицы,
матери любимой дочки,
с кем бы рядом не ложился,

чьей руки не утомил бы.

Тысячу невест познал он,
целых сотню вдов утешил.
Не сыскать и двух в десятке,
даже в сотне — трех красавиц,
чтоб с девицей не сошелся,
с вдовушкою не обнялся.

Так беспечный Лемминкяйнен
поживал себе тихонько,
так провел три лета целых
в тех больших селеньях Сари.
Всех порадовал красавиц,
всех он вдовушек утешил,
лишь одну не приголубил
деву старую, бедняжку,
в той избе на длинном мысе,
в том селении десятом.

Он хотел уже вернуться,
в край родимый возвратиться,
дева старая явилась,
молвила слова такие:

«Милый Кавко, муж красивый!
Если ты меня обидишь,
на пути обратном к дому
наведу твой челн на камни».
С петухами не проснулся,
не поднялся с птицей ранней,
чтобы женщину потешить,
деву старую уважить.

Вот однажды днем прекрасным,
вечером одним чудесным

встать до петухов поклялся,
до того как месяц встанет.

Встал же и того пораньше,
до обещанного срока.
Вот уже и в путь пустился,
пошагал через деревни,
чтобы женщину утешить,
деву старую уважить.
Пробираясь среди ночи,
проходя через деревни
к той избе на длинном мысе,
в ту десятую деревню,
не видал двора такого,
чтоб три дома не стояло,
не видал такого дома,
чтоб три мужа в нем не жило,
не видал такого мужа,
кто бы не точил секиры,
не вострил меча стального
на погибель Кавкомьели.

Вот беспечный Лемминкяйнен
слово молвил, так заметил:
«Вот уже и солнце встало,
милое взошло светило,
на мою погибель встало,
невезучему — на горе.
Разве только Лемпо спрячет,
под своим плащом укроет,
утаит под покрывалом,
под своей спасет накидкой
одного, коль сто насядет,
тысяча мужей нагрянет.

Многих он еще не обнял,
обнятых не приголубил.

Вот уже бежит к причалу,
к своему челну стремится:
лодку в пепел превратили,
искры по ветру пустили.

Понял: гибель подступает,
день его приходит черный.
Строить стал другую лодку,
новый челн тесать принялся.

Только теса не хватало,
досок не было для лодки.
Раздобыл немного теса,
приобрел маленько досок:
пять обломков веретенца,
целых шесть осколков шпульки.

Лодочку другую сделал,
новенький челнок построил,
лодку создал чародейством,
сбил на стапеле заклятий.
Раз ударил — борт родился,
два ударил — вырос новый,
третий раз еще ударил —
лодка полностью готова.

Лодку на́ воду поставил,
на волну спустил кораблик.
Слово молвил, так заметил,
высказал слова такие:
«Пузырем плыви по морю,
по волнам скользи кувшинкой.
Дай, орел, мне, дай мне, ворон,
три и два пера для лодки,
укрепить челна плавучесть,
высоты бортам прибавить!»

Вот проходит он на судно,
на корму челна садится,
опечаленный, понурый,
в шлеме, сдвинутом на брови:
не бывать уже ночами,
больше днем не веселиться
в играх девушек прекрасных,
в хороводе длиннокосых.
Так промолвил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Время парню отправляться,
уходить пора настала
от девичьих хороводов,
игрищ девушек прекрасных.
Как отсюда я отбуду,
как покину эти избы,
радость кончится девичья,
щебетанье прекратится
в этих избах никудышных,
на подворьях горемычных».

Вот уж плакали девицы,
девы острова вздыхали:
«Почему бежишь ты, Кавко,
женихам жених, уходишь,
или девы здесь святоши,
или жен тебе здесь мало?»

Молвил славный Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Девы вовсе не святоши,
жен услужливых хватает!
Мог иметь хоть сотню женщин,
молодых девиц — хоть тыщу.
Потому ушел я, Кавко,

потому, жених, уехал,
что соскучился по дому,
по земле своей родимой,
по домашней земляничке,
по малинникам знакомым,
девушкам земли родимой,
курочкам двора родного».

Тут беспечный Лемминкяйнен
свой корабль выводит в море.
Дунул ветер, лодку стронул,
вал нахлынул, лодку двинул
на хребет просторов синих,
на открытое пространство.
Девушки сидят у моря,
на камнях прибрежных плачут,
девы острова рыдают,
жалуются, золотые.

Долго девушки рыдали,
девы мыса горевали,
был покуда виден парус,
сталь уключины сверкала.
Не о парусе тужили,
не о мачте тосковали —
о сидевшем возле мачты,
о поднявшем этот парус.
Лемминкяйнен также плакал,
сильно плакал, убивался,
был покуда виден остров,
вдалеке холмы синели.
Не об острове он плакал,
горевал не о пригорках:
плакал по девицам нежным,
по голубкам на пригорках.

Вот беспечный Лемминкяйнен
по морским плывет просторам.
День — в пути, другой — в дороге,
вот на третий день однажды
поднялся могучий ветер,
возмутился край небесный,
зашумел северо-запад,
загудел восточный ветер,
борт сорвал, другой отринул,
лодку вовсе опрокинул.
Сам беспечный Лемминкяйнен
угодил из лодки в воду,
пальцами грести принялся,
молотить в воде ногами.

Плыл и день, и два по морю,
греб руками, бил ногами,
увидал на небе тучку,
облачко — у края моря.
Вот оно землею стало,
тучка мысом обернулась.

Он поднялся в дом на мысе,
за стряпней застал хозяйку,
за катаньем теста — дочек:
«Ой ты, славная хозяйка!
Если бы ты только знала,
как я голоден, бедняжка,
ты б в амбар пустилась вихрем,
понеслась за пивом в погреб,
принесла бы кружку пива,
прихватила бы свинины,
бросила б на сковородку,
сверху масла положила,
чтобы муж поел голодный,
жажду утолил усталый.

Плыл я дни и плыл я ночи
по волнам морских просторов,
были ветры лишь опорой,
волны были мне поддержкой».

Эта славная хозяйка
кинулась в амбар на горке,
набрала в кладовке масла,
прихватила и свинины,
бросила на сковородку,
чтобы муж поел голодный,
принесла для гостя пива,
чтобы утолил он жажду.
Новый челн дала герою,
свой корабль почти готовый:
пусть плывет в края родные,
пусть на родину вернется.

Вот беспечный Лемминкяйнен,
в край родимый возвратившись,
берега узнал родные,
все проливы, все заливы,
старые узнал причалы,
прежние свои тропинки,
все узнал на взгорьях сосны,
на холмах родимых — ели,
лишь узнать не может места,
где родные были стены.
Там, где дом стоял когда-то,
стал черемушник на горке,
на холме — лесок сосновый,
можжевельник — у колодца.

Так промолвил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Вот дубрава, где я бегал,

скалы, по которым прыгал,
вот поляна, где резвился,
вот межа, где кувыркался.
Дом родной куда ж девался,
где изба с красивой кровлей?
Дом сожжен дотла, до пепла,
пепел по ветру развеян!»

Вот тогда герой заплакал.
Плакал день, другой проплакал,
не по дому, бедный, плакал,
горевал не по амбарам,
по родительнице плакал,
хлопотавшей в тех амбарах.

В небе птицу он увидел,
в воздухе орла заметил,
стал выведывать у птицы:
«Ты, орел мой, птица неба,
не сумеешь ли ответить,
где теперь моя родная,
вы́носившая сыночка,
выкормившая героя?»

Ничего орел не помнит,
глупая не знает птица.
Знает, будто бы скончалась,
ворон помнит, что погибла,
что мечом ее сразили,
что секирой порубили.

Так промолвил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Мать, красавица родная,
милая моя пестунья,
ты уже ушла, родная,

милая, уже угасла,
ты уже землею стала,
над тобою вырос ельник,
встал на пятках можжевельник,
поднялся ивняк меж пальцев.

Тем я вызвал месть, бедняга,
заслужил расплату, жалкий,
что померился мечами,
что пришел с клинком красивым
на дворы далекой Похьи,
на поляны Пиментолы,
на беду родному роду,
матушке своей на гибель!»
Повернулся, осмотрелся,
чей-то след едва был виден:
чуть трава ногой примята,
сломан стебель вересковый.
Начал он искать дорогу,
стал разыскивать тропинку,
повела тропа в лесочек,
стежка в чащу поманила.

Вот прошел версту, другую,
одолел пути немного,
в чащу темную заходит,
в пазуху могучей корбы.
Баню тайную увидел,
потаенный домик в чаще,
между двух больших утесов,
среди трех дремучих елей,
там родную мать увидел,
добрую свою пестунью.

Тут беспечный Лемминкяйнен
оживился, ободрился,

вымолвил слова такие,
произнес такие речи:
«Ой ты, милая пестунья,
ты, кормилица родная!
Ты еще жива, родная,
старшая моя, здорова?
Думал я, что ты угасла,
навсегда уже исчезла,
от меча навек погибла,
от копья лишилась жизни!
Я глаза свои проплакал,
весь осунулся от горя».
Мать приветливо сказала:
«Я еще жива покуда,
хоть пришлось спасаться бегством
от гонителей коварных,
чтоб укрыться в этих дебрях,
в пазухе могучей корбы.
Похьела пришла войною,
в драку ринулась орава,
на тебя напасть хотела,
на несчастного героя:
все дома дотла спалила,
все дворы с землей сравняла».

Молвил славный Лемминкяйнен:
«Ой ты, матушка родная,
не горюй теперь об этом,
не горюй и не печалься,
новые дома поставим,
выстроим получше прежних.
Похьелу возьмем войною,
изведем народ бесовский».

Мать ему тогда сказала,
так промолвила родная:

«Долго пропадал сыночек,
долго пребывал, мой Кавко,
в неродных краях и землях,
у чужих дверей далеких,
там на мысе безымянном,
там на острове безвестном».
Так промолвил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Было там совсем неплохо,
пребывать приятно было,
красной медью бор светился,
медью — бор, земля — лазурью,
серебром блестели ветви,
золотом — цветущий вереск.
Были там холмы из меда,
из яиц куриных — скалы.
Медом елки истекали,
молоком — сухие сосны,
маслом — в изгородях жерди,
пивом — колья у заборов.

Было там совсем неплохо,
пребывать приятно было.
Жизнь лишь тем была неважной,
странным было пребыванье,
что за девушек боялись,
за бездельниц опасались,
за своих дурных толстушек,
колобочков непутевых,
думали, что обижаю,
по ночам их навещаю.
Я же девушек дичился,
Похьи дочерей боялся,
как свиней боятся волки,
куриц ястребы страшатся».

Песнь тридцатая

Лемминкяйнен отправляется на корабле вместе со своим старым соратником Тьерой воевать против Похьелы, с. 1–122. — Хозяйка Похьелы посылает навстречу им сильный холод, который замораживает корабль во льдах среди моря. Заморозил бы он на корабле и самих героев, если бы Лемминкяйнен не заставил его своими мощными заклятьями отступиться, с. 123–316. — Лемминкяйнен со своим товарищем добирается по льду до берега, долго бредет в плачевном состоянии по глухомани, пока, наконец, не попадает в родные края, с. 317–500.

Юный Ахти, сын любимый,
сам беспечный Лемминкяйнен,
как-то рано, на рассвете,
как-то в утреннюю пору
к лодочным пошел причалам,
прямо к бухтам корабельным.

Плакал там челнок сосновый,
струг с железными крюками:

«Для чего же был я сделан,
вытесан с какою целью?
Ахти на войну не ходит,
шесть и десять лет не ездит,
хоть и серебра хотел бы,
хоть и золота желал бы».
Тут беспечный Лемминкяйнен
бьет по борту рукавицей,
вышитой своей дельницей,
говорит слова такие:
«Не горюй, челнок сосновый,
не печалься, борт высокий.
На войне ты побываешь,
попадешь на поле брани:
наберешь гребцов на лавки,
день лишь завтрашний минует».
К матери приходит в избу,
говорит слова такие:
«Ты ведь, мать, не станешь плакать,
сетовать, моя родная,
коль куда-нибудь отправлюсь,
коль пойду на поле брани, —
мысль на ум пришла такая,
дума в голову закралась:
Похьелы народ повергнуть,
наказать мужей коварных».
Мать противиться пыталась,
сына остеречь хотела:
«Не ходи, мой сын родимый,
на войну с коварной Похьей!
Там найдешь свою погибель,
там кончину повстречаешь».

Что для Ахти уговоры!
Все-таки надумал ехать,
в путь отправиться решился.

Слово молвил, так заметил:
«Где найду еще героя,
воина с мечом отменным,
чтоб у Ахти был помощник,
был у сильного соратник.

Тьера мужеством известен,
Кура битвами прославлен.
Вот где я возьму героя,
воина с мечом отменным,
чтоб у Ахти был помощник,
был у сильного соратник».
Пошагал он по деревне,
по дороге — к дому Тьеры.
Так сказал, придя на место,
так промолвил, объявившись:

«Дорогой приятель Тьера,
друг единственный сердечный!
Вспомни времена былые,
годы нашей прежней жизни,
как с тобой ходили прежде
на поля больших сражений.
Не было такой деревни,
что без десяти подворий,
не было такого дома,
что без десяти героев,
не было такого мужа,
не было того героя,
чтоб его мы не сразили,
чтоб вдвоем не одолели».

Под окном отец трудился,
древко для копья готовил,
мать в амбаре на пороге
маслобойкой громыхала,

братья у ворот возились,
сани братья мастерили,
на конце мостков сестрицы
ткань суконную катали.

Под окном отец промолвил,
так сказала мать с порога,
изрекли в воротах братья,
на конце мостков — сестрицы:
«На войну не время Тьере,
пике Тьеры — не до битвы!
Уговором связан Тьера,
вековечным соглашеньем:
Тьера только что женился,
взял хозяйку молодую,
не успел соски пощупать,
утомить девичьи груди».

Услыхал на печке Тьера,
Кура — на краю лежанки:
на печи обул он ногу,
на конце скамьи — другую,
опоясался в воротах,
ядом змея окропился,
подхватил свой верный дротик,
дротик не из самых длинных,
не из самых и коротких.
Было то копье из средних:
на конце стоит жеребчик,
конь качается на пике,
воет волк на сочлененье,
рявкает медведь косматый.

Повертел, пощупал дротик,
покрутил, потрогал пику:
в луг вонзил копье на сажень,

вбил в суглинистую пожню,
где клочка травы не видно,
нет и кочки ни единой.
Уложил свой дротик Тьера
в лодке между копий Ахти,
так подался в путь-дорогу,
стал соратником героя.

Тут уж Ахти Сарелайнен
свой челнок столкнул на воду —
лодка, как змея, скользнула,
как в сухой траве гадюка.
Он повел корабль на север,
в море Похьелы направил.

Вот тогда хозяйка Похьи
лютый холод напустила,
стужу навела на море,
на морской простор открытый.

Так сама проговорила,
так сказала, повелела:
«О, Мороз, сынок мой меньший,
выращенный мной красавец!
Поспешай, куда направлю,
мчи, куда я надоумлю!
Заморозь на море лодку,
Лемминкяйнена кораблик
посреди хребта морского,
на морском просторе вольном!
Заморозь и морехода,
в крепкий лед закуй героя,
чтоб не выбрался вовеки,
до скончанья дней не вышел,
если не приду на помощь,
вызволять сама не стану».

Тот Мороз, малыш зловредный,
этот мальчик худородный,
вышел в путь морозить море,
леденить морские волны.
Находясь еще в дороге,
по земле еще шагая,
отгрызал с деревьев листья,
колоски — со всех травинок.

Вот когда на место прибыл,
к краю северного моря,
к берегам морских просторов,
тотчас, самой первой ночью,
застудил заливы, ламбы,
берега сковал морские,
лишь не тронул середины,
в море зыбь не заморозил.
Даже зяблику средь зыби,
трясогузке среди моря
стужей коготков не тронул,
головы не заморозил.

Только лишь второю ночью
стал огромным, стал суровым,
стал Мороз не в меру наглым,
вырос в лютого злодея,
стужею весь мир заполнил,
стал нещадно все морозить:
толще локтя льда наделал,
с палку лыжную — пороши,
лодку Ахти приморозил,
приковал корабль героя.

Стал уже студить и Ахти,
мужа смелого морозить,

вот уже хватает ногти,
пальцы на ногах кусает.
Рассердился Лемминкяйнен,
рассердился, прогневился,
затолкал злодея в пламя,
в горн для выплавки железа.

Пообмял бока Морозу,
в кулаках потискал стужу,
высказал слова такие,
речь над ним такую молвил:
«Ты, Мороз, дитя Метели,
сын зимы, все леденящей,
ты моих ногтей не трогай,
пальцев на ногах не щупай,
не хватай меня за уши,
к голове не прикасайся.

Много что морозить можно,
много что студить найдется.
Ты не трогай плоть живую,
тело — женщиной рожденных.
Застужай болота, земли,
замораживай каменья,
сковывай морозом ивы,
у осин студи наросты,
ледени кору березы,
ель в лесу грызи зубами,
лишь живых людей не трогай,
кожи — женщиной рожденных.
Если этого не хватит,
что-то выбери покрепче:
застуди горячий камень,
полыхающие глыбы,
заморозь стальные скалы,
гор железные утесы,

бешеный порог на Вуоксе,
Иматры поток противный,
глотку страшной преисподни,
пасть ужасной круговерти.

Может, весь твой род припомнить,
все твое происхожденье?
Знаю я твой род поганый,
все твое происхожденье:
родилась на ивах стужа,
на березах — непогода,
в Похьеле за крайним чумом,
за избою Пиментолы,
от отца, от лиходея,
от родительницы злобной.

Кто вскормил Мороз жестоким,
кто вспоил свирепым холод?
Мать грудей ведь не имела,
молоком не обладала —

молоком змея поила,
и поила, и кормила
грудью без сосков набухших,
выменем без жил молочных.
Ветер северный баюкал,
усыплял знобящий воздух,
на ручьях, заросших ивой,
на воде ключей болотных.
Вырос он прескверным сыном,
омерзительным ребенком.
Был он долго безымянным,
этот мальчик никудышный.
Наконец прозванье дали,
нарекли его Морозом.

Стал он по заборам лазить,
стал скакать по частоколам,
лето проводил в болоте,
на больших просторах топей,
зимами трещал в чащобах,
колобродил в хвойных дебрях,
в березняк вбегал со стуком,
средь ольшаника резвился,
застужал кусты, деревья,
делал ровными поляны,
отгрызал с деревьев листья,
с вереска срывал цветочки,
чешую — с коры сосновой,
отдирал от сосен щепки.
Думаешь, ты очень вырос,
стал уже таким могучим,
что меня студить решился,
уши вздумал мне морозить,
на ногах морозить пальцы,
на руках морозить ногти?

Ты меня не заморозишь,
застудить меня не сможешь:
угольков в чулки насыплю,
головешек кину в кенги,
пламенем обдам подолы,
под шнурки огонь подсуну,
чтоб мороз меня не тронул,
чтобы стужа не задела.

Загоню тебя заклятьем
на задворки длинной Похьи.
Вот когда домой прибудешь,
как придешь в места родные —
застуди котлы средь жара,
угли приморозь к загнетку,

руки стряпающей — к тесту,
юношу — к девичьей груди,
молоко — к сосцам овечьим,
жеребенка — к чреву матки.

Коль теперь не подчинишься,
загоню тебя заклятьем
в пышущие угли Хийси,
в огненную печку Лемпо,
затолкаю прямо в пламя,
положу на наковальню,
чтоб кузнец побил кувалдой,
молотом коваль постукал,
посильней побил кувалдой,
побольнее, посильнее.

Коль теперь не подчинишься,
не поддашься, не отступишь,
знаю я еще местечко,
сторону такую помню:
я тебя на юг отправлю,
отведу в жилище лета,
не уйдешь вовек оттуда,
до скончанья жизни жалкой,
если не приду на помощь,
сам спасать тебя не стану».

Вот Мороз, дитя Метели,
чувствует свою погибель,
просит для себя пощады,
говорит слова такие:
«Сговоримся полюбовно
не творить вреда друг другу
никогда на этом свете,
под луною золотою!

Коль еще морозить буду,
совершать дела дурные,
затолкни в огонь свирепый,
загони в лихое пламя,
к кузнецу, в очаг кузнечный,
к Илмаринену в горнило,
иль отправь на юг подальше,
отведи к жилищу лета,
чтобы не ушел вовеки,
до скончанья жизни жалкой».

Тут беспечный Лемминкяйнен
свой корабль во льдах бросает,
покидает челн военный,
сам пешком идет поспешно.
Тьера с ним вторым героем
тащится за мужем бойким.

Вот идет по ровной глади,
весело по льду шагает,
день шагает, два шагает,
вот на третий день однажды
замаячил мыс Голодный,
горемычная деревня.

К крепостной стене подходит,
говорит слова такие:
«Есть ли в этом замке мясо,
в крепости найдется ль рыба,
накормить народ усталый,
утомленный люд насытить?»
Не было в том замке мяса,
рыбы там не оказалось.
Так промолвил Лемминкяйнен,
так сказал красивый Кавко:
«Пусть сгорит дурная крепость,

пусть водою смоет замок!»
Сам дорогу продолжает,
вверх шагает к темной корбе,
по местам идет безлюдным,
по неведомым тропинкам.
Тут беспечный Лемминкяйнен,
тот красивый Кавкомьели,
со скалы настриг шерстинок,
с валунов надрал ворсинок,
навязал чулок из шерсти,
рукавичек наготовил
на места, что больше мерзнут,
что сильней боятся стужи.

Сам пошел смотреть дорогу,
направление разведать:
в лес дорога уводила,
в корбу приглашала тропка.

Молвит бойкий Лемминкяйнен,
говорит красивый Кавко:
«Ой ты, Тьера, славный братец!
Вот куда мы угодили,
вот куда навек попали,
погибать у края света!»

Тьера так ему ответил,
вымолвил слова такие:
«Мстить пошли мы, бедолаги,
мстить отправились, бедняги,
на войну пошли большую,
в сумрачную Сариолу —
вот и встретились с бедою,
с верной гибелью столкнулись
на местах поганых этих,
на неведомых тропинках.

Вот теперь уж и не знаем,
и не ведаем уж вовсе,
что за путь ведет нас дальше,
что за промысел торопит.
Погибать нам в синей корбе,
умирать на боровине,
где стервятники гнездятся,
где вороны обитают.

Коршуны клевать нас будут,
раздирать — дурные птицы:
то-то будет птицам мяса,
коршунам — горячей крови,
кушаний — вороньим клювам
из останков наших бренных.
Наши кости в кучи стащат,
отнесут к камням прибрежным.

Не узнает мать-бедняжка,
знать, родимая, не будет,
где же плоть ее плутает,
где скитается, кровинка,
то ли на войне великой,
в том сраженье равносильных,
то ли на морском просторе,
на его хребтах широких,
иль в бору по шишкам бродит,
продирается по чащам.

Мать не ведает родная
ничего о бедном сыне,
думает — сыночек умер,
думает — родной скончался.
Будет плакать мать о сыне,
причитать о бедном станет:

«Вот уже сынок родимый,
бедная моя опора,
засевает ниву Туони,
боронит поляны Калмы.
Без него теперь тоскуют,
без сыночка-бедолаги,
луки, что лежат без дела,
самострелы — без работы,
птицы, что в лесу жируют,
рябчики, что там порхают.
Могут вольно жить медведи,
лоси на полях валяться».

Молвит бойкий Лемминкяйнен,
говорит красивый Кавко:
«Ой ты, мать моя родная,
милая моя пестунья!
Ты цыплят взрастила стаю,
лебедей косяк вскормила.
Ветер налетел, рассеял,
Лемпо разбросал, рассыпал,
тех — сюда, других — далеко,
остальных — еще куда-то.

Помню времена былые,
вспоминаю дни получше,
как цветочками взрастали,
ягодками наливались.
Многие на нас дивились,
стройным станом любовались.
Здесь же, в это злое время,
в эту грустную годину,
нам знаком один лишь ветер,
только солнце — нам товарищ,
да и то закрыто тучей,
застлано дождя завесой.

Только я грустить не стал бы,
слишком сильно убиваться,
лишь бы девы веселились,
длиннокосые резвились,
лишь бы жены улыбались,
не печалились невесты,
не стенали бы от горя,
от тоски не умирали.

Нас волхвы не заколдуют,
не погубят, не увидят,
что в пути мы умираем,
угасаем на дороге,
в эту пору молодую,
в цвете лет мы погибаем.

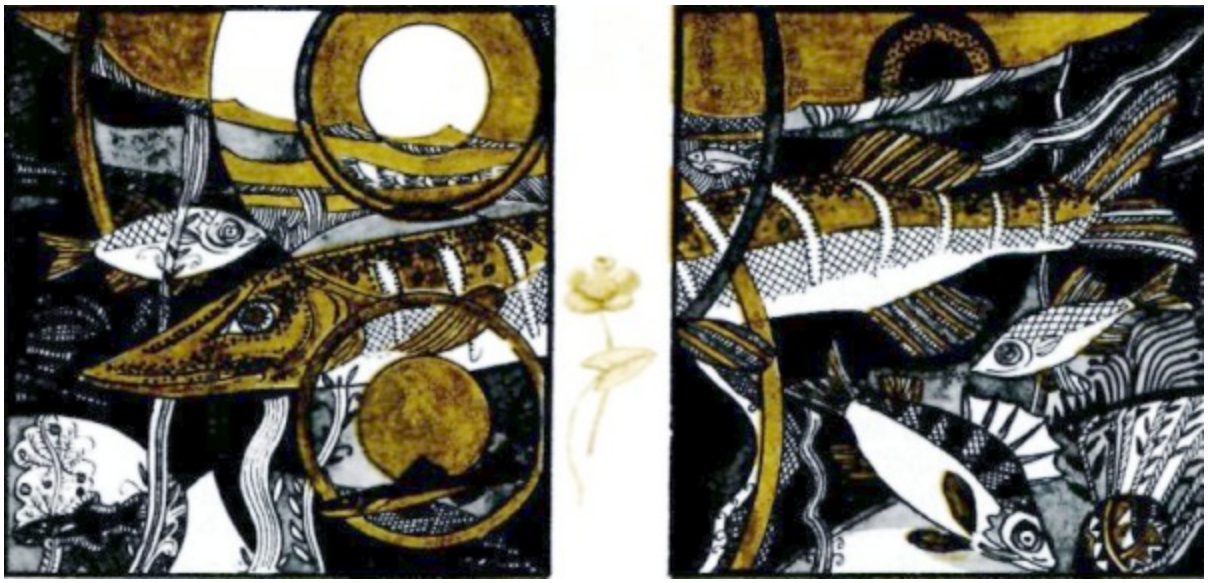
Все, что сделают провидцы,
чародеи наколдуют,
пусть у них случится дома,
приключится в их жилищах.
Колдовством себя пусть губят,
пусть морят своих детишек,
пусть свое изводят племя,
пусть родню уничтожают!

Никогда отец мой прежде,
никогда родитель старый
колдунам не поддавался,
не платил лапландцам дани.
Так родитель мой молился,
так я сам молюсь сегодня:
помоги, Творец небесный,
защити нас, Боже правый,
милосердною рукою,
властью собственной могучей

от мужских проделок хитрых,
от коварных бабьих козней,
злодеянья бородатых,
злоязычья безбородых!
Будь опорой неизменной,
будь хранителем надежным,
чтоб дитя с пути не сбилось,
чтобы не сошел сыночек
с созданной Творцом дороги,
с тропки, Богом проторенной».

Тут беспечный Лемминкяйнен,
сам красивый Кавкомьели,
лошадей напел из бедствий,
черных меринов из болей,
из тяжелых дней — уздечек,
сёдел — из проклятий тайных.
На коня вскочил лихого,
на могучий круп взобрался.
Едет он себе тихонько
вместе с Тьерой, лучшим другом,
звоном оглашая местность,
цоканьем — песчаный берег,
к матери своей родимой,
в дом к родительнице старой.
Здесь я оставляю Кавко,
здесь надолго покидаю.
Тьеру я домой направлю,
пусть идет к жилью родному.
Сам же песню я продолжу,
поведу другой стезею.

Песнь тридцать первая



Унтамо идет войною на своего брата Калерво и уничтожает его со всем его войском; из всего рода Калерво в живых остается только одна беременная женщина. Женщину уводят в Унтамолу, и там у нее рождается сын Куллерво, с. 1–82. — Уже в зыбке Куллерво мечтает отомстить Унтамо. Унтамо пытается разными способами убить его, но никак не может этого сделать, с. 83–202. -Подросший Куллерво портит любое порученное ему дело, и Унтамо, отчаявшись, продает его в рабство Илмаринену, с. 203–374.

Мать цыплят взрастила стаю,
лебедей косяк вскормила,
подняла цыплят на прясло,
лебедей свела на реку.
Налетел орел — рассеял,
курохват напал — рассыпал,
разогнал птенцов, крылатый,
в Карьялу унес цыпленка,
в землю русскую — другого,
третьего оставил дома.

Из того, что жил в России,
вырос человек торговый,
что был в Карьялу заброшен,
вырос Калерво[184] известный,
что на родине остался,
вырос Унтамо коварный,
своему отцу на горе,
на беду своей родимой.

Унтамо забросил сети
в воды Калервы однажды.
Калерво проверил сети —
рыбу в свой упрятал короб.
Унтамойнен, муж проворный,
обозлился, прогневился,
двинул пальцы грозным войском,
на войну ладони поднял,
начал ссору из-за рыбы,
из-за окуньков паршивых.
Вот дерутся, вот бранятся,
победить никто не может:
чем сильней один ударит,
тем больней другой ответит.
Все однажды повторилось,
через два-три дня, наверно,
Калерво овес посеял
позади жилища Унто.
Унтамо баран отважный
выел Калервы посевы,
Калервойнена собака
сожрала барана Унто.
Унтамойнен обратился
к брату Калерво с угрозой,
погубить весь род грозился,
пожилых убить и юных,

извести родню большую,
сжечь дотла жилище брата.
Дал мужам мечи на пояс,
храбрецам — оружье в руки,
пики дал юнцам зеленым,
топоры — мужам красивым.
На войну пошел большую
против собственного брата.

Калервы сноха сидела
у окошка на скамейке.
Выглянула из окошка,
так промолвила, сказала:
«То ли дым густой чернеет,
то ли облако темнеет
на краю полей родимых,
на конце прогонов новых?»

То не мгла темнеет в небе,
то не дым густой чернеет —
это Унтамо герои
грозною идут войною.
Унтамо пришли герои,
при мечах мужи явились,
войско Калерво разбили,
истребили род великий,
дом его дотла спалили,
полностью с землей сровняли.

Лишь одна осталась дева,
что была тогда на сносях.
Унтамойнена вояки
увезли к себе бедняжку,
чтоб в жилище убирала,
чтобы в доме подметала.

Времени прошло немного —
у девицы сын родился,
у бедняжки горемычной.
Имя дать ему какое?
Куллервойнен, — мать сказала,
Унтамо съязвил: Воитель!

Уложили тут мальчонку,
сиротинку поместили
в колыбельку колыхаться,
в люльку легкую качаться.

В люльке Куллерво[183] качался —
чуб от ветра развевался.
День качался, два качался,
вот на третий день нежданно
паренек брыкнул ногами,
отпихнулся, оттолкнулся,
разорвал свивальник крепкий,
выпростался из пеленок,
разломал на части забку,
тряпки изодрал в лохмотья.

Все нашли его пригодным,
посчитали подходящим.
Унтамола ожидала:
на ноги мальчишка встанет,
повзрослеет, возмужает,
станет раб могучим мужем,
может, сотню будет стоить,
может, тысячу, не меньше.
Два, три месяца взрослеет,
вот уже на третий месяц
мальчик до колена ростом,
так толкует, размышляет:
«Мне бы только стать повыше,

мне бы только стать покрепче!
Отомстил бы все обиды,
матери-отца — страданья!»

Унтамо, услышав это,
вымолвил слова такие:
«Вот она, погибель рода!
Новый Калерво родился!»

Унтамо мужи смекают,
женщины вокруг гадают:
подевать куда мальчишку,
смерть свою куда упрятать?

Сунем парня в полубочку,
затолкнем его в кадушку,
отнесем бочонок в воду,
на волну опустим кадку.
Посмотреть пришли, проведать, —
лишь минуло две, три ночи:
утонул ли мальчик в море,
умер ли ребенок в бочке?

Нет, не утонул мальчишка,
не погиб парнишка в бочке.
Вылез мальчик из кадушки,
на волну верхом уселся,
держит удочку из меди,
леску тонкую из шелка,
ловит парень рыбу в море,
воду в море измеряет:
только в море и водицы,
чтобы два ковша наполнить,
если поточней измерить, —
может, наберется третий,

Унтамойнен размышляет:
«Подевать куда мальчишку,
где бы смерть найти ребенку,
отыскать ему погибель?»
Повелел наемным слугам
нарубить берез огромных,
старых сосен стоветвистых,
смоляных кондовых кряжей,
чтобы сжечь в костре мальчонку,
чтобы с Куллерво покончить.

Наготовили, набрали
для костра берез высоких,
старых сосен сухостойных,
смоляных кондовых кряжей,
тысячу возов бересты,
ясеня саженей сотню.
Под дрова пустили пламя,
на костер огнем плеснули,
мальчика в огонь швырнули,
прямо в середину пекла.

День горит, второй пылает,
вот уже горит и третий.
Посмотреть костер явились:
мальчик, в пепле по колено,
до локтей в горящих углях,
с кочергой в костре играет,
пламя в пекле раздувает,
в кучу угли собирает.
Даже прядка не сгорела,
волосок не подпалился.

Унтамо все больше злится:
«Подевать куда мальчишку,
где бы смерть найти ребенку,
где сыскать ему погибель?»

На березе надо вздернуть,
на дубу его повесить!

Ночь проходит, две проходит,
столько же и дней минует.
Унтамойнен размышляет:
«Посмотреть пора настала.
Может, сгинул Куллервойнен,
может быть, на дубе умер?»

Посмотреть раба отправил,
тот назад приходит с вестью:
«Куллерво еще не сгинул,
не погиб в петле мальчишка.
На стволе он что-то чертит,
острый гвоздь в ручонке держит —
дерево полно рисунков,
полон дуб узоров разных:
без мечей мужи, с мечами,
есть и с копьями герои».

Ничего не может сделать
с этим мальчиком зловредным.
Смерть какую ни готовит,
ни придумывает гибель,
мальчик все не умирает,
смерти в пасть не попадает.

Унтамо вконец извелся
смерть придумывать мальчишке.
Вырастить его придется,
батраком своим оставить.

Молвил слово Унтамойнен,
так сказал он, так заметил:
«Если будешь ты послушным,

если ты покорным станешь,
разрешу остаться в доме,
батрака справлять работы.
Плату я поздней назначу
по работе, по заслугам:
может, дам красивый пояс,
может, — кулаком по уху».

Только вырос Куллервойнен,
на вершок всего поднялся,
уж ему дают работу,
уж занятие находят —
малое дитя баюкать,
нянчить крошку с пальчик ростом.
«Нянчи ласково ребенка.
Дашь поесть и сам покушай.
Постирай пеленки в речке,
вымой детские одежки!»

День и два ребенка нянчил:
вырвал руку, вырвал око,
наконец, уже на третий,
хвори дал убить ребенка,
речке — унести пеленки,
дал огню спалить качалку.

Унтамойнен размышляет:
«Не годится этот парень
малое дитя баюкать,
нянчить крошку с пальчик ростом.
Где ж найти ему работу,
поручить какое дело?
Не послать ли на подсеку?»
Лес валить послал мальчишку.

Куллервойнен, Калервойнен,
тут сказал слова такие:

«Тотчас я мужчиной стану,
как топор дадут мне в руки,
стану я тогда красивей,
прежнего намного лучше,
пятерых я буду стоить,
шестерых мужей могучих».
К кузнецу пошел он в кузню,
так сказал он, так промолвил:
«Ой ты, братец мой, кователь!
Выкуй мне топор добротный!

Скуй косáрь[185], достойный мужа,
по работнику — секиру.
Я пойду рубить подсеку,
стройные крушить березы».

Выполнил заказ кователь,
смастерил топор отменный.
Был косарь достоин мужа,
по работнику — секира.

Куллервойнен, Калервойнен,
свой топор точить принялся.
Целый день топор шлифует,
тешет вечер топорище.

Принялся рубить подсеку
на горах — сосняк высокий,
крепкостволый бор корежить,
рушить сосны строевые.
Топором срубал деревья,
острым лезвием — лесины,
толстые — одним ударом,
тонкие — и с пол-удара.

В злобе пять срубил деревьев,

в гневе повалил все восемь.
Сам сказал слова такие,
так сказал он, так промолвил:
«Пусть работает здесь Лемпо,
пусть деревья валит Хийси!»
Куллерво на пень взобрался,
крикнул зычно, громозвучно,
свистнул, гикнул громогласно.
Так сказал, такое молвил:
«Пусть поляжет лес дотуда,
стройная падет береза,
крик докуда будет слышен,
свист докуда донесется!

Пусть не вырастут побеги,
пусть не встанут стебли злаков
никогда уже вовеки,
лунный свет пока сияет,
там, где Куллерво подсека,
Калервойнена кулига!

Если все же встанут всходы,
если и взойдут посевы,
новые ростки окрепнут,
стебельки свои упрочат,
пусть не выпустят колосьев,
не дадут колосья зерен».
Унтамойнен, муж проворный,
посмотреть идет подсеку,
Калервойнена работу,
нового раба пожогу:
не похожа на пожогу
мужа юного подсека.

Унтамойнен размышляет:
«Ну, какой же он работник!

Лес добротный перепортил,
лес добротный, бор кондовый.
Где рабу найти работу,
дать ему какое дело?
Может, сделает ограду?»
Поручил ограду ставить.

Куллервойнен, Калервойнен,
воздвигать ограду начал.
Толстые, кривые сосны
пряслами кладет в ограду,
мощные, большие ели
в землю кольями втыкает,
скручивает для обвязок
взятые в лесу рябины.
Сбил ограду без проходов,
без ворот забор построил.
Произнес слова такие,
так сказал он, так промолвил:
«Тот, кто птицей не летает,
крыльями двумя не машет,
ни за что не одолеет
Калервойнена ограды!»
Вот однажды Унтамойнен
сам пришел смотреть ограду,
Калервойнена работу,
пленника-раба — постройку.
Без ворот забор увидел,
без проемов, без проходов.
От земли забор вознесся
до высоких туч небесных.
Так сказал он, так промолвил:
«Ну, какой же он работник!
Сбил ограду без проходов,
без ворот забор построил,
от земли до неба поднял,

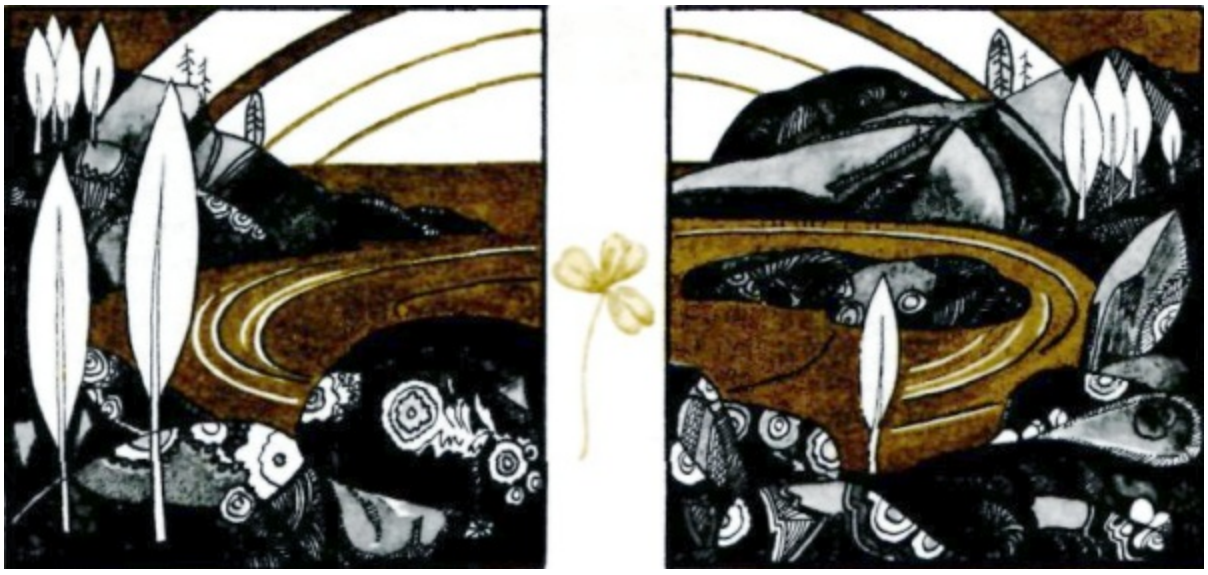
до небесных туч воздвигнул:
через верх не перелезешь,
сквозь дыру не проберешься.
Где рабу найти работу,
дать ему какое дело?
Может быть, он рожь смолотит?»
Молотить раба отправил.
Куллервойнен, Калервойнен,
вот уже и рожь молотит:
истрепал всю рожь в мякину,
истолок в труху солому.
Тут хозяин появился,
молотьбу пришел проверить,
Калервойнена работу,
Куллервойнена старанья:
рожь измолота в мякину,
столчена в труху солома.
Унтамойнен обозлился:
«Никакой он не работник!
Что ему ты ни поручишь,
дело всякое испортит.
Может, отвезти в Россию,
в Карьялу продать героя,
кузнецу отдать на службу,
Илмаринену подручным?»

Калервойнена он продал,
в Карьялу раба отправил,
к Илмаринену на службу,
к мастеру работ кузнечных.

Сколько дал ему кователь?
Много дал добра кователь:
два котла, видавших виды,
половинки трех ухватов,
пять железных кос-обносков,

шесть мотыг, вконец избитых,
за ничтожного мужчину,
за невольника худого.

Песнь тридцать вторая



Хозяйка Илмаринена определяет Куллерво в пастухи и, злорадствуя, испекает ему в дорогу хлеб с камнем внутри, с. 1–32. — Хозяйка выгоняет свое стадо на пастбище, произнося обычные для этого случая заговоры стада и заклинания медведя, с. 33–548.

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
молодец золотокудрый,
юноша в красивых кенгах,
в новом доме оказавшись,
тотчас попросил работы
у хозяина — на вечер,
у хозяюшки — на утро:
«Поручение мне дайте,
назовите ту работу,
что я должен буду делать,
чем я буду заниматься!»

Илмаринена хозяйка

размышляет, рассуждает:
чем батрак займется новый,
что наемник будет делать?
Пастухом послать решила,
сторожем большого стада.

Вот коварная хозяйка,
та язвительная баба,
испекла в дорогу хлебец,
толстую дала ковригу,
из овса, с пшеничной коркой,
с камнем твердым в середине.
Смазала топленым маслом,
корку жиром пропитала,
батраку дала краюху
пастуху — харчи в дорогу.
Так рабу она сказала,
молвила слова такие:
«Хлебец этот ешь не раньше,
чем скотину в лес пригонишь!»

Илмаринена хозяйка
выгнала из хлева стадо,
молвила слова такие,
заклиная, говорила:
«В лес буренок выпускаю,
в поле — молоко дающих,
в лес осиновый — двурогих,
в лес березовый — сохатых,
чтоб нагуливали сало,
набирали жир на воле
средь полей-лугов просторных,
средь широких перелесков,
средь березников высоких,
средь осинников низинных,
в золотых лесах еловых,

в тех серебряных чащобах.

Стереги их, Бог прекрасный,
защити их, милосердный,
упаси от всех несчастий,
упаси от зла любого,
чтоб не мучилась скотина,
чтоб в лесу не заблудилась.
Как смотрел за ней под крышей,
как стерег ее в укрытье,
так же береги на воле,
стереги и без укрытья,
чтоб стада тучнее стали,
чтоб росло добро хозяйки[186],
к радости соседей добрых,
к огорчению зловредных.

Если пастухи негодны,
если и пастушки робки,
пусть пасет скотину ива,
пусть ольха за ней присмотрит,
приглядит в лесу рябина,
в хлев черемуха пригонит,
чтоб хозяйка не искала,
не тревожились другие.
Если ива непригодна,
если страж плохой — рябина,
скот ольха стеречь не будет,
гнать черемуха не станет, —
лучших слуг, Творец, используй,
дочерей отправь природы
стаду моему в пастушки,
в сторожа моей скотине.
У тебя прислуги много,
сотни у тебя работниц,
обитающих под небом,

добрых дочерей природы.

Нет прекрасней девы лета,
девы теплых дней — щедрее,
нет стройнее девы сосен,
девы вереска — красивей,
нет милее дев рябины,
дев черемухи чудесней,
Мьелики, хозяйка леса,
Теллерво, Тапио дочка,
берегите мое стадо,
за скотиною смотрите,
летнею порой — с любовью,
с лаской — в лиственную пору,
в шелесте листвы зеленой,
в шорохе травы растущей.

Лета милая хозяйка,
дева теплых дней природы,
тонкие расправь подолы,
широко раскинь передник
покрывалом для скотины,
для коровушек накидкой,
чтобы зла не сделал ветер,
дождь не промочил зловредный.
Защити коров от бедствий,
уведи от троп коварных,
от зыбучего болота,
от предательской трясины,
от ключей средь топей зыбких,
озерков среди болота,
чтоб несчастья не случилось,
чтоб беда не приключилась,
чтоб нога не оступилась,
не скользнуло в топь копыто
против божьего желанья,

вопреки всевышней воле.
Принеси рожок чудесный
с середины небосвода,
сладкозвучный — с туч высоких,
из земных глубин — медвяный.
В свой рожок подуй пастуший,
затруби в рожок чудесный,
натруби цветов на склоны
разукрась края полянок,
прибери красиво межи,
приодень опушек кромки,
мед разлей вокруг болотцев,
закрепи края трясины.

Накорми моих буренок,
напитай мою скотинку,
накорми едой медовой,
напои водою сладкой,
золотой корми травою,
дай серебряных соцветий
из трясин с водой прозрачной,
из ключей с дрожащей влагой,
из бурлящих водопадов,
из стремительных потоков,
с золотых высоких взгорий,
с тех серебряных полянок.

Золотой колодец сделай
с каждой стороны поляны,
чтоб водицу стадо пило,
чтобы медом наполнялось
вымя пышное коровье,
чтоб сосочки набухали,
соками вздувались жилы,
реки молока бежали,
молока ручьи журчали,

бурно пенились пороги,
молока протоки пели,
молока мехи вздымали,
чтобы молоко бежало,
чтобы каждый день струилось,
несмотря на чью-то зависть,
на препоны сил недобрых,
в Маналу не утекало,
божий дар не пропадал бы.

Много их, людей недобрых,
кто удой спускает в Ману,
дар коровий где-то прячет,
увлекает в мир нездешний.
Мало их, людей хороших,
кто удой берет из Маны,
из деревни возвращает,
из краев иных, нездешних.

Никогда в былое время
мать ума не занимала,
не просила у соседей,
молоко к ней шло из Маны,
от хозяина удоев,
из краев иных, далеких.
Заставляла течь парное
из краев бежать нездешних,
приходить из дальней Туони,
из самой подземной Маны,
молоко струилось ночью,
тайно в темноте стекало,
чтоб недобрый не услышал,
чтоб завистник не увидел,
помешать не смог негодный,
ворожей — закрыть дорогу.

Мать всегда так говорила,
так и я скажу сегодня:
где дары коров застряли,
молоко куда пропало?
Не унесено ль к соседям,
не упрятано ль в деревне,
у блудницы под полою,
у завистницы под мышкой
иль пропало меж деревьев,
сгинуло в лесу дремучем,
растеклось по дальним рощам,
по песчаным боровинам?
Молоко ведь не для Маны,
божий дар — не для прохожих,
не для радости блуднице,
ворожейке завидущей.
Молоку не течь по лесу,
меж деревьев разливаться,
не бежать по темным рощам,
не стекать по боровинам.
В молоке — потребность дома,
в нем всегда нужда в хозяйстве.
Ждет с подойником хозяйка,
с можжевеловой бадейкой[187].

Дева юга, дева лета,
лета теплого хозяйка,
накорми моих Кормилиц,
напои моих Поилиц,
раздоиться дай Доене,
молока прибавь Сластене,
дай удоя Заманихе,
Яблочку — молочных соков
из верхушек травостоя,

из красивых трав росистых,

из самой земли прекрасной,
с кочек травяных медовых,
с луговины медоносной,
с ягодных кустов зеленых,
от хозяек вересковых,
от властительниц колосьев,
от молочных дев небесных,
проживающих на тучах.
Пусть удойным будет вымя,
пусть соски коров набухнут,
чтоб могла доить служанка,
малорослая девица.

Поднимись из дола, дева,
в тонком платье — из трясины,
из воды ключей, красотка,
чистая — из донной тины.
Ключевой воды начерпай,
окропи коровье стадо,
чтоб оно красивей стало,
чтоб росло добро хозяйки,
прежде чем придет хозяйка,
скотница коров осмотрит,
ведь хозяйка я плохая,
никудышная служанка.

Мьеликки, хозяйка леса,
щедрая пестунья стада,
отыщи повыше деву,
лучшую пошли служанку,
чтоб лелеяла мне стадо,
чтобы холила скотину
в это время золотое,
в теплое господне лето,
что и сам Создатель любит,
что дарует нам Всевышний.

Теллерво, Тапио дева,
крошка малая лесная,
в тонком платье из тумана,
с локонами золотыми,
охраняющая стадо,
стерегущая скотину
в Метсоле своей прекрасной,
в этой Тапиоле мудрой,
ты лелей стада прилежно,
холь внимательно буренок!

Холь красивыми руками,
гладь прекрасными перстами,
чтоб лоснились, будто рыси,
были гладкими, как рыба,
как морского зверя шкура,
словно шерсть лесной овечки.
День угаснет, ночь наступит,
сумрак вечера сгустится —
пригони домой скотинку,
приведи к хозяйке доброй,
чтоб зыбун блестел на спинах,
на боках — родник молочный.

В час, когда садится солнце,
песнь звенит вечерней пташки,
стадо ты сама окликни,
так скажи моим рогатым:
«Эй, рогатые, — в загоны,
дойные, — скорее к дому,
дома вам лежать прекрасно,
во дворе дремать приятно,
страшно в корбе оставаться,
жутко берегом скитаться,
чтоб домой вы поспешали,
там уже костры дымятся

средь медовой луговины,
среди ягодной поляны.

Нюрикки, сын Тапиолы,
юноша в накидке синей,
навали высоких елей,
сосен с пышною вершиной
гатью на трясинах топких,
на плохой земле — настилом,
на трясинах, на мочагах,
на колдобинах, бочагах.
Дай пройти им, криворогим,
прошагать, парнокопытным,
чтоб к дымам пришли коровы,
вышли целы, невредимы,
чтоб в болоте не увязли,
чтобы в топь не провалились.

Коль ослушается стадо,
не вернется на ночь к дому,
дева добрая рябины,
можжевельника хозяйка,
вырежь в рощице березку,
вицу выломай в чащобе,
погуляй, рябины ветка,
свежий прутик можжевела,
за дворами Тапиолы,
за Черемуховой варой,
загони во двор двурогих,
лишь начнет топиться баня,
скот домашний — на подворье,
в Метсолу — лесное стадо!
Отсо[188], яблочко лесное,
колобок медоволапый,
уговор с тобою примем,
по рукам с тобой ударим,

навсегда договоримся,
до скончанья дней, навеки,
что не тронешь ты буренок,
молоко в сосках носящих,
в это лето золотое,
время теплое господне.
Как услышишь ты бубенчик
или звук пастушьей дудки,
ты приляг дремать на кочку,
спать — на мягкую лужайку,
уши сунь в траву сухую,
голову ты спрячь под кочку
иль пойди в лесные дебри,
в ту каморку моховую,
на холмы уйди иные,
на другие возвышенья
от бубенчиков подальше,
от пастушьих перекликов.

Ты, мой Отсо драгоценный,
колобок медоволапый!
Обходить не запрещаю,
покружиться разрешаю.
Пастью лишь не надо трогать,
ртом касаться безобразным,
острыми кусать зубами,
лапами валить скотинку.
Обходи подальше стадо,
огибай молочный выгон,
звона бубенцов чурайся,
голосов беги пастушьих.
Если стадо на лужайке,
убирайся на болото,
если стадо у болота,
уходи в лесные дебри,
по горе идет скотина, —

под горой гуляй тихонько,
под горою стадо ходит —
поднимайся на вершину.
Если стадо на поляне,
в заросли спеши скорее,
если в зарослях коровы,
отправляйся на поляну!
Золотой спеши кукушкой,
серебристым голубочком,
мимо проплывай лососем,
робкой рыбой продвигайся,
шерстяным катись клубочком,
мягкою льняной куделью,
когти спрячь в косматой шерсти,
зубы скрой в мясистых деснах,
чтобы стадо не боялось,
чтобы овцы не пугались.

Не мешай моим коровам,
дай покой моим буренкам,
пусть идет красиво стадо,
шествует великолепно
по болотинам, по суше,
по лесам, по боровинам,
никогда не трогай стада,
даже в мрачном настроенье.

Старую припомни клятву,
данную у речки Туони,
у порога Кюнсикоски,
перед божьими стопами.
Получил ты разрешенье
трижды летнею порою
приближаться к звону стада,
к звукам бубенцов с поляны.
Но тебе не разрешали,

никогда не позволяли
на дела идти дурные,
на позорные занятья.

Если гнев тебя осилит,
зубы жадность одолеет,
выкинь ярость в чащу леса,
зашвырни на сосны жадность,
дерево грызи гнилое,
рушь трухлявые березы,
выворачивай коряги,
дергай ягодные кочки.
Коль пора придет покушать,
есть придет к тебе охота,
ты грибов в лесу откушай,
муравейников отведай,
дудника корней попробуй,
Метсолы медовой соты —
не бери моей лишь снеди,
лишь моей не трогай пищи.

В кадке Метсолы медовой
ходит-бродит мед отменный
на серебряной вершине,
золотом холме высоком:
там наестся и голодный,
там и алчущий напьется.
Там еда не иссякает,
не кончаются напитки.
Заключим навек согласье,
навсегда договоримся,
жить все лето полюбовно,
мирно рядом уживаться:
общие у нас угодья,
пища разная, однако.

Коль подраться пожелаешь,
враждовать со мной захочешь,
в пору зимнюю сразимся,
в пору снежную сойдемся!
Летом, как растают топи,
как нагреются бочаги,
не ходи сюда и вовсе,
от коров держись подальше!

Если здесь случайно будешь,
попадешь в чащобы эти,
помни: тут всегда стреляют.
Коль стрелков не будет дома,
есть ведь опытные жены,
неуемные хозяйки,
кто твой путь прервать сумеет,
навредить в дороге может,
чтоб вовеки стад не трогал,
никогда их не касался,
без господнего согласья,
божьего благословенья!

Ой ты, Укко, бог верховный,
коль поймешь: беда приходит,
стадо тотчас переделай,
измени коров обличье,
обрати коров в каменья,
в кочки преврати красавиц,
коль чудовище подходит,
коль шагает неуклюжий!

Если б я была медведем,
колобком медоволапым,
я б не путалась вовеки
под ногами у хозяев,
есть простор и в прочих землях,
места много и подальше,

чтобы праздному резвиться,
чтоб досужему носиться,
там хоть все протри подошвы,
раздери до крови икры,
в глубине чащобы синей,
под навесом славной корбы.

Есть боры — по шишкам прыгать,
есть пески — скакать по звонким,
есть дорога — удаляться,
берег моря — убираться
на межи далекой Похьи,
на простор широкой Лаппи.
Там ведь жить совсем неплохо,
вековать совсем не худо:
не нужны на лето кенги,
теплые носки — на осень,
на хребтах больших болотин,
на просторах топей хлипких.

Коль туда идти не хочешь,
коль туда пути не знаешь,
выбери тропу другую,
уходи стезей иною
прямиком в чащобы Туони,
в земли Калмю вересковой!
Есть ведь топи, чтобы топать,
есть и вереск, чтоб вертеться.
Есть там Кирьо, есть там Карьо,
есть там нетели другие,
все на привязях железных,
десяти цепях надежных.
Там и тощие толстеют,
и костлявые тучнеют.

Будьте ласковыми, корбы,

дебри синие — добрее!
Дайте мир моим буренкам,
всем коровушкам согласье
в это лето золотое,
время теплое господне!

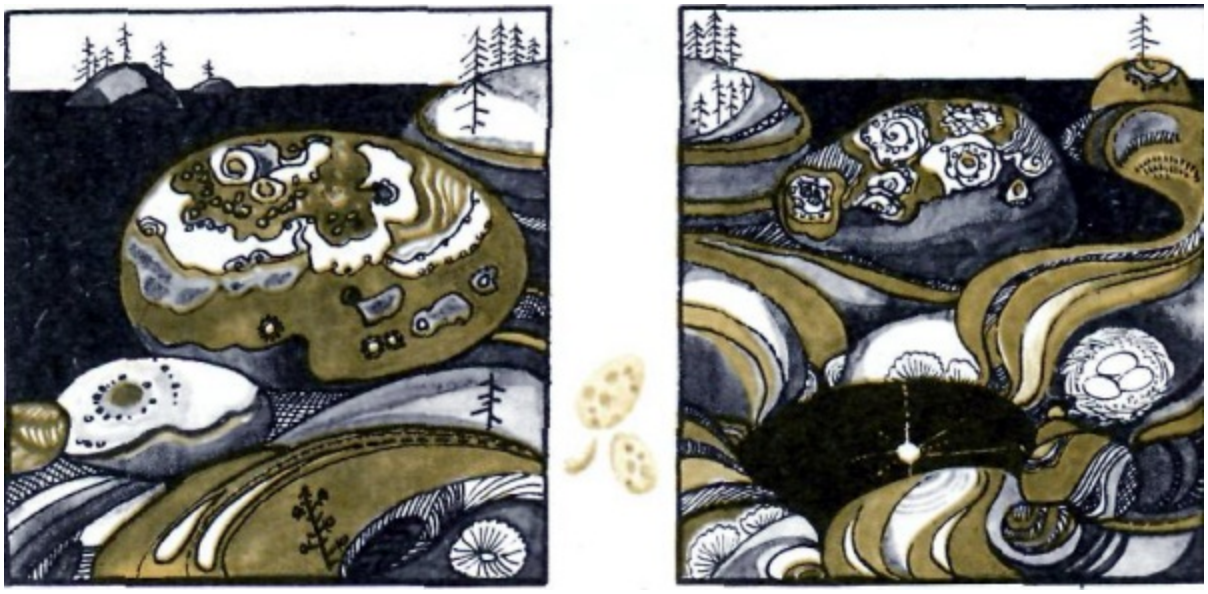
Куйппана, владыка бора,
Хиппа, дед седобородый,
убери ты псов свирепых,
кобелей своих рычащих.
Гриб засунь в ноздрю собаке,
яблоко — в ноздрю другую,
чтобы скотный дух не трогал
не дразнил манящий запах.
Завяжи глаза шелками,
обмотай повязкой уши,
чтоб шагов не услыхали,
чтоб коров не увидали!
Если ж этого не хватит,
если псы не подчинятся,
уведи ты их подальше,
отгони сынков приблудных.
Уведи из этих дебрей,
с берегов моих родимых,
с этих узеньких лужаек,
с этих выгонов широких!
Привяжи собак в пещере,
посади на цепь в ущелье,
на бечевку золотую,
на серебряную привязь,
чтоб худого не творили,
чтобы зла не совершали.

Если этого не хватит,
если псы не подчинятся,
Укко, золотой властитель,

царь, серебряный, послушай,
внемли слову золотому,
сокровенному реченью!
Сделай обруч из рябины,
обхвати им злую морду.
Коль не выдержит рябина,
дай отлить из меди обруч.
Если медь держать не будет,
сделай обруч из железа.
Коль порвется и железо,
поломается на части,
коромысло[189] золотое
с силой прогони сквозь челюсть,
затяни концы покрепче,
завяжи потуже узел,
чтобы пасть не раскрывалась,
чтоб не разжимались зубы,
коль не разожмут железом,
если сталью не раздвинут,
коль ножом не окровавят,
коль не расщемят секирой!»

Илмаринена хозяйка,
мудрая его супруга,
вывела коров из хлева,
выпустила их на выгон,
пастуха послала следом,
погнала раба за стадом.

Песнь тридцать третья



Присматривая за стадом, Куллерво под вечер достает из котомки хлеб, начинает разрезать его и сильно портит свой нож о камень. Принимает это тем ближе к сердцу, что нож был единственной памятью, оставшейся ему от своего рода, с. 1–98. — Задумывает отомстить хозяйке и, загнав стадо в болото, собирает в стаю волков и медведей и гонит их вечером домой, с. 99- 184. — Когда хозяйка начинает доить коров, звери разрывают и убивают ее, с. 185–296.

Куллервойнен, Калервойнен,
хлеб в кошель дорожный сунув,
гонит стадо по болоту,
сам идет по боровине.
Говорит пастух, шагая,
молвит, стадо погоняя:
«Ох, какой я злополучный,
ох, какой я разнесчастный!
Вот куда меня загнали,
занесли пути-дороги:

за хвостом ходить бычачьим,
за телячьим бегать стадом,
топкие месить болота,
непролазные трясины!»
Он на кочку опустился,
сел на солнечном пригорке,
так сказал словами песни,
изложил свои желанья:
«Мне свети лишь, божье солнце:
грей меня, клубочек божий,
лишь меня ласкай, подпаска,
сторожа коров хозяйских —
не свети жилищам Илмы,
не свети моей хозяйке!
Хорошо и так хозяйке —
хлеб пшеничный уплетает,
лакомится пирожками,
масла сверху нарезает.
Черствый хлеб пастух глодает,
корочку грызет сухую,
давится овсяным хлебом,
режет черный хлеб с подовой,
с примесью соломы тертой,
пополам с корой сосновой,
воду пьет из берестя́нки[190],
выщеженную из кочки.

Убывай скорее, время,
опускайся, солнце божье!
Уходи за ельник, солнце,
за ивняк, пшеничный колоб,
убегай за можжевельник,
за ольховником скрывайся!
Отпусти домой подпаска,
доскребать из миски масло,
хлеб дожевывать ячменный,

доедать куски лепешки».

Илмари жена в то время,
как пастух мечтал о хлебе,
пел о масле, Куллервойнен, —
масло выскребла из миски,
съела с маслом хлеб ячменный,
уписала всю лепешку.
Приготовила похлебки,
щей для пастушка холодных,
с них собака жир слизала,
черный Мусти нахлебался,
Меркки полакал досыта,
Халли, серый пес, наелся.

Птичка в роще прозвенела,
птаха малая пропела:
«Батраку поесть уж время,
сиротине пообедать».
Куллервойнен, Калервойнен,
смотрит пристально на солнце,
говорит слова такие:
«Уж поесть настало время,
подошла пора обедать,
посмотреть в суме припасы».

Стадо отогнал на отдых —
полежать на боровине,
сам на кочку опустился,
на зеленый бугорочек.
Вот с плеча снимает торбу,
хлеб из торбы вынимает,
поворачивает, смотрит,
говорит слова такие:
«Часто хлеб прекрасен с виду,
корочка его румяна,
только вот внутри — полова,

шелуха под гладкой коркой».

Вытащил свой нож из ножен,
чтоб скорей разрезать хлебец:
нож на камень натолкнулся,
острие в скалу уперлось,
лезвие ножа сломалось,
сталь на части раскрошилась.

Куллервойнен, Калервойнен,
посмотрел на нож отцовский,
посмотрел, заплакал горько,
вымолвил слова такие:
«Только нож и был мне братом,
был единственной отрадой,
от отца мне нож достался,
от родителя — в наследство.
Я и тот сломал о камень,
исковеркал о булыжник,
в хлеб заложенный хозяйкой,
запеченный бабой злою!

Чем же отомстить насмешки,
бабий смех, издевки бабьи,
жалкие харчи хозяйки,
подлую стряпню блудницы?»

В перелеске ворон каркнул,
ворон каркнул, коршун крикнул:
«Ой ты, пряжка золотая,
Калервы сынок родимый,
почему ты так печален,
отчего ты так невесел?
Вицу выломай в чащобе,
гибкую в долу — березку,
загони буренок к топи,

грязнобоких — в мочажину,
дай большим волкам полстада,
дай полстада — косолапым!
Собери волков в отару,
созови медведей в стадо!
Преврати волков в буренок,
обрати в пеструх медведей,
отгони к хозяйке стадом,
на ее дворы — скотиной.
Так ты отомстишь насмешки,
измывательства хозяйки!»

Куллервойнен, Калервойнен,
говорит слова такие:
«Погоди, блудница Хийси,
если по ножу я плачу,
ты не так еще поплачешь,
по коровам погорюешь!»

Выломал в чащобе вицу,
можжевеловую ветку,
в топь загнал коровье стадо,
в бурелом — быков бокастых,
пусть сожрут полстада волки,
остальных съедят медведи.
Превратил волков в буренок,
обратил в пеструх медведей,
превратил одних в Малышек,
в Звездочек — других животных.

Солнце к западу катилось,
к вечеру уже снижалось,
подошло к верхушкам елей,
время дойки указало.
Вот несчастный пастушонок,
Куллервойнен, Калервойнен,

сам погнал домой медведей,
волчье стадо — на подворье.
Наставлял притом медведей,
натравлял ватагу волчью:
«Разорви бедро хозяйке,
откуси икру хозяйке,
как придет проверить стадо,
как доить коров присядет!»

Смастерил свирель из кости,
сотворил рожок из рога,
дудку — из бедра Беланки,
из берцовой кости — флейту.
Вот подул в рожок из кости,
посвистел в свою свирельку
трижды — на пригорке ближнем,
у прогона — шесть разочков.
Илмаринена супруга,
славная его хозяйка,
долго дойки дожидалась —
масла летнего хотела.
Звук трубы с болота слышит,
зов свирели — с боровины.
Говорит слова такие,
речь такую произносит:
«Слава Господу на небе!
Рог трубит — идут коровы!
Где же раб нашел свирельку,
где добыл рожок работник,
коль идет, в рожок играя,
на трубе трубит, шагая?
Так трубит, что глохнут уши,
голова болит от шума».

Куллервойнен, Калервойнен,
слово молвил, так заметил:

«На болоте взял свирельку,
раздобыл трубу в трясине.
На прогоне твое стадо,
на поскотине — коровы,
разведи костров побольше,
начинай доить буренок».
Вот уж Илмари хозяйка
говорит служанке старой:
«Ты ступай доить буренок,
обихаживать скотину.
Я сама не поспеваю,
я замешиваю тесто».

Куллервойнен, Калервойнен,
слово молвил, так заметил:
«Раньше добрые хозяйки,
искушенные большухи,
сами всех коров доили,
обихаживали живность».

Илмаринена хозяйка
развела дымы в загоне,
подоить пошла буренок.
Осмотрела строго стадо,
оглядела всех животных,
так промолвила, сказала:
«Стадо смотрится красиво,
шерсть коров лоснится гладко,
словно мех таежной рыси,
словно шерсть лесной овечки.
Налилось у каждой вымя,
у коров соски набухли».

Подоить она присела,
гладить вымя наклонилась,
за сосочки потянула.

Тянет раз, второй и в третий:
тут-то волк и навалился,
налетел медведь свирепый,
волк порвал уста хозяйке,
разодрал медведь поджилки,
полбедра у бабы вырвал,
пятку откусил красотке.

Куллервойнен, Калервойнен,
отомстил насмешки девы,
бабий смех, издевки бабьи,
отплатил свой долг хозяйке.

Илмаринена хозяйка
зарыдала, застонала,
молвила слова такие:
«Скверно сделал ты, несчастный,
что пригнал во двор медведей,
что волков привел в загоны!»

Куллервойнен, Калервойнен,
так ответил, так заметил:
«Я, конечно, скверно сделал,
ты, несчастная, — не лучше.
Испекла из камня хлебец,
из булыжника — ковригу.
Чиркнул я ножом по камню,
по скале скребнул железом,
поломал свой нож отцовский,
рода своего наследство!»

Молвила в ответ хозяйка:
«Ой, пастух ты мой прекрасный!
Поверни слова обратно,
забери назад заклятья,
выпусти из волчьей пасти,
вызволи из лап медвежьих.

Дам рубах тебе хороших,
надарю штанов красивых.
Дам и масла, дам и хлеба,
дам и молока парного,
будешь год питаться даром,
не трудясь — второй кормиться.
Коль не поспешишь на помощь,
выручать меня не станешь,
я вот-вот совсем погибну,
очень скоро прахом стану».
Куллервойнен, Калервойнен,
слово молвил, так заметил:
«Погибай, коль погибаешь,
умирай, коль умираешь,
мертвым на погосте место,
место в Калме[191] всем погибшим,
там лежать и самым сильным,
пребывать могучим самым».
Молвит Илмари хозяйка:
«Ой ты, Укко, бог верховный,
самострел возьми получше,
облюбуй дугу потуже,
заряди стрелою медной
огненный свой лук могучий!
Выстрели каленым стержнем,
выпали стрелою медной,
прогони через подмышку,
пропусти через лопатку.
Сына Калервы низвергни,
умертви его стрелою,
наконечником из стали,
стержнем огненным из меди!»
Куллервойнен, Калервойнен,
вымолвил слова такие:
«Ой ты, Укко, бог верховный!
Не в меня стреляй, всевышний,

в Илмаринена хозяйку,
в вероломную блудницу,
чтоб не сдвинулась и с места,
чтобы тут же и скончалась».
Илмаринена супруга,
кузнеца того хозяйка,
тотчас замертво упала,
почернела, словно сажа,
во дворе родного дома,
на своем подворье узком.
Так красавица погибла,
сгинула хозяйка дома,
та, кого так долго ждали,
целых шесть годов искали
Илмаринену для счастья,
кузнецу для большей славы.

Песнь тридцать четвертая

Куллерво пускается в бегство из дома Илмаринена; опечаленный, бродит он по тайге, где узнает от старухи, хозяйки глухомани, что отец, мать, брат и сестра еще живы, с. 1–128. — По напутственному слову хозяйки глухомани он находит их на границе Лаппи, с. 129–188. — Мать рассказывает, что считала Куллерво давно погибшим. Поведала также и о том, как пропала ушедшая по ягоды ее старшая дочь, с. 189–246.

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
парень золотоволосый,
юноша красивый в кенгах,
сам поспешно в путь пустился,
дом хозяина покинул,
прежде чем, узнав о смерти
молодой своей супруги,
Илмари пришел бы в ярость,
тотчас бросился бы в драку.

Зашагал, в рожок играя,
заспешил, резвясь, из Илмы,
шел, трубя, по боровинам,
гомоня, по дальним палам.
Топь тряслась, земля дрожала,
отзывались боровины
на игру раба на дудке,
на злорадное веселье.

Докатился шум до кузни,
тут кузнец работу бросил,
выбежал во двор послушать,
посмотреть к воротам вышел:
что за музыка в чащобе,
что за звон на боровине?
Тут и сам уже увидел,
что случилось, приключилось.
Видит, что жена почила,
что красавица погибла,
на своем дворе угасла,
на лугу зеленом сникла.

Тут кузнец на месте замер,
опечалился кователь.
Ночь в слезах провел, несчастный,
всю неделю горько плакал.
Думы — темные, как деготь,
мысли — черные, как уголь.

Куллерво спешил все дальше.
Сам не знал, куда шагает.
День шагал по мрачной корбе,
шел по боровинам Хийси,
вечером, с приходом ночи,
отдохнуть присел на кочку.

Тут сидел он, сиротина,

тут раздумывал, безродный:
«Кто создал меня, беднягу,
кто, несчастного, содеял
вечно странствовать по свету,
мыкать жизнь свою под небом.

Все спешат в дома родные,
возвращаются под крышу,
мне же домом служит корба,
служит кровом боровина,
на ветру — очаг домашний,
на дожде — парная баня.
Не давай вовек, Создатель,
никому на свет рождаться,
в этом мире появляться
без надзора, без опеки,
жить без батюшки на свете,
быть без матушки — подавно.
Так меня ты создал, Боже,
сотворил меня, бедняжку,
бросил словно к чайкам в стаю,
на морские камни — к крячкам[192].
День для ласточек светает,
для воробышек приходит,
солнце светит божьим птичкам,
для меня ж не светит солнце,
утро вовсе не приходит,
не дает мне день отрады.

Кем я создан был, не знаю,
кем, не ведаю, содеян —
то ль нырочком на дороге,
то ли кряквой[193] на болоте,
то ль чирком на твердой суше,
то ли крохáлем[194] на камне.
Без отца остался крохой,

малолеткой — без родимой.
Мать-отец мои погибли,
весь мой род великий сгинул,
дал мне кенги ледяные,
снежные чулки оставил.
Одного на льду покинул,
на жердях вертлявых бросил
утопать в трясине каждой,
увязать в любом болоте.

Только мне еще не время,
не пора еще покуда
быть настилом на болоте,
гатью быть на топком месте.
Увязать в грязи не стану,
две руки пока имею,
пятерню пока сжимаю,
десятью скребу ногтями».
Тут-то и пришло решенье,
появилась мысль такая:
к Унтамо пойти в селенье,
отомстить отца обиды,
матери своей страданья,
собственное униженье.

Так сказал он, так заметил:
«Подожди-ка, Унтамойнен,
погоди, губитель рода!
На тебя пойду войною,
обращу в золу жилища,
в пепел — все твое хозяйство!»

Вот идет хозяйка дебрей,
старая — в накидке синей,
говорит слова такие,
спрашивает, вопрошает:

«И куда ж ты, Куллервойнен,
Калервы сынок, шагаешь?»
Так промолвил Куллервойнен,
Калервы сынок ответил:
«Мысль такая мне явилась,
в голову пришло решенье:
поспешить в края другие,
к Унтамо пойти в селенье,
отомстить погибель рода,
матери-отца страданья,
обратить в золу жилища,
в пепел превратить строенья!»

Молвила хозяйка дебрей,
так ответила, сказала:
«Не погиб твой род великий,
Калерво еще не умер.
Жив твой батюшка родимый,
матушка твоя — здорова».

«Ой ты, добрая старушка,
ой, старушка дорогая,
где мой батюшка родимый,
где же матушка родная?!»

«Там твой батюшка родимый,
там и матушка родная, —
на границе дальней Лаппи,
возле самой рыбной ламбы».

«Ой ты, добрая старушка,
ой, старушка дорогая,
как же мне туда добраться,
как в пути не заблудиться?»

«Попадать туда не трудно,
очень просто добираться:

темной корбой прошагаешь,
берегом пройдешь вдоль речки.
День пройдешь, другой отмеришь,
вскоре третий прошагаешь,
тут — на север, там — на запад.
По дороге встретишь гору,
обойди ее по склону,
с левой стороны подножья,
там уже и реку встретишь,
справа от себя увидишь —
вдоль реки пойди подальше,
мимо трех порогов шумных.
Подойдешь к началу мыса,
на конец косы прибудешь.
На мысу стоит избушка,
на косе — рыбацкий домик,
твой отец там проживает,
матушка живет родная,
там твои живут сестрицы,
две красивые девицы».

Калервойнен в путь пустился,
пошагал — пошел поспешно.
День шагает, два шагает,
прошагал уже и третий,
тут на север, там на запад.
По дороге встретил гору,
обошел ее по склону,
с левой стороны подножья.
Там уже и реку встретил,
справа от себя увидел,
вдоль реки прошел подальше,
мимо трех порогов шумных.
Подошел на берег мыса,
на конец косы далекой.
На мысу стоит избушка,

на косе — рыбацкий домик.

Куллерво вошел в избушку.
В доме гостя не узнали:
«С берегов каких ты прибыл
из какого рода, путник?»

«Неужели не признали
сына своего родного,
что герои Унто взяли,
увезли с собой ребенком,
крохою с вершок отцовский,
с матушкино веретенце?»

Поспешила мать ответить,
вымолвить такое слово:
«Ох, сыночек мой несчастный,
ой ты, пряжка золотая,
ты живой и невредимый
пребываешь в этом мире,
я тебя уж схоронила,
уж оплакала навеки!

Было у меня два сына,
две красивых дочки были.
У меня, у горемычной,
дети старшие пропали:
сгинул сын в войне великой,
дочка без вести исчезла.
Вот теперь мой сын вернулся,
дочь, видать, не возвратится».
Куллервойнен, Калервойнен,
так спросил, такое молвил:
«Где же дочь твоя родная,
где сестра моя пропала?»

Мать ответила на это,

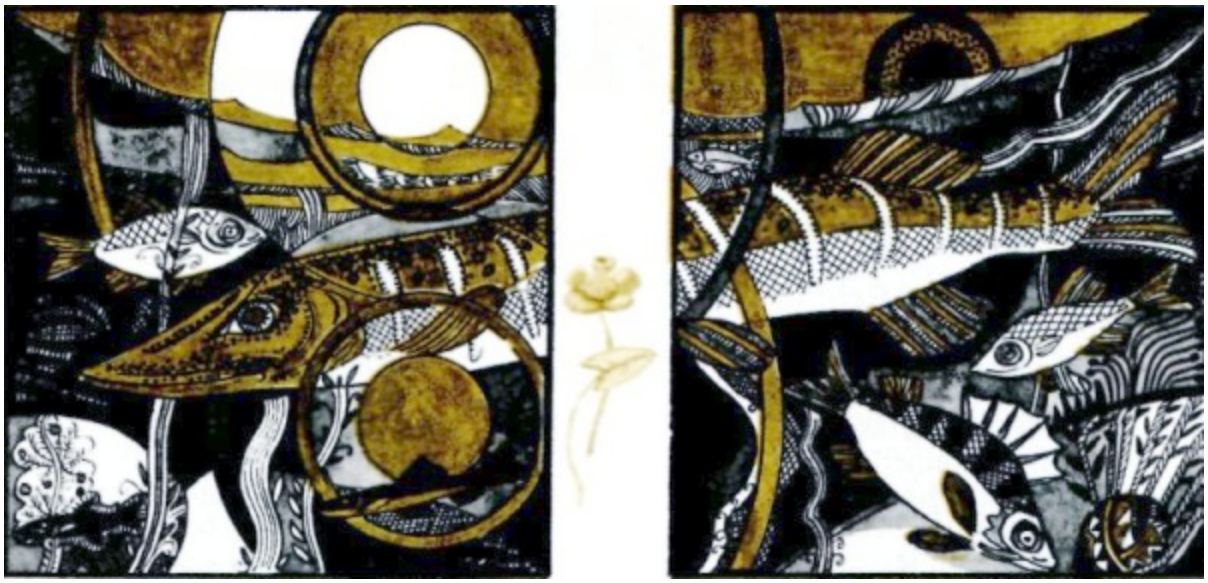
молвила слова такие:
«Там моя родная дочка,
там сестра твоя пропала:
в лес за ягодами вышла,
за малиною — под горку,
там девица и пропала,
курочка, в лесу погибла,
смерть неведомую встретив,
неизвестную кончину.

Кто о дочери тоскует?
Мать о дочери тоскует.
Мать ее пускай и ищет,
пусть поищет, пусть покличет.
Я на поиски пустилась,
я пошла искать, бедняжка,
шла медведицей сквозь корбу,
выдрой через лес бежала.
День искала, два искала,
третий день уже искала.
Вот на третий день однажды,
через целую неделю
на гору взошла большую,
поднялась на холм высокий.
Дочку кликнула оттуда,
прокричала в полный голос:
«Где же ты, моя родная,
возвращайся, дочь, скорее!»

Так я дочку окликала,
так пропавшую искала.
Мне холмы в ответ кричали,
горы гулко отвечали:
«Не зови ты дочь родную,
не зови и не старайся.
Не придет назад вовеки,

никогда не возвратится
245 к материнскому подворью,
к пристаням родным, отцовским».

Песнь тридцать пятая



Куллерво пробует выполнять разные работы в хозяйстве родителей, но поскольку от него не было никакого проку, отец посылает его отвезти налоги, с. 1–68. — Уплатив налоги, Куллерво на обратном пути встречает заблудившуюся когда-то в лесу и не узнанную им сестру и соблазняет ее, заманив в сани., с. 69 — 188. Когда впоследствии оба уясняют, кто они такие, сестра тотчас бросается в реку, а Куллерво торопится домой и рассказывает матери ужасную историю соблазнения сестры. Он и сам собирается покончить с собой, с. 189–344. — Мать запрещает ему кончать жизнь самоубийством и советует подождать где-нибудь в укрытии, пока уляжется смута в его душе. В этот миг Куллерво приходит мысль прежде всего пойти и отомстить Унтамойнену, с. 345–372.

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
начал поживать тихонько
под родительской опекой.
[5] Все же не умнел нисколько,
разума не набирался —

так уж дурно был воспитан,
скверно в люльке убаюкан,
глупой нянею укачан,
пестуном плохим взлелеян.

Вот решил он поработать,
вот задумал потрудиться.
Нехотя побрел рыбачить,
заводить огромный невод.
Вымолвил слова такие,
так сказал, на веслах сидя:
«То ль тянуть мне посильнее,
загребать порасторопней,
то ль тянуть не очень сильно,
загребать не очень быстро?»
Рулевой с кормы заметил,
вымолвил слова такие:
«Коль тянуть сильнее станешь,
загребать порасторопней,
не сломай хотя бы лодку,
не сорви веслом уключин».

Куллервойнен, Калервойнен,
стал тянуть сильнее невод,
загребать порасторопней,
поломал уключье лодки,
можжевеловые дуги,
челн осиновый разрушил.

Калерво пришел проверить,
слово молвил, так заметил:
«Из тебя гребец негодный!
Поломал уключье лодки,
можжевеловые дуги,
челн осиновый[195] разрушил!
Лучше рыбу в сети бóтай[196]!

Может, в этом преуспеешь».

Куллервойнен, Калервойнен,
в сети рыбу гнать принялся.
Ботало в руках сжимая,
так сказал он, так промолвил:
«То ли ботать посильнее,
со всего плеча работать,
то ли бить не очень сильно,
бухать боталом, как нужно?»

Сетевод ему ответил:
«Ботальщик зачем подобный,
что работает вполсилы,
что не бьет с мужскою мощью?»

Куллервойнен, Калервойнен,
ботать стал со всею силой,
со всего плеча работать.
Превратил всю воду в кашу,
невод в клочья излохматил,
в жижу перемял всю рыбу.

Калерво пришел проверить,
слово молвил, так заметил:
«Ботальщик ты непригодный,
невод в клочья излохматил,
поплавки расколошматил,
повод изорвал у сети.
Поезжай платить налоги,
отдавать оброк земельный,
Может, ты в пути везучей,
поудачливей в дороге».

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,

парень золотоволосый,
юноша красивый в кенгах,
отвозить поехал подать,
отдавать зерном налоги.
Отвезя оброк земельный,
оплатив зерном налоги,
он в санях своих уселся,
в пошевнях расположился.
В путь отправился обратный,
в свой родимый край поехал.

Едет он себе тихонько,
путь неспешно отмеряет,
едет Вяйнолы холмами,
катит пожнями былыми.
Девица спешит навстречу,
златокудрая — на лыжах,
Вяйнолы бежит холмами,
катит пожнями былыми.

Куллервойнен, Калервойнен,
останавливает лошадь,
заговаривает с девой,
обольщает, завлекает.
«Поднимись, девица, в сани,
отдохнуть приляг на шкуры».
Отвечает с лыж девица,
со своих полозьев молвит:
«Смерть пускай к тебе садится,
пусть ложится хворь на шкуры!»

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын, в чулочках синих,
вицей резвого ударил,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Скачет конь, бежит дорога,
путь летит, скрипит кошевка.

Едет он себе неспешно,
путь неспешно отмеряет
по морским просторам ясным,
по открытому пространству.

Девица спешит навстречу,
катит, сапожок красивый,
по морским просторам ясным,
по открытому пространству.

Куллервойнен, Калервойнен,
останавливает лошадь,
складывает рот красиво,
просит девицу учтиво:
«Сядь, красавица, в кошевку,
красота земли, — в повозку!»

Так ответила девица,
сапожок красивый молвил:
«Пусть в кошевку сядет Туони,
в сани Мана заберется!»

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулках красивых,
вицей резвого ударил,
хлыстиком хлестнул жемчужным.
Скачет конь, бежит дорога,
сани мчат, путь убывает.
Едет он себе тихонько,
отмеряет путь неспешно
по песчаным землям Похьи,
по пределам дальней Лаппи.

Девушка спешит навстречу,
оловянная застежка,
по песчаным землям Похьи,

по пределам дальней Лаппи.

Куллервойнен, Калервойнен,
останавливает лошадь,
складывает рот красиво,
просит девицу учтиво:
«Поднимись, девица, в сани,
под кошму садись, красотка,
яблочек моих откушай,
погрызи моих орешков!»
Так ответила девица,
оловянная застежка:
«На твои плевать мне сани,
на твои дрянные дровни!
Под твоей кошмою зябко,
холодно в твоей кошевке».

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
подхватил девицу в сани,
кинул девушку в кошевку,
опустил ее на шкуры,
под кошму упрятал деву.

Молвила тогда девица,
оловянная застежка:
«Выпусти меня отсюда,
отпусти дитя на волю,
чтоб негодного не слушать,
чтоб не ублажать дурного,
иначе я выбью днище,
разнесу настил кошевки,
в щепки санки разметаю,
вдребезги — твою повозку!»

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,

денежный раскрыл свой короб,
крышку поднял расписную.
Серебром хвалиться начал,
расстилать сукна отрезы,
с золотой каймой чулочки,
серебром расшитый пояс.
Девицу прельстили ткани,
деньги замутили разум,
серебро пленило деву,
золото заворожило.

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
обвораживает деву,
обольщает, обнимает,
груди трогает рукою,
вожжи дергает другою.
Приголубил так девицу,
оловянную застежку,
под кошмой, расшитой медью,
на пятнистой шкуре мягкой.

Бог уже дает и утро,
новый день Создатель дарит.
Тут уж молвила девица,
так сказала, так спросила:
«Ты скажи, какого рода,
племени какого будешь?
Видно, знатного ты рода,
видно, племени большого?»

Куллервойнен, Калервойнен,
слово молвил, так ответил:
«Не велик мой род отцовский,
не высок мой род, не низок,
среднее всего лишь племя.

Калервы я сын злосчастный,
парень глупый, горемычный,
малый вовсе никудышный.
Ты представь свой род отцовский,
назови родное племя?
Видно, знатного ты рода,
видно, племени большого?»

Так девица говорила,
так она ответ держала:

«Не велик мой род отцовский,
не высок мой род, не низок,
среднее всего лишь племя.
Калервы я дочь дрянная,
дева глупая, пустая,
никудышное созданье.

Помню, как ребенком малым,
дочкой матери любимой,
в лес по ягоды пустилась,
под горой набрать малины.
Земляничку собирала,
под горой брала малину.
Днем брала, дремала ночью.
День брала, второй старалась,
поняла уже на третий:
не найду домой дороги —
в лес дорога уводила,
в заросли тропа манила.

Тут я села, заревела.
День ревела, два ревела,
вот на третий день однажды
поднялась на холм высокий,
на большую гору вышла.
Там во все кричала горло,

мне лишь дебри отзывались,
боровины откликались:
«Не шуми, шальная дева,
сумасшедшая, не кликай.
Все равно тебя не слышат,
крик домой не долетает».

Третий день прошел, четвертый,
пятый день, шестой проходит,
умирать уже решила,
угасать легла на землю.
Только все же не погибла,
не угасла, горемыка!

Лучше б, жалкая, угасла,
умерла бы, горемыка.
На другой бы год, пожалуй,
может быть, на третье лето
я травой бы зеленела,
я б цветочком расцветала,
ягодкой бы красовалась,
краснобокою брусничкой,
не услышала б такого,
не познала бы позора».

Только так сказать успела,
лишь поведала об этом,
тотчас вырвалась из санок,
бросилась в поток бурлящий,
в пену мощного порога,
в огненные водоверти.
Приняла тут смерть девица,
встретила свою погибель,
в Туонеле нашла защиту,
обрела покой в порогах.

Куллервойнен, Калервойнен,
выскочил из быстрых санок,
зарыдал, заплакал громко,
начал жаловаться горько:
«До чего же я несчастный,
до чего же горемычный:
обольстил сестру родную,
дочку матери испортил.
Ой, отец, ой, мать родная,
родичи мои, скажите,
для чего меня создали,
принесли на свет, бедняжку?
Лучше было б не рождаться,
не рождаться, не являться,
не бывать на этом свете,
на земле не жить и вовсе.
Смерть неправильно решила,
поступила неразумно,
что младенцем не сгубила,
не убила в ночь вторую».

Искромсал хомут, изрезал,
изрубил гужи железом,
на коня вскочил гнедого,
сел на круп его широкий.
Проскакал совсем немного,
лишь чуток пути проехал,
вот и дома оказался,
во дворе отца родного.
У порога мать стояла.
«Ой ты, матушка родная,
лучше б ты, моя бедняжка,
в этот мир меня рожая,
напустила в баню дыма,
на запор закрыла двери,
банным дымом задушила,

на вторую ночь, младенцем,
в простыне бы утопила,
унесла в пеленках в воду,
люльку сунула бы в пламя,
колыбель в очаг столкнула!

Если б на селе спросили:
«Почему нет зыбки в доме,
двери бани — на запоре? " —
ты бы так в ответ сказала:
«В пламени сожгла качалку,
в очаге спалила зыбку.
В бане зерна прорастают,
сладкий солод поспевает».
Мать промолвить поспешила,
так родимая спросила:
«Что с тобой, сынок, случилось,
что за горе приключилось,
как из Тунелы приехал,
как из Маналы вернулся?»

Куллервойнен, Калервойнен,
слово молвил, так ответил:
«Горе страшное случилось,
лихо злое приключилось:
обольстил свою сестрицу,
дочку матери испортил!
Я отвез оброк земельный,
уплатил налог деньгами.
Повстречал в дороге деву,
соблазнил, прельстил девицу,
оказалось, что сестрицу,
дочку матери родимой.

Смерть свою она сыскала,
встретила свою погибель

в пене бурного порога,
в огненном водовороте.
Сам не ведаю, не знаю,
сам теперь не понимаю,
где искать свою погибель,
где найти мне смерть, бедняжке,
в глотке ль воющего волка,
в зеве ль злобного медведя,
в брюхе ли кита большого,
в пасти ли зубастой щуки?»
Мать сыночку так сказала:
«Не стремись, мой сын родимый,
в глотку воющего волка,
в пасть ревущего медведя,
не стремись к киту в утробу,
в пасть к морской зубастой щуке,
велики просторы Суоми,
широки пределы Саво[197] —
там легко укрыться мужу,
пережить позор великий,
пять и шесть годов скрываться,
может быть, и целых девять.
Принесет прощенье время,
годы боль твою ослабят».

Куллервойнен, Калервойнен,
слово молвил, так заметил:
«Прятаться нигде не буду,
убегать не стану, жалкий.
Сам пойду навстречу смерти,
сам явлюсь к воротам Калмы,
сам пойду на поле брани,
к месту гибели героев:
жив еще коварный Унто,
не повергнут муж злосчастный,
не оплачены страданья,

раны батюшки родного,
муки матушки любимой,
мне доставшиеся ласки».

Песнь тридцать шестая

Куллерво собирается на войну и, прощаясь со всеми домашними, узнает, что никого, кроме матери, не печалит то, куда он отправляется, погибнет он или останется в живых, с. 1–154. — Прибывает в Унтамолу, убивает все живое и предает огню все жилища, с. 155–250. — Возвратившись к родным избам, находит свой дом пустым, не застает там ни одной живой души, кроме старой черной собаки, и с ней отправляется в лес добывать себе пищу, с. 251–296. — В лесу набредает на то место, где соблазнил сестру, и в раскаянии кончает с собой с помощью своего меча, с. 297–360.

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
на войну идти собрался,
приготовился к возмездью.
[5] Меч точил лишь миг единый,
заострял копье мгновенье.

Молвит мать слова такие:
«Не ходи, мой сын несчастный,

в то великое сраженье,
в перезвон мечей могучих!
Тот, кто вступит в бой нарочно,
преднамеренно — в сраженье,
будет сам повержен в битве,
будет сам в бою погублен,
от меча он сам погибнет,
от клинков падет кровавых.

На овце ты едешь в битву,
на козе в сраженье скачешь.
Там твою овцу завалят,
в грязь козу твою затопчут:
На собаке возвратишься
на родимый двор — на жабе».
Куллерво в ответ промолвил,
Калервойнен так ответил:
«Не в болоте же я сгину,
не в лесу дремучем рухну,
где лишь коршуны гнездятся,
где лишь кормятся вороны, —
я паду на поле брани,
на местах больших сражений.
Гибель на войне прекрасна,
в громе брани смерть красива.
Нет милей болезни ратной:
умирает муж внезапно,
прочь уходит, не болея,
не худея, угасает».

Мать ответила на это:
«Если ты погибнешь в битве,
кто отцу опорой будет,
кто — заступником под старость?»

Куллервойнен, Калервойнен,

так промолвил, так заметил:
«Пусть умрет на куче сора,
во дворе пускай угаснет!» —
«Кто же матери опорой,
кто заступником ей будет?» —

«Пусть помрет с охапкой сена,
пусть навек в хлеву угаснет!» —

«Кто ж опорой брату будет, —
кто ему поможет завтра?»

«Пусть помрет в лесу дремучем,
пусть на пожне брат угаснет». —

«Кто сестре опорой будет,
кто же ей поможет завтра?» —
«Пусть помрет, идя к колодцу,
пусть за стиркою угаснет». —

Куллервойнен, Калервойнен,
дом родимый покидает,
говорит отцу родному:
«Батюшка, прощай, родимый!
Ты заплачешь ли, услышав,
что скончался я внезапно,
что ушел из этой жизни,
из родного рода выбыл?»
Так отец ему ответил:
«Не заплачу я, услышав,
что скончался ты внезапно:
сделаем другого сына,
лучше этого намного,
сына прежнего умнее».

Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:

«Да и я не зарыдаю,
о твоей услышав смерти.
Сам слеплю отца такого:
рот из глины, лоб из камня,
вместо глаз — с болота клюква,
борода — из трав усохших,
ноги — из развилки ивы,
из гнилой осины — тело».

Так сказал родному брату:
«Ты прощай, мой брат родимый!
Ты заплачешь ли, услышав,
что скончался я внезапно,
что ушел из этой жизни,
из родного рода выбыл?»

Так родимый брат ответил:
«Не заплачу я, услышав,
что скончался ты внезапно:
нового добудем брата,
брата старого получше,
прежнего вдвойне красивей!»
Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:
«Да и я не зарыдаю,
о твоей услышав смерти.
Сам слеплю такого брата,
рот из глины, лоб из камня,
вместо глаз — с болота клюква,
волосы — из трав усохших,
ноги — из развилки ивы,
из гнилой осины — тело».

Так сказал родной сестрице:
«Ты прощай, сестра родная!
Ты заплачешь ли, услышав,

что скончался я внезапно,
что ушел из этой жизни,
из родного края выбыл?»

Так ответила сестрица:
«Не заплачу я, услышав,
что скончался ты внезапно:
брата нового добудем,
брата этого получше,
прежнего умней намного».
Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:
«Да и я не зарыдаю,
о твоей услышав смерти:
сам слеплю сестру такую,
рот из глины, лоб из камня,
вместо глаз — с болота клюква,
волосы — из трав усохших,
уши — из озерных лилий,
талию — из ветки клена».
Матушке сказал родимой:
«Дорогая, золотая,
милая моя пестунья,
выносившая сыночка,
ты заплачешь ли, услышав,
что скончался я внезапно,
что ушел из этой жизни,
из родного рода выбыл?»

Мать ответила сыночку:
так промолвила, сказала:
«Что у матери на сердце,
только мать сама и знает.
Плакать буду я, услышав,
что скончался ты внезапно,
что ушел из этой жизни,

из родного рода выбыл,
всю избу залью слезами,
окачу полы волнами,
на подворье нарыдаюсь,
сгорбившись в хлеву наплачусь.
В голый лед снега расплавлю,
лед в проталины проплачу,
землю талую — в лужайки,
зелень луга — в сухотравье.

Коль на людях станет стыдно,
неудобно — убиваться,
горевать совсем неловко,
тайно в бане порыдаю,
лавки все залью слезами,
окачу водой горючей».

Куллервойнен, Калервойнен,
старца сын в чулочках синих,
веселясь пошел в сраженье,
на рожке играя, — в битву.
Шел по топям, шел по землям,
шел, трубя, по боровинам,
шел, звеня, по травостою,
шел, гремя, по сухотравью.

Следом весть за ним летела,
следом слух за ним катился:
«Дома батюшка скончался,
принял смерть родитель старый.
Возвращайся, чтоб увидеть,
как покойного схоронят!»

Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:
«Что с того, что старый умер!

Есть у нас в конюшне мерин,
чтобы на погост доставить,
там зарыть отца в могиле».
Знай трубит, идя болотом,
гомонит, шагая палом.
Следом весть за ним летела,
следом слух за ним катился:
«Дома брат уже скончался,
матери твоей сыночек.
Возвращайся, чтоб увидеть,
как покойного схоронят».

Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:
«Что с того, что брат скончался.
Есть у нас коняга дома,
чтобы на погост доставить,
братца там зарыть в могиле».

Знай трубит, идя болотом,
ельником шагая, кличет.
Следом весть за ним летела:
следом слух за ним катился:
«Дома уж сестра скончалась,
дочка матери погибла.
Возвращайся, чтоб увидеть,
как покойницу схоронят!»

Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:
«Что ж, туда ей и дорога!
Есть у нас еще кобыла,
чтобы на погост доставить,
там зарыть сестру в могиле!»

Шел, играя, по кулигам,
шел, звеня, по сухотравью.

Следом весть за ним летела,
следом слух за ним катился:
«Матушка твоя скончалась,
умерла твоя родная.
Возвращайся, чтоб увидеть,
как покойницу схоронят!»

Куллервойнен, Калервойнен,
так промолвил, так заметил:
«Горе, горе мне, бедняге,
матушка моя скончалась,
та, что мне кроила полог,
одеяльце вышивала,
из кудели нить крутила,
с веретенцем управлялась.
Не было меня с ней рядом,
как родная умирала.
То ль от холода замерзла,
то ль от голода угасла?

Вы покойницу обмойте
привозным из Саксы мылом,
в саван шелковый оденьте,
в полотняные одежды!
Лишь потом везите в калму,
лишь потом заройте в землю,
с причитаньями везите,
в яму с воплями спустите!
Не могу еще вернуться:
не отмщен покуда Унто,
не погублен муж коварный,
жалкий муж не уничтожен».
На войну все шел, играя,
в Унтолу шагал, ликуя.
Говорил слова такие:
«Ой ты, Укко, бог верховный!

Дал бы ты мне меч могучий,
подарил клинок красивый,
чтоб с толпой мужей сразиться,
с целой сотнею героев».

Получил клинок прекрасный,
меч могучий, самый лучший.
Унтамо людей осилил,
род коварный уничтожил,
сжег дотла жилища Унто,
обратил все избы в пепел,
от печей оставил камни,
от дворов — одни рябины.

Куллервойнен, Калервойнен,
тут уж повернул обратно
к избам батюшки родного,
к тем родительским полянам.
Дверь открыл — пуста избушка,
в дом вошел — безлюдно в доме,
некого обнять бедняге,
некому подать и руку.

К очагу он тянет руку —
холод от углей исходит.
Вот тогда он тотчас понял:
матушки в живых уж нету.

Протянул он руку к печке —
холод от камней исходит.
Вот тогда-то он и понял:
батюшки в живых уж нету.

Бросил взгляд на половицы —
пол давно не подметали.
Вот тогда он тотчас понял:

нет уже в живых сестрицы.

Он пошел тогда к причалу —
нету лодки у причала.
Вот тогда он тотчас понял:
нет в живых родного брата.
Тут заплакал он, несчастный.
Плакал день, другой проплакал.
Сам сказал слова такие:
«Ой ты, матушка родная!
Что оставила сыночку
для житья на этом свете?

Почему ты, мать, не слышишь?
На твоих стою глазницах,
на твоих бровях рыдаю,
на челе твоем стенаю».
Мать заметила из гроба,
так из-под земли сказала:
«Черный пес тебе остался,
с ним броди по дальним корбам.
Ты возьми его с собою,
ты уйди в края лесные,
поднимись на гору в корбе,
загляни к хозяйкам юным,
на подворье к синим девам,
перед хвойными дворцами,
там ищи себе прокорма,
там выпрашивай добычу!»

Куллервойнен, Калервойнен,
взял с собой в дорогу Мусти,
в путь отправился неспешно,
в корбу темную, на гору.
Он прошел совсем немного,
прошагал пути маленько,

подошел к колку лесному,
оказался в том же месте,
где девицу обесчестил,
дочь родимой опорочил.

Там лужок прекрасный плакал,
там поляна причитала,
травы юные грустили,
вереска цветы роптали:
обесчещена девица,
дочка матери родимой.
Там трава не поднималась,
там цветы не раскрывались,
там не цвел красивый вереск,
там, на месте злополучном,
где девицу он испортил,
дочку матери родимой.

Куллервойнен, Калервойнен,
выхватил клинок свой острый,
меч свой вертит, изучает,
спрашивает, вопрошает,
от меча услышать хочет,
не желает ли железный
плоти грешника отведать,
виноватой выпить крови.

Понял меч героя мысли,
разгадал желанье мужа,
произнес слова такие:
«Почему бы не отведать,
не откушать грешной плоти,
не попить преступной крови?
Ем же плоть и невиновных,
пью и кровь совсем невинных!»
Куллервойнен, Калервойнен,

старца сын в чулочках синих,
рукоятью меч вонзает,
в землю твердую вгоняет,
острие направив в сердце,
падает на жало грудью.
Так свою погибель встретил,
так свою кончину принял.

То была кончина мужа,
юного героя — гибель.
Что ни говори, — героя,
вековечного страдальца.

Тут уж старый Вяйнямёйнен,
как узнал о смерти мужа,
Куллервойнена кончине,
слово молвил, так заметил:
«Никогда, народ грядущий,
не давай детей родимых
глупому на попеченье,
чужаку на воспитанье!
Тот, кто дурно был воспитан,
был неверно убаюкан,
тот вовек не поумнеет,
мудрость мужа не постигнет,
даже если возмужает,
если телом и окрепнет!»

Песнь тридцать седьмая

Илмаринен долго плачет по своей убитой супруге, затем кует себе из золота и серебра новую жену. С большим трудом доделывает ее, но она остается бездыханной, с. 1–162. — Проводит ночь в постели со своей золотой невестой и, проснувшись утром, чувствует, что тот бок, который был повернут к изваянию, очень холоден, с. 163–196. — Хочет отдать свою золотую невесту Вяйнямёйнену, который, однако, отказывается от нее и велит Илмаринену выковать из нее другие полезные вещи или отвезти в этом же самом виде в другие страны к жаждущим золота женихам, с. 197–250.

Илмаринен каждый вечер
по своей жене рыдает,
слезы льет без сна все ночи,
без еды все дни стенает,
горько плачет ранним утром,
до полудня воздыхает,
что погибла молодая,
что, красивая, угасла.
Уж давно не держат руки

ручку медную кувалды,
стук не слышится из кузни,
не доносится весь месяц.

Слово молвил Илмаринен:
«Вот теперь уж и не знаю,
как мне быть и что мне делать,
не смыкаю глаз ночами, —
ночи длинны, время тяжко,
силы тают, мощь уходит.

Вечера мои печальны,
горестны мои рассветы,
по ночам еще тоскливей,
по утрам еще грустнее.
Не об этих днях печалюсь,
об утрах не этих плачу,
не о днях былых скучаю,
о красавице тоскую,
о своей супруге плачу,
о подруге чернобровой.

В этом возрасте цветущем,
очень часто, горемычный,
я во сне средь темной ночи
пустоту ловлю руками,
призрак трогаю ладонью
по бокам своим обоим».
Без жены живет кователь,
без супруги увядает.
Месяц, два и три рыдает,
вот когда пошел четвертый,
золота приносит с моря,
серебра — с волны высокой.
Нарубил в лесу деревьев,
целых три десятка дровен,

пережег деревья в уголь,
уголь весь в очаг засыпал.
Золота берет кователь,
серебра — совсем немного,
лишь — с осеннюю овечку,
только с зимнего зайчонка,
сунул золото в горнило,
серебро насыпал в пламя,
сам рабов к мехам поставил,
к поддувалу — люд наемный.

Вот рабы вовсю качают,
сильно пламя раздувают,
сняли с рук свои голицы[198],
кӳккели[199] с голов сорвали.
Сам кователь Илмаринен
пошевеливает угли,
ждет серебряную деву,
изваянье золотое.

Трудятся рабы неважно,
батраки качают скверно.
Тут кователь Илмаринен
сам качать мехи берется.
Раз и два качнул легонько,
в третий раз качнул сильнее,
заглянул кузнец в горнило,
посмотрел в огонь кователь:
что появится из горна,
что из пламени возникнет?

Из огня овца выходит,
выбирается из горна,
с мягкой шерстью серебристой,
с шерсткой медной, золотистой.
От овечки все в восторге,

не в восторге Илмаринен.

Илмаринен так промолвил:
«Чтоб тебя задрали волки!
Где невеста золотая,
где серебряная дева?»

Тут кователь Илмаринен
возвратил овечку в пламя,
золота в огонь добавил,
серебра туда подбросил,
вновь рабов качать заставил,
раздувать огонь, наемных.

Вот рабы вовсю качают,
сильно пламя раздувают, —
сняли с рук свои голицы,
куккели с голов сорвали.
Сам кователь Илмаринен
поправляет угли в горне,
ждет серебряную деву,
золотое изваянье.
Трудятся рабы неважно,
батраки качают скверно.
Вот кователь Илмаринен
сам качать мехи принялся.
Раз и два качнул легонько,
в третий раз качнул сильнее,
заглянул кузнец в горнило,
посмотрел в огонь кователь:
что появится из горна,
что из пламени возникнет?
Появился конь из горна,
жеребенок — из горнила,
златоглавый, среброглавый,
резвый конь меднокопытный.
От коня в восторге каждый,

не в восторге Илмаринен.
Илмаринен так промолвил:
«Чтоб тебя задрали волки!
Где невеста золотая,
где серебряная дева?»
Тут кователь Илмаринен
сунул жеребенка в пламя,
золота в огонь добавил,
серебра еще подбросил,
вновь рабов качать заставил,
раздувать огонь, наемных.

Вот рабы вовсю качают,
сильно пламя раздувают,
сняли с рук свои голицы,
куккели с голов сорвали.
Сам кователь Илмаринен
поправляет угли в горне,
ждет серебряную деву,
изваянье золотое.

Трудятся рабы неважно,
батраки качают скверно.
Вот кователь Илмаринен
сам качать мехи берется.
Раз и два качнул легонько,
в третий раз качнул сильнее,
заглянул кузнец в горнило,
посмотрел в огонь кователь:
что появится из горна,
что из пламени возникнет?

Дева из огня явилась,
златокосая — из горна,
среброглавая красотка,
телом стройная девица.

Все ужасно испугались,
лишь кузнец не испугался.
Знай кует себе кователь
золотое изваянье.
Ночь ковал без передышки,
день ковал без перерыва.
Выковал красотке ноги,
сделал ноги, руки сделал,
лишь ходить не могут ноги,
обнимать не могут руки.

Выковал девице уши,
только уши те не слышат.
Вылепил уста красиво,
зоркие глаза приладил,
речь в уста вложить не может,
нежность дать глазам красивым.

Вымолвил тогда кователь:
«Вот красавица была бы,
если б говорить умела,
языком — умом владела!»

Проводил свою невесту
за туманную завесу,
на пуховые подушки,
шелковые покрывала.

Вот кователь Илмаринен
натопил парную баню,
мыльную купель устроил,
пышных веников наделал,
воду в три налил ушата,
чтобы зяблику помыться,
пуночке ополоснуться,
счистить шлаки золотые.

Парился кователь вволю,
воду лил кузнец в избытке.
К девушке под бок улегся
под туманный легкий полог,
под навес шатра стального,
под железное укрытье.

Вот кователь Илмаринен
очень скоро, ночью первой,
захотел теплей укрыться,
одеял принес немало:
две и три медвежьи шкуры,
пять и шесть платков из шерсти,
чтоб лежать в тепле с супругой,
с золотой своею девой.

Бок один лишь согревался,
что укрыт был одеялом.
Тот, что к деве был повернут,
к золотой прижат невесте,
холоднее становился,
застывал ледовой глыбой,
замерзал морскою льдиной,
становился твердым камнем.
Так заметил Илмаринен:
«Не по мне такая дева!
В Вяйнолу свезу девицу,
пусть опорой Вяйно станет,
вековечною супругой,
курочкой ему под мышку».

Он повез невесту к Вяйно.
А когда к нему приехал,
слово молвил, так заметил:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен!
Вот хорошая невеста,

с виду девушка прекрасна,
языком болтать не будет,
лишнего не скажет слова».

Вековечный Вяйнямёйнен
посмотрел на изваянье,
на девицу золотую.
Так промолвил, так заметил:
«Для чего ты мне доставил
эту куклу золотую?»

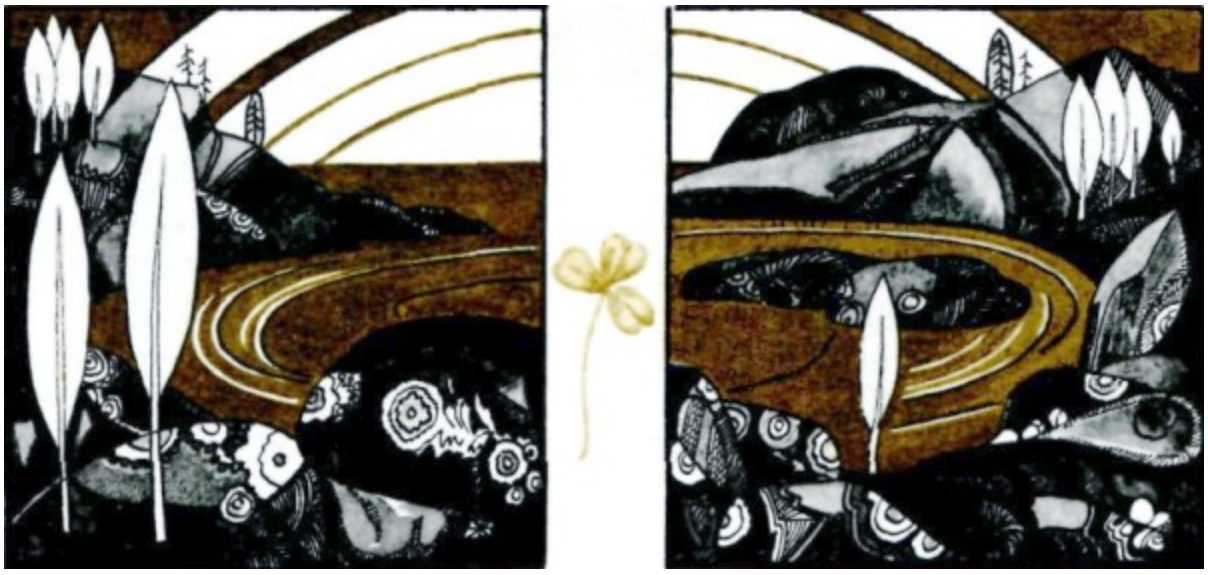
Вымолвил тогда кователь:
«Для чего ж, как не для блага!
Будет вечною супругой,
курочкой твоей любимой!»

Молвил старый Вяйнёмейнен:
«Ой, кузнец, любезный братец.
Брось в огонь свою девицу,
из нее накуй поделок
или унеси в Россию,
в Саксу увези девицу,
пусть богатые дерутся,
знатные пускай воюют.
Роду моему не нужно,
самому совсем негоже
сватать куклу золотую,
жить с серебряной супругой».

Наказал тогда же Вяйно,
запретил жених потока
молодому поколенью,
подрастающему люду,
золоту поклоны делать,
перед серебром склоняться.
Произнес слова такие,

так промолвил, так заметил:
«Ой вы, юноши-бедняги,
вы, герои молодые,
из домов богатых парни,
женихи избушек бедных,
никогда не надо в жизни,
есть пока на небе месяц,
сватать куклу золотую,
жить с серебряной супругой!
Пышет золото морозом,
стужей серебро сверкает!»

Песнь тридцать восьмая



Илмаринен отправляется в Похьелу сватать младшую сестру своей покойной жены. Там ему ответили бранью и хулой. Рассердившись, он умыкает девушку и тотчас отправляется домой, с. 1–124. — В пути девушка бранит Илмаринена и так оскорбляет его, что Илмаринен наконец в сердцах превращает ее заклинаниями в чайку, с. 125–286. — Прибывает домой и рассказывает Вяйнямёйнену, как беззаботно живет Похьела благодаря сампо, а также о том, чем кончилось его сватовство, с. 287–328.

Вот кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
бросил деву золотую,
ту серебряную куклу.
Стригунка впрягает в сани,
ставит рыжего в оглобли,
сам удобнее садится,
размещается в кошевке.
Он отправиться задумал,
вознамерился поехать

в Похьеле просить невесту,
дочь вторую — у хозяйки.

Первый день кузнец проехал,
день второй проехал вскоре,
третий день кузнец промчался,
вот и в Похьелу приехал.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
тут сама во двор явилась,
подошла к нему с вопросом,
подступила с разговором:
как ее живется дочке,
как ей можется, любимой,
молодой жене — у мужа,
у свекровушки — невестке.
Тут кователь Илмаринен,
опечаленный, унылый,
голову свою понурив,
так ответил, так промолвил:
«Ой ты, теща дорогая,
не расспрашивай об этом,
как твоей живется дочке,
как ей можется у мужа!
Смерть девицу погубила,
жуткая взяла кончина.
Ягодка уже в могиле,
уж в земле моя красотка,
чернобровая — в песчаной,
под травою-муравою.
Я прошу вторую дочку,
младшую ее сестрицу:
«Выдай, теща дорогая,
за меня другую дочку
вместо давешней хозяйки,
вместо умершей сестрицы!»

Ловки, Похьелы хозяйка,
так ему в ответ сказала:
«Сделала и так прескверно,
очень худо поступила,
что и с первою рассталась,
отдала родную дочку,
чтоб навек она уснула,
чтоб во цвете лет угасла,
отдала, как волку в зубы,
сунула, как в пасть медведю.
Дочь вторую не получишь,
не возьмешь другую дочку,
чтоб твою скоблила сажу,
чтоб с тебя счищала копоть.
Лучше уж девицу бросить,
кинуть собственную дочку
в воды бурного порога,
в пламя грозной крутоверти,
в пасть налима в речке Маны,
в глотку щуки в речке Туони».
Тут кователь Илмаринен
губы сжал, насупил брови,
бороду помял в ладони,
головой тряхнул кудрявой,
напролом прошел в жилище,
в дом прошествовал под крышу.
Так сказал он, так промолвил:
«Будь моей женою, дева,
замени свою сестрицу,
заступи в ее владенья
испекать медовый хлебец,
доброе готовить пиво!»

На полу пропел ребенок,
так пропел и так промолвил:
«Прочь из крепости, ненужный,

вон из дому, муж нездешний!
Ты и так испортил крепость,
повредил прекрасный замок,
здесь однажды появившись,
побывав у этой двери.
Девица, моя сестрица,
женихом не увлекайся,
ни словами уст красивых,
ни сложеньем ног прекрасных.
У героя — зубы волчьи,
лисьи коготки — в кармане,
в пазухе — медвежьи крючья,
кровопийцы нож — на чреслах,
им он голову изранит,
спину девушки изрежет».
Вымолвила тут девица,
так кователю сказала:
«Не пойду к тебе я в жены,
за негодного не выйду!
Ты супругу свел в могилу,
погубил мою сестрицу,
и меня сведешь в могилу,
и меня еще погубишь!
Да к тому же я, девица,
мужа лучшего достойна,
жениха — стройнее станом,
пошевней — и покрасивей,
пообширнее — владений,
попросторнее — сидений,
чем в избе, от угля черной,
в доме глупого героя».

Тут кователь Илмаринен,
мастер ковки вековечный,
губы сжал, насупил брови,
бороду помял в ладони,

тотчас подхватил девицу,
сгреб обеими руками,
вихрем вырвался на волю,
ринулся к саням немедля,
девушку швырнул в кошевку,
в пошевни красотку бросил.
Приготовился к отъезду,
в путь отправился поспешно.
Вожжи дергает рукою,
груди трогает другою.
Дева плачет, дева стонет,
говорит слова такие:
«Ухожу, как на болото,
как за клюквой на трясину,
где я, курочка, исчезну,
где навеки, птичка, сгину.

Ты послушай, Илмаринен!
Коль меня ты не отпустишь,
расшибу пинком кошевку,
разнесу ногами сани,
раздроблю в щепу коленом,
на кусочки разломаю».

Тут кователь Илмаринен
говорит слова такие:
«Для того борта кошевки
и окованы железом,
чтоб ногами бить сильнее,
чтоб и деве быть покрепче».

Плачет, сетует девица,
жалуется, медный пояс,
пальцы тонкие ломает,
выворачивает руки,
говорит слова такие:

«Коль меня ты не отпустишь,
обернусь морскою рыбкой,
вглубь уйду сигом проворным».

Тут кователь Илмаринен
говорит слова такие:
«Не уйдешь ты в глубь морскую —
кинусь щукой за тобою! —
Плачет, сетует девица,
жалуется, медный пояс,
пальцы тонкие ломает,
выворачивает руки,
говорит слова такие:
«Коль меня ты не отпустишь,
спрячусь я в лесу дремучем,
горностаем — в щели камня».

Тут кователь Илмаринен
говорит слова такие:
«Не уйдешь ты в лес дремучий —
кинусь выдрой за тобою!»

Плачет, сетует девица,
жалуется, медный пояс,
пальцы тонкие ломает,
выворачивает руки,
говорит слова такие:
«Коль меня ты не отпустишь,
в небо жаворонком взмою,
спрячусь там за облаками».
Тут кователь Илмаринен
говорит слова такие:
«Жаворонком ввысь не взмоешь —
следом я орлом отправлюсь!»

Чуть проехал по дороге,

одолел пути немного,
лошадь вдруг насторожилась,
конь ушами вдруг запрядал.

Голову склонила дева:
на снегу следы виднелись.
Спрашивает, вопрошает:
«Кто нам пересек дорогу?»
Отвечает Илмаринен:
«Заяц пересек дорогу».

Горемычная вздохнула,
испустила вздох тяжелый,
так промолвила, сказала:
«Что же мне, бедняжке, делать?

Лучше было бы намного,
было бы куда приятней
по следам бежать зайчонка,
по тропе косого мчаться,
чем сидеть в санях у мужа,
косоротого героя.
У зайчонка шерсть красивей,
у косого рот милее».
Тут кователь Илмаринен
рот скривил, нахмурил брови,
жеребца погнал быстрее.
Одолел пути немного,
вновь гнедой насторожился,
конь ушами вновь запрядал.

Голову склонила дева:
на снегу следы виднелись.
Спрашивает, вопрошает:
«Кто нам пересек дорогу?»
Отвечает Илмаринен:

«Путь лиса перебежала».

Горемычная вздохнула,
испустила вздох тяжелый,
так промолвила, сказала:
«Что же мне, бедняжке, делать?
Лучше было бы намного,
было бы куда приятней:
у лисы сидеть в кошевке,
в санках путницы извечной,
чем сидеть в санях у мужа,
косоротого героя.
У лисицы шерсть красивей,
у лисицы рот милее».
Тут кователь Илмаринен
рот скривил, нахмурил брови,
жеребца погнал быстрее.
Одолел пути немного,
вновь гнедой насторожился,
конь ушами вновь запрядал.

Голову склонила дева:
на снегу следы виднелись.
Спрашивает, вопрошает:
«Кто нам пересек дорогу?»
Так ответил Илмаринен:
«Волк перебежал дорогу!»

Горемычная вздохнула,
испустила вздох тяжелый,
так промолвила, сказала:
«Что же мне, бедняжке, делать?
Лучше было бы намного,
было бы куда приятней
по следам волков гоняться,
по тропинкам низкомордых,

чем в санях сидеть у мужа,
косоротого героя.
Шерсть красивее у волка,
рот у волка поизящней!»

Тут кователь Илмаринен
губы сжал, нахмурил брови,
жеребца погнал быстрее,
на ночь прибыли в деревню.

Утомленный той поездкой,
крепким сном заснул кователь,
забавлял другой невесту
крепко спящего героя.

Тут кователь Илмаринен,
поутру проснувшись рано,
рот скривил, нахмурил брови,
бороду помял в ладони.
Так промолвил Илмаринен,
рассудил и так заметил:
«Не начать ли волхвованье,
не напеть ли мне красотку
в лес глухой добычей леса
иль воды поживой — в реку?

Коль пошлю добычей леса —
лес совсем угрюмый станет,
коль пошлю воды поживой —
рыба тотчас разбежится.
Пусть меча добычей станет,
пусть клинка поживой будет!»

Вникнул меч в слова героя,
замысел коварный понял.
Так сказал он, так промолвил:

«Не затем меня создали,
чтобы жен губил неверных,
изводил зловредных женщин».

Тут кователь Илмаринен
волхвование затеял,
заклинаньями занялся.
В чайку превратил невесту,
чтоб на лудах век вертелась,
чтоб на скалах гоготала,
чтобы мыкалась по мысам,
против ветра колыхалась.

Тут кователь Илмаринен
снова в пошевни уселся.
Едет, катит потихоньку,
свесив голову в печали.
Вот на родину приехал,
прикатил в края родные.

Вековечный Вяйнямёйнен
встретился ему в дороге.
Он сказал слова такие:
«Добрый братец Илмаринен,
чем так сильно опечален,
голову почто повесил
на пути домой из Похьи?
Как там Похьеле живется?»

Отвечает Илмаринен:
«Похьела живет неплохо!
Там все время сампо мелет,
эта крышка расписная:
мелет целый день для дома,
день второй — для распродажи,
третий — мелет для припасов.

Так скажу я, так замечу,
повторю еще разочек:
Похьела живет неплохо,
сампо Похьела имеет.
В нем и пашни, и посевы,
роста всякого истоки,
счастья вечного начало».
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Брат любезный Илмаринен!
Где ж ты бросил молодую,
именитую невесту,
почему порожним едешь,
без невесты прибываешь?»

Тут кователь Илмаринен
так промолвил, так ответил:
«Я невесту эту проклял,
чайкою напел на луду.
Пусть весь век летает чайкой,
крачкой крякает морскою,
на камнях кричит подводных,
на скале морской гогочет».

Песнь тридцать девятая

Вяйнямёйнен уговаривает Илмаринена поехать с ним добывать сампо в Похьеле. Илмаринен принимает предложение. Герои отправляются в путь на лодке, с. 1–330. — Лемминкяйнен, заметив и узнав, куда они едут, вызвался в сотоварищи третьим мужем. Его с удовольствием принимают, с. 331–426.

Вековечный Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Слушай, мастер Илмаринен!
Надо в Похьелу поехать,
чтобы взять из Похьи сампо,
эту крышку расписную».

Тут кователь Илмаринен
слово молвил, так ответил:
«Сампо взять мы не сумеем,
эту крышку расписную,
в Похьеле, краю туманном,
в сумеречной Сариоле.

Спрятано надежно сампо,
скрыта крышка расписная,
в каменном утесе Похьи,
в самых недрах медной вары,
на девять замков закрыто.
Сампо там пустило корни
в глубину на девять сажен:
в землю-мать один внедрился,
врос другой в пологий берег,
третий в холм вошел у дома».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Ой, кузнец, любезный братец!
Надо в Похьелу поехать,
чтобы взять из Похьи сампо.
Выстроим корабль огромный,
принесем на судно сампо,
его крышку расписную,
из горы суровой Похьи,
из середки медной вары,
из-за девяти засовов».

Вымолвил тогда кователь:
«По земле верней дорога,
Лемпо пусть по морю едет,
смерть — по гребням волн несется,
лодку там швыряет ветер,
вихри там челном бросают,
не пришлось бы плыть без лодки,
сделать веслами — ладони!»

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«По земле верней дорога,
путь вернее, но труднее,
да извилистей, к тому же.
Любо в лодочке на водах,

хорошо в челне на волнах
по широким плыть просторам,
по хребту скользить морскому:
челн покачивает ветер,
подгоняют лодку волны,
западный в борта толкает,
южный ветер вдаль уносит.
Только все-таки, но все же,
если морем не желаешь,
сушею тогда поедем,
берегом тащиться будем!

Новый меч теперь мне выкуй,
огневой клинок сработай,
чтобы псов разить проклятых,
Похьелы народ поганый,
брать когда мы будем сампо
в том селении холодном,
в Похьеле, краю туманном,
в сумеречной Сариоле!»
Вот кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,
натолкал в огонь железа,
стали — в пышущие угли,
золота насыпал горстку,
серебра добавил жменю.
Сам рабов качать заставил,
воздух нагнетать — наемных.

Вот рабы вовсю качают,
мощно воздух нагнетают:
жидким сделалось железо,
сталь тягучим тестом стала,
серебро водой струилось,
золото волной плескалось.

Тут кователь Илмаринен,

вечный мастер дел кузнечных,
заглянул на дно горнила,
посмотрел в очаг кузнечный:
там могучий меч рождался,
рукоятка — золотая.
Вытащил из горна сплавы,
взял из пламени поковку,
опустил на наковальню
под кувалду, под клепало.
Выковал клинок на славу,
самый лучший меч сработал,
золотом его отделал,
серебром облагородил.

Вековечный Вяйнямёйнен
посмотреть пришел работу.
Получил клинок каленый,
правою рукою принял.
Поворачивает, смотрит,
слово молвит, вопрошает:
«По герою ль меч сработан,
по хозяину ли сделан?»

По герою меч сработан,
по хозяину — каленый:
с острия луна сверкала,
с лезвия сияло солнце,
звезды — с крепкой рукояти,
ржал на лезвии жеребчик,
на закрепке кот мяукал,
заливался пес на ножнах.

Поводил мечом каленым
в скважине горы железной,
сам сказал слова такие:
«Я бы мог мечом могучим

рассекать стальные скалы,
надвое рубить утесы!»
Сам кователь Илмаринен
слово молвил, так ответил:
«Как же сам сумею, бедный,
заслониться, защититься,
опоясаться, укрыться,
от угроз земных и водных?
То ль надеть из кости панцирь,
то ль рубаху из железа,
затянуть на стали пояс?
В панцире мужчина крепче,
муж уверенней в кольчуге,
в поясе стальном — сильнее».

Час настал, пора приспела
в путь отправиться героям.
Муж один был Вяйнямёйнен,
муж другой был Илмаринен,
в лес коня ловить пустились,
вслушивались, озирались.
На боку была уздечка,
за спиной висела сбруя.
Все высматривали лошадь,
меж деревьями искали,
зорко вглядывались оба
в чащи синие лесные.
Отыскали лошадь в роще,
белогривого — меж елей.

Вековечный Вяйнямёйнен,
славный мастер Илмаринен
на коня узду надели,
белогривого взнуздали.
На коне вдвоем уселись,
едут берегом неспешно,

слышат с берега стенанья,
сетования — с причалов.

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Там печально плачет дева,
курочка рыдает горько!
Может быть, пойдем посмотрим,
подойдем чуть-чуть поближе!»
Подошел чуть-чуть поближе,
разглядел вблизи получше:
то не дéвица рыдала,
то не курочка роптала, —
это жаловалась лодка,
это сетовал кораблик!
Молвил старый Вяйнямёйнен,
подойдя поближе к лодке:
«Отчего ты, челн, рыдаешь,
струг с уключинами, стонешь?
Может, досок не хватило,
иль уключин недостало?»

Деревянный челн ответил,
струг с уключинами молвил:
«Лодка на воду стремится
даже с бревен просмоленных —
замуж девушки стремятся
даже из домов высоких.
Я о том, челнок, тоскую,
лодка жалкая, горюю,
чтоб свели меня на волны,
нá воду скорей спустили.

Как тесали — говорили,
как строгали — напевали,
мол, корабль военный строят,

боевой сооружают,
мол, добычи буду полон,
будет полон трюм сокровищ,
сами на войну не брали,
за добычею — ни разу.
Лодки, что меня похуже,
на войне бывают вечно,
ходят в битвы постоянно,
раза три в одно лишь лето,
полный трюм привозят денег,
полные борта — сокровищ.
Я же, новенькая лодка,
стодощатое творенье,
на своей сгниваю стружке,
на своей щепе валяюсь.
Худшие земные черви
под моей живут опругой,
самые дрянные птицы
вьют свои на мачте гнезда,
жабы всей дремучей корбы
на носу бесстрашно скачут.
Было бы в два раза краше,
раза в два и в три приятней
на бору сосной остаться,
кондою стоять на взгорке,
чтоб в ветвях вертелась белка,
чтоб кружился пес у комля».
Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Не печалься, челн дощатый,
струг уключинный, не сетуй!
Скоро на войну поедешь,
в жаркие пойдешь сраженья!

Если ты творенье Бога,
и созданье, и творенье,

то скатись бочком на воду,
соскользни бортом на волны,
чтоб рукой тебя не трогать,
чтоб ладонью не касаться,
не толкать плечом могучим,
не подталкивать локтями?»

Деревянный струг ответил,
челн с уключинами молвил:
«Никогда мой род великий,
кораблей большое племя
на воду само не сходит,
не спускается на волны
без толкания рукою,
без подталкиванья локтем».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Коль спущу тебя на воду,
побежишь ли ты без гребли,
поплывешь ли ты без весел,
без движения кормила,
без надутого ветрила?»
Деревянный челн ответил,
струг с уключинами молвил:
«Никогда мой род великий,
кораблей большое племя
не бежало вдаль без гребли,
не стремилось вдаль без весел,
без движения кормила,
без поднятия ветрила».

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Побежишь ли ты с гребцами,
поплывешь ли ты на веслах,
коль кормилом двигать будут,

коль надуется ветрило?»

Деревянный челн ответил,
струг с уключинами молвил:
«Так все лодочное племя,
все мои родные братья
бегали всегда с гребцами,
по воде на веслах плыли,
если двигалось кормило,
если парус надувался».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
лошадь на песке оставил,
привязал к березе повод,
вожжи захлестнул за ветку,
сам спустил корабль на воду,
пеньем на волну поставил.
Так сказал он, так промолвил,
разузнал, спросил у лодки:
«Лодка с выгнутой опругой,
струг с уключинами быстрый,
так ли ты хорош под грузом,
как прекрасен ты по виду?»

Деревянный челн ответил,
струг с уключинами молвил:
«Так же я хорош под грузом,
как красив и как просторен:
сто героев держат весла,
тысяча сидит без весел».
Вековечный Вяйнямёйнен
волхвовать тихонько начал,
к одному напел он борту
юношей вихрасточубых,
молодцев железноруких,
в сапогах мужей красивых,

посадил к другому борту
дев в заколках оловянных,
в кушаках из бляшек медных,
в перстнях золотых — красавиц.
Напевал и дальше Вяйно,
полные напел скамейки
пожилых людей хороших,
весь свой век вот так сидевших,
рассадил, где оставалось
между юношами место,

сам уселся у кормила,
на изгибе из березы,
править стал своею лодкой,
слово молвил, так заметил:
«Челн, несись по ясным водам,
по равнинам без деревьев.
Пузырем плыви по морю,
по морским волнам — кувшинкой».

Женихов сажает к веслам,
девушек — сидеть без весел.
Те гребли — сгибались весла,
путь никак не сокращался.

Девушек сажает к веслам,
женихов — сидеть без весел.
Те гребли — лишь пальцы гнулись,
только путь не сокращался.

Стариков сажает к веслам,
молодых — смотреть на старых.
Те гребли — дрожали скулы,
только путь не сокращался.

Славный мастер Илмаринен
сам тогда грести принялся:

деревянный челн помчался —
струг бежит, пути все меньше,
плеск весла далеко слышен,
скрип уключин слышен дальше.

Весело гребет кователь:
гнется борт, скрипит скамейка,
весла из рябины ропщут,
ручка верещит, как рябчик,
как косач, токует лопасть.
Нос челна, как лебедь, кличет,
каркает корма, как ворон,
крякают крюки, как утки.
Вековечный Вяйнямёйнен
кораблем умело правит,
управляет лодкой красной,
опершись на руль могучий.
Впереди мысок маячит,
горемычная деревня.

Ахти жил на этом мысе,
Кавко — на краю залива.
Жаловался на безрыбье,
на бесхлебье — Лемминкяйнен,
плакал, плут: пусты амбары,
сетовал: горька судьбина.
Борт вытесывал для лодки,
деревянный киль — для судна,
на мысу своем голодном,
у деревни горемычной.

Обладал он чутким ухом,
отличался зорким оком,
глянул на северо-запад,
повернул свой взор на солнце:
тучки край вдали увидел,

облако заметил в небе.

То не облако виднелось,
то не тучка приближалась,
это шел корабль по морю,
это лодочка бежала
по морским просторам ясным,
по свободному пространству,
на корме — герой нарядный,
муж за веслами — красивый.
Так промолвил Лемминкяйнен:
«Мне челнок неведом этот,
лодка эта незнакома,
что плывет сюда из Суоми,
что гребет сюда с востока,
направляется на запад».

Зычно лодку муж окликнул,
гаркнул сильно, крикнул громко,
заорал герой с мысочка,
краснощекий через воды:
«Чей челнок плывет по морю?
Чей корабль скользит по волнам?»

Говорят мужи из лодки,
женщины героям вторят:
«Что ты за чудак таежный,
бе́лочник[200], в стволы стучащий,
коль челнок тебе неведом,
неизвестна лодка Вяйно,
незнаком тебе ни кормчий,
ни за веслами сидящий?»
Так сказал беспечный Ахти:
«Узнаю я рулевого,
признаю и загребного:
вековечный Вяйнямёйнен
на корме за рулевого,

загребным сидит кователь.
Вы куда, мужи, плывете,
едете куда, герои?»

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«На суровый север едем,
на просторы вод бурлящих,
на бушующее море,
добывать мы едем сампо,
эту крышку расписную,
в каменных пещерах Похьи,
в недрах медного утеса».

Так сказал беспечный Ахти:
«О ты, старый Вяйнямёйнен!
Ты возьми меня с собою,
позови героем третьим,
если ты плывешь за сампо,
этой крышкой расписною.
Я вполне сойду за мужа,
коль нужда придет сражаться:
дам задание ладоням,
прикажу плечам могучим».

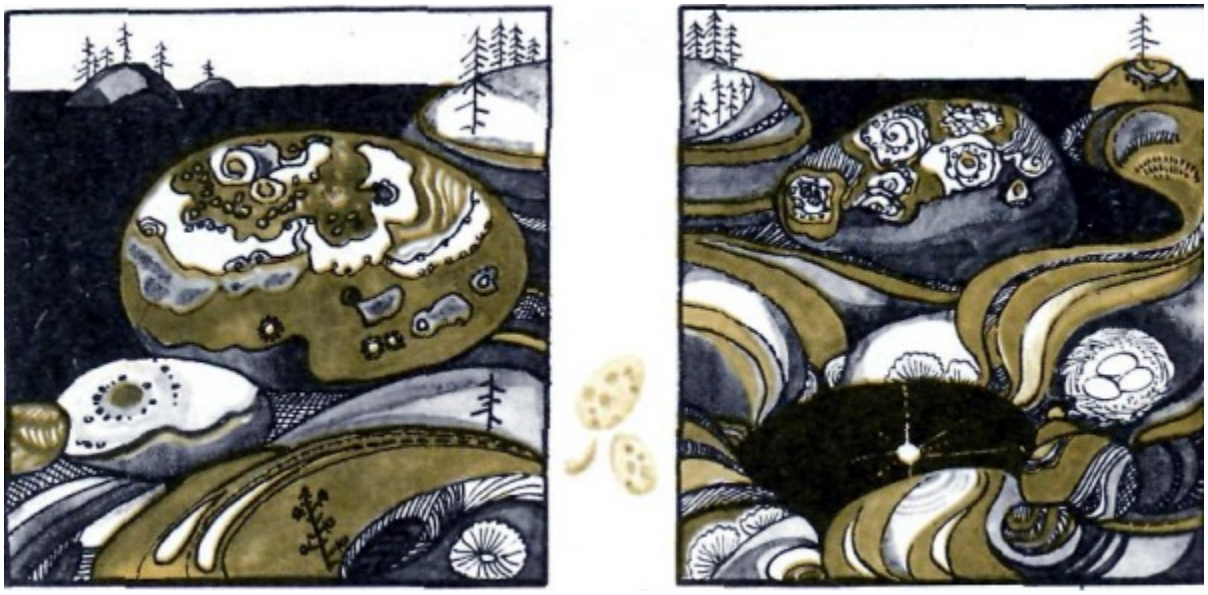
Вековечный Вяйнямёйнен
согласился взять героя,
пригласил задиру в лодку.
Тут беспечный Лемминкяйнен
к лодке поспешил охотно,
к кораблю заторопился,
целый борт с собой приносит
Вяйнямёйнену для лодки.

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Дерева и так хватает,
высоты бортов довольно,

в самый раз для лодки груза.
Ты зачем свой борт приставил,
дерева еще прибавил?»
Отвечает Лемминкяйнен:
«Корабля запас не валит,
как не валят стог подпорки.
В море Похьелы частенько
нужен в бурю борт повыше,
край высокий — в непогоду».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Для того в челне военном
грудь окована железом,
нос челна обтянут сталью,
чтобы выдержал он бурю,
шквалы яростные ветра».

Песнь сороковая



Добытчики сампо подплывают к порогу, и под порогом их лодка садится на спину огромной щуки, с. 1–94. — Щуку убивают, верхнюю половину с головой поднимают в лодку, варят и съедают на завтрак, с. 95–204. — Из челюстей щуки Вяйнямёйнен изготавливает кантеле, на котором все пробуют играть, хотя никто не умеет этого делать, с. 205–342.

Вековечный Вяйнямёйнен
путь по морю продолжает,
вдаль плывет от края мыса,
от убогого селенья,
едет морем, напевая,
радуясь, плывет по волнам.

Девушки на каждом мысе
наблюдают, вопрошают:
«Что за радость там на море,
что за пение на волнах —

радость прежнего прекрасней,
пенье прежнего приятней?»

Поспешает Вяйнямёйнен,
едет день водою суши,
день другой — водой болота,
третий день — водой порогов.

Тут беспечный Лемминкяйнен
вспомнил нужные заклятья
перед огненным порогом,
круговертью вод священных.
Он сказал слова такие,
произнес такие речи:
«Не бурли, порог могучий,
усмирись, волна тугая!
Дева пены, дух порога!
Опустись на камень пенный,
сядь на луду водяную!
Обхвати руками волны,
буруны возьми в охапку,
усмири ладонью пену,
чтоб на грудь нам не кидались,
брызгами не обдавали.

Пенистой волны хозяйка,
дух бурлящего порога!
Из-под волн взойди на гребни,
грудью навались на волны,
чтоб смирить воды кипенье,
отвести валы крутые,
чтоб невинных не теснили,
не губили непорочных!

Камни посреди потока,
валуны средь волн бурлящих,
опустите лбы под воду,

под волну — свои макушки
перед носом красной лодки,
на пути ладьи смоленой.

Если этого не хватит,
Киви-Киммо, юный Каммо,
буравом дыру проделай,
долотом пробей прореху
посреди скалы в пороге,
на боку опасной глыбы,
чтобы лодка не застряла,
чтобы челн не поломался!
Если этого не хватит,
житель дна, воды хозяин,
сделай камни мягким мохом,
щучьим пузырем — ладейку,
лишь пойдет она по гребням,
по волнам помчится пенным.

Дева бурного порога,
дочка быстрого потока,
нить спряди из хмари мглистой,
из тончайшего тумана,
протяни по всем порогам,
синюю — по бурным струям,
чтоб неслась ладья вдоль нити,
грудь смоленая, летела,
чтобы здесь любой проехал,
даже муж прошел нездешний.

Добрая весла хозяйка,
лучшее возьми кормило,
руль сама держи в порогах,
среди струй завороженных,
перед чумом чародеев,
под окном волхвов коварных!

Если этого не хватит,
Укко, бог ты наш небесный,
сам рули мечом могучим,
правь железом обнаженным,
чтобы челн бежал сосновый,
деревянная ладейка!»

Вековечный Вяйнямёйнен
сам своею лодкой правит,
меж камней челнок проводит
по бурлящему потоку.
Не застрял корабль на камне,
ведуна челнок — на луде.

Вот когда уж прибыл Вяйно
на открытые просторы,
лодка замерла на месте,
перестал бежать кораблик.
Накрепко ладья застряла,
стала лодка без движенья.
Вот кователь Илмаринен,
вот беспечный Лемминкяйнен
в глубину весло вонзили,
шест еловый — в волны моря,
чтобы двинуть с места лодку,
стронуть челн дощатый с мели —
лодка даже не качнулась,
челн не двинулся сосновый.

Вековечный Вяйнямёйнен
молвил слово, так заметил:
«Ой ты, сын беспечный Лемпи,
перегнись-ка, глянь под лодку.
Что ее не отпускает,
что корабль на месте держит
на широких плесах этих,

в этом тихом понизовье?
Камень или кряж сосновый
иль препятствие другое?»
Вот беспечный Лемминкяйнен
посмотреть с борта нагнулся.
Вот за борт под лодку смотрит,
слово молвит, отвечает:
«Не на камне наша лодка,
не на камне, не на кряже —
на спине огромной щуки,
на хребте речной собаки!»

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Есть в реке и то, и это,
есть и кряжи, есть и щуки.
Если мы на щуку сели,
на хребет речной собаки,
проведи мечом по волнам,
разруби в воде собаку!»

Вот беспечный Лемминкяйнен,
весельчак розовощекий,
свой клинок из ножен вынул,
косторез достал могучий,
по воде клинком ударил,
под челном провел железом,
с шумом на воду свалился,
с плеском плюхнулся на волны.

Тут кователь Илмаринен
мужу в волосы вцепился,
вытащил его из моря,
сам сказал слова такие:
«Всякий мнит себя мужчиной,
если бороду имеет,

хоть и взят для счета в сотню,
в тысячу включен для вида».
Достает свой меч из ножен,
из чехла клинок каленый,
полоснул мечом по рыбе,
резанул клинком под лодкой —
на кусочки меч распался,
щука даже не качнулась.

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«На полмужа вас не станет,
даже и на треть не хватит.
Как придет нужда какая,
ум потребуется мужа,
разума — как не бывало,
дело сгубите любое».

Вырвал сам свой меч из ножен,
выхватил клинок могучий,
с силой меч вонзает в море,
загоняет возле борта
в спину той огромной щуки,
в челюсти речной собаки.
Меч застрял в загривке рыбы,
зацепился в жабрах щуки.
Тут уж старый Вяйнямёйнен
тянет рыбину из моря,
поднимает из пучины:
щука надвое распалась,
рыбий хвост свалился в воду,
в карбас голова скатилась.

Тотчас лодка побежала,
челн от пут освободился.
Вековечный Вяйнямёйнен

лодку к луде направляет,
к берегу челнок подводит.
Поворачивает, вертит
голову огромной щуки.
Говорит слова такие:
«Кто из женихов постарше,
пусть разделывает щуку,
на куски пластает рыбу,
голову на части делит».
Говорят мужи из лодки,
от бортов им жены вторят:
«У ловца рука вернее,
справедливей, чем у прочих».

Вековечный Вяйнямёйнен
вытащил свой меч из ножен,
взял холодное железо,
щуку распластал на части,
рыбу на куски разрезал,
вымолвил слова такие:
«Кто из девушек моложе,
пусть она и варит щуку,
пусть готовит сытный завтрак,
пусть обед готовит рыбный!»

Принялись варить девицы,
десять — взапуски старались.
Вот уже готова щука,
вот и съеден завтрак сытный —
на скале остались ребра,
рыбьи кости на утесе.
Вековечный Вяйнямёйнен
те разглядывает кости,
поворачивает, смотрит,
говорит слова такие:
«Что бы этакое вышло,

если б эти зубы щучьи,
эти челюсти большие
оказались у горнила,
у кователя под боком,
у творца в руках искусных?»
Илмаринен так промолвил:
«Что же из пустого выйдет!
Из костей не сделать вещи,
окажись они хоть в кузне
у кователя под боком,
у творца в руках искусных».
Вековечный Вяйнямёйнен
так промолвил, так заметил:
«Все же получиться может
кантеле из рыбьей кости,
если будет мастер добрый,
кантеле творец искусный».
Раз уж мастер не нашелся,
не сыскался тот умелец,
кто бы кантеле построил,
вековечный Вяйнямёйнен
сам в умельца обратился,
в мастера преобразился.
Кантеле из кости сделал,
вековечную отраду.
Из чего он короб сделал?
Щучью челюсть взял на короб.
Из чего колки он сделал?
Щучьи зубы приспособил.
Из чего он струны сделал?
Волос конский взял у Хийси.
Вот и кантеле готово,
сделан короб музыкальный,
инструмент из рыбьей кости,
щучьих плавников певучих.
Женихи сюда спешили,

шли женатые мужчины,
подходили и подростки,
подбегали и девчонки,
молодицы и старушки,
в среднем возрасте хозяйки,
посмотреть певучий короб,
кантеле полюбоваться.

Вековечный Вяйнямёйнен
просит юных, просит старых,
в среднем возрасте хозяек
пальцами сыграть на струнах
инструмента костяного,
кантеле из рыбьих ребер.

Пробуют юнцы и старцы,
в среднем возрасте герои:
пальцы юных только гнутся,
старых — головы трясутся.
Нет от радости отрады,
нет от музыки веселья.
Так сказал беспечный Ахти:
«Ой вы, парни-недоумки,
ой вы, девицы-тупицы,
остальной народец жалкий!
Нет меж вами музыканта,
кантелиста — и в помине!
Дайте мне поющий короб,
кантеле сюда несите,
на колени положите
под десяток гибких пальцев!»
Вот беспечный Лемминкяйнен
короб в руки принимает,
ближе радость придвигает,
под десяток гибких пальцев,
поудобней размещает,
поворачивает короб:

только короб не играет,
не звенит на радость людям.

Молвит старый Вяйнямёйнен:

«Нет средь нашей молодежи,
среди юного народа,
нет и в поколенье старшем,
кто на кантеле сыграл бы,
кто б доставил людям радость.
Может, в Похьеле заставят
заиграть певучий короб,
зазвенеть на радость людям?
Дай-ка в Похьелу отправлю!»

В Похьелу отправил короб,
в сумрачную Сариолу.
Парни в Похьеле играли,
парни юные и девы,
все женатые играли,
все замужние старались.
Пробовала и хозяйка,
кантеле в руках вертела,
пальцами вовсю водила,
десятью скребла ногтями.

Парни в Похьеле играли,
пробовал народ различный,
все веселье не в веселье,
все игра не в радость людям,
струны скручивались в узел,
пел визгливо конский волос,
звуки грубые рождались,
инструмент гремел ужасно.

Спал за печкою незрячий,
на лежанке — старец дряхлый.

Вот очнулся он за печкой,
в уголке своем проснулся,
буркнул со своей лежанки,
пробубнил в своем запечье:

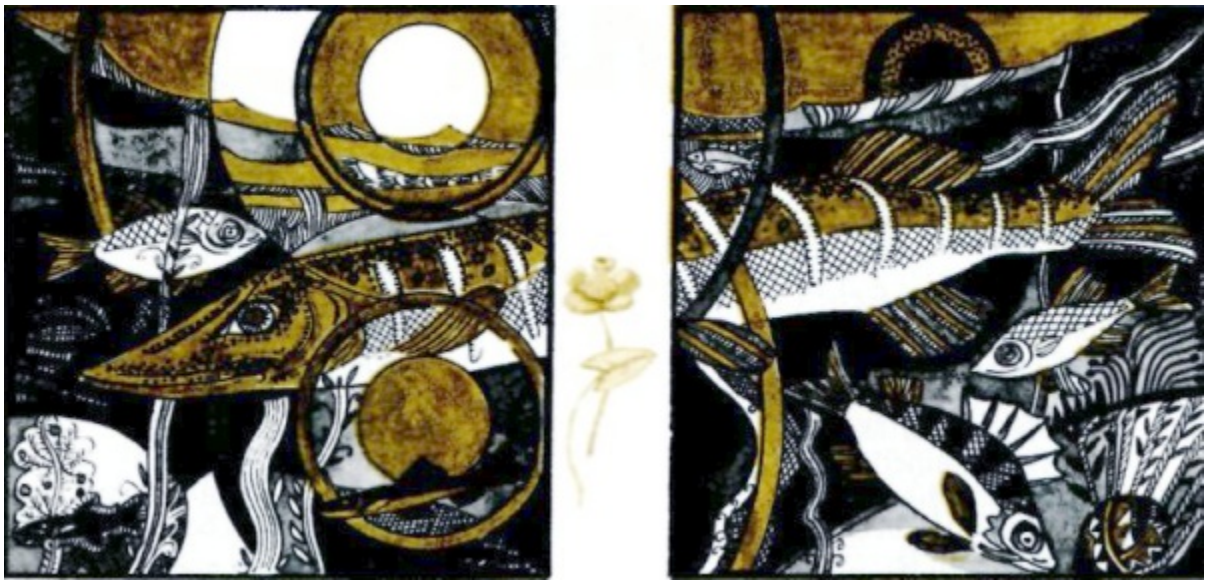
«Прекратите, перестаньте,
не гремите, не бренчите:
я совсем оглох от грома,
голова трещит от шума,
волосы аж дыбом встали,
сам надолго сна лишился!

Если короб сына Суоми
радости нам не приносит,
не наводит сон приятный,
к дреме сладостной не клонит,
бросьте в воду этот короб,
в волны инструмент швырните
или в Суоми возвратите,
передайте поскорее
сделавшему прямо в руки,
смастерившему — под пальцы!»

Инструмент запел словами,
кантеле заговорило:
«Недосуг пока мне в воду,
под волну идти не время.
Прежде мастеру сыграю,
за труды воздам умельцу».

Инструмент несли достойно,
с уваженьем подавали
в руки сделавшему короб,
рунопевцу — на колени.

Песнь сорок первая



Вяйнямёйнен играет на кантеле, и все живые существа, даже духи, хозяева воздуха, земли и моря, собираются, чтобы послушать его игру, стихи 1-168. Волшебные звуки музыки растрогали всех до слез, и даже сам Вяйнямёйнен не выдерживает: из его глаз бегут крупные слезы, каплями падают на землю и скатываются в воду, превращаясь в красивые голубые жемчужины, с. 169–266.

Старый вещий Вяйнямёйнен,
рунопевец вековечный,
пальцы гибкие расправил,
два больших омыл водою,
[5] примостясь на камне песен,
на скале отрады сидя,
на серебряной вершине,
золотом холме чудесном.

На руки берет свой короб,
[10] опускает на колени,
чтоб играть удобней было.

Так сказал он, так промолвил:
«Пусть приходят люди слушать,
кто не слыхивал доселе,
ликованье рунопевца,
кантелойнена звучанье!»

Вековечный Вяйнямёйнен
принялся играть чудесно
на певучем инструменте,
коробе из рыбьих ребер.
Пальцы гибкие порхают,
вверх большой взлетает палец.
Стала искреннею радость,
стало истинным веселье,
стало музыкой бренчанье,
пенье — песнею прекрасной.
Щучьи зубы рокотали,
гомонил плавник чудесно,
пел искусно волос конский,
весело струна звенела.

Радовал игрою Вяйно.
Не было такой зверюшки
среди всех четвероногих,
среди скачущих по лесу,
чтобы слушать не явилась,
не пришла дивиться чуду.

Белки быстрые примчались,
с ветки прыгая на ветку,
горностаи прибежали,
примостились на ограде.
Лоси по борам скакали,
в рощах радовались рыси.

Волк проснулся на болоте,
встал медведь на боровине,

вышел из берлоги хвойной,
из елового жилища.
Волк проделал путь неблизкий,
дальний путь медведь протопал,
на забор медведь взобрался,
на ворота навалился,
рухнула под ним ограда,
наземь грохнулись ворота,
сам вскарабкался на елку,
на сосну залез проворно,
чтобы кантеле послушать,
чтоб игрою насладиться.

Мудрый старец Тапиолы,
щедрой Метсолы хозяин,
с ним и весь народ таежный,
слуги все и все служанки
поднялись на холм высокий,
чтоб игру послушать Вяйно.

Даже Метсолы хозяйка,
мудрая большуха бора,
синие чулки надела,
красной лентой подвязала,
на ольховый выгиб села,
на березовый развилок,
чтобы кантеле послушать,
чтоб игрою насладиться.

Сколько было птиц небесных,
сколько было птах двукрылых,
все пургою прилетели,
дружной стайкой опустились,
чтобы кантеле послушать,
чтоб игрою насладиться.

Сам орел в гнезде, услышав
Суоми чудные напевы,
всех орлят своих покинул,
полетел стремглав на звуки,
чтоб игру послушать мужа,
Вяйнямёйнена веселье.

Прилетел орел из высей,
с облаков низвергся ястреб,
прилетели с моря утки,
лебеди — с болотин талых.
Тут и пуночки-малютки,
тут и птички-щебетуньи,
пташки сотнями кружили,
жаворонки — целой тыщей,
весело вокруг летали,
по плечам певца порхали, —
так играл великий старец,
веселился Вяйнямёйнен.
Девы дивные природы,
девы чудных сфер воздушных,
наслаждаясь той игрою,
кантеле прекрасным звоном,
те — на радуге устроясь,
на дуге воздушной сидя,
эти — примостясь на тучке,
на ее багровой кромке.

Кутар, месяца хозяйка,
Пяйвятар, хозяйка Солнца,
бёрда пальцами держали,
быстро ниченки вздымали,
ткань серебряную ткали,
золотую создавали,
на краю багровой тучки,
кромке облака большого.

Лишь услышали девицы
звуки музыки приятной,
бёрда их остановились,
челноки из рук упали,
золотой уток порвался,
нить серебряная сбилась.

Не было таких созданий,
тварей, под водой живущих,
шевелящих плавниками,
плавающих быстрой стаей,
чтобы слушать не явились,
не пришли игрой дивиться.

Щуки вяло притащились,
псы приплыли водяные,
с луды лососи примчались,
поднялись сиги из глубей.
Стайки окушков, плотичек,
ряпушки, другой рыбешки
грудью в камыши уткнулись,
дружно к берегу прильнули,
чтобы музыку послушать,
песней Вяйно насладиться.

Ахто, вольных волн владыка,
старец с бородой зеленой,
на поверхность моря вышел,
на кувшинку взгромоздился —
слушает оттуда песню,
говорит слова такие:
«Никогда в былое время
я подобного не слышал,
не слыхал игры прекрасней,
музыки не знал волшебней!»

Сестры, уточки-свиязи,
камышовые золовки,
хохолки свои чесали,
гладили густые перья
гребешком сереброверхим,
щеточкою золотою.
Звон волшебный услыхали,
звуки музыки чудесной —
гребешок свалился в воду —
щеточка скользнула в волны.
Хохолков не расчесали,
не разгладили всех перьев.

Вот сама воды хозяйка,
травогрудая красотка,
поднимается из моря,
выбирается из глубей,
налегла на камень грудью,
ловко выбралась на луду,
чтобы слушать эти звуки,
ликованье старца Вяйно.
До чего ж волшебны звуки!
До чего ж игра чудесна!
Тут хозяйка вод забылась,
погрузилась в сон глубокий,
животом на камне лежа,
на спине скалы подводной.

Все играет Вяйнямёйнен,
день играет, два играет.
Не было таких героев,
не нашлось мужей отважных,
ни мужей, ни жен в округе,
ни девиц, носящих косы,
кто б не обронил слезинки,
кто бы сердцем не растаял.

Плачет юный, плачет старый,
холостой мужчина плачет,
плачет взрослый муж, семейный,
плачут мальчики-подростки,
плачут парни и девицы,
плачут девочки-малютки.
До того волшебны звуки,
старца музыка красива.

Даже на глаза у Вяйно
тут слезинка навернулась,
из очей слеза упала,
светлою скатилась каплей,
что крупней болотной клюквы,
что горошины ядреней,
что круглей яйца тетерки,
больше головы касатки!

Падала слеза из глаза,
вытекала из другого.
По лицу скользили слезы,
по щекам стекали капли,
вниз бежали с щек красивых
на широкий подбородок,
вниз катились с подбородка,
капали на грудь героя,
капали с груди героя
на могучие колени,
падали с колен могучих
на подъем ступни широкой,
со ступни широкой мужа
наземь под ноги катились,
через пять пройдя накидок,
шесть обвязок золоченых,
через семь поддевок синих,
восемь шерстяных кафтанов.

Вот бегут, струятся слезы
из-под ног могучих Вяйно
к морю синему на берег,
с берега на волны моря,
с волн морских скользят под воду,
на поверхность черной тины.

Вековечный Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:
«Есть ли в юном поколенье,
в поколении прекрасном,
в этом племени великом,
здесь, в роду большом отцовском,
кто бы слезы эти вынес,
из-под ясных вод доставил?»

Так сказали молодые,
так и старцы повторили:
«Нету в юном поколенье,
в поколении прекрасном,
в этом племени великом,
нет во всем роду отцовском,
кто бы эти слезы вынес,
из-под ясных вод доставил».

Вековечный Вяйнямёйнен
так промолвил, так заметил:
«Кто мои доставит слезы,
соберет все эти капли,
из-под вод морских прозрачных,
дам тому из перьев шубу!»

Прилетел нескладный ворон,
так промолвил Вяйнямёйнен:
«Принеси мне, ворон, слезы
из-под ясных вод глубоких.

Дам тебе из перьев шубу!»
Не достал слезинок ворон.

Слух дошел до синей утки.
Утка тут же прилетела.
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Утка синяя, нередко
ты ныряешь здесь под волны,
погружаешься под воду!
Собери мне слезы, утка,
из-под ясных вод глубоких!
Добрую получишь плату:
дам тебе из перьев шубу!»

Утка синяя пустилась
собирать в пучине слезы,
доставать из вод глубоких,
с черной тины дна морского.
Собрала в пучине слезы,
принесла в ладони Вяйно.
Изменились в море слезы,
под волной преобразились:
стали жемчугом отборным,
перламутром обернулись,
королям для вящей славы,
государям — для отрады.

Песнь сорок вторая

Герои прибывают в Похьелу, и Вяйнямёйнен сообщает, что они прибыли поделить сампо и что если им не отдадут его половины по-хорошему, они возьмут силой его полностью, с. 1–58. — Хозяйка Похьелы не желает отдавать сампо ни по-хорошему, ни по-плохому и собирает народ Похьелы для отпора, с. 59–64. — Вяйнямёйнен берет в руки кантеле и музыкой усыпляет весь народ Похьелы. Затем вместе со своими соратниками идет смотреть сампо. Они вытаскивают его из каменной горы и переносят в свою лодку, с. 65–164. — Отправляются с сампо из Похьелы и спокойно плывут домой, с. 165–308. — На третий день хозяйка Похьелы, проснувшись, видит, что сампо увезено, и насылает густой туман, сильный ветер и другие невзгоды, чтобы остановить похитителей сампо, пока она не догонит их. В бурю новое кантеле Вяйнямёйнена тонет в море, с. 309–562.

Вековечный Вяйнямёйнен,
мастер славный Илмаринен,
муж беспечный Лемминкяйнен,
тот красивый Кавкомьели,
[5] продолжать свой путь решают

по открытым волнам моря
в то холодное селенье,
в вечно сумрачную Похью,
что героев поглощает,
что мужей в пучине топит.

Кто ж теперь за весла сядет?
Славный мастер Илмаринен
будет загребным на лодке,
впереди за весла сядет,
беззаботный Лемминкяйнен
сядет позади на весла.

Вековечный Вяйнямёйнен
сам садится у кормила,
лодку в море направляет,
через гребни волн проводит,
через бурное кипенье,
через мощные потоки,
челн ведет к причалам Похьи,
к пристаням давно знакомым.
Наконец туда добравшись,
наконец достигнув цели,
подняли ладью на берег,
смоляную грудь — на сушу,
лодку — на катки из стали,
челн — на стапеля из меди.

Подошли они к жилищам,
поспешили в дом герои.
Любопытствует хозяйка,
спрашивает у вошедших:
«Что за вести у героев,
у мужей какая новость?»

Вековечный Вяйнямёйнен
так на это отвечает:

«У мужей о сампо вести,
новость об узорной крышке.
Сампо мы делить явились,
крышкой пестрой любоваться».

Тут сама хозяйка Похьи
так промолвила, сказала:
«На двоих рябца не делят,
на троих не делят белку.
Хорошо вращаться сампо,
крышке расписной вертеться
в каменной пещере Похьи,
в недрах медного утеса.
Хорошо и мне, хозяйке,
быть властительницей сампо».

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Если не отдашь нам доли,
не откажешь половины,
целиком возьмем мы сампо,
на корабль к себе утащим».

Ловхи, Похьелы хозяйка,
прогневилась, возмутилась:
созвала народ всей Похьи,
крепких юношей с мечами,
ратников своих — с оружьем,
старцу Вяйно на погибель.
Вековечный Вяйнямёйнен
в руки взял певучий короб,
принялся играть степенно,
заиграл герой красиво.
Все притихли, чтобы слушать,
чтоб игрою наслаждаться.
Слушают мужи с охотой,

жены с ласковой улыбкой,
со слезой в глазу — герои,
парни — стоя на коленях.
Тут взяла людей усталость,
дрема весь народ сморила,
слушатели все забылись,
зрители все задремали —
дремлет юный, дремлет старый
от игры прекрасной Вяйно.

Тут уж мудрый Вяйнямёйнен,
заклинатель вековечный,
сунул руку в глубь кармана,
в кошельке своем пошарил,
вынул сонные иголки,
сном глаза людей намазал,
накрепко скрестил ресницы,
на замок защелкнул веки
сном сморенному народу,
сладко дремлющим героям.
Долгий сон навел на Похью,
погрузил в большую дрему
Похьелы семью большую,
население деревни.
Добывать пустился сампо,
крышкой пестрой любоваться,
в каменных подвалах Похьи,
в сердцевине медной вары
из-за девяти засовов,
десяти замков надежных.

Вековечный Вяйнямёйнен
начал тихо петь заклятье
перед дверью медной вары,
возле каменного замка:
дрогнули ворота замка,

скрипнули стальные петли.
Сам кователь Илмаринен,
тот, что был вторым героем,
маслом все замки помазал,
хорошо натер все петли,
чтобы дверь не скрежетала,
чтобы петли не скрипели.
Пальцами засовы отпер,
сбил киркой замки дверные,
наземь брякнулись обломки,
двери прочные раскрылись.
Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Ой ты, сын беспечный Лемпи,
ты, товарищ мой первейший,
вынеси скорее сампо,
выкорчуй с узором крышку!»
Тут беспечный Лемминкяйнен,
тот красивый Кавкомьели,
быстрый и без понуканья
и без похвалы проворный,
сампо вырывать пустился,
выносить с узором крышку.
Так сказал он, отправляясь,
так промолвил, похваляясь:
«Сколько сил во мне, в мужчине,
сколько мощи в сыне Укко,
сампо сдвинется настолько,
крышка пестрая сместится,
лишь коснусь ногою правой,
правой пяткою дотронусь!»
Вот толкает Лемминкяйнен,
вот толкает, нажимает,
крепко сампо обнимает,
на колени припадает:
нет, не двигается сампо,

крышка даже не кренится.
Корни сампо в землю вгрызлись,
в глубину — на девять сажен.
В Похье вырос бык прекрасный.
Статью был великолепен,
очень крепок был боками,
мускулами — благороден.
Каждый рог длиной был в сажень,
морда — в полторы сажени.

Взял быка в траве высокой,
плуг нашел у края пашни,
выпахал им корни сампо,
крышки расписной крепленья,
сдвинуться заставил сампо,
крышку пеструю — сместиться.

Вековечный Вяйнямёйнен,
славный мастер Илмаринен,
муж беспечный Лемминкяйнен
вынесли большое сампо
изнутри горы скалистой,
сердцевины медной вары.
На корабль перетащили,
погрузили сампо в лодку.
Вот уже и в лодке сампо,
в струге — крышка расписная.
Лодку на воду столкнули,
стодощатую — на волны,
погрузилась лодка в воду,
в волны — до бортов высоких.

Тут вопрос кователь задал,
так сказал он, так промолвил:
«Мы куда доставим сампо,
отвезем в места какие

из краев поганых этих,
из убогой этой Похьи?»

Вековечный Вяйнямёйнен
так промолвил, так ответил:
«Мы туда доставим сампо,
эту крышку расписную, —
на туманный берег мыса,
на далекий остров мглистый,
чтобы счастье там хранилось,
находилось там извечно.
Есть там место небольшое,
есть земли одна полоска,
что не пахана плугами,
что не тронута мечами».

Вековечный Вяйнямёйнен
прочь отправился из Похьи,
в путь пустился с легким сердцем,
с радостью — в края родные.
Приговаривал при этом:
«Отвернись, корабль, от Похьи,
носом стань к родному дому,
развернись кормой к чужому.

Ты баюкай, ветер, лодку,
погоняй, волна, кораблик,
нашим веслам помогайте,
рулевому пособляйте
на большом морском просторе,
на пространстве вод широких.

Если весла невелики,
загребные слабосильны,
рулевые малорослы,
кормчие — и вовсе дети,

дай свои нам весла, Ахто,
лодку дай, воды хозяин,
весла дай из самых лучших,
новый руль — из самых крепких,
сам садись за весла, Ахто,
загребным устройся в лодке.
Пусть бежит челнок тесовый,
мчит с уключинами лодка,
через бурное кипенье,
через мощные потоки!»

Вековечный Вяйнямёйнен
правит лодкою по волнам,
сам кователь Илмаринен,
с ним беспечный Лемминкяйнен
веслами гребут усердно,
лодку двигают упорно
по морским просторам ясным,
по широким гребням пенным.
Тут промолвил Лемминкяйнен:
«Помню времена иные:
и гребцу воды хватало,
и певцу хватало песен.
Все сегодня по-другому:
все не так, как было прежде:
пения не слышно в лодке,
ликования — на волнах!»
Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так ответил:
«Ни к чему на море пенье,
ликование на волнах!
Песня лени прибавляет,
пенье греблю замедляет.
Золотой лишь день упустим,
темноту ночную встретим
на открытых этих водах,

на морских волнах широких».

Тут беспечный Лемминкяйнен
слово молвил, так заметил:
«Время так и так проходит,
день чудесный пролетает,
незаметно ночь крадется,
тихо сумерки густеют,
хоть бы и не пел вовеки,
никогда бы не мурлыкал».

Правил старый Вяйнямёйнен
по хребтам просторов синих.
День проходит, два проходит,
вот на третий день поездки
снова молвил Лемминкяйнен,
говорит слова такие:
«Что же не поешь ты, Вяйно,
не ликуешь, муж хороший,
доброе добывший сампо,
верный путь пройти сумевший?»

Вековечный Вяйнямёйнен
так уверенно заметил:
«Рано пенью предаваться,
ликовать пока не время.
Пенье было бы уместным,
ликование — приятным,
если б дверь своя виднелась,
слышалось ворот скрипенье».

Отвечает Лемминкяйнен:
«Если б я кормилом правил,
я запел бы, я сумел бы,
ликовал бы, куковал бы.
Выпадет ли случай новый,
хватит ли тогда уменья?»

Если петь ты сам не хочешь,
я примусь тогда за пенье!»
Тут беспечный Лемминкяйнен,
тот красивый Кавкомьели,
губы к пенью приготовил,
звонкость голоса проверил,
напевать, несчастный, начал,
куковать, нескладный, взялся
голосом своим скрипучим,
глоткою своей шершавой.
Пел беспечный Лемминкяйнен,
надрывался Кавкомьели,
рот дрожал, тряслась бородка,
содрогался подбородок.
Пенье слышалось далеко,
разносился крик над морем,
до шести летел селений,
за семью звучал морями.

Там сидел журавль на кочке,
на болотном бугорочке,
пересчитывал суставы,
поднимал при этом ноги.
Встрепенулся вдруг от крика,
от чудовищного пенья.

Сам издал он звук ужасный,
испустил мотив поганый,
полетел журавль поспешно,
пересек всю Похью быстро,
прилетел туда, на место,
опустился на болото,
снова закричал противно,
снова заорал сердито,
поднял на ноги всю Похью,
разбудил дурную силу.

Поднялась хозяйка Похьи,
прервала свой сон глубокий,
к скотному двору помчалась,
кинулась быстрей к амбарам.
Стадо в хлеве оглядела,
осмотрела все амбары:
не украдены коровы,
не похищены припасы.

К каменной горе метнулась,
побежала к медной варе,
у дверей горы сказала:
«До чего же я несчастна!
Здесь чужие побывали,
все запоры поломали,
распахнули все ворота,
все стальные петли сбили.
Может быть, и сампо взяли,
унесли без разрешенья?»
Так и есть: украли сампо,
взяли крышку расписную,
утащили из пещеры,
из подвала в медной варе,
из-за девяти запоров,
десяти засовов прочных.
Ловхи, Похьелы хозяйка,
очень сильно огорчилась,
поняла: уходит сила,
власть былая убывает.
Деву мглы хозяйка молит:
«Утутар, тумана дева,
ситечком насей тумана,
натруси погуще хмари,
нагони паров воздушных,
марево спусти на воду,

на простор морской широкий,
на открытое пространство,
чтобы не проехал Вяйно,
не проплыл Увантолайнен.
Если этого не хватит,
Ику-Турсо[201] — отпрыск Эйо,
высунь темечко из моря,
голову свою — из глуби!
Уванто мужей повергни,
Калевы свали героев,
утопи в пучине моря
под глубокими волнами!
В Похью отвези мне сампо,
не давай упасть из лодки.
Если этого не хватит,
ой ты, Укко, бог верховный,
золотой король небесный,
ты, серебряный правитель,
сотвори погоду злую,
подними все силы неба,
ветра дай, воздвигни волны,
кораблю пошли навстречу,
чтобы не проехал Вяйно,
не проплыл Увантолайнен.
Утутар, тумана дева,
надышала мглы на море,
напустила много хмари,
продержала старца Вяйно
целых три кромешных ночи
в море синем, средь тумана,
чтоб до цели не добрался,
чтоб стоял на том же месте.
Отдохнув три темных ночи,
в синем море средь тумана,
молвил старый Вяйнямёйнен,
так сказал он, так заметил:

«Даже худшего из худших,
мужа сонного из сонных
погубить нельзя туманом,
одолеть густою хмарью».

Он провел мечом по морю,
полоснул клинком по волнам.
Мед по следу заструился,
брызги сладкие взлетели.
В небеса туман поднялся,
мгла растаяла на небе.
Море снова стало ясным,
волны — чистыми от хмари.
Море стало вновь великим,
мир предстал опять огромным.

Времени прошло немного,
протекло всего мгновенье,
сильный шум раздался рядом,
плеск — у борта красной лодки,
высоко взбугрилась пена
возле лодки старца Вяйно.

Тут кователь Илмаринен
испугался, ужаснулся:
кровь сошла с лица героя,
на щеках угас румянец.
Под накидкою укрылся,
с головою завернулся,
заслонил лицо накидкой,
пологом прикрыл надежно.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
глянул на воду у борта,
на кипение у лодки —
необычное увидел:

Ику-Турсо, Эйо отпрыск,
за бортом у красной лодки,
голову из моря поднял,
темя высунул из глуби.
Вековечный Вяйнямёйнен
ухватил за уши Турсо,
над водой его приподнял,
спрашивает, вопрошает,
говорит слова такие:
«Ику-Турсо, отпрыск Эйо!
Ты зачем из моря вылез,
из волны зачем поднялся,
преградил дорогу людям,
сыну Калевы — к тому же?»
Ику-Турсо, отпрыск Эйо,
не обрадовался встрече,
не изведал он и страха,
не ответил мужу вовсе.
Вековечный Вяйнямёйнен
уточняет, повторяет,
в третий раз уже пытает:
«Ику-Турсо, отпрыск Эйо,
ты зачем из моря вылез,
из волны зачем поднялся?»
Ику-Турсо, отпрыск Эйо,
лишь на третий раз промолвил,
словом на слово ответил:
«Потому из моря вылез,
из волны затем поднялся,
что задумал уничтожить
рода Калевы героев,
сампо в Похьелу доставить.
Если ж ты меня отпустишь,
жизнь поганую оставишь,
людям заступать дороги
никогда уже не буду».

Вековечный Вяйнямёйнен
выкинул беднягу в море,
вымолвил слова такие:
«Ику-Турсо, отпрыск Эйо,
не вставай из моря больше,
из волны не поднимайся,
не мешай отныне людям,
не вставай на их дороге!»
С той поры уже вовеки
не встает из моря Турсо,
не мешает больше людям,
есть пока на небе месяц,
день сияет, солнце светит,
мир вокруг такой прекрасный.
Тут уж старый Вяйнямёйнен
снова челн вперед направил.
Времени прошло немного,
протекло одно мгновенье.
Старец Укко, бог верховный,
сам воздушных сил хозяин,
повелел ветрам подняться,
непогоде разыграться.

Поднялись, подули ветры,
непогода разыгралась,
ветер западный метался,
надрывался побере́жник[202],
всех сильней старался южный,
выл пронзительно восточный,
зло рычал юго-восточный,
северный скулил ужасно.

Ветер сдул листву с деревьев,
хвою сбил с деревьев хвойных,
с вереска сорвал цветочки,

семена — с травы засохшей,
поднял ил со дна морского
на поверхность вод прозрачных.

Яростно шумели ветры,
лодку волны колотили,
унесли из кости арфу,
кантеле из щучьих ребер
людям Велламо на радость,
Ахтоле самой — на счастье.
Ахто на волнах увидел,
дети Ахто — меж волнами,
подобрали чудный короб,
унесли в свое жилище.

Огорчился старый Вяйно,
огорчился, прослезился,
говорит слова такие:
«Сгинул мой чудесный короб,
канул инструмент любимый,
радость вечная исчезла!
Никогда уж не услышу,
никогда на этом свете
зуба щучьего звучанье,
дивный голос рыбьей кости!»

Сам кователь Илмаринен
в сильное пришел унынье,
так сказал он, так промолвил:
«Плохо сделал я, несчастный,
что отправился на море,
на просторы вод опасных,
встал на верткую жердинку,
на дрожащую былинку.
Потрепал мне ветер кудри,
потаскала непогода,

бороду помяли вихри
и на этих бурных водах.
Только мне не доводилось
испытать такие ветры,
бурю повидать такую,
волн таких изведать силу.
Отдан я на волю ветру,
я на милость волн покинут».

Вековечный Вяйнямёйнен
так при этом рассуждает:
«Нет причины плакать в лодке,
горевать на прочном судне.
Не помочь слезами горю,
плачем не помочь в печали».

Высказал слова такие,
так промолвил, так заметил:
«Запрети, вода, сыночкам,
прикажи, волна, детишкам,
всем волнам, владыка Ахто,
Велламо, — народу моря,
чтобы в лодку не хлестали,
не кидались на опругу!
Улетай на небо, ветер,
поднимись повыше, к тучам,
к роду-племени родному,
к челяди своей, к семейству!
Не вали мой челн на воду,
не круши корабль сосновый —
лучше лес вали под пашню,
сокрушай на сопках ели!»

Вот беспечный Лемминкяйнен,
сам красивый Кавкомьели,
слово молвил, так заметил:

«Прилети, орел из Турьи,
три возьми пера с собою, —
два пускай добавит ворон —
лодке утлой борт надставить,
край челна повыше сделать!»
Укреплять борта принялся,
прибивать к краям набои,
все борта повыше сделал,
на сажень набои поднял,
чтоб волной не заливало,
внутрь вода не попадала.

Высоты бортам довольно,
уж достаточно набоев,
как бы лодку ни швыряло,
как бы челн волной ни било,
как пойдет по пенным гребням,
по волнам морским помчится.

Песнь сорок третья

Хозяйка Похьелы снаряжает боевой корабль и отправляется в погоню за похитителями сампо, с. 1–22. — Когда она наконец их нагоняет, между Похьелой и Калевалой происходит сражение, в котором герои Калевалы побеждают, с. 23–258. — Хозяйке Похьелы удается столкнуть сампо с лодки в море, и оно разбивается на куски, с. 259–266. — Куски побольше погружаются в воду, превращаясь в сокровища моря, куски поменьше волна гонит к берегу. Это обрадовало Вяйнямёйнена и дало ему надежду на то, что даже эти крохи станут началом нового счастья, с. 267–304. — Хозяйка Похьелы грозится уничтожить благополучие Калевалы, а Вяйнямёйнен утверждает, что не боится угроз, с. 305–368. — Расстроенная тем, что утратила свое могущество, хозяйка Похьелы возвращается домой с одной лишь жалкой крышкой, которую ей только и удалось заполучить от сампо, с. 369–384. — Вяйнямёйнен тщательно собирает все осколки сампо на берегу моря, сажает их в землю, чтобы они взошли, и желает всем счастья на вечные времена, с. 385–434.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
Похьелы народ скликает,

луками вооружает,
снаряжает всех мечами,
оснащает лодку Похьи,
в путь готовит челн военный.

Усадила войско в лодку,
на корабль — мужей отважных,
как птенцов своих — морянка,
как чирок — своих чиренков,
сотню при мечах героев,
тысячу мужей при луках.
Мачты в лодке поднимает,
поворачивает реи,
подняла на мачту парус,
ткань на реях укрепила,
словно облако большое,
словно тучу в синем небе.
Вот уж лодка побежала,
побежала, заспешила,
чтоб нагнать скорее Вяйно,
отобрать у Вяйно сампо.

Вековечный Вяйнямёйнен
по морским просторам едет,
говорит слова такие,
молвит, сидя у кормила:
«Ой ты, муж из рода Лемпи,
мой товарищ самый лучший,
поднимись на кончик мачты,
заберись скорей на рею!
Посмотри вперед на небо,
посмотри назад, на море,
чисты ли границы неба,
чисты ль небеса иль мутны!»
Вот беспечный Лемминкяйнен,
весельчак, здоровья полный,

быстрый и без понуканья
и без похвалы послушный,
поднялся на кончик мачты,
забрался на рею тотчас.

На восток, на запад глянул,
бросил взгляд на юг, на север,
посмотрел на берег Похьи,
вымолвил слова такие:
«Впереди все небо чисто,
позади пространство мутно:
посылает север тучку,
облако — северо-запад».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Ты приврал, кажись, немного.
Никакая там не тучка
и не облако на небе —
это челн под парусами.
Снова посмотри получше!»
Смотрит снова, смотрит лучше,
говорит слова такие:
«Там на море остров виден,
вдалеке едва маячит.
Ястребы там на осинах,
на березах там глухарки».

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Ты приврал, кажись, немного!
То не ястребы на ветках,
не глухарки на березах.
Это Похьелы герои.
Глянь-ка в третий раз получше!»

Вот беспечный Лемминкяйнен
в третий раз уже вгляделся,
говорит слова такие,

речь такую произносит:
«Это мчится лодка Похьи,
стоуключинное судно.
Сто мужей гребет упорно,
тысяча сидит без дела!»
Тут уж старый Вяйнямёйнен
понял, что он слышит правду.
Слово молвил, так заметил:
«Ты греби сильней, кователь,
помогай, беспечный Кавко,
все гребите посильнее,
чтоб корабль пошел проворней,
чтобы челн быстрей помчался!»

Греб кователь Илмаринен,
с ним беспечный Лемминкяйнен,
налегал народ на весла.
Весла прочные сгибались,
из рябин уключье пело,
челн из конды сотрясался,
нос челна тюленем фыркал,
падуном корма шумела,
буруном вода кипела,
пена пенилась клубами.

Взапуски гребли герои,
состязаясь, налегали,
только челн не удалялся,
все не мог уйти, сосновый,
от ладьи под парусами,
от огромной лодки Похьи.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
видит, что конец приходит,
что погибель наступает.
Думает герой, гадает,

как тут быть и что тут делать.
Вымолвил слова такие:
«Верное я знаю средство,

помню способ превосходный!»
Сам полез в карман за трутом,
отыскал свое кресало,
вытащил кремня кусочек,
трута крохотный комочек,
за плечо закинул в море,
через левое забросил.
Высказался так при этом,
произнес слова такие:
«Пусть из них скала возникнет,
встанет остров потаенный,
чтоб корабль на риф наехал,
чтоб разбилась лодка Похьи
посреди ревущей бури,
средь прибоя волн огромных!»

Тут скала возникла в море,
луда выросла в пучине,
длинной стороной к востоку,
поперечною — на север.
Вот несется лодка Похьи,
пробивается сквозь волны,
натыкается на луду,
на скалу садится прочно:
деревянный челн разбился,
развалился, стоопружный,
мачты рухнули на волны,
паруса упали в море,
чтобы волны их гоняли,
суховей носил весенний.
Ловхи, Похьелы хозяйка,
в воду спрыгнула проворно,

чтобы сдвинуть лодку с луды,
с отмели столкнуть ладейку.
Нет, не сдвинуть лодку с луды,
с мели не столкнуть ладейку,
вся опруга изломалась,
все уключье растрепалось.

Ловхи думает, гадает,
говорит слова такие:
«Что же мне теперь поделать,
что поделать, что придумать?»

Облик свой она меняет,
новое берет обличье.
Пять железных кос хватает,
шесть мотыг, вконец избитых,
косы в когти превращает,
ржавые мотыги — в пальцы,
половину старой лодки
под собою размещает,
делает борта крылами,
руль — своим хвостом огромным,
сто мужей берет под крылья,
тысячу на хвост сажает,
сто мужей, мечи носящих,
тысячу, держащих луки.

Крылья птицей распластала,
ввысь большим орлом взлетела.
Машет крыльями широко,
гонится за лодкой Вяйно:
бьет одним крылом по тучам,
бьет другим крылом по волнам.

Мать воды, всех жен прекрасней,
молвила слова такие:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен,

отверни свой взор от солнца,
огляди северо-запад,
обернись хоть на мгновенье!»

Вековечный Вяйнямёйнен
отвернул свой взор от солнца,
оглядел северо-запад,
на мгновенье обернулся:
вслед летит старуха Похьи,
птица странная несется,
по плечам как будто коршун,
гриф — по всей своей фигуре!

Вяйнямёйнена настигла,
обхватила кончик мачты,
порвала когтями парус,
на вершину мачты села,
чуть корабль не повалился,
чуть не лег бортом на волны.

Тут кователь Илмаринен
бросился к Творцу с молитвой,
к Богу с просьбой обратился.
Вымолвил слова такие:
«Упаси нас, Боже правый,
защити, Творец чудесный,
чтоб не сгинул я, несчастный,
матерью своей рожденный,
прежде данного мне срока,
дней, отпущенных мне Богом.
Укко, бог ты наш предвечный,
сам великий небожитель!
Пламенную дай мне шубу,
огненную дай рубашку,
чтоб меня в бою хранила,
берегла меня в сраженье,

чтобы головы не сняли,
чтобы чуба не лишили
в грохоте блестящей стали,
в звоне грозного железа».

Вековечный Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:
«Ой ты, Похьелы хозяйка,
поделить согласна ль сампо
там, на острове туманном,
на мысу извечно мглистом?»

Молвит Похьелы хозяйка:
«Сампо я делить не стану
никогда с тобой, несчастный,
муж коварный Вяйнямёйнен!»
Вот сама хозяйка Похьи
сампо вырвать попыталась.

Беззаботный Лемминкяйнен
с пояса клинок срывает,
свой каленый меч хватает
с левого бедра из ножен.
Бьет орла по цепким пальцам,
бьет по крепким перепонкам.
Бьет отважно Лемминкяйнен,
ударяя, произносит:
«Вниз, мужи, клинки бросайте!
Наземь, сонные герои,
сто мужей, с крыла слетайте,
прыгайте с хвоста, десятки!»

Говорит хозяйка Похьи,
с мачты речь ведет такую:
«Ой ты, Лемпи, сын беспечный,
Кавко жалкий, муж коварный,

обманул ты мать родную,
ты сказал неправду старой,
на войну ходить зарекся
шесть годов иль целых десять,
даже в золоте нуждаясь,
даже серебра желая».
Старый вещий Вяйнямёйнен,
вековечный предсказатель,
понял, что пора настала,
что мгновенье наступило.
Выхватил весло из моря,
из волны — гребок дубовый,
им по чудищу ударил,
по когтям орла могучим,
раздробил орлу все пальцы,
цел остался лишь мизинец.

Юноши с крыла свалились,
бухнулись герои в море,
сто мужей с крыла упало,
тысяча с хвоста слетела.
Сам орел низвергся с мачты,
в лодку с высоты сорвался,
как с березы копалуха,
как с еловой ветки белка.

Тут же к сампо потянулся,
ухватил четвертым пальцем,
опрокинул сампо в море,
мельницу с узорной крышкой,
сбросил с борта красной лодки,
в море синее низринул.
Раздробилось сампо в море,
эта крышка расписная.

Многие из тех кусочков,

из больших обломков сампо
глубоко ушли под воду,
полегли на тине черной:
стали там воды богатством,
достояньем царства Ахто.
Потому теперь вовеки,
есть пока на небе месяц,
не иссякнут клады Ахто,
вод казна не оскудеет.

Те кусочки, что поменьше,
малые совсем обломки,
на поверхности остались
средь широкого простора.
Их баюкал в море ветер,
их раскачивали волны.

Долго их баюкал ветер,
гнали вдаль морские волны,
на морском пространстве синем,
средь широкого простора.
К берегу толкал их ветер,
к суше волны подгоняли.

Видит старый Вяйнямёйнен:
зыбь морская их качает,
к берегу бурун толкает,
волны на песок выносят
сампо малые кусочки,
крышки расписной обломки.
Тут возрадовался Вяйно,
так сказал он, так промолвил:
«Вот где семени начало,
счастья вечного истоки,
тут и пашни, и посевы,
тут и жизненная сила,

тут и месяца сверканье,
солнца дивное сиянье
для больших просторов Суоми,
для ее земли чудесной!»
Ловхи, Похьелы хозяйка,
так промолвила, сказала:
«Знаю средство, помню способ,
на тебя найду управу,
и на пашни, и на всходы,
и на скот, и на растенья,
и на месяца сиянье,
и на свет чудесный солнца.
Я упрячу в камне месяц,
схороню в утесе солнце,
прикажу студить морозу,
леденить — ветрам холодным
эти пашни и посевы,
эти злаки, эти всходы.
Град пошлю на них железный,
дождь стальной пролью на землю,
на твои поля, на всходы,
на распаханные нивы.

Подниму в бору медведя,
редкозубого — в чащобе,
пусть твоих коней он губит,
пусть твоих кобыл терзает,
пусть твою скотину режет,
пусть твоих коров изводит.
Изведу народ недугом,
род великий уничтожу,
чтоб о нем никто вовеки,
никогда уже не вспомнил!»

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:

«Не страшны мне козни Лаппи,
заклинанья жалкой Турьи.
Только Бог погодой правит,
у Творца — ключи от счастья,
не под мышкой у колдуньи,
не в руках у чародейки.

На Творца моя надежда,
упование на Бога.
Он жучков с посевов сгонит,
всех вредителей — с побегов,
чтоб не портили посевов,
чтоб ростков не истребляли,
чтобы всходов не губили,
чтоб хлебов не пожирали.

Ты же, Похьелы хозяйка,
затолкай все беды в камень,
загони в скалу напасти,
в гору заточи страданья.
Только месяца не трогай,
только солнца не касайся!
Прикажи студить морозу,
леденить — ветрам холодным
собственного поля всходы,
злаков собственных посевы!
Град пошли на них железный,
дождь стальной пролейна землю,
на свои родные пашни,
на поля далекой Похьи.

Подними в бору медведя,
кошку злобную — в чащобе,
косолапого — средь корбы,
редкозубого — средь бора.
Выведи на выгон Похьи,

на поскотины родные».

Тут уж Похъелы хозяйка
молвила слова такие:
«Власть свою я потеряла,
я своей лишилась мощи,
кануло богатство в море,
сампо на волнах разбилось!»
Плача, в путь она пустилась,
в Похьелу свою — стеная,
только крохи ей достались
от всего большого сампо,
все же унесла немного,
что мизинцем подцепила,
принесла лишь крышку в Похью,
ручку сампо — в Сариолу.
Оттого и бедность в Похье,
оттого бесхлебье в Лаппи.
Вековечный Вяйнямёйнен
лишь до берега добрался,
там нашел осколки сампо,
крышки расписной обломки
на просторном побережье,
на морском песке сыпучем.

Перенес кусочки сампо,
крышки расписной обломки
на конец туманный мыса,
на далекий остров мглистый,
чтоб росли и умножались,
поднимались, наливались,
чтобы стать ячменным пивом,
стать ковригами ржаными.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:

«Дай нам, Бог, дозволь, Создатель,
дай нам радоваться жизни,
дай всегда нам жить счастливо,
дай нам умереть достойно
на земле любимой Суоми,
в Карьяле, в краю прекрасном.

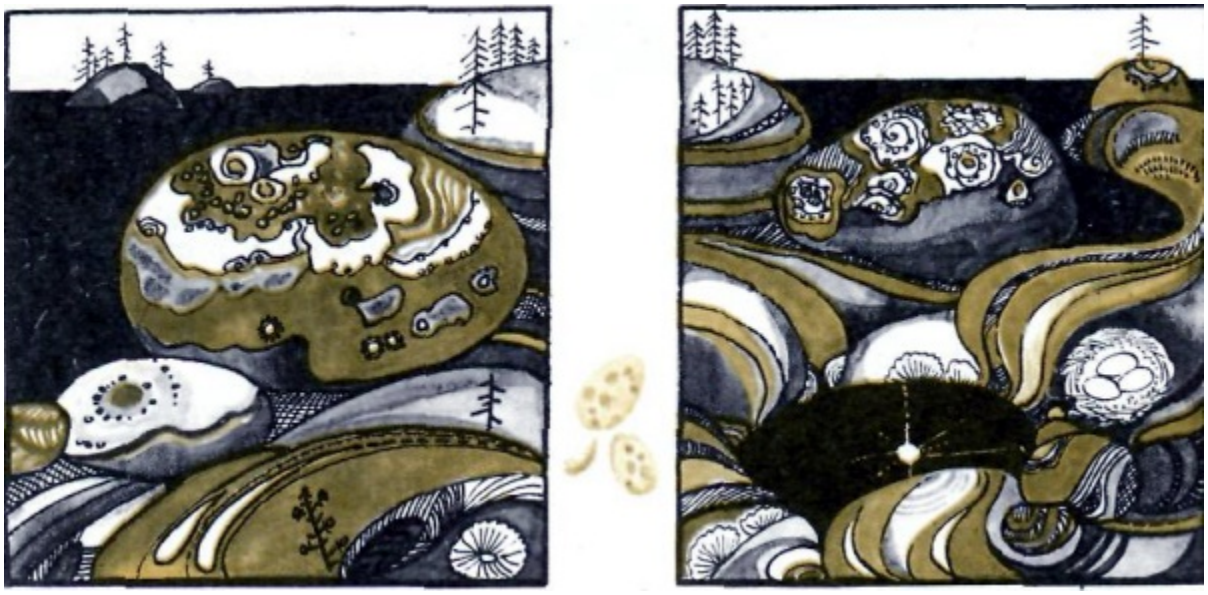
Упаси нас, Боже правый,
защити, Создатель славный,
от мужских недобрых мыслей,
от зловредных козней женских.
Колдунов побей наземных,
порази волхвов подводных.

Будь своим сынам заслоном,
детям — помощью надежной,
будь для них в ночи опорой,
днем — хранителем хорошим,
чтоб незло светило солнце,
чтоб незло луна блестела,
чтоб незло шумели ветры,
чтоб незло дожди дождили,
чтоб морозы не студили,
непогода не вредила.

Возведи забор железный,
выстрой каменную крепость,
окружи мои владенья,
с двух сторон — родное племя,
подними с земли до неба,
опусти с небес на землю,
для защиты, для заслона,
для опоры, для поддержки,
чтоб не нападала порча,
урожая не губила
никогда на белом свете,

никогда в подлунном мире!»

Песнь сорок четвертая



Вяйнямёйнен отправляется на поиски своего утонувшего в море кантеле, но не может найти его, с. 1–76. — Он делает из березы совершенно новое кантеле, на котором играет снова, — и приводит в восторг все живое в природе, с. 77–334.

Вековечный Вяйнямёйнен
пораздумал, поразмыслил:
«Вот теперь сыграть бы можно,
в руки взять веселья короб
в этом новом окруженье,
посреди дворов прекрасных —
только кантеле исчезло,
радость навсегда осталась
где-то на усадьбах рыбьих,
меж каменьев лососевых,
у властителей подводных
в роде Велламо великом.
Не отдаст теперь обратно,

не вернет мне короб Ахто.
Ой, кузнец мой, Илмаринен!
Ты всегда ковал усердно,
поработай и сегодня,
сделай грабли из железа,
зубья частые — для грабель,
сделай зубья, сделай ручку,
чтоб сгрести мне волны в ворох,
чтоб собрать валы в охапки,
тростники сложить в ометы,
копнами обставить берег,
чтоб достать из моря короб,
кантеле найти в глубинах,
отыскать на рыбьих лудах,
меж каменьев лососевых!»

Вот кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,
сделал грабли из железа,
рукоять сковал из меди,
зубья в сто саженей создал,
рукоять — в пятьсот саженей.
Вот уж старый Вяйнямёйнен
взял те грабли из железа.
Прошагал пути немного,
малую лишь часть дороги,
подошел к каткам из стали,
к прочным стапелям из меди.

Там две лодки, там два судна,
два челна готовых было:
лодка на катках из стали,
челн на стапелях из меди.
Парусник один был новый,
парусник другой был старый.

Молвил старый Вяйнямёйнен,
обратился к новой лодке:
«На воду спускайся, лодка,
скатывайся, челн, на волны,
чтоб тебя рукой не двигать,
не касаться даже пальцем!»

На воду спустилась лодка,
съехала ладья на волны.
Вековечный Вяйнямёйнен
в лодке на корме уселся,
разгребать поехал море,
волны подметать пустился.
Выгреб из воды кувшинки,
с берега собрал соринки,
перебрал камыш прибрежный,
перетряс тресту морскую,
ямы донные расчистил,
прочесал граблями луды,
на нашел, не обнаружил
кантеле из рыбьей кости,
радости своей пропавшей,
канувшей навек отрады.

Вековечный Вяйнямёйнен
к дому своему шагает,
свесив голову понуро,
шапку наклонив печально,
говорит слова такие:
«Больше нет моей отрады,
короба из щучьих зубьев,
кантеле из рыбьей кости!»

Проходя лесной поляной,
пробираясь вдоль опушки,
он услышал плач березы,

сетованья свилеватой.
Приближается к березе,
подступается поближе,
спрашивает, вопрошает:

«Почему, береза, плачешь,
пышная, о чем горюешь,
жалуешься, белый пояс?
На войну ведь не уводят,
в бой тебя не отправляют!»

Так ответила разумно,
так, зеленая, сказала:
«Некоторые считают,
говорят вокруг иные,
будто я живу в веселье,
будто в радости ликую.
Я же, тонкая, в заботах,
в вечных муках пребываю,
проживаю дни в печалях,
в горестях своих всегдашних.

Я же, глупая, все плачу,
сокрушаюсь неустанно,
оттого, что я несчастна,
оттого, что беззащитна
на местах поганых этих,
на поскотинах открытых.
Кто везучий, кто счастливый,
тот всегда того желает,
чтобы лето наступило,
теплая пора настала.
Я же, глупая, тревожусь,
я же, бедная, пугаюсь:
так и жди — сдерут бересту,
свежий лист на веник срежут!

Ведь ко мне, туманной, часто,
ведь ко мне, бедняжке хрупкой,
дети быстрых дней весенних
шумной стайкой прибегают,
ствол мой сочный подрезают,
белую кору кромсают.
Летом пастухи дрянные
белый пояс мой сдирают,
кто на туес, кто на ножны,
кто на кузовок для ягод.

Ведь ко мне, туманной, часто,
ведь ко мне, бедняжке хрупкой,
девушки приходят летом,
возле весело резвятся,
веточки мои срезают,
веники из веток вяжут.

Тонкую, меня нередко,
хрупкую бедняжку, часто
подсекают для пожоги,
рубят, бедную, для печки.
Трижды даже этим летом,
теплою порою славной
дровосеки приходили,
подо мной топор точили
на погибель мне, несчастной,
на беду мне, слабосильной.

Вот и вся от лета радость,
счастье — от поры прекрасной.
Только и зима не лучше,
время снега не милее.

Прежде времени, до срока
облик мой меняет горе:

голова моя все ниже,
все бледнее мои щеки —
черные деньки лишь вспомню,
трудную представлю пору.

Муки мне приносит ветер,
стужа — тяжкие заботы.
Зелень шубки вихрь уносит,
стужа — сарафан красивый.
Остаюсь тогда, бедняжка,
горемычная березка,
на ветру совсем нагая,
неодетая — на стуже,
на ветру дрожать в ознобе,
на морозе плакать в горе».
Молвит старый Вяйнямёйнен:
«Пышная, не плачь, береза,
слез не лей, побег зеленый,
белый поясок, не сетуй.
Обретешь иное счастье,
жизнь прекраснее получишь —
будешь плакать ты от счастья,
петь — от радости великой!»

Вековечный Вяйнямёйнен
сотворил певучий короб.
Целый летний день трудился,
кантеле строгал упорно
там, на мысе вечно мглистом,
там, на острове туманном.
Вытесал певучий короб,
сделал кантеле основу,
создал новую отраду
из березы свилеватой.

Молвил старый Вяйнямёйнен,

так сказал он, так заметил:
«Вот и кантеле основа,
остров радости извечной.
«Где же я колки достану,
где закрутки раздобуду?»

На дворе был дуб огромный,
в глубине двора — высокий,
ровные на дубе ветви,
на любой из веток — желудь,
венчик золотой — на каждом,
на венце любом — кукушка.

Лишь кукушка закукует,
пропоет лишь пять словечек —
золото скользнет из клюва,
серебро сбежит из зева
на вершину золотую,
на серебряную сопку:
вот колки́[203] для инструмента,
вот для кантеле закрутки.

Молвил старый Вяйнямёйнен,
так сказал он, так заметил:
«Есть колки для инструмента,
есть для кантеле закрутки.
Малости лишь не хватает —
нет пяти лишь струн певучих.
Где же струны раздобуду,
где певучие достану?»
Струны он искать пустился.
По лесной идет лужайке —
видит деву средь поляны,
юную среди долины.
Дева слез не проливала,
хоть она и не смеялась, —

про себя негромко пела,
песней вечер коротала,
жениха ждала невеста,
суженого поджидала.
Вековечный Вяйнямёйнен
без сапог подходит к деве,
босиком легко ступает,
приближается к девице,
прядь волос у девы просит,
говорит слова такие:
«Прядь волос мне дай, девица,
дай, красавица, свой локон,
дай для кантеле мне струны,
для моей утехи вечной!»
Прядь волос дала девица,
локон свой дала красотка,
пять и шесть волос нежнейших,
семь своих волос девичьих —
вот откуда взяты струны,
звончатые — раздобыты.

Вот и кантеле готово.
Вековечный Вяйнямёйнен
сел на самый нижний камень,
на скалистую ступеньку.
Взял певучий короб в руки,
кантеле к себе придвинул,
повернул колками кверху,
тупие упер в колени,
чтобы кантеле наладить,
струны звонкие настроить.

Инструмент настроил Вяйно,
струны звонкие проверил.
Повернул певучий короб,
поперек колен поставил.

Опустил ногтей десяток,
пять своих расставил пальцев,
пробежал по струнам звонким,
по звенящим нежно нитям.
Вот играет Вяйнямёйнен,
руки легкие взлетают,
пальцы тонкие порхают,
бегают по струнам звонким.
То-то радуется короб,
свилеватая береза,
золото звенит кукушки,
девичий ликует волос.

Двигаются пальцы Вяйно,
струны кантеле рокочут,
горы рвутся, скалы скачут,
содрогаются утесы,
валуны на волнах блещут,
камни плавают по водам,
сосны бурно веселятся,
пляшут пни на боровинах.
Рода Калевы золовки
побросали вышиванье,
побежали ручейками,
понеслись потоком шумным,
молодицы, — улыбаясь,
весело смеясь, — хозяйки,
чтоб игру послушать Вяйно,
чтоб весельем насладиться.

Что мужей в округе было,
все в руках держали шапки,
что в округе женщин было,
все ладонь к щеке прижали,
девушки в слезах стояли,
парни были на коленях,

пенью кантеле внимали,
Вяйнямёйнена веселью.
Словно ртом одним сказали,
словно выдохом единым:
«Не случалось прежде слушать
музыки такой чудесной,
никогда, пока на свете
месяц в небесах сияет!»

Звон красивый разливался,
слышался в шести селеньях.
Не было такого зверя,
чтобы слушать не явился
это нежное звучанье,
инструмента голос чудный.

Что в лесу животных было,
все на коготки присели,
чтоб игру послушать Вяйно,
чтоб весельем насладиться.
Птицы неба прилетели,
все устроились на ветках.
Рыбы вод сюда явились,
стаей к берегу приплыли.
Даже все земные черви
вылезли наверх из почвы,
извивались, наслаждались
этой музыкою нежной,
кантеле прекрасным звоном,
Вяйнямёйнена игрою.

Вековечный Вяйнямёйнен
впрямь играл мастеровито,
извлекал искусно звуки.
День играл, второй старался,
с одного играл присеста,

только раз откушав утром,
только раз надев свой пояс,
только раз надев рубаху.
Если он играл в жилище,
у себя в избе сосновой,
кровля звоном отвечала,
пели даже половицы.
Пели балки, пели двери,
ликовали все окошки,
каменная печь плясала,
свилеватый столб мурлыкал.

Если шел еловым лесом,
проходил сосновым бором,
делали поклоны ели,
поворачивались сосны,
шишки падали на землю,
сыпалась к подножью хвоя.

Проходил когда по рощам,
по лесным шагал полянам,
рощи сами веселились,
ликовали все поляны,
хоровод вели цветочки,
долу кланялись побеги.

Песнь сорок пятая

Хозяйка Похьелы насылает на Калевалу необыкновенные болезни, с. 1–190. — Вяйнямёйнен излечивает народ сильнодействующими заклинаниями и мазями, с. 191–362.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
весть такую услыхала:
Вяйнола живет прекрасно,
Калевала процветает
от больших осколков сампо,
крышки расписной обломков.

Тут взяла хозяйку зависть.
Принялась усердно думать:
гибелью какой осилить,
извести какою смертью
Вяйнолы народ упрямый,
Калевалы населенье.

Ловхи Укко умоляет,

Павванне смиренно просит:
«Ой ты, Укко, бог верховный,
Калевы народ повергни,
порази железным градом,
жалами стальных иголок.
Погуби болезнью злою,
умертви народ коварный,
во дворах мужей повергни,
жен убей в хлевах просторных!»

Дева Туони, дочь слепая,
Ловиатар[204], бабка злая,
худшая из дочек Туони,
злейшая из дочек Маны,
всяких зол была началом,
тысяч разных бед — причиной.
У нее и лик был черным,
отвратительною — кожа.

Эта черная девица,
Улаппалы дочь слепая,
средь дороги постелила,
ложе сделала средь грязи.
Улеглась спиною к ветру,
боком к лютой непогоде,
к ледяному вихрю задом,
передом к восходу солнца.

Налетел великий ветер,
яростный порыв с востока,
плод надул девице глупой,
наградил тяжелой ношей
на поляне без растений,
на земле без всяких кочек.
Бремя тяжкое носила,
волокла тугое чрево.

Две и три луны проходят,
пять и шесть уж пролетают,
месяцев и семь, и восемь,
целых девять лун по кругу,
по расчетам старых женщин —
даже девять с половиной.

Вот в конце луны девятой,
даже на десятый месяц
чрево сделалось тяжелым,
сделалась тугой утроба.
Все не может разрешиться,
все не может плод явиться.

Вот и место поменяла,
ложе новое сыскала.
Пробралась рожать, блудница,
шлюха старая, — щениться
между двух камней огромных,
в щель пяти отрогов горных.
Все не может разродиться,
все не может плод явиться.

Для родов местечко ищет.
Захотела разрешиться
на источниках зыбучих,
на ключах болот плескучих.
Не нашла и там местечка,
чтоб свое облегчить чрево.

Захотела разродиться,
попыталась разрешиться
в пене огненных порогов,
в круговерти водопада,
в падуне из трех уступов,
у девятого обрыва.
Все не может разрешиться,

облегчить не может чрево.

Тут, поганая, взревела,
разрыдалась, образина.
Не поймет, куда же деться,
побежать куда, не знает,
чтоб свое облегчить чрево,
чтоб родить свое потомство.

Бог сказал с высокой тучи,
молвил с облака Создатель:
«На болоте есть трехстенок,
есть на берегу закуток
в темной Похьеле суровой,
в сумеречной Сариоле,
там ты можешь разрешиться,
чрево тяжкое облегчить.
Там в тебе нужда большая,
там нужда — в твоем отродье».

Черная девица Туони,
Маналы дрянная дочка,
подошла к жилищам Похьи,
к баням темной Сариолы,
чтоб скорее разрешиться,
выродить свое отродье.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
повела девицу в баню,
по деревне проводила,
незаметно для деревни,
неприметно для соседей.

Тайно баню натопила,
выветрила быстро горечь,

двери пивом окропила,
облила все петли квасом,
чтобы двери не скрипели,
не повизгивали петли.
Так потом заговорила,
слово молвила такое:
«Дева Каве, дочь природы,
Каве, дева золотая,
старшая средь женщин в мире,
мать первейшая из сущих!
Забеги скорее в море,
до колен, до поясницы,
у ерша возьми ты слизи,
у налима — скользкой мази,
чтобы меж костей помазать,
натереть места больные,
чтобы снять у девы боли,
рези в животе ослабить,
чтоб унять ее страданья,
облегчить потуги чрева.

Если этого все мало,
ой ты Укко, бог верховный:
поспеши в нужде на помощь,
помоги в беде несчастной!
Мучается здесь девица,
в резях чрева изнывает
посреди густого дыма,
на полке чужой парилки.

С золотой приди дубинкой,
с палицею в правой длани!
Разнеси ты все препоны,
косяки раздвинь дверные,
разомкни затворы божьи,
тайные сломай засовы,

пусть пройдет большой и малый,
пусть проскочит слабосильный».

Тут уж гадкая девица,
Туонелы слепая дочка,
чрево тихо опростала,
нарожала деток злобных
под накидкой с медной ниткой,
пологом из легкой дымки.

Девять принесла детишек
лишь одною ночью летней,
лишь с одной подачи пару,
лишь с одной подтопки бани
из одной своей утробы,
переполненного чрева.
Имена давала чадам,
клички подбирала деткам,
как любая мать — рожденным,
как любой творец — созданьям.
Колотьем один был назван,
коликой другой был прозван,
третий наречен ломотой,
костогрызом стал четвертый,
пятый назван был коростой,
чирием шестой объявлен,
окрещен седьмой холерой,
стал восьмой чумою страшной.

Лишь один пока не назван,
тот, что был рожден последним.
Вот его-то и послала,
сделала волхвом на водах,
ведуном в зыбучих топях,
завистью, живущей всюду.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
все болезни загоняла
на конец косы туманной,
на далекий остров мглистый.
Разозлила те болезни,
растравила те недуги
на беду народу Вяйно,
Калевале — на погибель.
Люди Вяйнолы хворают,
Калевы народ болеет
от недугов необычных,
от болезней безымянных:
пол под ними прогнивает,
сверху преют одеяла.
Тут уж старый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель,
выручать пошел их жизни,
головы спасать пустился,
с Туонелой бороться начал,
с хворями вести сраженье.
Натопил пожарче баню,
камни накалил для пару.
Чистыми топил дровами,
теми, что водой пригнало.
Пряча ведра, нес он воду,
веник нес, прикрыв полою.
Мягко веники распарил,
стоветвистые расправил.
Сладкого поддал он пару,
медом пахнущего жару
сквозь каленые каменья,
сквозь пылающие плиты.
Вымолвил слова такие,
произнес такие речи:
«В банный пар сойди, Создатель,
в банный жар, Отец небесный,

чтобы сотворить здоровье,
подарить народу бодрость.
Погаси святое жженье,
потуши заразу злую,
осади жару дурную,
пар плохой развей по ветру,
чтоб твоих сынов не трогал,
не калечил нарожденных.

Вся вода, что набросаю
на каленые каменья,
пусть целебным паром станет,
свежей симой обернется,
потечет рекой медовой,
сладким озером заплещет
через камни в жаркой печке,
через мох в горячей бане!

Не сгубить нас без причины,
не убить нас без недуга,
не сразить без божьей воли,
без болезни боготворной.
Кто нас тронет без причины,
пусть к нему ж вернется порча,
самого сразят заклятья,
насланные им болезни.

Если нет во мне мужчины,
нет героя в сыне Укко,
чтоб изгнать любую порчу,
чтоб отринуть наважденье,
сила есть у бога Укко,
что владеет облаками,
что на туче проживает,
облаками управляет.
Ой ты, Укко, бог верховный,

восседающий на туче,
поспеши в нужде на помощь,
помоги в беде несчастным,
излечи людские муки,
отгони невзгоды злые,
отведи скорее порчу,
насланное наважденье.

Принеси мне меч каленый,
дай клинок мне искрометный,
чтоб с недугами сразиться,
извести лихое племя,
разогнать по ветру муки,
боли разметать по полю.

Прогоню подальше муки,
загоню своим заклятьем
в каменные подземелья,
суну в груду скал железных,
пусть от мук страдают камни,
пусть от боли стонут скалы.
Камни болей не боятся,
не страшатся скалы хворей,
сколько б хвори ни наслали,
сколько б мук ни навалили.

Дева боли, чадо Туони,
ты сидишь на камне болей,
у истока трех потоков,
в быстрине трех рек широких,
жернова болезней вертишь,
каменную гору хворей.
Собери, сложи болезни
в жерло синего утеса
или вышвырни их в воду,
утопи в морской пучине,
где совсем не дует ветер,

где совсем не светит солнце.

Если этого все мало,
Кивутар, хозяйка хворей,
Вамматар, увечий дева,
приходите, будем вместе
возвращать здоровье людям,
создавать покой народу.
Сделай легкими увечья,
безболезненными — боли,
чтобы хворые уснули,
отдохнул больной хоть малость,
хоть часок побыл без болей,
хоть недолго — без страданий.

Собери все боли в ковшик,
в медное лукошко — муки,
отнеси все эти боли,
все увечья, все мученья
на большую гору болей,
на высокий холм страданий.
Там свари все эти боли
в невеликом котелочке,
что лишь перст один вмещает,
лишь большой вмещает палец.

Посреди холма есть камень,
посередке камня — дырка,
пробуравленная буром,
просверленная сверлилом;
боли в ту дыру толкают,
загоняют все мученья,
убирают все увечья,
дни заталкивают злые,
чтоб ночами там сидели,
даже днем не вылезали».

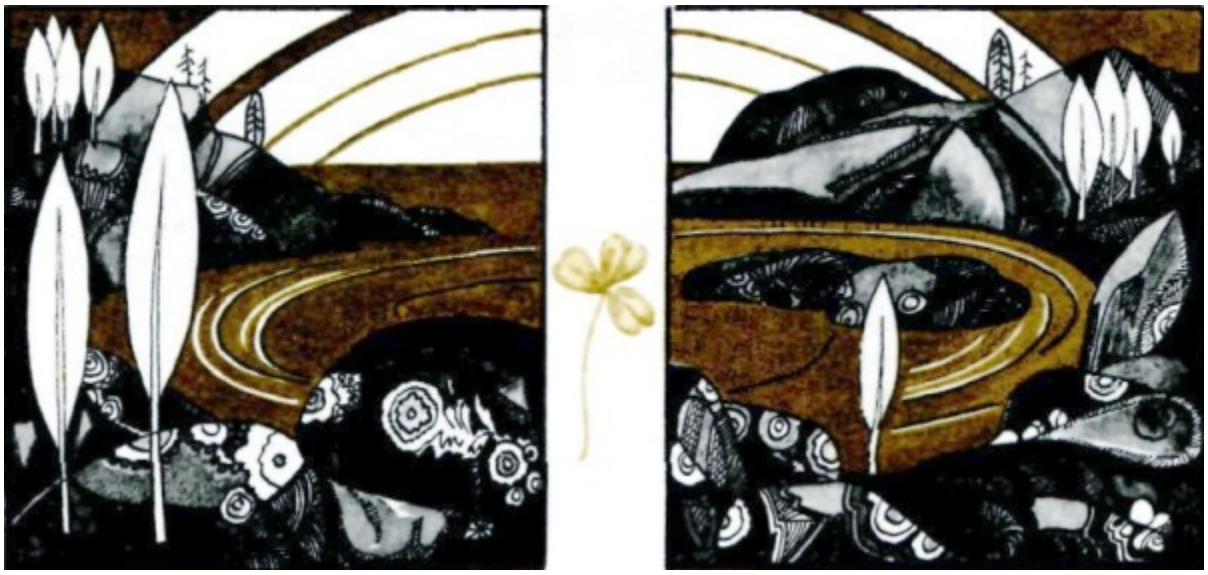
Тут уж старый Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
смазал мазью поврежденья,
тщательно обмыл ушибы,
девять взяв различных мазей,
восемь всяких натираний.
Вымолвил слова такие,
произнес такие речи:
«Ой ты, Укко, бог верховный,
древний муж, небес властитель!
Подними с востока тучу,
с севера пришли другую,
с запада на помощь — третью,
чтоб водою, чтобы медом
все места больные смазать,
натереть все поврежденья!

Ни на что я сам не годен,
если Бог мне не поможет,
не придет Творец на помощь,
мне опорою не станет.
Я лишь погляжу глазами,
лишь потрогаю руками,
пошепчу слова губами,
лишь дыханием согрею!

Где рука моя бессильна,
пусть рука поможет божья,
где мои бессильны пальцы,
пусть помогут пальцы божьи.
У Творца персты прекрасней,
покрасивее ладони.
Заклинать приди к нам, Боже,
заговаривать, Создатель,
врачевать, Творец всесильный!

Исцеляй больного ночью,
делай днем его здоровым,
чтоб снаружи не болело,
чтоб внутри совсем не ныло,
чтобы сердце не давило,
боли не было и малой,
даже легкого страданья
никогда в теченье жизни,
есть пока на небе месяц».
Вековечный Вяйнямёйнен,
заклинатель изначальный,
повреждения исправил,
сглаз и порчу обезвредил,
удалил препоны злые,
насланные наважденья,
спас народ от верной смерти,
Калевы людей от мора.

Песнь сорок шестая



Хозяйка Похьелы поднимает медведя и посылает его изводить стада Калевалы, с. 1–20. — Вяйнямёйнен заваливает медведя, и по этому поводу в Калевале устраивается обычное праздничное пиршество, с. 21–606. — Вяйнямёйнен поет и играет на кантеле, желая Калевале счастливой жизни и на будущие времена, с. 607–644.

Весть до Похьи долетела,
до холодного селенья:
Вяйнола опять воспряла,
Калевала исцелилась
от неведомых недугов,
от болезней необычных.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
очень сильно оскорбилась,
слово молвила, сказала:
«Помню способы иные,
знаю и другие средства:

подниму в бору медведя,
бирюка пошлю из корбы
на стада большие Вяйно,
на скотину Калевалы».

Подняла в бору медведя,
бирюка в его берлоге,
погнала к полянам Вяйно,
к пастбищам всей Калевалы.

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Брат, кователь Илмаринен,
новое копье мне выкуй,
сделай с пикою трехгранной,
с древком, вылитым из меди.
Надо взять в бору красавца,
Отсо в шубе драгоценной,
чтобы меринов не рушил,
кобылиц моих не трогал,
чтобы не валил скотину,
чтоб коров моих не резал».

Выковал копье кователь
не коротким и не длинным,
сделал среднего размера:
волк стоял на остром стержне,
на пере — медведь мохнатый,
быстрый лось — на месте стыка,
резвый конь — на рукояти,
на пяте — олень брыкливый.

Вот и снег предзимний выпал,
тонкая легла пороша,
словно шерсть овцы осенней,
шубка зимнего зайчонка.

Молвил старый Вяйнямёйнен,
произнес слова такие:
«Мной желанье овладело
в Метсолу свой путь направить,
на дворы лесных хозяек,
на дворы красавиц синих.

Выйду из дому на волю,
в лес отправлюсь на работу.
Бор, признай своим героем,
Тапио, — своим слугою!
Дай, Судьба, мне взять добычу,
завалить красавца леса!

Мьеликки, хозяйка леса,
Теллерво, красотка бора!
Посади на цепь собаку,
загони свою дворнягу
в загородку из крушины,
в сетевой сарай[205] из дуба.

Отсо, яблочко лесное!
Колобок медоволапый!
Как услышишь: я ступаю,
муж достойный, приближаюсь, —
спрячь скорее когти в шерсти,
убери все зубы в десны,
чтоб меня не задевали,
никогда бы не хватали.

Ты, единственный мой Отсо,
колобок медоволапый,
полежи-ка на пригорке,
на своей скале красивой
под шумящим сводом сосен,
под шатром шуршащих елей.

Поворачивайся, Отсо,
шевелись, медоволапый,
как в гнезде уютном рябчик,
как гусыня на яичках».

Вековечный Вяйнямёйнен
лай собаки тут услышал,
пса свирепого рычанье
у двора, где малоглазый,
тупоносый обитает.
Так сказал он, так заметил:
«Думал, что поет кукушка,
птица милая кукует —
не кукушка там кукует,
не пичуга распевает.
Это лает пес мой лучший,
всех других собак надежней,
у дверей избушки Отсо,
на дворе красавца леса.
Вековечный Вяйнямёйнен
тут настиг красавца леса,
шелковые смял постели,
сбросил с ложа золотого,
сам сказал слова такие,
произнес такие речи:
«Будь восславлен, Боже правый,
возвеличен будь, Создатель!
Дал ты Отсо мне в награду,
золото тайги мне выдал!»
Стал разглядывать добычу.
Слово молвил, так заметил:
Ты, единственный мой Отсо,
гость лесной медоволапый!
На меня не обижайся,
я тебя совсем не трогал —
ты ведь сам с дуги скатился,

сам свалился с хвойных веток,
сам порвал порты из прутьев,
разодрал кафтан из хвои:
в дни осенние так скользко,
так темно порой ненастной.

Золотой мой кукушонок,
мех красивый, мех пушистый,
остывать оставь жилище,
пустовать — свою усадьбу,
дом свой из ветвей березы,
свой приют из гибких прутьев!
Собирайся, именитый,
поторапливайся, славный,
башмачок, беги, проворный,
семени, чулочек синий,
из твоих подворий тесных,
с узеньких твоих тропинок
мы пойдем к героям славным,
поспешим к мужам хорошим.
Там тебя прекрасно примут,
угостят тебя отменно:
сладостями там накормят,
напоят питьем медовым,
будешь в доме гостем званым,
почитаемым героем.

Так пойдем же, пошагаем
из берлоги неказистой
под прославленную крышу,
под роскошные навесы.
Ты скользи легко по снегу,
как по озеру кувшинка,
ты скачи на хвойных сучьях,
словно белочка на ветках!»
Вот уж старый Вяйнямёйнен,

вековечный заклинатель,
по полям идет, играя,
рассыпая звон, — по бору,
со своим бесценным гостем,
колобком своим пушистым.
Уж слышна игра в жилище,
чудный звон — под крышей знатной.

Говорит народ в жилище,
люд пригожий восклицает:
«Слышите ли звон чудесный,
как в лесу певец ликует,
как стрекочет клест в чащобе,
как звенит лесная дудка!»
Вековечный Вяйнямёйнен
на подворье появился.
Высыпал народ из дома,
люд пригожий рассуждает:
«Уж не золото ль шагает,
уж не серебро ль ступает,
уж не мех ли драгоценный,
уж не денежка ль катится?
Уж не дал ли медолюба,
рысь свою — хозяин бора,
коль идете с ликованьем,
с пеньем едете на лыжах».

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Удалось добыть лишь выдру,
лишь для счета, лишь для виду,
вот и едем, напевая,
весело скользим на лыжах.

Только здесь у нас не выдра,
даже и не рысь лесная,
здесь шагает слава леса,

сам идет красавец бора,
муж прославленный ступает,
в праздничной суконной свитке.
Коль для вас он гость желанный,
двери настежь распахните,
коль для вас он гость незваный,
двери плотно затворите!»

Люди тотчас отвечали,
говорил народ нарядный:
«Здравствуй, Отсо, к нам прибывший,
медолапый гость, ступивший
на помытый пол широкий,
подметенный двор прекрасный!

Я весь век о том мечтала,
с детства самого желала
Тапио рожок услышать,
нежный звук лесной свирели,
золото увидеть бора,
серебро лесной чащобы
на подворьях невеликих,
наших узеньких дорожках.
Я ждала его, как лета,
как большого урожая.
Так и лыжи ждут пороши,
люлю — ходкого скольженья,
жениха так ждет девица,
суженого ждет невеста.

Вечером ждала у окон,
утром — у дверей амбара,
всю неделю — у калитки,
целый месяц — у прогона,
зиму на дворе топталась.
Выстояла снег до почвы,

вытоптала до проталин,
землю талую — до гальки,
гальку — до земли песчаной,
до зеленых трав — песочек.
По утрам я размышляла,
напролет все дни гадала,
где же задержался Отсо,
где бродил любимец бора.
Завернул, быть может, в Виро,
убежал из славной Суоми?»

Вековечный Вяйнямёйнен
сам сказал слова такие:
«Проводить куда мне гостя,
где ж мне золотце устроить?
Может, проводить в кладовку,
посадить в сарай с соломой?»

Люди тотчас отвечали,
говорил народ нарядный:
«Проводи большого гостя,
проведи ты золотого
под прославленную крышу,
под прекрасные навесы.
Там уже готовы яства,
там расставлены напитки,
добела полы намыты,
все подметены настилы,
жены все сидят в нарядах,
в лучших, праздничных одеждах,
в головных своих уборах,
в чистых белых одеяньях».

Вековечный Вяйнямёйнен
так сказал, такое молвил:
«Ой ты, Отсо, пташка леса,

колобок медоволапый!
Нам чуть-чуть пройти осталось,
прошагать по боровине.

Золотце, пойдем скорее,
поспешим, мой драгоценный,
побежим, чулочек черный,
заскользим, сюртук суконный,
по синичьим узким тропкам,
по дорожкам воробьиным,
в дом под пять торцовых бревен,
в дом под шесть надежных балок.

Жены бедные, следите,
чтобы стадо не боялось,
чтоб скотинка не пугалась,
уцелел бы скот хозяйки,
как пройдет в жилище Отсо,
в дом протиснется мохнатый.

Из сеней уйдите, парни,
от дверей — подальше, девы, —
в дом герой вступает славный,
муж могучий входит в избу.

Отсо, яблочко лесное,
колобок, лесной красавец!
Девушек не опасайся,
не страшись носящих косы,
не робей при виде женщин,
этих жен в чулках помятых.
Сколько есть в жилище женщин,
в свой закут скорей идите —
в избу входит муж могучий,
в дом герой вступает славный!»

Молвил старый Вяйнямёйнен:

«Дай вам всем, Господь, здоровья,
всем под матицей могучей,
всем под этой славной крышей!
Где любимца мне оставить,
поместить мой колобочек?»

Люди тотчас отвечали:
«Здравствуй, здравствуй, гость прибывший:
усади свою пичугу,
золотой свой колобочек,
на конце скамьи сосновой,
на краю железной лавки,
чтоб мы шубу разглядели,
мех пощупали пушистый.

Не тужи, не огорчайся,
ты на нас не обижайся,
коль придет для шубы время,
срок настанет для осмотра.
Шубу портить не позволим,
не дадим твой мех прекрасный
на одежки окаянным,
на лохмотья побирушкам.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
шубу снять велел с любимца,
вынес на поветь амбара,
положил вариться мясо,
в чан сложил позолоченный,
в меднодонную посуду.
На огонь котел уж поднят,
меднобокий, в жар поставлен,
мясом доверху наполнен,
лакомством набит до края,
сдобренным отменной солью,
что добыта в дальних странах,

что привезена из Саксы
по просторам дальней Вьены[206],
по проливу Соляному,
сгружена с большого судна.
Лишь в котлах сварилось мясо,
с пламени котлы лишь сняли —
повели добычу леса,
понесли клеста чащобы
на конец стола большого,
к золотым красивым мискам,
чтобы симу пить из чаши,
чтобы пиво пить из кружки.

Из сосны был стол сколочен,
миски отлиты из меди,
ложки серебром сверкали,
золотом ножи сияли.
Доверху набиты миски,
чаши все полны с краями
леса дивными дарами,
золотой добычей бора.
Тут уж старый Вяйнямёйнен
сам сказал слова такие:
«Златогрудый старец бора,
дома Тапио хозяин,
дома Тапио хозяйка,
сладкая большуха леса,
сын красивый Тапиолы,
сын красивый красношлемый,
Теллерво, красотка бора,
весь народ лесной прекрасный,
всех мы ждем на эту свадьбу,
твоего бычка пирушку!
Тут сегодня много снеди,
много снеди, много пива,
много для себя съестного,

хватит и для всей деревни».

Люди так ему сказали,
так спросил народ нарядный:
«Где родился славный Отсо,
где он вырос, драгоценный?
Вряд ли в бане на соломе,
вряд ли в темном закуточке?»

Вековечный Вяйнямёйнен
сам сказал слова такие:
«Отсо не родятся в риге,
не родятся на мякине!
Был рожден наш славный Отсо,
сотворен, медоволапый, —
у луны, у солнца в чреве,
у Медведицы под мышкой,
возле милых дев воздушных,
возле дев самой Природы.

Дева шла по краю неба,
посреди пространств воздушных.
Вот прошла по кромке тучи,
по самóй границе неба
в голубых чулках красивых,
в пестрых кенгах с каблуками,
у нее была корзинка,
с шерстью кузовок — под мышкой.
Бросила кудель на воду,
опустила шерсть на волны.
Ту кудель баюкал ветер,
гнало воздуха движенье,
дух воды качал тихонько,
волны к берегу толкали,
к берегу с медвяным бором,
к мысу с краешком медовым.

Мьеликки, хозяйка леса,
щедрая хозяйка бора,
ту кудель с волны схватила,
шерстяной взяла комочек.

Ловко шерсть она скатала,
сноровисто завернула,
сунула в кленовый кузов,
в разрисованную зыбку.
Привязала лямки люльки,
золотые цепи зыбки
к самой прочной ветке ели,
к разветвлению густому.

Там баюкала знакомца,
там лелеяла любимца
под цветущей кроной ели,
под раскидистой сосною.
Там она растила Отсо,
пестовала мех чудесный
возле рощи медоносной,
посреди медовой чащи.

Подрастал красивым Отсо,
становился все прекрасней:
кривоногий, толстопятый,
кругломордый, большелобый.
Нос — курнос, крюком — колени,
мех красивый, весь мохнатый.
Лишь зубов пока не дали,
лишь когтей не смастерили.

Мьеликки, хозяйка леса,
молвила слова такие:
«Я бы когти смастерила,
принесла бы также зубы,

лишь бы зла он не наделал,
не принес несчастья людям».

Вот тогда поклялся Отсо
на руках хозяйки леса,
перед Богом всемогущим,
пред лицом владыки неба,
что не будет делать худа,
зла творить не станет людям.
Мьеликки, хозяйка леса,
корбы мудрая большуха,
зубы добывать пустилась,
спрашивать для Отсо когти
у рябины крепкоствольной,
жилистого можжевела,
у кореньев узловатых,
у столетних пней смолевых:
не нашла когтей пригодных,
не нашла зубов хороших.

На юру сосна стояла,
красовалась ель на взгорке,
ветвь на ели золотая,
сук серебряный на конде.
Их взяла хозяйка в руки,
зубы, когти смастерила,
зубы в челюсти воткнула,
крепко в десны посадила.

Отпустила прочь любимца,
убежать дала красавцу,
чтоб гулял он по болотам,
чтоб расхаживал по чащам,
по межам бродил степенно,
чтоб карабкался по склонам,
чтобы вел себя учтиво,
чтоб вышагивал достойно,

проводил счастливо время,
коротал свои денечки
на краю земель, на топях,
на краю поляны игрищ,
чтоб ходил босым все лето,
осень бегал без чулочков,
чтоб в осеннее ненастье,
чтобы в зимние морозы
жил в черемуховом доме,
у опушки хвойных замков,
у подножья пышной ели,
в можжевеловой каморке,
пять имел накидок теплых,
восемь одеял из шерсти.

Там-то я и взял добычу,
там настиг свою удачу».

Молодые так сказали,
пожилые так спросили:
«Как ты сделал щедрой корбу,
щедрой — корбу, доброй — чащу,
чутким — властелина леса,
Тапио — великодушным,
что с сокровищем расстался,
с медолапым разлучился?
Не копья ли это дело,
не стрелы ли то заслуга?»

Вековечный Вяйнямёйнен
вымолвил слова такие:
«Щедрою была к нам корба,
щедрой — корба, доброй — роща,
милостивым был хозяин,
Тапио — великодушным.

Мьеликки, хозяйка леса,
Теллерво, чащобы дева,
дочка Тапио, красотка,
малая служанка леса,
нам дорогу указала,
вехи там установила,
метки сделала вдоль тропок,
путь-дорогу указала.
Сделала в бору зарубки,
на холмах — заломы веток
до дверей жилища Отсо,
денежного островочка.

Мне, когда туда я прибыл,
как добрался я до цели,
и копья не нужно было,
не было нужды и в стрелах:
сам свалился с ветки гибкой,
сам с дуги скатился хвойной.
Разорвал всю грудь о хворост,
распорол живот о сучья».

Так еще добавил Вяйно,
сам промолвил, сам заметил:
«О, единственный мой Отсо,
мой любимец, птичка леса,
с головы отдай корону,
выпростай клыки большие,
редкие отдай мне зубы,
дай широкую мне челюсть.
Только ты не обижайся,
если странный звук услышишь:
хруст костей, зубов скрипенье,
челюстей своих трещанье.
Вот беру я нос у Отсо,
добавляю к прежде взятым,

чтобы не был сиротою,
не остался одиноким.

Вот беру у Отсо ухо,
добавляю к прежде взятым,
чтоб не стало сиротою,
не осталось одиноким.

Вот беру я глаз у Отсо,
добавляю к прежде взятым,
чтобы не был сиротою,
не остался одиноким.

Вот беру я лоб у Отсо,
добавляю к прежде взятым,
чтобы не был сиротою,
не остался одиноким.
Вот беру у Отсо морду,
добавляю к прежде взятым,
чтоб не стала сиротою,
не осталась одинокой.

Вот беру язык у Отсо,
добавляю к прежде взятым,
чтобы не был сиротою,
не остался одиноким.

Лишь того сочту я мужем,
назову того героем,
кто клыки пересчитает,
зубы вытащит из десен,
из стального подбородка,
пятерней своей железной!»

Не нашлось того героя,
не было такого мужа.
Сам вытаскивает зубы,

пересчитывает кости
пятерней своей железной,
придавив коленом череп.
Вытащил у Отсо зубы,
слово молвил, так заметил:
«Славный Отсо, житель бора,
леса колосок прекрасный,
не пора ль тебе в дорогу,
в путь веселый отправляться
из моей берлоги тесной,
низенькой моей избушки,
в дом, что этого повыше,
в те хоромы, что просторней.
Золотце, пойдем со мною,
пошагаем, драгоценный,
мимо тропок поросячьих,
поперек путей свинячьих,
по заросшим ивой склонам,
на высокую вершину,
на сосну с кудрявой кроной,
стоветвистую лесину.
Там тебе уютно будет,
будет там тебе приятно
слушать бубенцов бренчанье,
звон коровьих колокольцев».

Вековечный Вяйнямёйнен
возвращается из леса.
Спрашивают молодые,
люд пригожий вопрошает:
«Ты куда девал добычу,
проводил куда поживу?
Не на льду ль оставил зябнуть,
не в шуге ли дал увязнуть,
не завел ли на болото,
не зарыл ли в боровине?»

Вековечный Вяйнямёйнен
слово молвил, так заметил:
«Не на льду оставил зябнуть,
не в шуге студеной вязнуть —
растаскали б там собаки,
птицы б спрятали остатки.
Не завел и на болото,
не зарыл и в боровине —
там бы черви источили,
там бы муравьи изъели.

Я туда отнес добычу,
проводил свою поживу —
на хребет горы из меди,
холм из золота высокий.

Поднял на сосну святую,
стоветвистую лесину,
на сучок, что всех прочнее,
ветвь, что всех ветвей пышнее,
выставил на радость людям,
на отраду проходящим.
Десны на восток направил,
повернул глаза на запад.
Не на самый верх повесил.
Если бы на верх повесил,
ветер сильно истрепал бы,
суховей исколотил бы.
Не на самый низ повесил.
Если бы на низ повесил,
там толкать бы стали свиньи,
низкорылые, ворочать».

Тут уж старый Вяйнямёйнен
приступил немедля к пенью,
чтобы вечер возвеличить,

уходящий день восславить.

Молвил старый Вяйнямёйнен,
сам сказал слова такие:
«Подержи, светец, лучину,
чтобы петь мне видно было.
Время петь уже настало,
петь мои уста желают».

Так играл и пел чудесно,
ликовал весь вечер длинный.
Так сказал, кончая пенье,
так промолвил напоследок:
«Дай и впредь, великий Боже,
дай и в будущем, Создатель,
чтобы здесь мы веселились,
чтобы праздник проводили
на пирушке медолюба,
длинношерстного — на свадьбе.

Так всегда давай нам, Боже,
дай и в будущем, Создатель,
чтоб в лесу зарубки были,
были нужные засечки
для героев наших славных,
для толпы мужей известных.

Так всегда давай нам, Боже,
дай и в будущем, Создатель,
чтобы Тапио трубил нам,
чтоб свирель лесная пела
на подворьях этих тесных,
на прогонах этих узких!

Пусть все дни для нас играет,
вечером приносит радость

на просторных землях этих,
на пространствах славной Суоми,
среди юношей растущих,
в подрастающем народе».

Песнь сорок седьмая

Луна и солнце опускаются пониже, чтобы послушать, как играет Вяйнямёйнен. Хозяйка Похьелы хватает их и запирает внутри горы. Потом выкрадывает даже огонь из жилищ Калевалы, с. 1–40. — Верховный бог Укко удивляется тьме, наступившей на небе, и высекает огонь, чтобы зажечь новое солнце и новую луну, с. 41–82. — Огонь падает на землю, и Вяйнямёйнен с Илмариненом пускаются на его поиски, с. 83–126. — Дева воздуха рассказывает им, что огонь упал в озеро Алуэ[207], где его проглотила рыба, с. 127–312. — Вяйнямёйнен и Илмаринен пытаются поймать эту рыбину рогожным неводом, но безуспешно, с. 313–364.

Вековечный Вяйнямёйнен
все на кантеле играет,
все поет, и все играет,
и без пения ликует.
Звон летит к жилищам лунным,
радость — к солнечным окошкам.
Вот луна из дома вышла,
села на кривой березе,

солнце из дворца явилось,
наверху сосны уселось,
чтобы кантеле послушать,
чтоб игрою насладиться.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая большуха,
тут-то и схватила солнце,
тут-то месяц и достала,
с той сосны схватила солнце,
с той кривой березы — месяц,
унесла домой поспешно,
в землю Похьелы суровой.
Месяц, чтобы не светился,
спрятала в утесе пестром,
чтобы солнце не сияло, —
заперла в горе заклятьем.
Так притом сама сказала:
«Чтобы вам вовек не выйти,
не светить луне на небе,
не сиять на небе солнцу,
коль не выпущу отсюда,
не явлюсь сама за вами, —
девять жеребцов запрягши,
жеребят одной кобылы».

Только месяц затащила,
только солнце водворила
в каменную гору Похьи,
внутрь железного утеса,
тотчас и огонь украла,
пламя унесла из печек,
все дома огня лишила,
пламени лишила избы.

Ночь без утра наступила,

опустилась тьма без края.
В Калевале ночь настала,
тьма пришла не только в избы,
даже в небесах сгустилась,
там, где восседает Укко.

Без огня живется трудно,
очень тягостно без света,
скучно в мире человеку,
скучно даже Укко в небе.

Старец Укко, бог верховный,
тот великий Созидатель,
сам немало удивился.
Думает он, размышляет,
что там месяц заслонило
что за мгла закрыла солнце,
если месяц не сверкает,
если солнце не сияет.

Вот пошел по краю тучи,
пошагал по кромке неба,
в синих вязаных чулочках,
в пестрых кенгах с каблучками.
Ищет, где же скрылся месяц,
солнышко куда девалось,
месяца найти не может,
отыскать не может солнца.
Высек искру в небе Укко,
выбил пламя золотое
огненным мечом могучим,
искрометной сталью острой
по своим ногтям ударив,
стукнув по суставам крепким,
там на самом верхнем небе,
между звездными садами.

Огненную высек искру,
выбил пламя и упрятал
в золотой свой кошелечек,
в свой серебряный клубочек.
Искру дал баюкать деве,
дал качать воздушной фее,
чтоб родился новый месяц,
солнца нового начало.

Девица на длинной туче,
на краю небесной тверди
эту искорку качала,
убаюкивала пламя
в золотой красивой зыбке,
на серебряных тесемках.

Жердь серебряная гнулась,
пела зыбка золотая,
тучи стлались, твердь скрипела,
крышки неба накренялись
от укачиванья искры,
убаюкиванья яркой.
Дева искорку качала,
убаюкивала пламя,
в пальцах пестовала искру,
нянчила в своих ладонях,
выпала у глупой искра,
выскользнула у небрежной,
выпала из пальцев няни,
вырвалась из рук пестуньи.

Появились в небе дыры,
окна в воздухе возникли,
искорка огня сверкнула,
пламени клубок промчался,
пролетел сквозь крышки неба,

проскочил сквозь толщу тучи,
через девять сводов неба,
через шесть узорных крышек.
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Слушай, брат мой Илмаринен,
поглядим пойдем с тобою,
выясним, давай, на месте,
что за искра пролетела,
что за пламя проскользнуло
с самых верхних сводов неба
в нижние земные недра.
Может быть, луны корона,
может быть, окружность солнца?»

Вот шагают два героя,
Вот шагают, размышляют,
как попасть на это место,
как пройти туда скорее,
в край, куда упала искра,
в край, куда огонь скатился.

На пути поток встречают,
реку шириною с море.
Тут уж старый Вяйнямёйнен
принялся тесать кораблик,
челн сколачивать в чащобе,
Илмаринен — весла делать,
лопасти тесать из ели,
из сосны гребки большие.
Вот уже готова лодка.
Есть уключины, есть весла.
Лодку на воду спускают,
загребают, поспешают,
едут по излуке невской,
невский на́волок[208] обходят.

Илматар, творенья дева,
старшая из дев природы,
по дороге повстречалась,
так, красивая, спросила:
«Это что же за герои?
Как зовут вас, величают?»

Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Кличут нас мужами моря.
Сам я — старый Вяйнямёйнен,
он — кователь Илмаринен.
Ты сама откуда родом?
Как зовут, как величают?»

Так им дева отвечала:
«Я древней всех женщин в мире,
старшая из дев воздушных,
первая из жен рожавших.
Я пяти достойна женщин,
всем шести равна невестам.
Вы куда, мужи, плывете,
поспешаете, герои?»

Молвил старый Вяйнямёйнен,
так сказал он, так заметил:
«Вот погас огонь в жилищах,
пламя в очагах потухло.
Без огня живем мы долго,
тычемся давно в потемках.
Вот задумали разведать,
где же тот огонь небесный,
где же искра, что упала,
что скатилась наземь с тучи».

Так им дева отвечала,
отвечала, говорила:
«Где огонь, дознаться трудно,

нелегко узнать, где искра.
Много бед огонь наделал,
пламя — горя натворило.
Сверзлась искра огневая,
пролетел клубочек красный
с места, где был создан Богом,
высечен небесным громом,
проскочил сквозь крышу неба,
сквозь небесный свод красивый,
в дымоход, забитый сажей,
через матицу сухую,
в новые покои Тури,
Палвойнена дом без крыши.

Вот когда туда явился,
в новое жилище Тури,
принялся за труд недобрый,
за деяния дурные,
опалил девицам груди,
пощипал соски невестам,
сыновьям продрал колени,
бороду обжег у Тури.
Мать дитя кормила грудью,
в зыбке плохонькой качала.
Пламя в люльку залетело,
зло большое сотворило:
в зыбке малого спалило,
обожгло родимой груди.
В Маналу дитя попало,
в Туони угодил ребенок.
Он для гибели был создан,
был для смерти предназначен,
должен был погибнуть в муках,
умереть в больших страданьях.

Мать огонь получше знала,

в Маналу не угодила,
усмирить огонь сумела,
покорить заклятьем пламя,
сквозь ушко прогнать иголки,
искру пропустить сквозь обух,
сквозь трубу пешни горячей,
вдоль границы поля Тури».
Вековечный Вяйнямёйнен
сам успел спросить у девы:
«И куда же пламя скрылось
и куда умчались искры
от границы поля Тури?
В лес умчались или в море?»

Так в ответ сказала дева,
молвила слова такие:
«Искра тут стремглав промчалась,
пламя быстро пролетело,
много суши опалило,
выжгло пашни, выжгло нивы,
наконец нырнуло в воду,
в глуби Алуэ скользнуло,
озеро чуть не сгорело,
чуть огнем не запылало.

Ночью летнею три раза,
девять раз — осенней ночью
поднималось выше елей,
выше берега вскипало
у огня в объятьях жгучих,
у огня в руках могучих.

Рыба на мели осталась,
на поду горячем — окунь.
Рыбы все затосковали,
окуни все думать стали:

как же быть, как жить на свете?
Окунь плакал по амбару,
ерш — по каменному замку,
рыба прочая — по дому.
Кинулся горбатый окунь,
чтоб схватить огня клубочек, —
пламени не смог настигнуть.
Синий сиг рванулся следом:
проглотил огня клубочек,
пропустил в утробу искру.

В Алуэ вода вернулась,
с берегов назад сбежала,
на свое былое место
летнею одной лишь ночью.
Времени прошло немного —
боль почувствовал глотатель,
злое жженье — пожиратель,
пламени едок — страданья.

Стал метаться, стал кидаться,
день метался, два метался
мимо островов сиговых,
мимо рифов лососевых,
мимо тысяч мысов разных,
сотен островных заливов.
Каждый мыс шепнул словечко,
каждый остров весть услышал:
«В тихих водах не найдется,
в тесном Алуэ не встретишь,
кто бы проглотил бедняжку,
кто б несчастного избавил
от подобного страданья,
от ужасного мученья».

Светлобокий лох услышал,
синий сиг им был проглочен.

Времени прошло немного:
боль почувствовал глотатель,
злое жженье — пожиратель,
пламени едок — страданья.

Стал метаться, стал кидаться,
день метался, два метался
среди рифов лососевых,
между щучьими дворами,
мимо тысяч мысов разных,
сотен островных заливов.
Каждый мыс шепнул словечко,
каждый остров весть услышал:
«В тихих водах не найдется,
в тесном Алуэ не встретишь,
кто бы проглотил бедняжку,
кто б несчастного избавил
от подобного страданья,
от ужасного мученья».

Щука серая примчалась,
светлобокого сглотнула.
Времени прошло немного —
боль почувствовал глотатель,
злое жженье — пожиратель,
пламени едок — страданья.

Стал метаться, стал кидаться,
день метался, два метался
между лудами для чаек,
меж каменьями для крачек,
мимо тысяч мысов разных,
сотен островных заливов.
Каждый мыс шепнул словечко,
каждый остров весть услышал:
«В тихих водах не найдется,

в тесном Алуэ не встретишь,
кто бы проглотил бедняжку,
кто б несчастного избавил
от подобного страданья,
от ужасного мученья».

Вековечный Вяйнямёйнен,
с ним кователь Илмаринен
лыковый связали невод,
можжевеловую сетку,
красят ивовым отваром,
сеть дубят корьем ракитным.

Вековечный Вяйнямёйнен
женщин с неводом отправил.
Жены невод выметали,
сестры в лодку выбирали,
загребали, поспешали —
мыс за мысом, риф за рифом,
мимо рифов лососевых,
мимо островов сиговых,
к камышам приплыли желтым,
к тростникам пришли красивым.

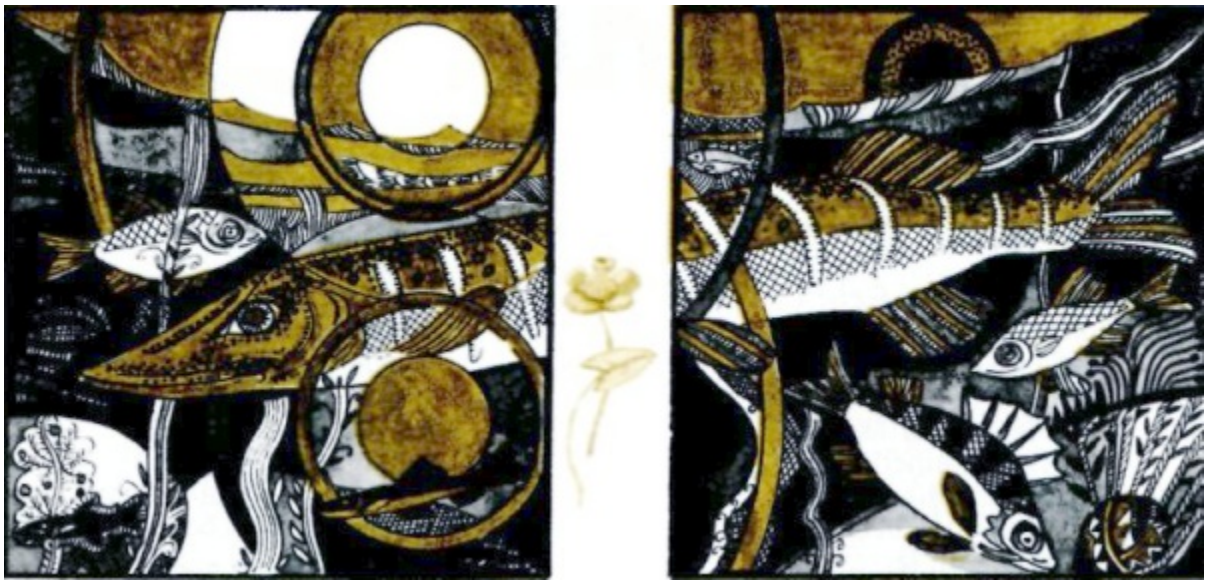
Рыбу ловят, рыбу гонят,
ботают, веслом табанят,
наизнанку сеть бросают,
криво тоню выбирают:
рыбы той не изловили,
для которой невод брошен.
Братья вышли на путину,
невод бросили мужчины.
Чистят невод, мечут в воду,
ботают, веслом табанят
средь заливов, возле мысов,
в лудах Калевы опасных:

рыбы все же не поймали,
той, которую ловили.
Не поймали серой щуки
ни в воде заливов тихих,
ни средь бурного простора:
невод редок, рыбы мелки.

Сетовали рыбы в море,
щука жаловалась щуке,
сиг к язю пристал с вопросом,
лосось спрашивал лосося:
«Неужель мужи исчезли,
Калевы сыны погибли,
кто льняные ладит сети,
нитяные вяжет петли,
рыб шестом огромным гонит,
боталом большим пугает?»

Вяйнямёйнен все услышал.
Он сказал слова такие:
«Нет, герои не исчезли,
Калевы народ не канул.
Умер муж — родятся двое,
ботала у них покрепче,
на вершок шесты длиннее,
раза в два просторней сети».

Песнь сорок восьмая



Герои мастерят льняной невод и начинают ловить им проглотившую огонь рыбу. Рыба попадается в сети, с. 1–192. — Огонь вынимают из живота рыбы, но он вырывается и сильно опаляет Илмаринену щеки и руки, с. 193–248. — Огонь достигает леса, выжигает много земель, удаляясь все дальше, пока его наконец не схватили и не унесли в темные избы Калевалы, с. 249–290. — Илмаринен излечивается от ожогов, с. 291–372.

Старый вещий Вяйнямёйнен,
вековечный предсказатель,
тут задумал, тут замыслил,
принял мудрое решенье:
надо сеть связать льняную,
стоячеистую сделать.

Высказал слова такие,
так промолвил, так заметил:
«Кто бы взялся лен посеять,
клин вспахать и бросить семя,

чтобы сеть мне изготовить,
стоячеистую сделать,
изловить бедняжку рыбу,
жалкую, изжить со света?»
Клок земли нашли свободный,
пламенем не опаленный,
на хребте больших болотин,
среди двух коряг прогнивших.

С корнем вырвали корягу,
семя льна под ней сыскали
в кладовой гадюки Туони,
в тайнике змеи подземной.
Был золы остывшей ворох,
горсточка сухого пепла
от ладьи, дотла сожженной,
лодки, полностью спаленной.
В той золе был лен посеян,
был запахан в этот пепел
подле Алуэ, на поле,
возле озера, в суглинке.

Из земли побег поднялся,
вытянулся лен высокий,
долгунец безузелковый,
за одну лишь ночь средь лета.
Лен посеяли средь ночи,
в лунном свете клин вспахали.
Лен пололи, разрежали,
вырывали, вычищали,
обрывали льну головки,
колотили, молотили.

Опускали мокнуть в воду,
размякать ему давали,
поднимали, обжимали,
основательно сушили.

Лен домой переносили,
там кострицу выбивали,
сильно мяли, колотили,
расторопно теребили.
Лен расчесывали бойко,
в летних сумерках трепали.
Вот уже в кудель смотали,
тут же в нитку обратили
за одну лишь ночь средь лета,
в промежутке между днями.
Нить золовки выпрядали,
сестры в и́глицы[209] вдевали.
Братья быстро сеть вязали,
свекры повод прикрепляли.
То-то бегала иглица,
то-то па́личка[210] сновала,
прежде чем готов был невод,
к неводу подвязан повод
за одну лишь ночь средь лета,
даже лишь за половину.
Вот уже готов и невод,
нитяный привязан повод,
в неводе кошель — в сто сажен,
при́воды[211] — в семьсот саженей,
грузила висят красиво,
поплавки — еще красивей.

Тянут невод молодые,
дома старые гадают,
взять сумеют ли добычу,
рыбу, что поймать желают.
Тянут сети, тащат невод,
напрягаются, потеют,
вдоль воды ведут прилежно,
поперек воды проводят —
разной рыбы наловили:

несколько ершей проклятых,
окунечков окаянных,
желчью пахнущих плотичек.
Только той не взяли рыбы,
для которой невод сделан.
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Ой, кователь Илмаринен!
Нам самим пойти придется
заводить на море невод».

Вот пошли два славных мужа,
вышли с неводом на море,
завели крыло на остров
на большом просторе моря,
завели крыло другое
на мысок, где были пожни,
привязали повод крепко
к лодочным причалам Вяйно.

Мечут сети, опускают,
выбирают, поднимают.
Всякой рыбы наловили:
окуней и окунечков,
семужек, тайменей разных,
лососей, лещей бессчетно,
всякой живности подводной —
рыбы той лишь не поймали,
для которой сделан невод,
для которой скручен повод.

Вот тогда-то старый Вяйно
к тем сетям длины добавил,
крылья невода надставил
по длине в пятьсот саженей,
на семьсот прибавил повод.
Так сказал он, так промолвил:

«В глубину забросим сети,
заведем подальше невод,
проведем еще разочек,
вытянем на берег сети!»

Сеть забросили поглубже,
завели подальше невод,
провели еще разочек,
снова вытянули сети.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Велламо, воды хозяйка,
с грудью пышной, травянистой!
Приходи сменить сорочку,
обновить свою одежду.
Из тресты — твоя сорочка,
на плечах платок — из пены,
вытканный хозяйкой ветра,
девой волн преподнесенный.
Я рубашку дам льняную,
полотняную сорочку,
что луны скроила дева,
ладно сшила дева солнца.
Ахто, волн морских хозяин,
повелитель пенных гребней,
выломай в пять сажен ветку,
прут возьми длиной в семь сажен,
чтоб морской простор обмерить,
ямы донные обшарить,
вымести со дна весь мусор,
выгнать рыбу из пучины
к сетевой подбóре[212] верхней,
к неводной подборе нижней
из морских подвалов рыбных,
из сусеков лососевых,

из больших покоев водных,
из морских чертогов темных,
солнышком не освещенных,
с половиц, песком не тертых!»

Малый муж из моря вышел,
из волны герой поднялся,
встал на гребне среди моря.
Так сказал он, так промолвил:
«Нужен ли погонщик рыбы,
длинного шеста держатель?»
Вековечный Вяйнямёйнен
сам сказал слова такие:
«Нужен здесь погонщик рыбы,
длинного шеста держатель».

Малый муж, герой невзрачный,
дерево из почвы вырвал,
с берега — сосну большую,
боталом булыжник сделал.
Спрашивает, вопрошает:
«Гнать ли мне со всею силой,
со всего ль плеча стараться
или ботать, как обычно?»

Старый мудрый Вяйнямёйнен
так сказал, такое молвил:
«Коль обычно ботать будешь,
долго предстоит трудиться!»

Малый муж, герой невзрачный,
загоняет рыбу в сети,
ботает герой, как надо.
Много рыбы загоняет
к сетевой подборе верхней,
к неводной подборе нижней.
Загребным сидит кователь.

Вековечный Вяйнямёйнен
сам вытаскивает невод,
тянет сам льняные сети.

Говорит слова такие:
«Вот уже вся рыбья стая
загнана в большие сети
с сотней плашек поплавковых».

Вот вытаскивают невод,
выбирают, вытряхают,
высыпают в лодку Вяйно.
Вывалили ворох рыбы,
для которой невод сделан,
сплетены льняные сети.

Вековечный Вяйнямёйнен
лодку к берегу причалил,
возле синего помоста,
возле красного настила,
выгрузил всю рыбью кучу,
перебрал весь рыбий ворох,
отыскал в той груде щуку,
ту, что долго добывали.
Тут уж старый Вяйнямёйнен
так решает, размышляет:
«Взять осмелюсь ли руками,
взять без рукавиц железных,
взять без каменных перчаток,
без голичек медных — щуку?»

Солнца сын слова услышал,
так сказал он, так промолвил:
«Я б разделал эту щуку,
я бы взял ее руками,
если б мне резак отцовский,

нож родительский подали!»

Нож упал с небесной крыши,
с облаков резак свалился —
нож серебряный прекрасный,
с золотою рукояткой.

Солнца светлого сыночек
нож берет, упавший в руки,
щуку ловко разрезает,
большеротую пластает.
В животе той серой щуки
лоха светлого находит,
в животе того лосося
гладкого сига находит.
Гладкого сига разрезал,
в нем нашел клубочек синий,
в завитке кишки сиговой,
в третьем маленьком изгибе.
Размотал клубочек синий:
изнутри того клубочка
выскользнул клубочек красный.
Размотал клубочек красный:
изнутри того клубочка
вынул огненную искру,
что упала с небосвода,
что пробилась через тучи,
с высоты восьмого неба,
с крышки воздуха девятой.
Размышлял покуда Вяйно,
искорку на чем доставить
к тем домам неосвещенным,
к темным избам Калевалы,
выскользнула эта искра
из ладони сына Солнца,
бороду сожгла у Вяйно,

даже хуже поступила:
щеки кузнеца задела,
руки сильно опалила.

Побежало пламя дальше,
гладью Алуэ помчалось,
в можжевельник укатилось —
загорелся можжевельник,
забежало в ближний ельник —
ельник в пепел превратился,
прокатилось пламя дальше —
полземли сгорело в Похье,
дальний край — в пределах Саво,
Карьяла — с боков обоих.

Вековечный Вяйнямёйнен
в путь отправился за искрой,
в корбу на горе поднялся
по следам жестокой искры.
Там-то и настигнул пламя,
под корнями двух пенечков,
в глубине ольховой чурки,
в пазухе гнилой коряги.

Вековечный Вяйнямёйнен
тут сказал слова такие:
«Огонек, творенье Бога,
искорка, Творца созданье,
зря укрылось, утаилось,
спряталось совсем напрасно!
Будет лучше, коль вернешься
в каменный очаг жилища,
спрячешься в золе домашней,
в жарких углях затаишься,
чтобы днем пылать прилежно
на березовых поленьях,
чтобы прятаться ночами

в устье свода золотого».

Вот берет он эту искру,
вот кладет на трут горючий,
на березовую губку,
в медный котелок бросает.
В котелке огонь уносит,
доставляет на бересте
на конец косы туманной,
на далекий остров мглистый:
так принес он свет в жилища,
так в дома огонь доставил.
Сам кователь Илмаринен
бросился в пучину моря,
выбрался на камень плоский,
на скале прилег подводной
в сильных муках от ожога,
в маете от жгучей боли.

Так огонь он усмиряет,
успокаивает пламя.
Говорит слова такие,
речь такую произносит:
«Ты, огонь, творенье Бога,
Пану[213], сын прекрасный Солнца!
Что тебя так рассердило,
почему обжег мне щеки,
опалил бока нещадно,
бедра мне обжег жестоко?

Чем огонь я успокою,
чем я пламя обуздаю,
сделаю его безвредным,
безобидным, безопасным,
чтоб не лютовал так долго,
чтоб не жег меня так сильно?

Приходи ты, дева Турьи,
опустись сюда из Лаппи,
в кенгах — лед, в чулочках — иней,
в наледи — подолы платья,
ледяной котел под мышкой,
ледяной черпак у края!
окати водой студеной,
влагой льдистою обрызгай
жуткие мои ожоги,
страшные мои увечья!

Если этого не хватит,
Похьи сын, сюда спускайся,
приходи из самой Лаппи,
Пиментолы муж высокий,
высотою с елку в корбе,
ростом с конду на болоте,
в ледяных своих перчатках,
в ледяных своих сапожках,
в ледяной высокой шапке,
в ледяной затянут пояс!

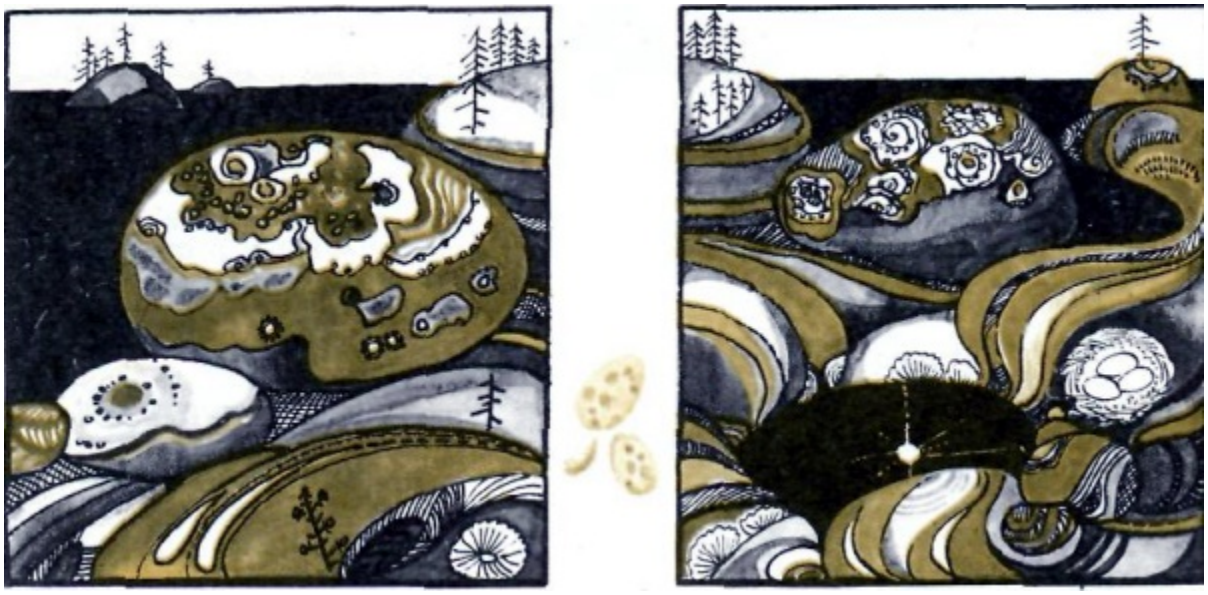
Принеси из Похьи стужи,
льда — из ледяной деревни.
Много льда в далекой Похье,
в ледяной деревне — стужи:
льда — в озерах, снега — в реках,
наледи — в небесных высях;
изо льда там зайцы скачут,
изо льда медведи пляшут
посредине снежной сопки,
у подножья вары льдистой;
ледяной кружится лебедь,
ледяной плывет утенок
посредине снежной речки,

у ледового порога.

Привези на санках снега,
льда студеного — на дровнях
с высоты суровой сопки,
от подножья мощной вары.
Остуди ты этой стужей,
охлади морозом этим
жадного огня ожоги,
Пану жгучие увечья.
Если этого не хватит,
ой ты, Укко, бог верховный,
облаков правитель, Укко,
всех небесных туч властитель,
тучу подошли с востока,
с запада направь другую,
крепко их сведи краями,
яростно сшиби концами,
набросай мне льда и снега,
нанеси хороших мазей
на болящие увечья,
жуткие мои ожоги!»

Так кователь Илмаринен
злое пламя успокоил,
усмирил огонь суровый.
Стал по-прежнему здоровым,
исцелился, излечился
от губительных ожогов.

Песнь сорок девятая



Илмаринен выковывает новую луну и новое солнце, но они не светят, с. 1- 74. — Выяснив с помощью жребия, что настоящие луна и солнце спрятаны внутри горы в Похьеле, Вяйнямёйнен отправляется туда, сражается с мужами и побеждает, с. 75–230. — Вяйно идет посмотреть на спрятанные в каменной горе луну и солнце, но не может проникнуть внутрь, с. 231–278. — Возвращается домой, просит, чтобы ему выковали инструменты, которыми он открыл бы каменный утес. Илмаринен выковывает инструменты, и хозяйка Похьелы, боясь, что ей не поздоровится и самой, выпускает луну и солнце из утеса, с. 279–362. — Вновь увидев луну и солнце на небе, Вяйнямёйнен приветствует светила и выражает пожелание, чтобы они всегда совершали свой величавый путь по небу и приносили счастье всем людям на земле, с. 363–422.

Не сияет солнце в небе,
золотой не светит месяц
в этих Вяйнолы селеньях,
на равнинах Калевалы.
[5] Стало холодно посевам,

стало стаду неуютно,
стало скучно птицам неба,
плохо стало человеку:
солнце никогда не светит,
не сияет месяц ясный.

Щуке омуты известны,
ястребу — дороги птичьи,
ветру — направленье лодки,
только людям неизвестно,
новый день когда забрезжит,
снова ночь когда наступит
здесь, на мысе вечно мглистом,
здесь, на острове туманном.
Юные совет свой держат,
пожилые размышляют,
как же без луны на свете,
как же им прожить без солнца
в бедных северных пределах,
на убогих землях Похьи.
Держат свой совет девицы,
девы юные гадают,
к кузнецу приходят в кузню,
говорят слова такие:
«Поднимись, кузнец, с лежанки,
из-за каменки, кователь,
новую луну нам выкуй,
новую корону солнца,
худо, коль не блещет месяц,
плохо, коль не светит солнце».
Поднялся кузнец с лежанки,
из-за печки встал кователь,
стал ковать он месяц новый,
новую корону солнца,
серебра набрал для солнца
золота — на месяц новый.

Тут явился Вяйнямёйнен,
у дверей остановился,
так сказал он, так промолвил:
«Ой, кователь, братец милый,
что ты здесь куешь все время,
что выстукиваешь в кузне?»

Сам кователь Илмаринен
так промолвил, так ответил:
«Золотой чеканю месяц,
круг серебряного солнца
на высокий свод небесный,
на шестую крышку неба».
Вековечный Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Ой, кователь Илмаринен,
ты работаешь впустую!
Золоту не быть луною,
серебру не стать светилом».
Выковал кователь месяц,
сделал Илмаринен солнце.
Бережно светила поднял,
перенес их осторожно:
месяц — на макушку ели,
солнце — на сосну большую.
Пот со лба его струился,
по лицу бежала влага
от такой работы трудной,
от подъема тяжкой ноши.

Он луну на небо поднял,
солнце водворил на место,
месяц — на макушку ели,
солнце — на сосну большую,
только вот луна не светит,
только солнце не сияет.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Нам придется бросить жребий,
разгадать по верным знакам,
где от нас укрылось солнце,
где луна запропастилась».

Старый вещий Вяйнямёйнен,
тайноведец вековечный,
щепок из ольхи нарезал,
уложил их с тайным смыслом,
перевертывать их начал,
пальцами на место ставить.
Молвит он такое слово,
говорит такие речи:
«У Творца прошу совета,
у Создателя ответа,
божий знак, поведай правду,
дай ответ, господний жребий,
где от нас укрылось солнце,
где луна запропастилась,
если их не видно больше
никогда на ясном небе.

Ты скажи мне правду, жребий,
угождать не надо мужу,
молви истинное слово,
предреки судьбы веленье!
Коль не скажет правды жребий,
жребий надо уничтожить,
выбросить в огонь, негодный,
знак неверный кинуть в пламя».
Жребий им поведал правду,
знак мужей им так ответил:
«Там укрылось ваше солнце,
там луна запропастилась —

в каменном утесе Похьи,
в сердцевине медной вары».

Вековечный Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Если в Похьелу отправлюсь,
на тропинки Похьи выйду,
засверкает месяц в небе,
солнце снова засияет».

Он пустился в путь поспешно
в сумрачные земли Похьи.
День шагает, два шагает,
наконец уже на третий
видит Похьелы ворота,
видит каменные горы.

Зычным голосом взывает
с берега потока Похьи:
«Поскорей пришлите лодку —
через реку перебраться!»

Крика там не услыхали,
лодку Вяйно не пригнали.
Вот набрал он дров охапку,
веток от засохшей ели,
у реки костер устроил,
напустил густого дыма,
в небо пламя возносилось,
копоть к тучам поднималась.
Ловхи, Похьелы хозяйка,
у окна как раз стояла,
на пролив как раз глядела,
спрашивала, вопрошала:
«Что за пламя там пылает,
что за дым в конце пролива?

Меньше, чем сигнал военный,
больше, чем костер рыбачий!»

Похьи сын во двор выходит,
выбегает торопливо
посмотреть вокруг, послушать,
повнимательней вглядеться:
«Там на берегу за речкой
муж расхаживает славный».

Вековечный Вяйнямёйнен
во второй раз крикнул зычно:
«Похьи сын, пришли мне лодку,
пригони челнок для Вяйно».

Похьи сын тогда промолвил,
так сказал он, так ответил:
«Заняты сейчас все лодки,
сам плыви — греби руками,
правь ладонями своими,
сам сюда переправляйся».

Вековечный Вяйнямёйнен
так подумал, так размыслил:
«Тот мужчина не мужчина,
кто свернуть с дороги может».
В море щукой устремился,
в глубину сигом метнулся,
переплыл пролив мгновенно,
вмиг осилил расстоянье.
Шаг ступил, второй отмерил,
поднялся уже на берег.

Похьелы сыны сказали,
закричала вся орава:
«Ты во двор приди попробуй!»
Он вошел во двор степенно.

Похьелы кричат подростки,
вся толпа уже горланит:
«Ты войди в жилище Похьи!»
Он вошел в жилище Похьи,
он шагнул спокойно в сени,
взялся за скобу дверную,
вот протиснулся в жилище,
вот ступил под кровлю дома.

Там мужчины пиво пили,
сладкой симой угощались,
при мечах мужчины были,
все герои при доспехах,
гибелью грозили Вяйно,
мужу Сувантолы — смертью.

У вошедшего спросили,
так они ему сказали:
«С чем пришел, мужчина жалкий,
с чем приплыл, герой несчастный?»

Вековечный Вяйнямёйнен
так промолвил, так ответил:
«Странное с луной творится,
чудеса творятся с солнцем.
Где от нас укрылось солнце,
где луна запропастилась?»

Говорят подростки Похьи,
Похьелы толпа горланит:
«Вот где скрылось ваше солнце,
скрылось солнце, канул месяц —
в недрах камня с пестрым боком,
в пазухе скалы железной.
Им не выбраться оттуда,
не уйти самим на волю».

Вот тогда-то Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Коль из недр не выйдет месяц,
коль не выберется солнце,
врукопашную сразимся,
на мечах тогда побьемся».

Вынул меч, железо вырвал,
выхватил клинок из ножен, —
с острия луна сверкала,
солнце — с чудного эфеса:
конь стоял на рукояти,
кот мяукал на заклепке.

Мерялись они мечами,
на длину клинков смотрели:
лишь немного подлиннее
меч у Вяйно оказался
лишь на семечко длиннее,
на соломинку побольше.

Вот во двор широкий вышли,
на поляну поединков.
Вековечный Вяйнямёйнен
лезвием сверкнул внезапно,
раз ударил, два ударил.
Он срезал, как листья репы,
отсекал, как льна головки,
головы мужчинам Похьи.

Тут уж старый Вяйнямёйнен
посмотреть пошел на месяц,
солнце выпускать на волю,
из скалы с узорным боком,
из горы стальной породы,
изнутри железной вары.

Прошагал совсем немного,
чуточку пути отмерил,
островок зеленый видит,
там — прекрасную березу,
под березой — камень крепкий,
под скалой — утес могучий
с девятью дверьми на склоне,
с сотнею дверных запоров.
Видит тайный знак на камне,
на боку скалы — полоску,
вытащил свой меч из ножен,
начертил на камне метку,
огневым железом острым,
лезвием меча искристым.
На две доли камень треснул,
развалился на три части.

Вековечный Вяйнямёйнен
в щель заглядывает камня:
пиво пьют в скале гадюки,
змеи жадно тянут сусло
в недрах камня расписного,
в чреве пестрого утеса.

Вековечный Вяйнямёйнен
так сказал, такое молвил:
«Вот ведь почему хозяйки
пива мало получают —
пьют его в скале гадюки,
змеи сусло выпивают».
Головы срубил гадюкам,
змеям шеи перерезал,
сам сказал слова такие,
произнес такие речи:
«Пусть отныне и вовеки,

с этих дней уже ни разу
пива здесь не пьют гадюки,
змеи сусла пусть не портят!»

Тут же старый Вяйнямёйнен,
вековечный заклинатель,
дверь хотел открыть руками,
отпереть засов словами —
дверь рукам не поддается,
заклинаниям — засовы.
Вековечный Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Без оружья муж — как баба,
без секиры — как без силы».
Вот пошел домой обратно,
опечаленный, понурый,
что луны еще не добыл,
не достал покуда солнца.

Так промолвил Лемминкяйнен:
«Ох-ох, старый Вяйнямёйнен!
Почему меня с собою
ты не взял певцом подручным?»
Все замки бы отомкнулись,
все запоры б разлетелись,
засверкал бы в небе месяц,
засияло бы и солнце».
Вековечный Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Словом не сломать засовы,
не разбить замки заклятьем,
не открыть их кулаками,
их не вывернуть руками».

К кузнецу пошел он в кузню,
так сказал он, так промолвил:

«Ты мне выкуй, Илмаринен,
с зубьями тремя мотыгу,
дюжину надежных пешен,
связку целую отмычек,
чтоб луну из камня вынуть,
солнце выпустить на волю».

Тут кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,
наковал снарядов мужу:
дюжину надежных пешен,
связку целую отмычек,
много разных копий сделал,
не больших, но и не малых,
наковал и средних копий.

Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
крылья создала заклятьем,
в небеса на крыльях взмыла,
пролетела подле дома,
в путь отправилась далекий,
через море темной Похьи,
к Илмаринена жилищу.
Приоткрыл кузнец окошко:
неужели дунул ветер?
Нет, совсем не ветер дунул —
серый ястреб опустился.

Тут кователь Илмаринен
так сказал, такое молвил:
«Что высматриваешь, птица,
что уселась под окошком?»

Птица так заговорила,
так промолвил серый ястреб:

«Ой, кователь Илмаринен,
вечный мастер дел кузнечных,
ты кователь настоящий,
мастер очень даровитый».

Тут кователь Илмаринен
так сказал, такое молвил:
«Это вовсе и не диво,
что кователь я искусный:
выковал когда-то небо,
крышку воздуха отстукал».
Птица так заговорила,
так промолвил серый ястреб:
«Что куешь, скажи, кователь,
что ты мастеришь, искусный?»

Тут кователь Илмаринен
говорит слова такие:
«Я кую ошейник прочный
для самой хозяйки Похьи.
Прикуют ее цепями
к боку крепкого утеса».
Ловхи, Похьелы хозяйка,
редкозубая старуха,
поняла: приходит гибель,
смерть несчастной угрожает.
Тотчас поднялась на крыльях,
в Похьелу свою умчалась.

Вынесла из камня месяц,
солнце в небеса вернула.

Снова облик свой меняет,
превращается в голубку.
Запорхала, полетела
к Илмаринена жилищу.

Подлетела к двери птицей,
на порог голубкой села.

Тут кователь Илмаринен
так сказал, такое молвил:
«Ты зачем явилась, птица,
на порог, голубка, села?»

Птица у дверей сказала,
вымолвила так с порога:
«Потому я на пороге,
что пришла с хорошей вестью:
Из скалы уж месяц вышел,
солнце выбралось из камня».

Тут кователь Илмаринен
сам тогда решил проверить, —
двери кузни отворяет,
пристально глядит на небо,
смотрит: там луна сверкает,
видит: солнышко сияет.
К Вяйнямёйнену приходит,
слово молвит, изрекает:
«Ох-ох, старый Вяйнямёйнен,
рунопевец вековечный,
выйди посмотреть на месяц,
поглядеть пойди на солнце!
Солнце и луна на небе,
на своих местах исконных».

Вековечный Вяйнямёйнен
поспешил во двор скорее,
голову высоко поднял,
посмотрел на небо зорко:
месяц вышел, солнце встало,
в небо поднялось светило.

Вековечный Вяйнямёйнен
говорить тут сам принялся,
вымолвил такое слово,
произнес он речь такую:
«Здравствуй, месяц, здравствуй, светлый,
свой прекрасный лик открывший,
здравствуй, солнце золотое,
восходящее светило!

Ты из камня вышел, месяц,
из утеса встало, солнце,
золотой кукушкой звонкой,
серебристою голубкой
на свое былое место,
на привычную тропинку.

По утрам вставай, светило,
каждый день всходи отныне,
здравие дари народу,
умножай богатства наши,
в руки приноси добычу,
на удилище — удачу!

В здравии по небу странствуй,
продолжай свой путь в довольстве,
завершай свой круг красиво,
вечера венчай весельем!»

Песнь пятидесятая

Дева Марьятта проглотила брусничку и в результате родила сына, с. 1–350. — Мальчик неожиданно пропадает с колен девы. В конце концов его находят в болоте, с. 351–424. Крестить ребенка приводят старика, но старик отказывается крестить младенца, у которого нет отца, пока не будет выяснено и решено, надо ли оставлять его в живых, с. 425–440. — Приходит Вяйнямёйнен, выясняет его происхождение и решает, что странного младенца надо умертвить, но полумесячный ребенок бранит его за неверное решение, с. 441–474. — Старик крестит ребенка и нарекает его королем Карелии, на что Вяйнямёйнен обижается и уходит прочь, предсказав, что о нем еще вспомнят, когда потребуются новое сампо, кантеле и свет для народа. На медной лодке он уплывает вдаль, к узкой полоске между небом и землей, где, видно, находится и сегодня. Однако кантеле и свои прекрасные песни он оставил в наследство народу, с. 475–512. — Заключительная песнь, с. 513–620.

Марьятта[214], меньшая дочка,
долго дома подрастала,
у отца в хоромах знатных,

в славном доме материнском.
Пять цепочек износила,
шесть колец вконец истерла
связкою ключей отцовских,
на бедре ее сверкавших.

Полпорога перетерла
краем яркого подола,
притолоки половину —
шелковым платочком гладким,
косяки вконец истерла
сборчатыми рукавами,
половину половицы
истоптала каблуками.

Марьятта, гордячка-дева,
эта малая девица,
долго берегла невинность,
целомудрие хранила,
рыбой красною кормилась,
мягкою корой сосновой,
не брала яиц куриных,
если жил петух с несушкой,
не брала овечье мясо,
коль овца жила с бараном.

Мать коров доить послала —
не пошла доить буренок,
вымолвила так при этом:
«Мне подобная девица
той коровы не подоит,
что с быком позабавлялась.
Вот бы нетели доились,
молоко давали телки!»

Жеребца запряг родитель, —

не садится в сани дочка.
Кобылицу брат приводит,
так ему сестрица молвит:
«В сани к лошади не сяду,
к жеребцу водили лошадь.
Молодую лошадь дайте,
месячного жеребенка!»

Марьятта, меньшая дочка,
долго так жила девицей,
целомудрие хранила,
чистоту блюла девичью.
Вот пошла она в пастушки,
погнала овечье стадо.

По холмам бежали овцы,
по вершинам гор — ягнята,
шла девица по опушкам,
по ольховникам ступала
под серебряные звоны,
кукованье золотое.

Марьятта, меньшая дочка,
смотрит пристально, внимает,
опускается на кочку,
на зеленый склон садится.

Говорит, на склоне сидя,
слово молвит, замечает:
«Пой, вещунья золотая,
пой, серебряная птаха,
оловянная певунья,
спой мне, Саксы земляничка,
долго ль жить с косой девице,
долго ли мне быть пастушкой
средь родных полян просторных,
средь ольховников широких —

лето или два, быть может,
может, пять иль шесть годочков,
может, десять лет, не меньше,
иль до осени, не дольше?»

Марьятта, меньшая дочка,
пробыла в пастушках долго.
Очень плохо быть в пастушках,
юной девушке — подавно:
змеи ползают по лугу,
ящерицы пробегают.

Не змея в траве скользнула,
там не ящерка мелькнула —
позвала с холма брусничка,
ягодка — с песчаной горки.
«Ты возьми меня, девица,
подбери скорей, красотка,
дева с брошкой оловянной,
с медным поясом девица,
иначе сожрет улитка,
черный червь меня изгложет.
Сто девиц ко мне являлось,
тысяча вокруг сидела.
Сотни дев, красавиц тыщи,
детворы — неисчислимо.
Не нашлось такой, кто взял бы,
кто бедняжку подобрал бы».

Марьятта, меньшая дочка,
путь прошла совсем не длинный,
чтобы ягодку увидеть,
чтобы подобрать брусничку,
взять красивыми руками,
кончиками пальцев нежных.

Ягодку нашла на горке,
краснобокую брусничку,
необычную по виду,
расположенную странно:
брать с земли — высоковато,
сверху брать — уж очень низко.
Подняла с поляны палку,
сбила на землю брусничку.
Забралась брусничка быстро
на красивые ботинки,
прыгнула с ботинок девы
на невинные колени,
с чистых девичьих коленей —
на прекрасные подолы.

Поднялась потом на пояс,
с пояса на грудь взбежала,
взобралась на подбородок,
на уста перескочила,
закатилась в рот девице,
на язык перебежала,
с языка попала в горло,
из него в живот спустилась.

Марьятта, меньшая дочка,
понесла, затяжелела,
забеременела вскоре,
раздобрела, располнела.

Стала жить без опоясок,
кушака носить не стала.
В баню крадучись ходила,
бегала во тьме украдкой.

Мать пыталась догадаться,
размышляла так родная:
«Что же с Марьяттою нашей,

что же с курочкой домашней —
пояса совсем не носит,
кушака не надевает,
в баню бегает украдкой,
в сумерках идет в парную?»

Так тогда сказал ребенок,
вымолвил младенец малый:
«Вот что с Марьяттою нашей,
вот что с Курьеттой-бедняжкой:
долго пробыла в пастушках,
долго за скотом ходила».

Твердый свой живот носила,
чрево тяжкое таскала,
месяцев и семь, и восемь,
девять месяцев, не меньше,
по расчету старой бабки,
вышло девять с половиной.
Вот на месяце десятом
нестерпимо больно стало.
Чрево девы отвердело,
выше сил отяжелело.

Просит дева сделать баню:
«Ой ты, матушка родная,
теплое устрой местечко,
подготовь укромный угол
для недолгого обряда,
для святых мучений женских».

Мать на это отвечает,
так родительница молвит:
«Ой ты, чертова блудница,
с кем спала ты, с кем валялась?
С холостым ли, неженатым,

иль с мужчиною семейным?»

Марьятта, меньшая дочка,
отвечает так на это:
«Ни с мужчиной неженатым,
ни с мужчиною семейным.
Ягоды я собирала,
на холме брала бруснику,
съесть брусничку захотела,
в рот брусничку положила,
ягодка скользнула в горло,
из него в живот спустилась —
понесла я, пополнела,
зачала, затяжелела».

У отца просила бани:
«Ой ты, батюшка родимый,
теплое устрой местечко,
подготовь укромный угол,
где б нашла уход бедняжка,
где б избавилась от муки».

Так отец ей отвечает,
так родитель деве молвит:
«Уходи подальше, шлюха,
убирайся, потаскуха,
в каменную щель к медведю,
к косолапому в пещеру,
там ты, шлюха, ощенишься,
потаскуха, разрешишься!»

Марьятта, меньшая дочка,
так умело отвечает:
«Нет, я вовсе и не шлюха,
я совсем не потаскуха.
Я рожу большого мужа,
благородного героя,

что над властью будет властью,
силою над силой Вяйно».

Вот уже и мочи нету:
где же выход, где спасенье,
баню где найти скорее?
Так промолвила, сказала:
«Пильтти, девочка-служанка,
лучшая из всей прислуги,
попроси в деревне бани,
поищи у речки Сары[215],
чтоб уход нашла бедняжка,
чтоб избавилась от муки.
Сделай скоро, сбегай быстро,
нужно бы еще быстрее!»

Пильтти, девочка-служанка,
слово молвила, сказала:
«У кого спрошу парилку,
у кого найду поддержку?»

Наша Марьятта на это
слово молвила, сказала:
«Есть у Руотуса[216] парилка,
баня — в устье речки Сары».

Пильтти, девочка-служанка,
что всегда была послушна,
быстрая без принужденья,
шустрая без понуканья,
в двери выскочила дымкой,
вырвалась клубочком пара,
собрала рукой подолы,
подхватила крепче полы,
побежала, поспешила
прямо к руотусову дому.

Горы ухали от бега,
от ходьбы холмы качались,
на бору плясали шишки,
камни прыгали на топях.
В избу к Руотусу влетела,
ворвалась к нему в жилище.

Руотус там сидит поганый,
ест и пьет — под стать герою, —
за столом в одной рубашке,
во главе стола — в холщовой.
Руотус молвил за едою,
за столом сердито крикнул:
«Что ты, жалкая, мне скажешь?
Почему ты прибежала?»

Пильтти, девочка-служанка,
слово молвила, сказала:
«Попросить пришла парилки,
бани — в устье речки Сары,
где б уход нашла бедняжка,
получила помощь дева».

Руотуса жена-дурнушка,
подбоченившись, ходила,
половицами скрипела,
посреди избы топталась,
у служанки так спросила,
так промолвила, сказала:
«Для кого ты просишь баню,
за кого ты так хлопочешь?»

Молвила служанка Пильтти:
«Марьятте ищу парилку».

Руотуса жена-дурнушка
говорит слова такие:

«Заняты в деревне бани,
несвободны — в устье Сары.
Баня есть среди пожога,
в вековом бору конюшня,
чтоб детей рожать блудницам,
чтобы шлюхам разрешаться:
если пару конь надышит,
пусть попарится в той бане!»

Пильтти, девочка-служанка,
в путь обратный припустила,
побежала, поспешила,
возвратясь домой, сказала:
«Не нашлось в деревне бани,
бани нет у речки Сары.
Руотуса жена-дурнушка
так промолвила, сказала:
«Заняты в деревне бани,
несвободны — в устье Сары.
Баня есть среди пожога,
в вековом бору — конюшня,
чтоб детей рожать блудницам,
чтобы шлюхам разрешаться:
если пару конь надышит,
пусть попарится в той бане!»
Так хозяйка говорила,
так, дурнушка, отвечала».

Марьятта, меньшая дочка,
безутешно заревела,
так промолвила, сказала:
«Мне отправиться придется,
как поденщице какой-то,
как работнице наемной,
на холмистую пожогу,
на лужайку боровую!»

Собрала одежды в узел,
подхватила край подола,
веничек взяла охранный,
лист спасительный, любовный.
Осмотрительно ступает,
с болью сильною шагает
в ту сосновую обитель,
в ту конюшню Тапиолы.

Говорит слова такие,
речь такую произносит:
«Приходи, Господь, на помощь,
на подмогу, Милосердный,
в этом деле многотрудном,
в эти тяжкие мгновенья,
девушку избавь от пыток,
женщину — от болей в чреве,
чтоб от хворей не погибла,
от страданий не зачахла!»

Наконец, придя в конюшню,
молвила слова такие:
«Надыши мне, лошадь, пару,
тягловая, дай мне жару,
сотвори парную баню,
сделай жаркую парилку,
где б нашла уход бедняжка,
получила помощь дева!»

Надышала лошадь пару,
напустила много жару
для страдающей от чрева.
Сколько лошадь выдыхает,
столько пару вылетает,
как из каменки горячей.
Марьятта, малютка-дева,

непорочная девица,
тут попарилась на славу,
с удовольствием помылась.
Родила младенца в бане,
принесла на свет сыночка,
возле лошади на сене,
на конце яслей льногривой.

Своего сынка обмыла,
завернула в покрывало,
на свои взяла колени,
приняла в подол младенца.

Дева прятала сыночка,
яблочко свое растила,
наливное, золотое,
посошок свой серебристый.
На руках его кормила,
на руках его носила.

Как-то сына положила,
опустила на колени,
чтобы гребнем причесаться,
щеткой волосы пригладить.

Тут исчез ее ребенок,
сын пропал с коленей девы.

Марьятта, малютка-дева,
вся в тревоге заметалась,
кинулась искать сыночка.
Яблочко свое искала,
наливное, золотое,
посошок свой серебристый,
под гремящей крупорушкой,
под скользящими санями,

под снующим в пальцах ситом,
под ушатом уносимым,
средь травы, вокруг деревьев,
посреди сухого сена.

Долго так искала сына,
золотого, дорогого,
по горам, по боровинам,
по опушкам вересковым,
проверяя каждый кустик,
каждый прутик отгибая,
роя корни можжевела,
разводя деревьев ветки.
Поспешала, размышляла,
шаг свой быстрый не сбавляла.
Вот Звезда идет навстречу.
Поклонилась ей девица:
«Ой, Звезда, творенье Бога,
ты не знаешь ли, где сын мой,
яблочко мое родное,
наливное, золотое?»

Так Звезда ей отвечала:
«Хоть и знала б, не сказала.
Это он меня и создал,
наделил судьбой несчастной,
чтобы я сияла в стужу,
в темноте сплошной мерцала».

Поспешала, размышляла,
шаг свой быстрый не сбавляла.
Тут Луна идет навстречу,
поклонилась ей девица:
«Ой, Луна, творенье Бога,
ты не знаешь ли, где сын мой,
яблочко мое родное,
наливное, золотое?»

Так Луна ей отвечала:
«Хоть и знала б, не сказала.
Это он меня и создал,
наделил судьбой несчастной,
бодрствовать одной ночами,
днями спать без пробужденья!»

Поспешала, размышляла,
шаг свой быстрый не сбавляла.
Тут идет навстречу Солнце.
Дева Солнцу поклонилась:
«Солнышко, творенье Бога,
ты не знаешь ли, где сын мой,
яблочко мое родное,
наливное, золотое?»

Так ей Солнце отвечало:
«Знаю, где твой сын родимый.
Это он меня и создал,
наделил судьбой счастливой:
в золоте звенеть, сияя,
в серебре играть, сверкая.

Знаю, где твой сын родимый,
твой сыночек горемычный,
яблочко твое родное,
наливное, золотое.
В зыбуне увяз по пояс,
в боровом песке — по плечи!»

Марьятта, малютка-дева,
ищет сына на болоте.
Там его и отыскали,
принесли домой с болота.

Вот подрос сынок у девы,
вырос мальчуган пригожий:
имени лишь не хватает,
как зовут, никто не знает.
Называет мать цветочком,
все другие — никудышным.

Кто ж придет крестить ребенка,
окроплять святой водою.
Вот крестить явился старец,
окроплять — сам Вироканнас.

Говорил слова такие,
так сказал, такое молвил:
«Не крещу я одержимых,
оглашенных не купаю
до того, как все проверят,
все проверят, все рассудят!»

Кто ж проверкою займется,
кто судить его возьмется?
Старый вещий Вяйнямёйнен,
вековечный тайноведец,
пусть мальчонку испытает,
пусть проверит, пусть рассудит.

Вековечный Вяйнямёйнен
проверяет, рассуждает:
«Если найден на болоте,
на земле зачат брусникой,
в землю парня закопайте,
в ягодной заройте кочке
иль в болото отнесите,
там дубиной оглушите!»

Полумесячный промолвил,

двухнедельный зычно крикнул:
«Ой ты, Вяйно, старец дряхлый,
старец дряхлый, полусонный,
приговор ты вынес глупый,
исказил закон хороший!
За грехи и покрупнее,
за дела и поглупее
не снесли тебя в болото,
в темя палкою не били,
хоть ты в годы молодые
сына матери запродал,
самого себя спасая,
из неволи выкупая.

Даже и потом, позднее,
не снесли тебя в болото,
хоть ты в годы молодые
молодых топил красавиц
под глубокими волнами,
отправлял на дно морское!»

Окрестил ребенка старец,
наспех окропил мальчонку, —
королем нарек карельским,
властелином высшим сделал.

Прогневился Вяйнямёйнен,
прогневился, застыдился,
сам отправился в дорогу,
поспешил на берег моря,
начал петь свои заклятья,
петь в последний раз пустился:
медный челн напел заклятьем,
палубную лодку сделал.

На корме уселся в лодке,
в даль морскую челн направил,

уезжая, так промолвил,
так сказал он, уплывая:
«Дай-ка, время пронесется,
день пройдет, другой настанет,
вновь во мне нуждаться будут,
пожелают, чтобы создал
новое большое сампо,
новый инструмент певучий,
чтобы поднял новый месяц,
новое на небо — солнце,
если нет луны и солнца,
радости не будет в мире».

Вот уж старый Вяйнямёйнен
уплывает, уезжает,
в медной лодке восседая,
в медном челноке устроясь,
к матери-земли границам,
к нижнему пределу неба.
Там с челном своим и скрылся,
со своею лодкой сгинул.
Только кантеле оставил,
звонкий инструмент для Суоми,
вечную усладу людям,
песни славные — народу.

Завершить пора преданье,
привязать язык покрепче,
песнопение закончить,
заклинание оставить.
Выдыхается и лошадь,
пробежав свой путь неблизкий,
устает косы железо,
выкосив густые травы,
бег воды и тот стихает,
одолев реки излуки,

меркнуть пламя начинает,
пропылав всю ночь бессонно,
почему ж певцу не смолкнуть,
славным песням не утихнуть,
коль весь вечер шло веселье,
пенье — до захода солнца.

Так, бывало, говорили,
так когда-то рассуждали:
«Даже водопад могучий
всей воды не изливает,
даже рунопевец лучший
песен всех не выпевает.
Лучше пение закончить,
чем прервать, не кончив песню.

Что ж, умолкну, что ж, утихну,
завершу, закончу пенье,
замотаю песнь в клубочек,
закручу в моток заклятья,
положу в амбар на полку,
под запоры костяные,
чтоб не выбрались оттуда,
не смогли освободиться,
прежде чем замки откроют,
прежде чем раздвинут зубы,
разомкнут уста пошире,
прежде чем язык развяжут.

Что с того, что распеваю,
что пою порою много,
что пою в ложбинке каждой,
в каждом ельнике кукую.
Мать моя давно почила,
милая навек уснула,
матушка меня не слышит,

пенью моему не внемлет,
слушают меня лишь ели,
слушают лишь ветки сосен,
внемлют ласково березы,
одобрительно — рябины.

Я без матушки остался,
без родной — ребенком малым,
жавороночком на камне,
на булыжнике — дрозденком,
жаворонком заливаться,
стрекотать в лесу дрозденком
под присмотром неродимой,
под надзором нелюбимой.

Мачеха меня, бедняжку,
злополучного ребенка,
прогнала за угол дома,
под наветренную стену,
чтоб унес бедняжку ветер,
беззащитного — студеный.

Я помыкался, несчастный,
жалкий птенчик, поскитался,
поплутал по землям дальним,
побродил один по свету,
ветру каждому открытый,
окрикам любым покорный,
надрожался я на стуже,
наревелся на морозе.

Их теперь совсем немало,
много злых людей на свете,
кто меня корит нещадно,
кто меня бранит жестоко —
тот слова мои ругает,
этот голос порицает,

говорит, что я картавлю,
что не знаю меры в пенье,
что пою совсем уж плохо,
что мотив перевираю.

Люди добрые, не надо
изумляться, удивляться,
что дитя не знает меры,
что поет птенец прескверно.
Я ведь не бывал в ученье
у могучих чародеев,
не учил слова чужие,
не слыхал чужих заклятий.

Все в ученье побывали —
я не смог уйти из дома,
мать без помощи оставить,
одинокую, покинуть.
Мне пришлось учиться дома,
под своей родимой крышей
возле прялки материнской,
на пахучей стружке брата,
да и то совсем ребенком,
мальчуганом в рубашонке.

Только все-таки, но все же
я певцам лыжню оставил,
путь пробил, пригнул вершину,
заломил вдоль тропок ветки.
Здесь теперь прошла дорога,
новая стезя открылась,
для певцов, что поспособней,
рунопевцев, что получше,
средь растущей молодежи,
восходящего народа.

«Калевала». Словарь

Словарь составлен Эйно Киуру.

Амба́р — строение для хранения зерна, муки, припасов, вещей и т. д. Расположено отдельно от жилого дома и хозпостроек.

Бе́лочник (в стволы стучащий) — охотник, промышлявший белкой. Он стучал по стволам деревьев, вспугивал зверька, которого затем облаивала собака, чтобы охотнику было удобнее сбить ее стрелой из лука или самострела. Часто охотник имел помощника, который колотил по деревьям и подбирал выпущенные из лука стрелы.

Бёрдо — одна из основных частей ткацкого станка. Это своеобразный гребень, концы зубьев или пластин которого с обоих концов закрыты планками, набилками. Каждая нить основы ткани продевается между зубьями (пластинами) берда. Когда нить утка (поперечная нить ткани) оказывается продетой с помощью челнока в гев (промежуток, образовавшийся при разведении вверх и вниз параллельных нитей основы), ее прибивают бердом к ранее продетому утку после того, как смежные нити основы поменяются местами: верхние — вниз, нижние — вверх. Бердо подвешивается над плоскостью основы, и оно свободно перемещается взад-вперед, прибивая каждый раз уток к прежде продетой нити.

Берест я́нка — простой ковшик, сделанный из куска бересты, свернутой воронкой. Сведенные края пластины скрепляются расщепленной палочкой, внешний конец которой образует рукоять «ковшика».

Бобо́вник — болотное растение, высушенные корни которого толкли в ступе и полученную «муку» добавляли в хлеб.

Больш у́ха — старшая в доме, хозяйка, распорядительница женской части семьи.

Бóтать — бить по воде боталом (шестом с наконечником для шума), звук которого распугивает рыбу, и она устремляется прочь, попадая в расставленные сети.

Броня́ — доспехи воинов. Могли состоять из нескольких армированных железом и обложенных стальными пластинками поясов, которые располагались один над другим и закрывали наиболее уязвимые части тела. В народных текстах, использованных Э.Лённротом в «К», содержатся аллюзии на снаряжение и костюм колдуна, шамана, который, как считают специалисты, восходил к копированию облика тотемных животных, например птиц с оперением.

Бубенцы́ («кукушки») — различные погремушки и колокольцы, которые развешивались на упряжи лошади (хомуте, дуге, оглоблях) и назывались «куковальщиками», «кукушками».

Ва́га (коромысло) — специфическое коромысло, представляющее собой жердь, концы которой покоились на плечах идущих друг за другом людей (см. *Коромысло*).

Ва́ра — «(варака) — холм, горушка, бугор, взлобок» (В.Даль).

Веретено́ — орудие для ручного прядения. Представляет собой точеный стержень, острый к верхнему концу и утолщенный к нижней трети с зарубкой и круто заостренной пяткой. На веретенах для сучения (скручивания вместе двух нитей) бывает специальное маховое колесо, прясло (см. *Пряслице*).

Вечея́ — отверстие в середине верхней половины жерновов, куда засыпают зерно.

Ви́ца — «…хворостина, хлыст, длинная ветка, лоза» (В.Даль).

Во́жжи — длинные поводья, пристегнутые к уздечке, непосредственно к удилам; человек, управляющий лошадью, держит их в руках.

Вью́шка — вал у ткацкого станка, на который навита основа (продольные нити ткани).

Голи́ца — кожаная рукавица без подкладки.

Головной убор Туони — головной убор в виде колпака со спадающими на плечи и спину краями, который надевали покойнику. Такой же колпак надевали, когда работали в лесу, на пожоге и т. д. (см. *Куккели*).

Горн, горни́ло — очаг для накаливания поковок в кузнице. Огонь в горне раздували специальным приспособлением — мехами (см. *Мехи*).

Горну́шка — «…заулок с ямкой, налево от шестка русской печи, куда загребают жар» (В.Даль). В таком загнетке тщательно укрытые золой угли тлели до утра, когда их разгребали и раздували с их помощью пламя. Огниво использовали только в том случае, если угли были угасшими.

Грядка — продольные брусья, в которые вдолблены верхние концы копыльев саней. Копылья, в свою очередь, врезаны в полозья; параллельные полозья скрепляются между собой через верхнюю часть копыльев поперечными вязками, на которые и наложены грядки.

Губа́ — залив, заток, заводь.

Гужи́ — ременные петли, прикрепляемые к обеим сторонам (клешням) хомута. Служат для скрепления оглобель с хомутом при помощи дуги.

Дельни́цы — «варежки, вязаные рабочие шерстяные рукавицы, плотно облегающие руку» (В.Даль).

Де́ньги — средство обмена товарами, являющееся одновременно всеобщей мерой стоимости. Изначально у занимавшихся лесным

промыслом, охотой и торговлей финно-угорских народов в качестве денег использовались шкуры зверей, прежде всего шкурки белки. Металлические деньги найдены в раскопках и относятся к XI–XII векам. Это в основном монеты восточного, т. н. куфического происхождения. В регулярный оборот металлические деньги вошли после захвата Финляндии Швецией. В «К», как и в народной поэзии, речь идет то о металлических деньгах (17:178, 18:406, 22:57), то о «меховых» деньгах (46:165, 350, 556).

Добро хозяйки — домашний скот (кроме лошадей), который был полностью в ведении хозяйки.

Доёнка — подойник, который изготовлялся из можжевеловой клепки как наиболее гигиеничного материала, обладающего бактерицидными свойствами.

Долблёнка — (осинка, осиновка) — лодка, выдолбленная из ствола осины.

Жернова́ (ручные) — приспособление для размола зерен. Состоит из двух положенных один на другой каменных круглых плит. В центре верхнего жернова — отверстие для засыпки зерен (вечея). Жернова вращались вручную, для чего к ним с помощью обруча прикреплялась рукоятка в виде палки, верхний конец которой продевался в отверстие установленной вверху планки-лопатки (см. *Лопатка*).

За́кром — отгороженное место, ларь в амбаре, куда засыпали зерно, муку и пр.

Зало́ги — подарки, которыми обменивались при сватовстве жених и невеста. Жених мог давать в качестве залога и деньги. Однако это едва ли пережиток якобы существовавшей купли-продажи невест. Скорее всего скрепление сговора о браке внесением денежного залога (при этом невеста давала какой-либо вещевой подарок — залог жениху) в эпоху возникновения рыночных отношений стало считаться наиболее надежным способом, хотя первоначально обмен залогами

был способом магического соединения молодых. Возможно, что, передавая «деньги» — шкурки промысловых зверей родне невесты, жених тем самым доказывал свои охотничьи способности.

Зало́мы, зате́си — заметки в лесу для обозначения пути.

Заце́п (для самострела, арбалета) — приспособление для возведения тетивы самострела. Такой зацеп с двумя крюками подвязывался к ременной лямке, заводившейся за шею и плечи. Стрелок заступал ногою специальную скобу, стремя на конце приклада самострела, наклонялся и, выпрямляясь, всем корпусом натягивал тетиву, подводя ее к спусковому крюку на ложе.

И́глица — деревянная игла для вязания сетей с вырезкой для наматывания на нее нитки.

Каза́к (казаче́к) — мальчик в прислугах, батрак, наемный работник.

Ка́лху — одна из непарных лыж для правой ноги. Короче левой (лю́лю). Служила для отталкивания ногой. Подбивалась шкурой с короткой гладкой шерстью (например — камасом) для предупреждения проскальзывания назад в момент толчка.

Ке́нги — кожаная или берестяная обувь. Примитивная форма такой обуви изготовлялась из куска кожи, края которого загибались и стягивались шнурком, продетым в отверстия по периметру. Шнурок (кожаный ремешок) завязывался на щиколотке.

Керёжка — «…лопарские оленьи и собачьи саночки в виде лодочки на одном широком полозу…» (В.Даль). Карельские охотники тянули за собой кережку меньших, чем «лопарская», размеров. Образно: тяжелый, неповоротливый, неподатливый, непослушный человек. Обуза.

Ки́вер — речь идет об обычном островерхом головном уборе, истоки которого — в боевых шлемах различной формы.

Ќованец — выкованный в кузнице рыболовный крючок (в отличие от гнутого из проволоки).

Колки́ (тычки́) — тычки на кантеле для натягивания струн.

Ќонда, конд́овый — «…боровая (не болотная) сосна, мелкослойная и смолистая, растущая на сухом месте» (В.Даль).

Копалу́ха (копала) — «…глухарка, глухая тетерка, самка глухаря» (В.Даль).

Копы́л — «в санные полозья вдолблены копылы, копылья, связанные поперек саней вязками, а вдоль — нахлестками» (В.Даль). Стойки, на которых покоятся продольные грядки.

Ќорба — глухой лес, чаща, трущоба.

Коромы́сло — речь идет о коромысле, на котором носили тяжести вдвоем. Оно представляло из себя жердь длиной около 1,5 м, посередине подвешивался груз (например, ушат с водой), концы коромысла делались плоскими, чтобы меньше давили на плечи несущих, шагающих друг за другом людей.

Коса́рь — большой тяжелый нож для щепления лучины, рубки кустарника и пр.

Косьё — палка, на которую насаживают косу, рукоятка косы.

Кошёвка — ездовые сани с высоким задком, обитые кошмой, шкурами, расписанные узорами.

Кра́чка — один из видов чаек.

Кр́осно — ткацкий станок; нитяная основа, натянутая на ткацкий станок.

Крохáль — водоплавающая птица семейства утиных.

Крышка расписная — синоним к слову «сампо». Хотя это слово и имеет значение эпитета, в ряде случаев (в зависимости от контекста) содержит самостоятельное значение и может восприниматься не только как сампо с расписной (узорной) крышкой, но и как узорный (пестрый, расписной) купол, что иногда ассоциируется со звездным небом.

Крякáква — утка, птица семейства утиных.

Кудéль — «вычесанный и перевязанный пучок льна, пеньки, изготовленный для пряжи;…свиток, сверток избитой шерсти» (В.Даль).

Кýккели — своеобразный шлем в виде конусообразной накидки, спадающей на грудь, плечи и спину. Застегивался под подбородком. Такая шапка, оставляя открытой только часть лица, служила хорошей защитой от комаров.

Кулúга — поле или небольшая поляна, полученная в результате вырубки деревьев и часто — их сжигания (*см. Подсека (пожог)*). Здесь речь идет о кулигах, лесных полянах, поскольку это результат преобладавшего подсечного земледелия.

Кýпол узорный — синоним к слову «сампо». Содержит аллюзию на звездное небо (см. *Крышка расписная*).

Лáвня — заглатываемая рыбой (или зверем) сигарообразная палочка или костяшка на леске, укрепленной посередине. Лавня вводилась внутрь наживки, и когда рыба ее проглатывала, удерживаемая леской «сигара» разворачивалась поперек желудка рыбы и жертва оставалась «на крючке».

Лáмбушка, лáмба — «…глухое лесное озерко без истока» (В.Даль).

Листóк любовный — точное значение слова в некоторых контекстах трудноуловимо, этимология не ясна. Встречается также идиома «лист Лемпо» — «листок дьявола». Наиболее распространенная смысловая нагрузка — выражение нежности, любви.

Лопáрь — Как и в народных рунах, под лопарями здесь подразумеваются колдуны и чародеи, хотя в обиходном языке слово означает жителя Лапландии, саама. Лопарем называют и Йовкахайнена, чем Э. Лённрот хотел подчеркнуть отчужденность от калевальцев этого героя, покусившегося на жизнь самого Вяйнямёйнена.

Лопáтка — укрепленная над жерновами планка с отверстием, в которое вставлялся верхний конец рукоятки жерновов.

Лось голубой — мифическое животное, синоним «жеребца из соломы», «лошади из стеблей гороха», на котором Вяйнямёйнен ехал по морю. Некоторые исследователи считают это понятие кеннингом, обозначающим корабль, на котором Вяйнямёйнен ехал свататься в Похьелу. Основой образа могло быть то, что на носу корабля часто устанавливалась голова лося, какого-либо другого реального животного или дракона.

Лýда — «…подводные или надводные плоские камни, мели; гранитные плешины» (В. Даль), небольшой остров.

Льнотрепáлка — «…палочка, веселка, лопаточка, род зубчатой дощечки, коею из горсти льна выколачивают костырку» (В.Даль).

Лю́лю — левая непарная лыжа, служившая для скольжения, в отличие от правой, короткой, служившей для отталкивания ногой (см. *Калху*). Изготавливалась из поверхностного твердого слоя сосны.

Марéна — растение, из корней которого изготавливали краситель для ниток и тканей. Собиравшие корень марены девушки часто устраивали на лесных полянах игры и хороводы.

Ма́рка — денежная единица. Считается, что народные песни имеют в виду шведскую марку, означавшую первоначально единицу веса золота и серебра.

Ма́тица — балка, проходящая поперек всей избы и поддерживающая потолок. Матица как определенный рубеж в организации внутреннего пространства избы занимала чрезвычайно важное положение в семейно-бытовой обрядности, в поверьях, ритуальном и даже бытовом поведении людей. За линию матицы, например, не полагалось проходить сватам без особого приглашения, пришельцам, зашедшим по делу соседям и т. п.

Мехи́ (меха) — приспособление для нагнетания воздуха, раздувающего огонь в кузнечном горне.

Моря́нка — гнездящаяся в приполярных областях утка. Совершает перелет на юг поздней осенью, когда вода в реках и озерах уже холодная, часты ветры и непогоды. Очевидно поэтому в народной поэзии карелов и финнов служит символом обездоленной, страдающей девушки, женщины.

Мотови́ло — приспособление для сматывания пряжи в моток. Бывают ручные, т. е. удерживаемые в момент наматывания ниток в руке, и напольные «вертушки».

Мя́мми — сладкое, приготовленное из муки и солода, блюдо. Его варили как кашу, затем выпекали в берестяных противнях. Мямми готовилось также из картофеля.

Мя́ндовые, мя́нда — сосна, «болотная… редкослойная, рыхлая».

Набо́лки — планки (грядки), в которые вставлено бердо (см. Бердо).

Навой́ — задний вал ткацкого станка, на который навиваются нити основы ткани.

На́волок — низменный мыс, полуостров.

На́ст (на полях лосиных) — речь идет об охоте на лося по весеннему насту. Животное гнали до тех пор, пока оно, ободрав и изрезав об острые кромки наста проваливающиеся в снег ноги, не падало от изнеможения.

Ни́ченки, ни́ты — деталь ткацкого станка, «нитяные петли между двух поперечных жердочек для подьема нитей основы через одну, чем образуется зев (гев) для пропуска челна» (В.Даль) с нитью утка.

Нови́на — новое поле, посев. Новины, кулиги, лесные поляны — характерные признаки подсечной системы земледелия.

О́береги — «…заговоры, зарученья, слова и обряд от порчи, уроки, наговор, наметы для разрушенья или недопущенья вредных чар» (В.Даль).

О́броть — конская узда без удил и с одним поводом для привязывания лошади.

Обручи стальные — броня (панцирь) воина, состоявшая из широких, укрепленных стальными пластинами поясов, надевавшихся друг за другом как поперек торса, так и через плечи в виде своеобразных помочей.

Па́голенок — «…голенище чулка; чулки, у коих носки отрезаны или без носков сшиты» (В.Даль), наматываемые на голени «онучи».

Па́личка, па́лица — пластинка, вокруг которой наматывают нить при вязании сети для получения ячеек одного размера.

Па́тьвашка — главный чин свадебной церемонии. Сопровождал жениха часто уже при сватовстве. На свадьбе руководил всеми действиями жениха, охранял молодую чету от порчи и сглазу.

Пест — стержень с утолщенным округлым концом, используемый для толчения в ступе чего-либо.

Печу́рка — небольшое углубление, ниша в печном боку для сушки рукавичек.

Плетка узловатая (кнут, хлыстик) — поэтизированное название кнута. Узловатый (для усиления эффекта от удара) хлыст ременного кнута. Иногда рукоять кнута отделывалась жемчугом, отсюда — кнут жемчужный.

Побере́жник — «…северо-западный ветер» (В.Даль).

Повóйник — головной убор замужней женщины.

Подбóра — «…тетива, две продольные веревки, на коих невод посажен; верхний подбор с поплавками» (В.Даль).

Подвене́чный — слово «telta», от которого образован данный эпитет жениха, означает шатер, навес над брачным ложем, а также маленький передвижной шатер, который в историческое время держали над венчаемыми в церкви.

Поднóжки (ткацкого станка) — педали, подножки, с помощью которых разводились нити основы вниз и вверх. Подножки связаны с ниченками, сквозь которые проходят поднимаемые и опускаемые нити основы.

Подсе́ка (пожог) — срубленный для сожжения на месте лес. После пала удобренная золой от сгоревших деревьев земля обрабатывалась и засевалась. Сам этот участок земли.

Поезжáне — сопровождающие жениха и/или невесту свадебные чины и гости, едущие на санях или подводах поездом, караваном.

Полубóчка — мера сыпучих тел (например, зерна).

Пóшевни — «обшевни (сиб.), розвальни, широкие сани, обшитые «лубом» (В.Даль), кошмой, шкурами.

Пóяс оловянный — метонимия, обозначающая девушку. Украшенный оловянными бляшками женский пояс. Подобных метонимий (оловянная брошь, длинная коса, тонкий пояс и т. п.) в народной поэзии много, и Э.Лённрот удачно пользуется этими тропами.

Прúводы — верхняя подбора (см. *Подбора*), веревка, проходящая по верхнему краю невода.

Пря́сло, пря́слице — «…звено изгороди, колено забора, заплота в длину жерди…от кола до кола…самая жердь. Железное, свинцовое кольцо, глиняная гайка, выделанный из черепка кружок с дыркою, надеваемый на веретено для весу» (В.Даль).

Раб, наемный работник — по мнению исследователей, до XIV в. в Карелии могли существовать классические формы рабства, когда невольник был собственностью хозяина. Однако «раб» («рабыня») в народной поэзии обычно означает батрака, наемного работника, слугу, служанку.

Ра́тай — то же, что «оратай» — пахарь, хлебопашец.

Руда́ — кровь.

Самостре́л — метательное оружие, усовершенствованный лук, дуга которого крепилась к прикладу, а тетива натягивалась и фиксировалась на курке. В передней части приклад имел специальную скобу, «стремя», куда вставлялся носок сапога для удержания лука при натягивании тетивы с помощью специального крюка на лямках, проходящих за шею и плечи. Стрела укладывалась в желоб, по которому ее выбрасывала спущенная с курка тетива.

Са́мпо — сказочная чудо-мельница, создающая богатства и обеспечивающая материальное благополучие. В «К» образ сампо связан с представлением о чудо-мельнице, мелющей не только для повседневного потребления, но и про запас и даже для продажи. Эта концепция имеет широкую основу в народной традиции (рунопевцы Малинены, Перттунены и др.). В то же время Э.Лённрот воспользовался и единичной характеристикой сампо как триединой самомолки, у которой с одного боку — мукомолка, со второго — солемолка, с третьего — деньгомолка (10:414–416). Такая запись, состоящая всего лишь из четырех строк, была привезена собирателем Д.Эвропеусом из экспедиции в Российскую Карелию в 1847 г., однако он не указал, где и от кого получил этот фрагмент. Образ чудо-мельницы в народной традиции является результатом длительного развития утопической народной идеи о безбедной жизни и благоденствии. Ее истоки — в мифе о похищении культурных благ в Похьеле. В наиболее архаичных сюжетах о сампо как раз и говорится о похищении Вяйнямёйненом и его соратниками Илмариненом и Емпайненом (Йовкахайненом) некоего сампо, содержавшего начала всяческого богатства и силу роста для растений и животных. Однако хозяйка Похьелы не позволила похитителям увезти похищенное и высыпала сампо в море. Оттого море — богато. Только жалкие остатки сампо попали на сушу, но и они дали земле силу роста, положили начало растительности, злакам, животным. В более поздних вариантах сюжета о сампо говорится об изготовлении сампо для хозяйки Похьелы самим эпическим героем (чаще всего Вяйнямёйненом), получающим в награду разрешение жить с дочкой хозяйки (брак-отработка). Однако герой похищает и девушку, и сделанное им сампо, а хозяйка, нагнав беглецов на море, губит сампо. Сюжет об изготовлении сампо слился с мотивом выполнения трудных заданий при сватовстве, и в этом контексте упор стал делаться на максимальном усложнении задачи: сампо должно быть изготовлено из ничтожно малого количества и даже вовсе не существующего материала: из одного перышка лебедя, из одного осколочка веретена, одного «бока» шерстинки, из молока яловой коровы, из одного ячменного зернышка (вариант, записанный от А.Перттунена). Иногда и эти материалы должны быть уполовинены. От архаического сампо, похищаемого в Похьеле, здесь остались в виде неких маркировок

только те ценности, которые в нем, видимо, содержались. Именно поэтому принесенные волнами на берег крошки разбившегося и затонувшего сампо, отождествляемого с мельницей, позволяют Вяйнямёйнену благословить землю и придать ей способность плодоношения.

Образ сампо в «К» складывался у Э.Лённрота постепенно от первого неопубликованного варианта поэмы («Перво-Калевалы») до третьего, окончательного, изданного в 1849 г. В нем использованы все имевшиеся в распоряжении автора темы и мотивы народных вариантов. Даже противоречащие один другому мотивы и темы Э.Лённрот не стал окончательно «притирать» друг к другу.

Сва́ха — букв. «добывающая женщина». Свадебный чин в свите жениха. Сваха опекала невесту с момента принятия ее женихом в доме невесты до передачи этих функций матери жениха с приездом домой и окончанием церемоний свадьбы. Это ответственное поручение часто давалось сестре жениха или жене патьвашки (см. *Патьвашка*).

Сва́ты — букв. «жениховы люди». Свита жениха, которая называлась часто просто «женихи» (sulhaset).

Сетево́й сарай — навес для хранения и сушки сетей на специальных вешалах.

Си́верик — «…северный холодный ветер» (В.Даль).

Си́ма — сладкий напиток из воды и меда. Заквашивался различными дрожжевыми прибавками.

Ста́пель, стапеля́ — наклонный помост из окоренных, расположенных поперечно чурок или бревен, на которые затаскивали из воды лодку.

Стре́мя (лука) — в «К» и народных песнях говорится, как правило, не просто о луке с дугой, тетивой и стрелами, а о довольно сложном самостреле или арбалете, имеющем приклад со спусковым

механизмом, удерживающим лук в натянутом положении до нужного момента.

Супóнь — скрученный в круглый жгут ремень, которым стягивают клещи хомута, напрягая таким образом гужи и дугу, закрепленные на концах оглобель.

Толóка — площадка для выгуливания и «выстаивания» лошадей после длительной работы или поездки. Поскотина.

Тóня — участок водоема, предназначенный для лова рыбы закидным неводом.

Тростинка ядовитая — орудие колдуна. Использовалась глухая, между двумя узлами, трубка ядовитого тростника цикуты для воздействия на человека или животное.

Ты́сяцкий — старший чин на русской свадьбе. По функциям аналогичен карельскому патьвашке, синонимом которого слово «opas» (проводник, ведущий) и является.

Утóр — место соединения стенок с дном бочки, желобок в клепке стенки для концов клепок дна.

Ю́тасы — злой дух, черт. Практически означает то же самое, что и хийси (см. *Хийси*).

«Калевала». Перечень действующих лиц, мифологических персонажей, эпических топонимов

Составлен Эйно Киуру.

Айникки — сестра Лемминкяйнена. От нее брат узнал, что его молодая жена в отсутствие мужа бегала на гулянья девушек. В народных вариантах сюжета об Ахти и Кюлликки этот персонаж не имеет имени.

Айно — так назвал Э. Лённрот сестру Йовкахайнена. В народных рунах весьма распространен эпитет единственный (-ая), милый (-ая), любимый (-ая). Например: «дева Анни, единственная (милая) дева». В лице сестры Йовкахайнена Э.Лённрот создал яркий, художественно убедительный образ трагической героини, совершенно не свойственный народной эпической традиции, но весьма характерный для лирической поэзии. Примечательно, что, как и лирическое наполнение образа, полностью соответствующее духу народной поэзии, все события фабулы, описание поступков героини взяты автором эпической поэмы из народных сюжетов и эпических мотивов, хотя и не связанных друг с другом и подчас весьма далеких по времени своего возникновения. Имя А. после появления «К» стало очень популярным как у финнов, так и у карелов и эстонцев.

Алуэ — мифологический гидроним, озеро, в которое упала огненная искра. Попытки некоторых исследователей идентифицировать это название с каким- либо реальным водоемом оказались безуспешными, тем более что во многих локальных вариантах мифа название просто отсутствует.

Антеро Випунен — мифический первопредок, упоминаемый в эпических рунах. Его считают умершим и хранящим в своей могиле знания и мудрость предшествующих поколений. Один из наименее расшифрованных мифологических персонажей. С одной стороны этот

образ связывают с мифологическими представлениями о хранителе врат загробного мира (в его уста вкладывают слова: «проглотил я сто героев…»), с другой — со средневековой литературой видений, рассказывающей о мучениях страдающих за веру католических святых. В частности, имя Антеро соотносят со святым Андреем. При этом утверждают, что випунен вовсе не имя, а своеобразный атрибут героя, промышлявшего при жизни добычей зверей с помощью ловушек, капканов и различных приспособлений на основе использования рычага. Рычаг же, в свою очередь, связан с представлениями о том косом, «андреевском» кресте, на котором был распят святой Андрей. Однако все это остается на уровне предположений, поскольку специальные, посвященные выяснению данного вопроса исследования просто отсутствуют.

Ахти — второе, параллельное имя Лемминкяйнена. В «К» имя А. используется то самостоятельно как второе имя героя (11:1; 20:465), то вместе с более общим родовым именем (фамилией) — Ахти Сарелайнен (11:3; 20:467), Ахти Лемминкяйнен (12:1, 9). В «К» это имя применяется только к Лемминкяйнену, хотя в народных рунах оно может принадлежать как различным персонажам, так и взаимозаменяться. Герой может быть Ахти, Кавко, Кавкомойнен, Лемминкяйнен в одном и том же сюжете.

Ахто — главный властитель вод. Следует иметь в виду, что наряду с А. в «К» фигурируют и другие властители: Велламо, мать Вяйнямёйнена — мать воды, чудище Ику-Турсо.

Велламо — хозяйка вод, супруга Ахто. Имя происходит от глагола бурлить, сильно размешивать воду (жидкость).

Випунен — см. *Антеро Випунен*.

Виро — эпический топоним, соотносимый с Эстонией. Название, бытующее в современном финском языке, произошло от названия расположенной на северо-востоке ареала проживания эстов провинции Vorumaa и населявшего ее эстонского племени virolaiset. Такая модель образования названия народа и населяемой им страны по одному из

племен, позднее образовавших народ, нацию и государство, характерна в финском языке и для других народов (Saksa: Германия, Ven j: Россия — от названия «венеды», «словены»).

Вироканнас — 1. мясник, заколовший большого быка (20:54); 2. священник, окрестивший чудесно рожденного сына Марьятты.

Вуойо — параллельное название Лаппи.

Вуокса — гидроним, соотносимый с рекой, вытекающей из оз. Саймаа и впадающей в Ладожское озеро. До создания электростанции на реке был крупнейший на северо-западе Европы порог Иматра.

Вьена — эпический гидроним, соотносимый с Белым морем (финск. Viena).

Вяйно — нормальная форма мужского собственного имени. Форма Вяйнямёйнен — более торжественная и официальная. В XIX веке имена с суффиксом — nen стали восприниматься как родовые, т. е. как фамилии.

Вяйнола — название места проживания Вяйнямёйнена от имени Вяйно. Параллельное название отсутствующей в народной традиции, но придуманной Э.Лённротом страны Калевалы.

Вяйнямёйнен — главный герой «К». Наиболее популярный персонаж карельских и финских эпических рун. В ингерманландских рунах В. встречается довольно редко (известен по ижорским рунам о состязании в пении, о рождении огня). Основными эпическими сюжетами, рассказывающими о деяниях В., можно считать «Руну о Сампо» («Покушение на Вяйнямёйнена» + «Дрейф героя по морю» + «Формирование рельефа морского дна» + «Создание мира из яйца птицы» + «Выковывание сампо и его похищение»), «Сватовство в Похьеле», «Состязание в пении». В «К» Э. Лённрот вполне обоснованно сделал В. главным героем и своеобразным родоначальником народа Калевалы, наделив его всеми теми признаками эпического героя, которые принадлежат ему как

персонажу эпических рун, и присовокупив к этому почерпнутые из мифологических преданий черты демиурга, создавшего не только культурные (рыболовная сеть, лодка, кантеле, внедрение земледелия и возделывание зерновых) ценности, но и участвовавшего в строительстве самого мироздания («я был третьим человеком, кто опоры неба ставил, радугу воздвиг на небе, небо звездами усеял», запись от А. Перттунена). Представления о В. как создателе мироздания сохранились не только в рунах, но и в названиях различных природных явлений («След лодки Вяйнямёйнена» — так называется блестящая полоса на воде, когда среди ряби появляются протянувшиеся в направлении ветра полосы, не тронутые рябью, на небе сияет «меч Вяйнямёйнена» — созвездие Ориона). Различные популярные сентенции называются поучениями В.

Считается, что имя В. произошло от слова — широкий, спокойно текущий участок реки в устье. Т. о. происхождение самого В. оказывается связанным с водной стихией, в которой он чувствует себя наиболее уверенно, он даже может жить в воде. Например, согласно приладожской версии сюжета о похищении сампо в Похьеле, В., спасаясь от погони, уходит «внутрь моря» и находится там три дня, пока опасность не минует. С одной стороны, Э.Лённрот сконцентрировал в образе главного эпического героя В. все приписываемые ему положительные качества и шаманскую мощь, с другой, как бы передал частично его функцию Творца мироздания выдуманной самим автором матери воздуха и воды, которая и родила В. Ведь в народной традиции сотворение мира во время дрейфа по первоокеану связано с В., а не с его матерью.

Ику-Турсо — морское чудище, посланное хозяйкой Похьелы погубить похитивших у нее сампо калевальцев и уничтожить их корабль. Вяйнямёйнен ловит это чудовище и обезвреживает своими заклинаниями и магической силой, запрещая впредь появляться на пути мореходов и мешать проходу кораблей по морю. В народных рунах это чудовище пытается остановить корабль Иисуса и тот расправляется с этим поганым созданием.

Илма — название дома Илмаринена.

Илмаринен — один из главных героев «К», верный и неизменный помощник и соратник Вяйнямёйнена. Искусный кузнец, выковавший небосвод. Выковывает сампо для хозяйки Похьелы Ловхи, чтобы выкупить таким образом Вяйнямёйнена из плена. Впоследствии это трудное задание зачитывается ему при сватовстве к дочери хозяйки Похьелы, и девушка выбирает именно его (а не подоспевшего первым Вяйнямёйнена) в качестве претендента для выполнения положенных при сватовстве трудных заданий. В конечном счете именно И. получает себе в жены деву Похьелы. Э.Лённрот придал И. характер доверчивого, добродушного, хотя и немного простоватого человека.

Имя И. происходит от общефинноугорского корня ilm-, ilma («воздух»), входящего в состав названия божеств у различных народов этой языковой семьи. В народно-поэтической традиции карелов и финнов эпический герой И. сохранил ряд присущих небесному божеству черт, в ряде случаев эти черты соотносимы с мифической фигурой «птицы воздуха» (ilman-lintu). В то же время И. как мифологический персонаж сопряжен с представлениями о первом кузнеце, не только выковавшем небо и удерживающем его мировой столп, в котором иные исследователи просматривают образ загадочного сампо, но и о культурном герое, создавшем различные рабочие инструменты (косы, серпы и т. п.), женские украшения и даже кантеле (в «К» эта честь отдана Вяйнямёйнену).

Илматар — женское божество воздушной стихии. Обернувшись матерью воды, И. родила Вяйнямёйнена. Будучи беременной и дрейфуя по морю, она участвует в создании мира из яйца, формирует рельеф морского дна. Эта метаморфоза создана самим Э.Лённротом, им же приписана И. функция сотворения мира, принадлежащая в народной эпической традиции Вяйнямёйнену. Чудесное рождение Вяйнямёйнена от матери воды и девы воздуха (здесь явная аналогия с чудесным рождением сына Марьятты, пришедшего на смену языческому персонажу Вяйнямёйнену) также придумано автором поэмы, ибо народные руны сообщают только то, что ночью родился Вяйнямёйнен, днем пошел уже в кузницу, сделал кузницу из рубашки, наковальню — из своего колена, стал ковать, пристукивать… но ничего не говорят о том, кто был матерью или отцом героя.

В сюжете, рассказывающем о добывании огня, И. дает героям Вяйнямёйнену и Илмаринену совет, как найти исчезнувшую огненную искру. Однако примечательно здесь то, что, называя себя первой из женщин в мире, некоей всеобщей прародительницей, она уже как бы и не является матерью Вяйнямёйнена.

Илпотар — параллельное имя хозяйки Похьелы в сюжете, рассказывающем о сватовстве Лемминкяйнена. Во всех других случаях в «К» она называется Ловхи. Разночтение, видимо, обьясняется тем, что цикл песен о Лемминкяйнене был подготовлен Э.Лённротом еще до появления идеи написания на материале народных рун эпической поэмы со сквозным сюжетом, обьединяющей своеобразные циклы рун с различными, мало связанными между собой героями. В подготовленной в 1833 г., но неопубликованной поэме «Лемминкяйнен» герой сватается в Пяйвеле («Солнечный край»), а не в Похьеле и хозяйку дома там зовут И. Это имя сохранилось и после включения похождений Лемминкяйнена в общий сюжет «К». Надо иметь в виду и то обстоятельство, что народные руны, как правило, не маркируют подобные персонажи собственными именами: там мы встречаем только «хозяйку» или «хозяина» Похьелы, Пяйвелы, Луотолы без собственного имени.

Иматра — обозначает реальный водопад на реке Вуокса. Широко известна пословица: «Нет такого, кто смог бы превозмочь Вуоксу, перейти пешком Иматру». Созданная по законам т. н. калевальской поэтики, пословица используется как в народных лирических песнях, так и в эпических рунах.

Ингрия — эпический топоним, соотносимый с Ингерманландией, Ингрией, Ижорской землей русских летописей.

Йовкахайнен, Йовко — один из главных героев «К». Вопреки народной эпической традиции, где Й. нередко оказывается соратником Вяйнямёйнена в походе за сампо (в «К» на его место поставлен Лемминкяйнен) и где Йовкахайнен (Лаппалайнен, Йовкамойнен) выступает как соперничающий с Вяйнямёйненом шаман из противостоящего рода, Э.Лённрот сделал из него заносчивого юнца, не

способного к истинно героическим поступкам. Некоторые исследователи считают, что неправомерно было делать из Й. кровного врага, покушающегося на жизнь Вяйнямёйнена, ибо в народных рунах эта функция принадлежит некоему Лаппалайнену, «узкоглазому Кевретуйнену». Э.Лённроту же необходимо было увязать различные эпические сюжеты в единый, поступательно развивающийся сюжет, где все последующие события вытекают из предшествующих. Поэтому потерпевший поражение в состязании в знаниях Й. пытается убить Вяйнямёйнена, повинного в гибели его сестры, и поэтому он уже не может участвовать в дальнейших событиях, не может быть соратником Вяйнямёйнена.

Слово jouko однокоренное со словом joutsen — лебедь.

Каве — значение слова в «К» и в народной эпической традиции не вполне устоялось. Его можно воспринимать и как имя собственное («Старец Каве, хозяин Похьелы»), и как мифологическое существо, обычно женской ипостаси.

В «К» слово «Каве» означает женщину (девушку), мать, родительницу, родоначальницу (1:112; 26:77), может применяться как некий величальный эпитет (1:111; 45:117), означающий принадлежность непосредственно к самой Природе. Во всех случаях понятие связано с неким мифологическим началом.

Кавко, Кавкомойнен, Кавкомьели — параллельное имя Лемминкяйнена (наряду с Ахти Сарелайненом).

В народной эпической традиции эти имена принадлежат, как правило, различным персонажам, часто весьма далеким друг от друга как по приписываемым им деяниям (функциям), так и по времени возникновения тех или иных связанных с этими персонажами сюжетов, мотивов, тем. Хотя Э.Лённрот и попытался снять противоречивые черты и унифицировать отдельные моменты этих мало похожих друг на друга персонажей, некоторые несоответствия в образе этого весельчака, забияки и любимца женщин все же остались.

Кавппи — мастер, изготовивший лыжи по заказу Лемминкяйнена для погони за лосем Хийси.

Калева — мифический первопредок. В соответствии с этим постулатом автора «К» главные герои эпоса являются потомками Калевалы.

В народно-поэтической традиции К. известен, главным образом, по мифологическим преданиям финнов, карелов, эстонцев как некогда живший персонаж, оставивший о себе память в виде различных необыкновенных или расположенных в необычных местах природных обьектов. (Большие камни, скалы, углубления, обрывы, ямы; на небе сияет «звезда Калевы» (Сириус), «Меч Калевы» (созвездие Ориона), в конце лета на вечернем небе вспыхивают беззвучные молнии — зарницы — «Огни Калевы».

Основное значение слова kaleva — великан, громадный человек (существо), могучий, матерый, закоренелый. В сложных словах, означающих единое понятие, kaleva выступает в функции определения: Kalevan kivi — Камень Калевы, Kalevan puu — древо Калевы. Э.Лённрот создал в «К» новое понятие «Kalevan kansa» — народ Калевы, равнозначное понятию «народ страны Калевалы» (20:572, 610, 45:16, 186, 362; 47:360), Kalevan suku — «род Калевы» (42:441; 45:184), «мужи Калевы» — Kalevan miehet, «женщины Калевы» — Kalevan naiset (44:265), которые не имеют соответствий в народной эпической традиции.

Калевала — Kalevala — мифическая страна, в которой происходят основные события поэмы и которую представляют главные герои: Вяйнямёйнен, Илмаринен, Лемминкяйнен, Куллерво и др.

В народной поэтической традиции или в обиходе подобный топоним практически не был известен до опубликования «К». Что же касается такого понятия, как «страна», или даже более ограниченного территориального объединения, то оно эпическим рунам в общем-то неизвестно, если не относить сюда понятия типа «родимый край (сторонка)», «чужие края (сторона)», «чужбина». В то же время топоним Калевала (в отличие, скажем, от имени Айно) не придуман Лённротом, а взят из народных текстов, где он изредка встречается в заклинаниях, балладе и нескольких свадебных песнях. Калевалой в них называется дом (усадьба) или деревня.

Как и сами эпические герои, территория, на которой они проживают и действуют, просто подразумевается своей, хотя это

обстоятельство никак не отмечается. В карельских и финских эпических рунах нет понятий, аналогичных понятиям «русский (или «святорусский») богатырь», «русская земля» и т. п. Правда, в рунах, наряду с широко известным топонимом «Похьела», представляющим собой более широкое понятие, чем название дома (двора, усадьбы), встречаются некие этно-топонимы: Саво, Хяме, Похьянма, Лаппи, Карьяла. Но они осмысливаются всего лишь как чужие локусы, местности, населенные чужими, не своими людьми. Справедливо считается, что это связано с различиями в типах эпоса — русский эпос отражает идеологию стадии становления и укрепления национального государства, карело-финский — догосударственную эпоху развития общества. Э.Лённрот же в своей поэме преодолевает подобный архаизм и на основе зачатков идеологии всего лишь местного или родового самосознания формирует идеологию государственного патриотизма, выполняя витавший в воздухе социальный заказ такого рода: ведь именно в XIX веке Финляндия стала создавать свое национальное государство, и государственная идеология была крайне необходима для общества.

Решение назвать поэму «Калевалой» (до этого, еще в январе 1835 г., когда рукопись первого варианта была уже готова, Э.Лённрот предполагал дать своему творению имя «Похьела» — «Север», «Северная страна», «Вяйнола», «О Вяйнямёйнене») было поистине удачным, ведь оно образовано от корня, к которому прибавлен суффикс — la, означающий место, определенный локус. Таким образом, это повествование и о стране Калевале, и о народе Калевы, и о героях (сынах) Калевы — мифического первопредка народа, возглавляемого Вяйнямёйненом.

Калевы сын — в «К» сынами Калевы называют Вяйнямёйнена (6:214; 42:424) и Лемминкяйнена (13:103; 14:438; 15:274). В сюжете «Ловля огненной рыбы» сыновьями Калевы названы люди, участвовавшие в изготовлении рыболовной сети из льняных ниток и ловле проглотившей огненную искру рыбины (47:352).

В народно-поэтической традиции сыны Калевы, как и упоминание самого Калевы, в основном — персонажи мифологических преданий, необыкновенные силачи, способные творить чудеса. Например, силой голоса валить деревья на такое расстояние, на какое донесется их крик.

Э.Лённрот в «К» приписывает эти свойства Куллерво, которому принадлежат и другие необыкновенные способности непомерного силача, портящего своей чрезмерной силой любое дело, за которое он берется.

Калерво — отец Куллерво, брат Унтамо. В результате ссоры между братьями (согласно ижорскому сюжету) весь род Калерво был перебит воинами брата Унтамо. В живых остался только грудной младенец, которого сделали рабом-пастухом, когда он вырос. Впоследствии раб отомстил обидчикам отца, убив свою хозяйку, жену Илмаринена.

Калма (33:260; 36:174) — 1. могила (36:227); 2. персонифицированная смерть, хозяин могилы (27:4). Параллельная Манале, Туонеле сложная мифологема.

Карьяла — эпический топоним, соотносимый с ареалом проживания карельских племен, не вполне соответствующий нынешним представлениям о Карелии.

Кемь (река) — эпический гидроним, соотносимый, прежде всего, с рекой Кеми, впадающей в Ботнический залив.

Куллерво (31–36 песни) — трагический герой «К», жизнь и деятельность которого непосредственно не связана с деяниями главных эпических героев, ведущих борьбу в основном против враждебной, противостоящей Калевале Похьелы и стремящихся привести к счастью всех людей. К. тоже борется против зла, но внутри своего сообщества. Вся история его жизни — это иллюстрация пагубности вражды и раздоров между членами общества.

Кюлликки — супруга Лемминкяйнена, на которой он женился, похитив ее в Сари (на Острове). К такой форме заключения брака герою пришлось прибегнуть потому, что разборчивая невеста не соглашалась выйти замуж даже за Солнце, Месяц, Звезду, тем паче — за легкомысленного Лемминкяйнена. Эти, как и другие мотивы (составные части сюжета), характеризующие К., взяты Лённротом из

различных рун. Основная же коллизия — заключение брачного союза, клятва супругов в верности и нарушение условий клятвы — составляют ядро средневековой песни «Ахти и Кюлликки», пронизанной, как считают исследователи, воинственным духом викингов, жаждой приключений и боевой добычи.

К. первая нарушила данную мужу клятву, побывав в отсутствие супруга на девичьих гуляньях, в деревне (в народных вариантах руны говорится о том, что ей захотелось общества другого мужчины). Это освободило Ахти от обещания не ходить на войну.

Лаппалайнен (10:24; 12:146; 15:588) — житель Лаппи, Лапландии. Согласно народным поверьям, отразившимся и в эпических песнях, лопари были известными колдунами и чародеями. В «К» lappalainen может употребляться как эпитет колдуна (10:24; 12:146) и как синоним слова «колдун».

Лаппалайнен может употребляться в «К» и как параллельное имя Йовкахайнена (3:22; 6:24).

Лаппи — эпический топоним, соотносимый с понятием «Лапландия» — населенная саамами (лопарями) земля. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что у карелов слово часто означает территорию (и ее жителей), расположенную по соседству, особенно — севернее данной местности, а также их язык (точнее — диалект, говор). Сам Э.Лённрот в комментариях к «К» обьяснял слово lappi исходя из значения «расположенный рядом, сбоку».

В «К» топоним Лаппи употребляется и как параллельное название Похьелы (12:36, 82; 17:220).

Лемминкяйнен — один из главных героев «К», балагур, весельчак, любимец женщин, задиристый драчун и вояка, стремящийся стяжать себе боевую славу.

Образ Л. воссоздан в «К» сложением нескольких персонажей — поэтому у него несколько имен (Ахти, Кауко, Каукомойнен, Каукомьели) — и характеризуется противоречивыми чертами, ибо исходные персонажи часто относятся к разностадиальным сюжетам и эпическим мотивам. Он и могучий маг и чародей (подобно Вяйнямёйнену), и герой мифа об амазонках, сохраняющий рудименты

божества плодородия, и воинственный викинг, для которого битвы и завоеванные в них боевые трофеи дороже всего на свете.

Лемпи — отец Лемминкяйнена, упомянут в «К» по имени только дважды. Мать Лемминкяйнена, однако, сообщает сыну, что в лихую годину его отец укрывался на Острове, где советует притаиться от идущей за ним погони и сыну.

Лемпо — дьявол, черт. Чаще всего используется как синоним слова «хийси».

Ловиатар — дочь смерти (Туони), родившая девять разных болезней и хворей. Обозленная тем, что калевальцы похитили у нее сампо, а Вяйнямёйнен сумел даже жалкие остатки разбившегося во время схватки на море сампо заставить приносить людям достаток, Ловхи послала эти болезни на Калевалу. Имя Л. того же корня, что и Ловхи.

Ловхи — имя, данное Э.Лённротом хозяйке Похьелы. Народные руны, рассказывающие о Похьеле как экзогамном роде (где герой эпоса похищает или сватает себе жену) или как о противостоящем эпическим героям локусе и народе, не знают имени властительницы (хозяйки). Она всегда лишь «хозяйка Похьелы». Имя Ловхи (Ловитар, Ловетар, Лоуки и т. п.) встречается только в заклинаниях, где оно принадлежит приносящему зло и болезни существу в женской ипостаси. Слово lovi, с которым иногда связывают происхождение рассматриваемого имени, означает щель, расщелину в земле, где обретается подземный дух. Отсюда название состояния шамана, который в трансе «падает в расщелину», — lankeaa loveen. Другие авторы выводят этимологию слова Ловхи из имени скандинавского божества Локи или имени его матери Лауфей.

Луотола — название залива (и местности), где Йовкахайнен подстрелил под едущим в Похьелу Вяйнямёйненом лошадь. В народных рунах Луотола является параллельным названием Похьелы, Пяйвелы (Paivela).

Люликки — параллельное имя лыжного мастера Кавппи.

Мана, Манала — место пребывания умерших, мир мертвых (то же, что и «туонела»), а также хозяин этого (подземного, потустороннего) локуса, распорядитель. Для большего удобства чтения в переводах Мана (Манала) пишется с большой буквы, хотя, строго говоря, это просто синоним «смерти» или понятия «потусторонний мир».

Ма́рьятта — имя девушки, родившей в непорочном зачатии от съеденной брусниченки чудесного мальчика, которого Вяйнямёйнен присудил, как безотцового ребенка, к смерти, а некий старик нарек королем Карелии, из-за чего Вяйнямёйнен ушел из мира сего. Имя М., по-видимому, восходит к имени пресвятой девы Марии. В то же время оно созвучно слову marja — ягода.

Метсола — лес, владения хозяина леса Тапио. От слова metsa — лес.

Мимеркки — параллельное имя главной хозяйки леса (наряду с Мьеликки). Это, как и все имена лесных духов, хозяев, дарителей добычи, взято из охотничьей заклинательной поэзии.

Мьеликки — хозяйка леса, жена Тапио. Хранительница «ключей» от кладовых и лесных амбаров. Имя образовано от слов: мысль, желание, настроение. На русский язык переводится как «желанная», «милая».

Осмо, Осмойнен — мифологический первопредок, идентифицируемый с Калевой, Калевайненом. С его именем связан первый посев ячменя. Первое, «установочное» изготовление пива связано с Осмотар (что воспринимается как женская ипостась культурного героя). Первое пиво, к тому же, варят из ячменя, выросшего на «поляне Осмо», а воду для него брали из «колодца Осмо».

В народных рунах Осмо является тем загадочным существом, которое сватается в лесу к девушке, ломающей там веники. После этой

встречи девушка, придя домой, вешается в амбаре, куда ее мать послала нарядиться к приезду жениха (этот мотив, как указывалось, использован в сюжете о трагической гибели Айно).

В свадебных песнях «осмо» является синонимом слова «жених».

Осмотар — изготовительница пива, передавшая это искусство людям. Одни исследователи соотносят это имя с мифическим первопредком — культурным героем Осмо, другие выводят этимологию этого слова из скандинавского os, jasa — бродить, дрожжи.

Остров — Saari — эпический топоним. Исследователи тщетно пытались идентифицировать его с каким-либо реальным островом. Дело, видимо, в том, что потусторонний мир в мифологическом сознании часто размещен на острове, за водной преградой. Потусторонний мир — это одно из основных понятий архаического эпоса: в потустороннем мире сватают (или похищают) жен, там добывают различные культурные блага и в то же время этот мир противостоит миру эпических героев, является его антагонистом. Хотя в «К» Похьела представляется реальной страной, она сохранила даже здесь некоторые признаки потустороннего мира на острове. В народных же рунах эти признаки более отчетливы. Поэтому поиски реального острова, где, например, Ахти похищает себе жену, представляются беспредметными.

Отсо — табуированное название медведя. Самого крупного зверя северных лесов — медведя — и уважали, и боялись, его нельзя было называть медведем, а надо было прибегать к различным эвфемистическим названиям, ласкательным именам («Медоволапый», «Колобочек»). В «К» Отсо — это просто параллельное название медведя.

Палвойнен — божество, параллельное название верховного божества Укко. Слово «Палвойнен» создано самим Э.Лённротом от слова palvoa — поклоняться, почитать.

Пану — дух огня, сам огонь.

Пеллервойнен — эпитет божества растительности Сампсы. Образовано от слова pelto — поле.

Пиментола — параллельное название Похьелы. Происходит от слов «темень», «темнота».

Похьела, Похья — в «К» Похьела (синонимы: Пиментола, Сариола, Сарая) — это противостоящая Калевале (Вяйноле) страна. Она во многом враждебна калевальцам: там зарождаются болезни, оттуда идут холод и всякие невзгоды. Слово pohjola, pohjoinen обозначает север, дно, задняя часть.

Несмотря на враждебное отношение калевальцев и эпических героев народных рун к Похьеле, именно там они сватают (или похищают) себе жен, похищают культурные блага (сампо), поэтому между Калевалой и Похьелой существуют родственные отношения. Это диалектическое единство враждебности и близости в народных рунах сохраняется постоянно. В «К» же борьба обостряется, пока герои не одерживают окончательной победы над «силами мрака», с которыми родственные отношения оказались как бы закономерно порванными после гибели первой жены Илмаринена и превращения второй, неверной, жены в чайку (обе супруги, как мы помним, были дочерями Ловхи).

Россия — эпический топоним, соотносимый со славянскими соседями прибалто-финнов. Слово происходит, как считают исследователи, из названия славянского племени венеды, обобщенного впоследствии в название всего народа (ср.: Viru — Viro; saksa — Saksa).

Руотус — злой хозяин, который не разрешил забеременевшей от съеденной бруснички девице Марьятте разрешиться в бане. Имя известно по народным легендарным рунам и образовано от библейского Herodes (Ирод).

Рутья — эпический гидроним, соотносимый с реальным водопадом Рутья на севере Норвегии, но в основном обозначающий

огненный водопад на мифической реке Туонеле.

Саво — эпический топоним, соотносимый с провинцией и финским племенем Саво.

Сарелайнен Ахти — параллельное имя (определение по месту проживания) Лемминкяйнена.

Сакса — эпический топоним, соотносимый с германскими землями (феодальными государствами). Благодаря оживленной торговле с «ганзейскими» купцами, начиная с XII века, «германские» товары стали широко известными у прибалто-финнов. В «К» упоминаются «привезенные из Саксы» сапоги, соль, мыло и даже доски для скамеек. Бывшее на слуху у эпических певцов слово «Сакса» по законам аллитерации провоцировало появление словосочетаний типа «Саксонские заливы» (Saksan salmet).

Сампса — первосеятель, посеявший деревья. Божество леса и хозяин-дух деревьев (см. *Пеллервойнен Сампса*).

Сара — параллельное название Похьелы.

Сара речка — название мифической речки (ручья), где была баня Руотуса. В «К» этот гидроним явно имеет отношение к враждебной Похьеле.

Сариола — параллельное название Похьелы.

Сувантолы муж, Сувантолайнен — атрибутивное имя Вяйнямёйнена, производное от suvantö — спокойное течение в реке, речной разлив под водопадом или между двумя водопадами (см. также *Увантолайнен*).

Сюетар — персонаж, породивший всяческие зловредные существа. В карельских сказках — некий эквивалент злой Бабы-Яги.

Таникка — эпический топоним, соотносимый с бытовавшим в народе названием крепости Ревель, называвшейся Датской крепостью (Tanikan linna). Подобные топонимы народные руны используют для подчеркивания географической отдаленности места, о котором идет речь.

Тапио — главный хозяин, властитель леса, от него зависит охотничья удача. Для задабривания Тапио охотник приносил ему жертву — зерна ржи, муку, немного пива или вина.

Тапиола — лес, владения Тапио.

Теллерво — младшая властительница леса, стерегущая стада Тапио. В «К» так зовут жену Тапио (41:58).

Туони, Туонела — то же, что и Мана, Манала.

Тури — божество, параллельное имя Палвойнена. Происходит от скандинавского Тор — божество грома.

Турсас — морское чудовище. В народных рунах это, видимо, то же, что и Ику-Турсо. В своих комментариях к «К» Э.Лённрот соотносит tursas со скандинавским «божеством войны» Thurs, Tyr.

Увантолайнен, Уванто муж (жених) — как и Сувантолайнен, параллельное имя Вяйнямёйнена.

Укко — верховный бог. Подобно Зевсу, Тору, Перкунасу является властителем погоды и туч. Гроза по-фински называется ukonilma — «погода Укко».

Унтамо (5:17,21) — 1. персонаж демонологии, дух сна. Слово происходит от основы un — (uni — «сон»). Иногда так называют вкушающего вечный сон Випунена, мудреца, ведуна и хранителя знаний предшествующих поколений. 2. (31:16; 34:97; 35:367) — имя брата Калерво (отца Куллерво).

Унтамола, Унтола — образованное Э.Лённротом название местности, которую можно идентифицировать с Похьелой или даже с неким потусторонним миром сна, откуда был родом «пастух в шапчонке мокрой», столкнувший Лемминкяйнена в речку Туони.

Название местности, где обитал род Унтамо (31:99; 36:236).

Хийси — мифическая местность или существо. Представления о Хийси (хийси) восходят к дохристианским верованиям, связанным со священными рощами. Хийси как мифологический персонаж означал злого хозяина леса (хотя мог восприниматься и как Тапио), великана, существо, укрывающееся в далеких укромных местах. От него исходили болезни, несчастья. Различные стихии имели «своих» хийси (водные, горные, лесные, хийси земли, огня, кладбища, дома, бани, риги).

В «К» «хийси» применяется для обозначения местности, когда имеется в виду дурное место (9:386; 13:30), иногда — Манала (17:245).

Чаще всего в «К» «хийси» все же персонифицируется.

Хийси лось (лось от Хийси) — лось, которого Лемминкяйнен должен был добыть, выполняя трудные задания при сватовстве к деве Похьелы. В народной традиции восходящий к международным аналогам сюжет о погоне за лосем (у обских угров это «небесный лось») не связан с выполнением трудных заданий при сватовстве, а его персонажем не является Лемминкяйнен. Завязка этого сюжета обычно состоит в том, что делающий лыжи Кавппи (Люликки и пр.) хвастается, что на его лыжах можно догнать хоть какого быстрого зверя. Услышав это, хийси (черти) быстренько делают лося, чтобы лыжный мастер доказал, на что годятся его изделия и что будет, когда он нагонит «лося», который на самом деле лишь гнилушка.

Хозяева (хозяйки) стихий: владычица поляны (2:306), хозяйка почвы — eukko maan em nt (2:302) и т. п.

Низшая мифология карелов и финнов знает множество всевозможных духов- хозяев, управляющих существованием, действиями, свойствами, особенностями самых различных явлений и обьектов природы, стихий, растений, животных. Это могут быть

«хозяйки» (akka, emanta), «матери» (emo), «хозяева» (isanta), «старцы» (ukko).

Большую группу духов-хозяек образуют, так сказать, «духи-девы», представляющие собой родовое понятие того или иного (практически — любого) предмета, явления. Такое персонифицированное существо («душа») может быть присуще любому явлению. Эта персонифицированная сущность предмета являет собой некое женское существо, название которого легко образуется из названия предмета (основы слова) и суффикса — tar. Такие слова, в зависимости от контекста, имеют широкое семантическое поле и могут означать дочь или супругу какого-либо лица, персонажа (Kuninkatar — «царица» или «царевна», ruhtinatar — «княгиня» или «княжна»), персонифицированный объект природы («Дева Месяца», «Дочь Солнца»), опоэтизированное явление природы.

Э.Лённрот широко использовал эту возможность поэтизации природы и населил ее различными «молочными девами» (pilvien piimätyttäret), «девами небесного центра» (taivaan navattaret) (32:224, 224), «девами сини» и т. п.

---

notes

Примечания

1

Калевала — Kalevala — мифическая страна, в которой происходят основные события поэмы и которую представляют главные герои: Вяйнямёйнен, Илмаринен, Лемминкяйнен, Куллерво и др.

В народной поэтической традиции или в обиходе подобный топоним практически не был известен до опубликования «К». Что же касается такого понятия, как «страна», или даже более ограниченного территориального объединения, то оно эпическим рунам в общем-то неизвестно, если не относить сюда понятия типа «родимый край (сторонка)», «чужие края (сторона)», «чужбина». В то же время топоним Калевала (в отличие, скажем, от имени Айно) не придуман Лённротом, а взят из народных текстов, где он изредка встречается в заклинаниях, балладе и нескольких свадебных песнях. Калевалой в них называется дом (усадьба) или деревня.

Как и сами эпические герои, территория, на которой они проживают и действуют, просто подразумевается своей, хотя это обстоятельство никак не отмечается. В карельских и финских эпических рунах нет понятий, аналогичных понятиям «русский (или «святорусский») богатырь», «русская земля» и т. п. Правда, в рунах, наряду с широко известным топонимом «Похьела», представляющим собой более широкое понятие, чем название дома (двора, усадьбы), встречаются некие этно-топонимы: Саво, Хяме, Похьянма, Лаппи, Карьяла. Но они осмысливаются всего лишь как чужие локусы, местности, населенные чужими, не своими людьми. Справедливо считается, что это связано с различиями в типах эпоса — русский эпос отражает идеологию стадии становления и укрепления национального государства, карело-финский — догосударственную эпоху развития общества. Э.Лённрот же в своей поэме преодолевает подобный архаизм и на основе зачатков идеологии всего лишь местного или родового самосознания формирует идеологию государственного патриотизма, выполняя витавший в воздухе социальный заказ такого рода: ведь именно в XIX веке Финляндия стала создавать свое национальное государство, и государственная идеология была крайне необходима для общества.

Решение назвать поэму «Калевалой» (до этого, еще в январе 1835 г., когда рукопись первого варианта была уже готова, Э.Лённрот предполагал дать своему творению имя «Похьела» — «Север», «Северная страна», «Вяйнола», «О Вяйнямёйнене») было поистине удачным, ведь оно образовано от корня, к которому прибавлен суффикс — la, означающий место, определенный локус. Таким образом, это повествование и о стране Калевале, и о народе Калевы, и о героях (сынах) Калевы — мифического первопредка народа, возглавляемого Вяйнямёйненом.

2

Topelius, Zachris. Suomen Kansan Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisempiä. I–V. Turku ja Helsinki 1822–1831.

3

См. книгу: Kaukonen, Väinö. LönnrotjaKalevala. Pieksämäki, 1979, s. 16.

4

См. книгу: Kaukonen, Väinö. LönnrotjaKalevala. Pieksämäki, 1979, s. 14.

5

Kansallinenelämäkerrasto. Osa3. Porvoo, 1930. s. 142.

6

Alku-Kalevala. Helsinki, 1928, s.2.

7

Kaukonen, Väinö. Lönnrot ja Kalevala, s. 60.

8

Рода нашего напевы. Избранные песни рунопевческого рода Перттуненов. Петрозаводск, «Карелия», 1985, с. 104.

9

Kaukonen, Väinö. EliasLönnrotinKalevalanToinenpainos. Helsinki. 1956. s.451.

10

Мишин А. Забытый перевод «Калевалы». — Литературная Россия, 1974, 7 июня 1974.

11

Похьела, Похья — в «К» Похьела (синонимы: Пиментола, Сариола, Сарая) — это противостоящая Калевале (Вяйноле) страна. Она во многом враждебна калевальцам: там зарождаются болезни, оттуда идут холод и всякие невзгоды. Слово pohjola, pohjoinen обозначает север, дно, задняя часть.

Несмотря на враждебное отношение калевальцев и эпических героев народных рун к Похьеле, именно там они сватают (или похищают) себе жен, похищают культурные блага (сампо), поэтому между Калевалой и Похьелой существуют родственные отношения. Это диалектическое единство враждебности и близости в народных рунах сохраняется постоянно. В «К» же борьба обостряется, пока герои не одерживают окончательной победы над «силами мрака», с которыми родственные отношения оказались как бы закономерно порванными после гибели первой жены Илмаринена и превращения второй, неверной, жены в чайку (обе супруги, как мы помним, были дочерями Ловхи).

12

Вяйнямёйнен — главный герой «К». Наиболее популярный персонаж карельских и финских эпических рун. В ингерманландских рунах В. встречается довольно редко (известен по ижорским рунам о состязании в пении, о рождении огня). Основными эпическими сюжетами, рассказывающими о деяниях В., можно считать «Руну о Сампо» («Покушение на Вяйнямёйнена» + «Дрейф героя по морю» + «Формирование рельефа морского дна» + «Создание мира из яйца птицы» + «Выковывание сампо и его похищение»), «Сватовство в Похьеле», «Состязание в пении». В «К» Э. Лённрот вполне обоснованно сделал В. главным героем и своеобразным родоначальником народа Калевалы, наделив его всеми теми признаками эпического героя, которые принадлежат ему как персонажу эпических рун, и присовокупив к этому почерпнутые из мифологических преданий черты демиурга, создавшего не только культурные (рыболовная сеть, лодка, кантеле, внедрение земледелия и возделывание зерновых) ценности, но и участвовавшего в строительстве самого мироздания («я был третьим человеком, кто опоры неба ставил, радугу воздвиг на небе, небо звездами усеял», запись от А. Перттунена). Представления о В. как создателе мироздания сохранились не только в рунах, но и в названиях различных природных явлений («След лодки Вяйнямёйнена» — так называется блестящая полоса на воде, когда среди ряби появляются протянувшиеся в направлении ветра полосы, не тронутые рябью, на небе сияет «меч Вяйнямёйнена» — созвездие Ориона). Различные популярные сентенции называются поучениями В.

Считается, что имя В. произошло от слова — широкий, спокойно текущий участок реки в устье. Т. о. происхождение самого В. оказывается связанным с водной стихией, в которой он чувствует себя наиболее уверенно, он даже может жить в воде. Например, согласно приладожской версии сюжета о похищении сампо в Похьеле, В., спасаясь от погони, уходит «внутрь моря» и находится там три дня, пока опасность не минует. С одной стороны, Э.Лённрот сконцентрировал в образе главного эпического героя В. все

приписываемые ему положительные качества и шаманскую мощь, с другой, как бы передал частично его функцию Творца мироздания выдуманной самим автором матери воздуха и воды, которая и родила В. Ведь в народной традиции сотворение мира во время дрейфа по первоокеану связано с В., а не с его матерью.

13

Горн, горнило — очаг для накаливания поковок в кузнице. Огонь в горне раздували специальным приспособлением — мехами (см. Мехи).

14

Илмаринен — один из главных героев «К», верный и неизменный помощник и соратник Вяйнямёйнена. Искусный кузнец, выковавший небосвод. Выковывает сампо для хозяйки Похьелы Ловхи, чтобы выкупить таким образом Вяйнямёйнена из плена. Впоследствии это трудное задание зачитывается ему при сватовстве к дочери хозяйки Похьелы, и девушка выбирает именно его (а не подоспевшего первым Вяйнямёйнена) в качестве претендента для выполнения положенных при сватовстве трудных заданий. В конечном счете именно И. получает себе в жены деву Похьелы. Э.Лённрот придал И. характер доверчивого, добродушного, хотя и немного простоватого человека.

Имя И. происходит от общефинноугорского корня ilm-, ilma («воздух»), входящего в состав названия божеств у различных народов этой языковой семьи. В народно-поэтической традиции карелов и финнов эпический герой И. сохранил ряд присущих небесному божеству черт, в ряде случаев эти черты соотносимы с мифической фигурой «птицы воздуха» (ilman-lintu). В то же время И. как мифологический персонаж сопряжен с представлениями о первом кузнеце, не только выковавшем небо и удерживающем его мировой столп, в котором иные исследователи просматривают образ загадочного сампо, но и о культурном герое, создавшем различные рабочие инструменты (косы, серпы и т. п.), женские украшения и даже кантеле (в «К» эта честь отдана Вяйнямёйнену).

15

Кавко, Кавкомойнен, Кавкомьели — параллельное имя Лемминкяйнена (наряду с Ахти Сарелайненом). В народной эпической традиции эти имена принадлежат, как правило, различным персонажам, часто весьма далеким друг от друга как по приписываемым им деяниям (функциям), так и по времени возникновения тех или иных связанных с этими персонажами сюжетов, мотивов, тем. Хотя Э.Лённрот и попытался снять противоречивые черты и унифицировать отдельные моменты этих мало похожих друг на друга персонажей, некоторые несоответствия в образе этого весельчака, забияки и любимца женщин все же остались.

16

Самострел — метательное оружие, усовершенствованный лук, дуга которого крепилась к прикладу, а тетива натягивалась и фиксировалась на курке. В передней части приклад имел специальную скобу, «стремя», куда вставлялся носок сапога для удержания лука при натягивании тетивы с помощью специального крюка на лямках, проходящих за шею и плечи. Стрела укладывалась в желоб, по которому ее выбрасывала спущенная с курка тетива.

17

Йовкахайнен, Йовко (1:34; 6:22 и др.) — один из главных героев «К». Вопреки народной эпической традиции, где Й. нередко оказывается соратником Вяйнямёйнена в походе за сампо (в «К» на его место поставлен Лемминкяйнен) и где Йовкахайнен (Лаппалайнен, Йовкамойнен) выступает как соперничающий с Вяйнямёйненом шаман из противостоящего рода, Э.Лённрот сделал из него заносчивого юнца, не способного к истинно героическим поступкам. Некоторые исследователи считают, что неправомерно было делать из Й. кровного врага, покушающегося на жизнь Вяйнямёйнена, ибо в народных рунах эта функция принадлежит некоему Лаппалайнену, «узкоглазому Кевретуйнену». Э.Лённроту же необходимо было увязать различные эпические сюжеты в единый, поступательно развивающийся сюжет, где все последующие события вытекают из предшествующих. Поэтому потерпевший поражение в состязании в знаниях Й. пытается убить Вяйнямёйнена, повинного в гибели его сестры, и поэтому он уже не может участвовать в дальнейших событиях, не может быть соратником Вяйнямёйнена.

Слово jouko однокоренное со словом joutsen — лебедь.

18

Сампо — сказочная чудо-мельница, создающая богатства и обеспечивающая материальное благополучие. В «К» образ сампо связан с представлением о чудо-мельнице, мелющей не только для повседневного потребления, но и про запас и даже для продажи. Эта концепция имеет широкую основу в народной традиции (рунопевцы Малинены, Перттунены и др.). В то же время Э.Лённрот воспользовался и единичной характеристикой сампо как триединой самомолки, у которой с одного боку — мукомолка, со второго — солемолка, с третьего — деньгомолка (10:414–416). Такая запись, состоящая всего лишь из четырех строк, была привезена собирателем Д.Эвропеусом из экспедиции в Российскую Карелию в 1847 г., однако он не указал, где и от кого получил этот фрагмент. Образ чудо-мельницы в народной традиции является результатом длительного развития утопической народной идеи о безбедной жизни и благоденствии. Ее истоки — в мифе о похищении культурных благ в Похьеле. В наиболее архаичных сюжетах о сампо как раз и говорится о похищении Вяйнямёйненом и его соратниками Илмариненом и Емпайненом (Йовкахайненом) некоего сампо, содержавшего начала всяческого богатства и силу роста для растений и животных. Однако хозяйка Похьелы не позволила похитителям увезти похищенное и высыпала сампо в море. Оттого море — богато. Только жалкие остатки сампо попали на сушу, но и они дали земле силу роста, положили начало растительности, злакам, животным. В более поздних вариантах сюжета о сампо говорится об изготовлении сампо для хозяйки Похьелы самим эпическим героем (чаще всего Вяйнямёйненом), получающим в награду разрешение жить с дочкой хозяйки (брак-отработка). Однако герой похищает и девушку, и сделанное им сампо, а хозяйка, нагнав беглецов на море, губит сампо. Сюжет об изготовлении сампо слился с мотивом выполнения трудных заданий при сватовстве, и в этом контексте упор стал делаться на максимальном усложнении задачи: сампо должно быть изготовлено из ничтожно малого количества и даже вовсе не существующего материала: из одного перышка лебедя, из одного осколочка веретена,

одного «бока» шерстинки, из молока яловой коровы, из одного ячменного зернышка (вариант, записанный от А.Перттунена). Иногда и эти материалы должны быть уполовинены. От архаического сампо, похищаемого в Похьеле, здесь остались в виде неких маркировок только те ценности, которые в нем, видимо, содержались. Именно поэтому принесенные волнами на берег крошки разбившегося и затонувшего сампо, отождествляемого с мельницей, позволяют Вяйнямёйнену благословить землю и придать ей способность плодоношения.

Образ сампо в «К» складывался у Э.Лённрота постепенно от первого неопубликованного варианта поэмы («Перво-Калевалы») до третьего, окончательного, изданного в 1849 г. В нем использованы все имевшиеся в распоряжении автора темы и мотивы народных вариантов. Даже противоречащие один другому мотивы и темы Э.Лённрот не стал окончательно «притирать» друг к другу.

19

Ловхи — имя, данное Э.Лённротом хозяйке Похьелы. Народные руны, рассказывающие о Похьеле как экзогамном роде (где герой эпоса похищает или сватает себе жену) или как о противостоящем эпическим героям локусе и народе, не знают имени властительницы (хозяйки). Она всегда лишь «хозяйка Похьелы». Имя Ловхи (Ловитар, Ловетар, Лоуки и т. п.) встречается только в заклинаниях, где оно принадлежит приносящему зло и болезни существу в женской ипостаси. Слово lovi, с которым иногда связывают происхождение рассматриваемого имени, означает щель, расщелину в земле, где обретается подземный дух. Отсюда название состояния шамана, который в трансе «падает в расщелину», — lankeaa loveen. Другие авторы выводят этимологию слова Ловхи из имени скандинавского божества Локи или имени его матери Лауфей.

20

Випунен — см. *Антеро Випунен*.

21

Лемминкяйнен — один из главных героев «К», балагур, весельчак, любимец женщин, задиристый драчун и вояка, стремящийся стяжать себе боевую славу.

Образ Л. воссоздан в «К» сложением нескольких персонажей — поэтому у него несколько имен (Ахти, Кауко, Каукомойнен, Каукомьели) — и характеризуется противоречивыми чертами, ибо исходные персонажи часто относятся к разностадиальным сюжетам и эпическим мотивам. Он и могучий маг и чародей (подобно Вяйнямёйнену), и герой мифа об амазонках, сохраняющий рудименты божества плодородия, и воинственный викинг, для которого битвы и завоеванные в них боевые трофеи дороже всего на свете.

22

Амбар — строение для хранения зерна, муки, припасов, вещей и т. д. Расположено отдельно от жилого дома и хозпостроек.

23

Матица — балка, проходящая поперек всей избы и поддерживающая потолок. Матица как определенный рубеж в организации внутреннего пространства избы занимала чрезвычайно важное положение в семейно-бытовой обрядности, в поверьях, ритуальном и даже бытовом поведении людей. За линию матицы, например, не полагалось проходить сватам без особого приглашения, пришельцам, зашедшим по делу соседям и т. п.

24

Вяйно — нормальная форма мужского собственного имени. Форма Вяйнямёйнен — более торжественная и официальная. В XIX веке имена с суффиксом — nen стали восприниматься как родовые, т. е. как фамилии.

25

Илматар — женское божество воздушной стихии. Обернувшись матерью воды, И. родила Вяйнямёйнена. Будучи беременной и дрейфуя по морю, она участвует в создании мира из яйца, формирует рельеф морского дна. Эта метаморфоза создана самим Э.Лённротом, им же приписана И. функция сотворения мира, принадлежащая в народной эпической традиции Вяйнямёйнену. Чудесное рождение Вяйнямёйнена от матери воды и девы воздуха (здесь явная аналогия с чудесным рождением сына Марьятты, пришедшего на смену языческому персонажу Вяйнямёйнену) также придумано автором поэмы, ибо народные руны сообщают только то, что ночью родился Вяйнямёйнен, днем пошел уже в кузницу, сделал кузницу из рубашки, наковальню — из своего колена, стал ковать, пристукивать… но ничего не говорят о том, кто был матерью или отцом героя.

В сюжете, рассказывающем о добывании огня, И. дает героям Вяйнямёйнену и Илмаринену совет, как найти исчезнувшую огненную искру. Однако примечательно здесь то, что, называя себя первой из женщин в мире, некоей всеобщей прародительницей, она уже как бы и не является матерью Вяйнямёйнена.

26

Укко — верховный бог. Подобно Зевсу, Тору, Перкунасу является властителем погоды и туч. Гроза по-фински называется ukonilma — «погода Укко».

27

Пеллервойнен — эпитет божества растительности Сампсы. Образовано от слова pelto — поле.

28

Турсас — морское чудовище. В народных рунах это, видимо, то же, что и Ику-Турсо. В своих комментариях к «К» Э.Лённрот соотносит tursas со скандинавским «божеством войны» Thurs, Tyr.

29

Каве — значение слова в «К» и в народной эпической традиции не вполне устоялось. Его можно воспринимать и как имя собственное («Старец Каве, хозяин Похьелы»), и как мифологическое существо, обычно женской ипостаси.

В «К» слово «Каве» означает женщину (девушку), мать, родительницу, родоначальницу (1:112; 26:77), может применяться как некий величальный эпитет (1:111; 45:117), означающий принадлежность непосредственно к самой Природе. Во всех случаях понятие связано с неким мифологическим началом.

30

Калева — мифический первопредок. В соответствии с этим постулатом автора «К» главные герои эпоса являются потомками Калевалы.

В народно-поэтической традиции К. известен, главным образом, по мифологическим преданиям финнов, карелов, эстонцев как некогда живший персонаж, оставивший о себе память в виде различных необыкновенных или расположенных в необычных местах природных обьектов. (Большие камни, скалы, углубления, обрывы, ямы; на небе сияет «звезда Калевы» (Сириус), «Меч Калевы» (созвездие Ориона), в конце лета на вечернем небе вспыхивают беззвучные молнии — зарницы — «Огни Калевы».

Основное значение слова kaleva — великан, громадный человек (существо), могучий, матерый, закоренелый. В сложных словах, означающих единое понятие, kaleva выступает в функции определения: Kalevan kivi — Камень Калевы, Kalevan puu — древо Калевы. Э.Лённрот создал в «К» новое понятие «Kalevan kansa» — народ Калевы, равнозначное понятию «народ страны Калевалы» (20:572, 610, 45:16, 186, 362; 47:360), Kalevan suku — «род Калевы» (42:441; 45:184), «мужи Калевы» — Kalevan miehet, «женщины Калевы» — Kalevan naiset (44:265), которые не имеют соответствий в народной эпической традиции.

31

Осмо, Осмойнен — мифологический первопредок, идентифицируемый с Калевой, Калевайненом. С его именем связан первый посев ячменя. Первое, «установочное» изготовление пива связано с Осмотар (что воспринимается как женская ипостась культурного героя). Первое пиво, к тому же, варят из ячменя, выросшего на «поляне Осмо», а воду для него брали из «колодца Осмо».

В народных рунах Осмо является тем загадочным существом, которое сватается в лесу к девушке, ломающей там веники. После этой встречи девушка, придя домой, вешается в амбаре, куда ее мать послала нарядиться к приезду жениха (этот мотив, как указывалось, использован в сюжете о трагической гибели Айно).

В свадебных песнях «осмо» является синонимом слова «жених».

32

Подсека (пожог) — срубленный для сожжения на месте лес. После пала удобренная золой от сгоревших деревьев земля обрабатывалась и засевалась. Сам этот участок земли.

33

Сиверик — «…северный холодный ветер» (В.Даль).

Хозяева (хозяйки) стихий: владычица поляны (2:301), хозяйка почвы — eukko maan em nt (2:302) и т. п.

Низшая мифология карелов и финнов знает множество всевозможных духов- хозяев, управляющих существованием, действиями, свойствами, особенностями самых различных явлений и объектов природы, стихий, растений, животных. Это могут быть «хозяйки» (akka, emanta), «матери» (emo), «хозяева» (isanta), «старцы» (ukko).

Большую группу духов-хозяек образуют, так сказать, «духи-девы», представляющие собой родовое понятие того или иного (практически — любого) предмета, явления. Такое персонифицированное существо («душа») может быть присуще любому явлению. Эта персонифицированная сущность предмета являет собой некое женское существо, название которого легко образуется из названия предмета (основы слова) и суффикса — tar. Такие слова, в зависимости от контекста, имеют широкое семантическое поле и могут означать дочь или супругу какого-либо лица, персонажа (Kuninkatar — «царица» или «царевна», ruhtinatar — «княгиня» или «княжна»), персонифицированный обьект природы («Дева Месяца», «Дочь Солнца»), опоэтизированное явление природы.

Э.Лённрот широко использовал эту возможность поэтизации природы и населил ее различными «молочными девами» (pilvien piim tytt ret), «девами небесного центра» (taivaan navattaret) (32:224, 224), «девами сини» и т. п.

35

Лаппалайнен — житель Лаппи, Лапландии. Согласно народным поверьям, отразившимся и в эпических песнях, лопари были известными колдунами и чародеями. В «К» lappalainen может употребляться как эпитет колдуна (10:24; 12:146) и как синоним слова «колдун».

Лаппалайнен может употребляться в «К» и как параллельное имя Йовкахайнена (3:22; 6:24).

36

Кошёвка — ездовые сани с высоким задком, обитые кошмой, шкурами, расписанные узорами.

37

Карьяла — эпический топоним, соотносимый с ареалом проживания карельских племен, не вполне соответствующий нынешним представлениям о Карелии.

38

Вуокса — гидроним, соотносимый с рекой, вытекающей из оз. Саймаа и впадающей в Ладожское озеро. До создания электростанции на реке был крупнейший на северо-западе Европы порог Иматра (см. *Иматра*).

39

Иматра — обозначает реальный водопад на реке Вуокса. Широко известна пословица: «Нет такого, кто смог бы превозмочь Вуоксу, перейти пешком Иматру». Созданная по законам т. н. калевальской поэтики, пословица используется как в народных лирических песнях, так и в эпических рунах.

40

Айно — так назвал Э. Лённрот сестру Йовкахайнена. В народных рунах весьма распространен эпитет единственный (-ая), милый (-ая), любимый (-ая). Например: «дева Анни, единственная (милая) дева».

В лице сестры Йовкахайнена Э.Лённрот создал яркий, художественно убедительный образ трагической героини, совершенно не свойственный народной эпической традиции, но весьма характерный для лирической поэзии. Примечательно, что, как и лирическое наполнение образа, полностью соответствующее духу народной поэзии, все события фабулы, описание поступков героини взяты автором эпической поэмы из народных сюжетов и эпических мотивов, хотя и не связанных друг с другом и подчас весьма далеких по времени своего возникновения.

Имя А. после появления «К» стало очень популярным как у финнов, так и у карелов и эстонцев.

41

Крышка расписная — синоним к слову «сампо». Хотя это слово и имеет значение эпитета, в ряде случаев (в зависимости от контекста) содержит самостоятельное значение и может восприниматься не только как сампо с расписной (узорной) крышкой, но и как узорный (пестрый, расписной) купол, что иногда ассоциируется со звездным небом.

42

Кенги — кожаная или берестяная обувь. Примитивная форма такой обуви изготовлялась из куска кожи, края которого загибались и стягивались шнурком, продетым в отверстия по периметру. Шнурок (кожаный ремешок) завязывался на щиколотке.

43

Мана, Манала — место пребывания умерших, мир мертвых (то же, что и «туонела»), а также хозяин этого (подземного, потустороннего) локуса, распорядитель. Для большего удобства чтения в переводах Мана (Манала) пишется с большой буквы, хотя, строго говоря, это просто синоним «смерти» или понятия «потусторонний мир».

44

Туони, Туонела — то же, что и Мана, Манала.

45

Губа — залив, заток, заводь.

46

Лемпо — дьявол, черт. Чаще всего используется как синоним слова «хийси».

47

Унтамо (5:17,21) — 1. персонаж демонологии, дух сна. Слово происходит от основы un — (uni — «сон»). Иногда так называют вкушающего вечный сон Випунена, мудреца, ведуна и хранителя знаний предшествующих поколений. 2. (31:16; 34:97; 35:367) — имя брата Калерво (отца Куллерво).

48

Ахто — главный властитель вод. Следует иметь в виду, что наряду с А. в «К» фигурируют и другие властители: Велламо, мать Вяйнямёйнена — мать воды, чудище Ику-Турсо.

49

Велламо — хозяйка вод, супруга Ахто. Имя происходит от глагола бурлить, сильно размешивать воду (жидкость).

50

Кованец — выкованный в кузнице рыболовный крючок (в отличие от гнутого из проволоки).

51

Лавня — заглатываемая рыбой (или зверем) сигарообразная палочка или костяшка на леске, укрепленной посередине. Лавня вводилась внутрь наживки, и когда рыба ее проглатывала, удерживаемая леской «сигара» разворачивалась поперек желудка рыбы и жертва оставалась «на крючке».

52

Вяйнола — название места проживания Вяйнямёйнена от имени Вяйно. Параллельное название отсутствующей в народной традиции, но придуманной Э.Лённротом страны Калевалы.

53

Хийси (6:37; 8:152) — мифическая местность или существо. Представления о Хийси (хийси) восходят к дохристианским верованиям, связанным со священными рощами. Хийси как мифологический персонаж означал злого хозяина леса (хотя мог восприниматься и как Тапио), великана, существо, укрывающееся в далеких укромных местах. От него исходили болезни, несчастья. Различные стихии имели «своих» хийси (водные, горные, лесные, хийси земли, огня, кладбища, дома, бани, риги).

В «К» «хийси» применяется для обозначения местности, когда имеется в виду дурное место (9:386; 13:30), иногда — Манала (17:245).

Чаще всего в «К» «хийси» все же персонифицируется.

54

Сувантолы муж, Сувантолайнен — атрибутивное имя Вяйнямёйнена, производное от suvant — спокойное течение в реке, речной разлив под водопадом или между двумя водопадами (см. также Увантолайнен).

55

Пиментола — параллельное название Похьелы. Происходит от слов «темень», «темнота».

56

Зацеп (для самострела, арбалета) — приспособление для возведения тетивы самострела. Такой зацеп с двумя крюками подвязывался к ременной лямке, заводившейся за шею и плечи. Стрелок заступал ногою специальную скобу, стремя на конце приклада самострела, наклонялся и, выпрямляясь, всем корпусом натягивал тетиву, подводя ее к спусковому крюку на ложе.

57

Стремя (лука) — в «К» и народных песнях говорится, как правило, не просто о луке с дугой, тетивой и стрелами, а о довольно сложном самостреле или арбалете, имеющем приклад со спусковым механизмом, удерживающим лук в натянутом положении до нужного момента.

58

Лось голубой — мифическое животное, синоним «жеребца из соломы», «лошади из стеблей гороха», на котором Вяйнямёйнен ехал по морю. Некоторые исследователи считают это понятие кеннингом, обозначающим корабль, на котором Вяйнямёйнен ехал свататься в Похьелу. Основой образа могло быть то, что на носу корабля часто устанавливалась голова лося, какого-либо другого реального животного или дракона.

59

Калевы сын — в «К» сынами Калевы называют Вяйнямёйнена (6:214; 42:424) и Лемминкяйнена (13:103; 14:438; 15:274). В сюжете «Ловля огненной рыбы» сыновьями Калевы названы люди, участвовавшие в изготовлении рыболовной сети из льняных ниток и ловле проглотившей огненную искру рыбины (47:352).

В народно-поэтической традиции сыны Калевы, как и упоминание самого Калевы, в основном — персонажи мифологических преданий, необыкновенные силачи, способные творить чудеса. Например, силой голоса валить деревья на такое расстояние, на какое донесется их крик. Э.Лённрот в «К» приписывает эти свойства Куллерво, которому принадлежат и другие необыкновенные способности непомерного силача, портящего своей чрезмерной силой любое дело, за которое он берется.

60

Лаппи — эпический топоним, соотносимый с понятием «Лапландия» — населенная саамами (лопарями) земля. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что у карелов слово часто означает территорию (и ее жителей), расположенную по соседству, особенно — севернее данной местности, а также их язык (точнее — диалект, говор). Сам Э.Лённрот в комментариях к «К» объяснял слово lappi исходя из значения «расположенный рядом, сбоку».

В «К» топоним Лаппи употребляется и как параллельное название Похьелы (12:36, 82; 17:220).

61

Луотола — название залива (и местности), где Йовкахайнен подстрелил под едущим в Похьелу Вяйнямёйненом лошадь. В народных рунах Луотола является параллельным названием Похьелы, Пяйвелы (Paivela).

62

Сариола — параллельное название Похьелы.

63

Увантолайнен, Уванто муж (жених) — как и Сувантолайнен, параллельное имя Вяйнямёйнена.

64

Бёрдо — одна из основных частей ткацкого станка. Это своеобразный гребень, концы зубьев или пластин которого с обоих концов закрыты планками, набилками. Каждая нить основы ткани продевается между зубьями (пластинами) бёрда. Когда нить утка (поперечная нить ткани) оказывается продетой с помощью челнока в гев (промежуток, образовавшийся при разведении вверх и вниз параллельных нитей основы), ее прибивают бёрдом к ранее продетому утку после того, как смежные нити основы поменяются местами: верхние — вниз, нижние — вверх. Бердо подвешивается над плоскостью основы, и оно свободно перемещается взад-вперед, прибивая каждый раз уток к прежде продетой нити.

65

Марена — растение, из корней которого изготавливали краситель для ниток и тканей. Собиравшие корень марены девушки часто устраивали на лесных полянах игры и хороводы.

66

Раб, наемный работник — по мнению исследователей, до XIV в. в Карелии могли существовать классические формы рабства, когда невольник был собственностью хозяина. Однако «раб» («рабыня») в народной поэзии обычно означает батрака, наемного работника, слугу, служанку.

67

Пошевни — «обшевни (сиб.), розвальни, широкие сани, обшитые «лубом» (В.Даль), кошмой, шкурами.

68

Веретено орудие для ручного прядения. Представляет собой точеный стержень, острый к верхнему концу и утолщенный к нижней трети с зарубкой и круто заостренной пяткой. На веретенах для сучения (скручивания вместе двух нитей) бывает специальное маховое колесо, прясло (см. Пряслице).

69

Льнотрепалка — «…палочка, веселка, лопаточка, род зубчатой дощечки, коею из горсти льна выколачивают костырку» (В.Даль).

70

Плетка узловатая (кнут, хлыстик) — поэтизированное название кнута. Узловатый (для усиления эффекта от удара) хлыст ременного кнута. Иногда рукоять кнута отделывалась жемчугом, отсюда — *кнут жемчужный*.

71

Листок любовный — точное значение слова в некоторых контекстах трудноуловимо, этимология не ясна. Встречается также идиома «лист Лемпо» — «листок дьявола». Наиболее распространенная смысловая нагрузка — выражение нежности, любви.

72

Сима — сладкий напиток из воды и меда. Заквашивался различными дрожжевыми прибавками.

73

Купол узорный — синоним к слову «сампо». Содержит аллюзию на звездное небо (см. Крышка расписная).

74

Закром — отгороженное место, ларь в амбаре, куда засыпали зерно, муку и пр.

75

Ахти — второе, параллельное имя Лемминкяйнена. В «К» имя А. используется то самостоятельно как второе имя героя (11:1; 20:465), то вместе с более общим родовым именем (фамилией) — Ахти Сарелайнен (11:3; 20:467), Ахти Лемминкяйнен (12:1, 9). В «К» это имя применяется только к Лемминкяйнену, хотя в народных рунах оно может принадлежать как различным персонажам, так и взаимозаменяться. Герой может быть Ахти, Кавко, Кавкомойнен, Лемминкяйнен в одном и том же сюжете.

76

Сарелайнен Ахти — параллельное имя (определение по месту проживания) Лемминкяйнена.

77

Лемпи — отец Лемминкяйнена, упомянут в «К» по имени только дважды. Мать Лемминкяйнена, однако, сообщает сыну, что в лихую годину его отец укрывался на Острове, где советует притаиться от идущей за ним погони и сыну.

78

Кюлликки — супруга Лемминкяйнена, на которой он женился, похитив ее в Сари (на Острове). К такой форме заключения брака герою пришлось прибегнуть потому, что разборчивая невеста не соглашалась выйти замуж даже за Солнце, Месяц, Звезду, тем паче — за легкомысленного Лемминкяйнена. Эти, как и другие мотивы (составные части сюжета), характеризующие К., взяты Лённротом из различных рун. Основная же коллизия — заключение брачного союза, клятва супругов в верности и нарушение условий клятвы — составляют ядро средневековой песни «Ахти и Кюлликки», пронизанной, как считают исследователи, воинственным духом викингов, жаждой приключений и боевой добычи.

К. первая нарушила данную мужу клятву, побывав в отсутствие супруга на девичьих гуляньях, в деревне (в народных вариантах руны говорится о том, что ей захотелось общества другого мужчины). Это освободило Ахти от обещания не ходить на войну.

79

Остров — Saari — эпический топоним. Исследователи тщетно пытались идентифицировать его с каким-либо реальным островом. Дело, видимо, в том, что потусторонний мир в мифологическом сознании часто размещен на острове, за водной преградой. Потусторонний мир — это одно из основных понятий архаического эпоса: в потустороннем мире сватают (или похищают) жен, там добывают различные культурные блага и в то же время этот мир противостоит миру эпических героев, является его антагонистом. Хотя в «К» Похьела представляется реальной страной, она сохранила даже здесь некоторые признаки потустороннего мира на острове. В народных же рунах эти признаки более отчетливы. Поэтому поиски реального острова, где, например, Ахти похищает себе жену, представляются беспредметными.

80

Вирo — эпический топоним, соотносимый с Эстонией. Название, бытующее в современном финском языке, произошло от названия расположенной на северо-востоке ареала проживания эстов провинции Vorumaa и населявшего ее эстонского племени virolaiset. Такая модель образования названия народа и населяемой им страны по одному из племен, позднее образовавших народ, нацию и государство, характерна в финском языке и для других народов (Saksa: Германия, Venäjä: Россия — от названия «венеды», «словены»).

81

Ингрия — эпический топоним, соотносимый с Ингерманландией, Ингрией, Ижорской землей русских летописей.

82

Пояс оловянный — метонимия, обозначающая девушку. Украшенный оловянными бляшками женский пояс. Подобных метонимий (оловянная брошь, длинная коса, тонкий пояс и т. п.) в народной поэзии много, и Э.Лённрот удачно пользуется этими тропами.

83

Пест — стержень с утолщенным округлым концом, используемый для толчения в ступе чего-либо.

84

Конда, кондовый — «…боровая (не болотная) сосна, мелкослойная и смолистая, растущая на сухом месте» (В.Даль).

85

Айникки — сестра Лемминкяйнена. От нее брат узнал, что его молодая жена в отсутствие мужа бегала на гулянья девушек. В народных вариантах сюжета об Ахти и Кюлликки этот персонаж не имеет имени.

86

Марка — денежная единица. Считается, что народные песни имеют в виду шведскую марку, означавшую первоначально единицу веса золота и серебра.

87

Броня — доспехи воинов. Могли состоять из нескольких армированных железом и обложенных стальными пластинками поясов, которые располагались один над другим и закрывали наиболее уязвимые части тела. В народных текстах, использованных Э.Лённротом в «К», содержатся аллюзии на снаряжение и костюм колдуна, шамана, который, как считают специалисты, восходил к копированию облика тотемных животных, например птиц с оперением.

88

Обручи стальные — броня (панцирь) воина, состоявшая из широких, укрепленных стальными пластинами поясов, надевавшихся друг за другом как поперек торса, так и через плечи в виде своеобразных помочей.

89

Обереги — «…заговоры, зарученья, слова и обряд от порчи, уроки, наговор, наметы для разрушенья или недопущенья вредных чар» (В.Даль).

90

Вица — «…хворостина, хлыст, длинная ветка, лоза» (В.Даль).

91

Плетка узловатая (кнут, хлыстик) — поэтизированное название кнута. Узловатый (для усиления эффекта от удара) хлыст ременного кнута. Иногда рукоять кнута отделывалась жемчугом, отсюда — кнут жемчужный.

92

Супонь — скрученный в круглый жгут ремень, которым стягивают клещи хомута, напрягая таким образом гужи и дугу, закрепленные на концах оглобель.

93

Вожжи — длинные поводья, пристегнутые к уздечке, непосредственно к удилам; человек, управляющий лошадью, держит их в руках.

94

Гужи — ременные петли, прикрепляемые к обеим сторонам (клешням) хомута. Служат для скрепления оглобель с хомутом при помощи дуги.

95

Рутья — эпический гидроним, соотносимый с реальным водопадом Рутья на севере Норвегии, но в основном обозначающий огненный водопад на мифической реке Туонеле.

96

Хийси лось (лось от Хийси) — лось, которого Лемминкяйнен должен был добыть, выполняя трудные задания при сватовстве к деве Похьелы. В народной традиции восходящий к международным аналогам сюжет о погоне за лосем (у обских угров это «небесный лось») не связан с выполнением трудных заданий при сватовстве, а его персонажем не является Лемминкяйнен. Завязка этого сюжета обычно состоит в том, что делающий лыжи Кавппи (Люликки и пр.) хвастается, что на его лыжах можно догнать хоть какого быстрого зверя. Услышав это, хийси (черти) быстренько делают лося, чтобы лыжный мастер доказал, на что годятся его изделия и что будет, когда он нагонит «лося», который на самом деле лишь гнилушка.

97

Люлю — левая непарная лыжа, служившая для скольжения, в отличие от правой, короткой, служившей для отталкивания ногой (см. Калху). Изготавливалась из поверхностного твердого слоя сосны.

98

Калху — одна из непарных лыж для правой ноги. Короче левой (люлю). Служила для отталкивания ногой. Подбивалась шкурой с короткой гладкой шерстью (например — камасом) для предупреждения проскальзывания назад в момент толчка.

99

Кавппи — мастер, изготовивший лыжи по заказу Лемминкяйнена для погони за лосем Хийси.

100

Люликки — параллельное имя лыжного мастера Кавппи.

101

Вуойо — параллельное название Лаппи.

102

Ютасы — злой дух, черт. Практически означает то же самое, что и хийси (см. Хийси).

103

Прясло, пряслице — «…звено изгороди, колено забора, заплота в длину жерди…от кола до кола…самая жердь. Железное, свинцовое кольцо, глиняная гайка, выделанный из черепка кружок с дыркою, надеваемый на веретено для весу» (В.Даль).

104

Корба — глухой лес, чаща, трущоба.

105

Тапиола — лес, владения Тапио.

106

Тапио — главный хозяин, властитель леса, от него зависит охотничья удача. Для задабривания Тапио охотник приносил ему жертву — зерна ржи, муку, немного пива или вина.

107

Заломы, затеси — заметки в лесу для обозначения пути.

108

Вара — «(варака) — холм, горушка, бугор, взлобок» (В.Даль).

109

Мьеликки — хозяйка леса, жена Тапио. Хранительница «ключей» от кладовых и лесных амбаров. Имя образовано от слов: мысль, желание, настроение. На русский язык переводится как «желанная», «милая».

110

Теллерво — младшая властительница леса, стерегущая стада Тапио. В «К» так зовут жену Тапио (41:58).

111

Мимеркки — параллельное имя главной хозяйки леса (наряду с Мьеликки). Это, как и все имена лесных духов, хозяев, дарителей добычи, взято из охотничьей заклинательной поэзии.

112

Оброть — конская узда без удил и с одним поводом для привязывания лошади.

113

Тростинка ядовитая (14:409,4224) — орудие колдуна. Использовалась глухая, между двумя узлами, трубка ядовитого тростника цикуты для воздействия на человека или животное.

114

Руда — кровь.

115

Метсола — лес, владения хозяина леса Тапио. От слова metsa — лес.

116

Тури — божество, параллельное имя Палвойнена. Происходит от скандинавского Тор — божество грома.

117

Палвойнен — божество, параллельное название верховного божества Укко. Слово «Палвойнен» создано самим Э.Лённротом от слова palvoa — поклоняться, почитать.

118

Унтамола, *Унтола* — образованное Э.Лённротом название местности, которую можно идентифицировать с Похьелой или даже с неким потусторонним миром сна, откуда был родом «пастух в шапчонке мокрой», столкнувший Лемминкяйнена в речку Туони.

Название местности, где обитал род Унтамо (31:99; 36:236).

119

Лопарь — Как и в народных рунах, под лопарями здесь подразумеваются колдуны и чародеи, хотя в обиходном языке слово означает жителя Лапландии, саама. Лопарем называют и Йовкахайнена, чем Э. Лённрот хотел подчеркнуть отчужденность от калевальцев этого героя, покусившегося на жизнь самого Вяйнямёйнена.

120

Сампса — первосеятель, посеявший деревья. Божество леса и хозяин-дух деревьев (см. Пеллервойнен Сампса).

121

Головной убор Туони — головной убор в виде колпака со спадающими на плечи и спину краями, который надевали покойнику. Такой же колпак надевали, когда работали в лесу, на пожоге и т. д. (см. Куккели).

122

Антеро Випунен — мифический первопредок, упоминаемый в эпических рунах. Его считают умершим и хранящим в своей могиле знания и мудрость предшествующих поколений. Один из наименее расшифрованных мифологических персонажей. С одной стороны этот образ связывают с мифологическими представлениями о хранителе врат загробного мира (в его уста вкладывают слова: «проглотил я сто героев…»), с другой — со средневековой литературой видений, рассказывающей о мучениях страдающих за веру католических святых. В частности, имя Антеро соотносят со святым Андреем. При этом утверждают, что випунен вовсе не имя, а своеобразный атрибут героя, промышлявшего при жизни добычей зверей с помощью ловушек, капканов и различных приспособлений на основе использования рычага. Рычаг же, в свою очередь, связан с представлениями о том косом, «андреевском» кресте, на котором был распят святой Андрей. Однако все это остается на уровне предположений, поскольку специальные, посвященные выяснению данного вопроса исследования просто отсутствуют.

123

Вага (коромысло) — специфическое коромысло, представляющее собой жердь, концы которой покоились на плечах идущих друг за другом людей (см. *Коромысло*).

124

Мехи (меха) — приспособление для нагнетания воздуха, раздувающего огонь в кузнечном горне.

125

Деньги — средство обмена товарами, являющееся одновременно всеобщей мерой стоимости. Изначально у занимавшихся лесным промыслом, охотой и торговлей финно-угорских народов в качестве денег использовались шкуры зверей, прежде всего шкурки белки. Металлические деньги найдены в раскопках и относятся к XI–XII векам. Это в основном монеты восточного, т. н. куфического происхождения. В регулярный оборот металлические деньги вошли после захвата Финляндии Швецией. В «К», как и в народной поэзии, речь идет то о металлических деньгах (17:178, 18:406, 22:57), то о «меховых» деньгах (46:165, 350, 556).

126

Наст (на полях лосиных) — речь идет об охоте на лося по весеннему насту. Животное гнали до тех пор, пока оно, ободрав и изрезав об острые кромки наста проваливающиеся в снег ноги, не падало от изнеможения.

127

Стапель, стапеля — наклонный помост из окоренных, расположенных поперечно чурок или бревен, на которые затаскивали из воды лодку.

128

Сакса — эпический топоним, соотносимый с германскими землями (феодальными государствами). Благодаря оживленной торговле с «ганзейскими» купцами, начиная с XII века, «германские» товары стали широко известными у прибалто-финнов. В «К» упоминаются «привезенные из Саксы» сапоги, соль, мыло и даже доски для скамеек. Бывшее на слуху у эпических певцов слово «Сакса» по законам аллитерации провоцировало появление словосочетаний типа «Саксонские заливы» (Saksan salmet).

129

Кивер — речь идет об обычном островерхом головном уборе, истоки которого — в боевых шлемах различной формы.

130

Бубенцы («*кукушки*») — различные погремушки и колокольцы, которые развешивались на упряжи лошади (хомуте, дуге, оглоблях) и назывались «куковальщиками», «кукушками».

131

Жернова (ручные) — приспособление для размола зерен. Состоит из двух положенных один на другой каменных круглых плит. В центре верхнего жернова — отверстие для засыпки зерен (вечея). Жернова вращались вручную, для чего к ним с помощью обруча прикреплялась рукоятка в виде палки, верхний конец которой продевался в отверстие установленной вверху планки-лопатки (см. Лопатка).

132

Поезжане — сопровождающие жениха и/или невесту свадебные чины и гости, едущие на санях или подводах поездом, караваном.

133

Паголенок — «…голенище чулка; чулки, у коих носки отрезаны или без носков сшиты» (В.Даль), наматываемые на голени «онучи».

134

Подвенечный — слово «telta», от которого образован данный эпитет жениха, означает шатер, навес над брачным ложем, а также маленький передвижной шатер, который в историческое время держали над венчаемыми в церкви.

135

Лопатка — укрепленная над жерновами планка с отверстием, в которое вставлялся верхний конец рукоятки жерновов.

136

Вечея — отверстие в середине верхней половины жерновов, куда засыпают зерно.

137

Навой — задний вал ткацкого станка, на который навиваются нити основы ткани.

138

Ниченки, ниты — деталь ткацкого станка, «нитяные петли между двух поперечных жердочек для подъема нитей основы через одну, чем образуется зев (гев) для пропуска челна» (В.Даль) с нитью утка.

139

Кемь (река) — эпический гидроним, соотносимый, прежде всего, с рекой Кеми, впадающей в Ботнический залив.

140

Вироканнас — 1. мясник, заколовший большого быка (20:54); 2. священник, окрестивший чудесно рожденного сына Марьятты (50:434).

141

Россия — эпический топоним, соотносимый со славянскими соседями прибалто-финнов. Слово происходит, как считают исследователи, из названия славянского племени венеды, обобщенного впоследствии в название всего народа (ср.: Viru — Viro; saksa — Saksa).

142

Осмотар — изготовительница пива, передавшая это искусство людям. Одни исследователи соотносят это имя с мифическим первопредком — культурным героем Осмо, другие выводят этимологию этого слова из скандинавского os, jasa — бродить, дрожжи.

143

Сваты — букв. «жениховы люди». Свита жениха, которая называлась часто просто «женихи» (sulhaset).

144

Казак (казачок) — мальчик в прислугах, батрак, наемный работник.

145

Толока — площадка для выгуливания и «выстаивания» лошадей после длительной работы или поездки. Поскотина.

146

Мямми — сладкое, приготовленное из муки и солода, блюдо. Его варили как кашу, затем выпекали в берестяных противнях. Мямми готовилось также из картофеля.

147

Залоги — подарки, которыми обменивались при сватовстве жених и невеста. Жених мог давать в качестве залога и деньги. Однако это едва ли пережиток якобы существовавшей купли-продажи невест. Скорее всего скрепление сговора о браке внесением денежного залога (при этом невеста давала какой-либо вещевой подарок — залог жениху) в эпоху возникновения рыночных отношений стало считаться наиболее надежным способом, хотя первоначально обмен залогами был способом магического соединения молодых. Возможно, что, передавая «деньги» — шкурки промысловых зверей родне невесты, жених тем самым доказывал свои охотничьи способности.

148

Повойник — головной убор замужней женщины.

149

Морянка — гнездящаяся в приполярных областях утка. Совершает перелет на юг поздней осенью, когда вода в реках и озерах уже холодная, часты ветры и непогоды. Очевидно поэтому в народной поэзии карелов и финнов служит символом обездоленной, страдающей девушки, женщины.

150

Ратай — то же, что «оратай» — пахарь, хлебопашец.

151

Горнушка — «…заулок с ямкой, налево от шестка русской печи, куда загребают жар» (В.Даль). В таком загнетке тщательно укрытые золой угли тлели до утра, когда их разгребали и раздували с их помощью пламя. Огниво использовали только в том случае, если угли были угасшими.

152

Утор — место соединения стенок с дном бочки, желобок в клепке стенки для концов клепок дна.

153

Мотовило (23:382, 383) — приспособление для сматывания пряжи в моток. Бывают ручные, т. е. удерживаемые в момент наматывания ниток в руке, и напольные «вертушки».

154

Вьюшка — вал у ткацкого станка, на который навита основа (продольные нити ткани).

155

Кросно — ткацкий станок; нитяная основа, натянутая на ткацкий станок.

156

Косьё — палка, на которую насаживают косу, рукоятка косы.

157

Набилки — планки (грядки), в которые вставлено бердо (см. Бердо).

158

Подножки (ткацкого станка) — педали, подножки, с помощью которых разводились нити основы вниз и вверх. Подножки связаны с ниченками, сквозь которые проходят поднимаемые и опускаемые нити основы.

159

Бобовник — болотное растение, высушенные корни которого толкли в ступе и полученную «муку» добавляли в хлеб.

160

Илма — название дома Илмаринена.

161

Копыл — «в санные полозья вдолблены копылы, копылья, связанные поперек саней вязками, а вдоль — нахлестками» (В.Даль). Стойки, на которых покоятся продольные грядки.

162

Грядка — продольные брусья, в которые вдолблены верхние концы копыльев саней. Копылья, в свою очередь, врезаны в полозья; параллельные полозья скрепляются между собой через верхнюю часть копыльев поперечными вязками, на которые и наложены грядки.

163

Тоня — участок водоема, предназначенный для лова рыбы закидным неводом.

164

Мяндовые, *мянда* — сосна, «болотная… редкослойная, рыхлая».

165

Большуха — старшая в доме, хозяйка, распорядительница женской части семьи.

166

Патьвашка — главный чин свадебной церемонии. Сопровождал жениха часто уже при сватовстве. На свадьбе руководил всеми действиями жениха, охранял молодую чету от порчи и сглазу.

167

Тысяцкий — старший чин на русской свадьбе. По функциям аналогичен карельскому патьвашке, синонимом которого слово «opas» (проводник, ведущий) и является.

168

Сваха — букв. «добывающая женщина». Свадебный чин в свите жениха. Сваха опекала невесту с момента принятия ее женихом в доме невесты до передачи этих функций матери жениха с приездом домой и окончанием церемоний свадьбы. Это ответственное поручение часто давалось сестре жениха или жене патьвашки (см. Патьвашка).

169

Таникка — эпический топоним, соотносимый с бытовавшим в народе названием крепости Ревель, называвшейся Датской крепостью (Tanikan linna). Подобные топонимы народные руны используют для подчеркивания географической отдаленности места, о котором идет речь.

170

Грядка — продольные брусья, в которые вдолблены верхние концы копыльев саней. Копылья, в свою очередь, врезаны в полозья; параллельные полозья скрепляются между собой через верхнюю часть копыльев поперечными вязками, на которые и наложены грядки.

171

Ламбушка, ламба — «…глухое лесное озерко без истока» (В.Даль).

172

Кудель — «вычесанный и перевязанный пучок льна, пеньки, изготовленный для пряжи;…свиток, сверток избитой шерсти» (В.Даль).

173

Сюетар — персонаж, породивший всяческие зловредные существа. В карельских сказках — некий эквивалент злой Бабы-Яги.

174

Печурка — небольшое углубление, ниша в печном боку для сушки рукавичек.

175

Дельницы — «варежки, вязаные рабочие шерстяные рукавицы, плотно облегающие руку» (В.Даль).

176

Илпотар — параллельное имя хозяйки Похьелы в сюжете, рассказывающем о сватовстве Лемминкяйнена. Во всех других случаях в «К» она называется Ловхи. Разночтение, видимо, обьясняется тем, что цикл песен о Лемминкяйнене был подготовлен Э.Лённротом еще до появления идеи написания на материале народных рун эпической поэмы со сквозным сюжетом, обьединяющей своеобразные циклы рун с различными, мало связанными между собой героями. В подготовленной в 1833 г., но неопубликованной поэме «Лемминкяйнен» герой сватается в Пяйвеле («Солнечный край»), а не в Похьеле и хозяйку дома там зовут И. Это имя сохранилось и после включения похождений Лемминкяйнена в общий сюжет «К». Надо иметь в виду и то обстоятельство, что народные руны, как правило, не маркируют подобные персонажи собственными именами: там мы встречаем только «хозяйку» или «хозяина» Похьелы, Пяйвелы, Луотолы без собственного имени.

177

Полубочка — мера сыпучих тел (например, зерна).

178

Копалуха (копала) — «…глухарка, глухая тетерка, самка глухаря» (В.Даль).

179

Сара — параллельное название Похьелы.

180

Новина — новое поле, посев. Новины, кулиги, лесные поляны — характерные признаки подсечной системы земледелия.

181

Луда — «…подводные или надводные плоские камни, мели; гранитные плешины» (В. Даль), небольшой остров.

182

Кулига — поле или небольшая поляна, полученная в результате вырубки деревьев и часто — их сжигания (см. Подсека (пожог)). Здесь речь идет о кулигах, лесных полянах, поскольку это результат преобладавшего подсечного земледелия.

183

Куллерво (31–36 песни) — трагический герой «К», жизнь и деятельность которого непосредственно не связана с деяниями главных эпических героев, ведущих борьбу в основном против враждебной, противостоящей Калевале Похьелы и стремящихся привести к счастью всех людей. К. тоже борется против зла, но внутри своего сообщества. Вся история его жизни — это иллюстрация пагубности вражды и раздоров между членами общества.

184

Калерво — отец Куллерво, брат Унтамо. В результате ссоры между братьями (согласно ижорскому сюжету) весь род Калерво был перебит воинами брата Унтамо. В живых остался только грудной младенец, которого сделали рабом-пастухом, когда он вырос. Впоследствии раб отомстил обидчикам отца, убив свою хозяйку, жену Илмаринена.

185

Косарь — большой тяжелый нож для щепления лучины, рубки кустарника и пр.

186

Добро хозяйки — домашний скот (кроме лошадей), который был полностью в ведении хозяйки.

187

Доенка — подойник, который изготовлялся из *можжевеловой* клепки как наиболее гигиеничного материала, обладающего бактерицидными свойствами.

188

Отсо — табуированное название медведя. Самого крупного зверя северных лесов — медведя — и уважали, и боялись, его нельзя было называть медведем, а надо было прибегать к различным эвфемистическим названиям, ласкательным именам («Медоволапый», «Колобочек»). В «К» Отсо — это просто параллельное название медведя.

189

Коромысло — речь идет о коромысле, на котором носили тяжести вдвоем. Оно представляло из себя жердь длиной около 1,5 м, посередине подвешивался груз (например, ушат с водой), концы коромысла делались плоскими, чтобы меньше давили на плечи несущих, шагающих друг за другом людей.

190

Берестянка — простой ковшик, сделанный из куска бересты, свернутой воронкой. Сведенные края пластины скрепляются расщепленной палочкой, внешний конец которой образует рукоять «ковшика».

191

Калма (33:260; 36:174) — 1. могила (36:227); 2. персонифицированная смерть, хозяин могилы (27:4). Параллельная Манале, Туонеле сложная мифологема.

192

Крячка — один из видов чаек.

193

Кряква — утка, птица семейства утиных.

194

Крохаль — водоплавающая птица семейства утиных.

195

Долбленка — (осинка, осиновка) — лодка, выдолбленная из ствола осины.

196

Ботать — бить по воде боталом (шестом с наконечником для шума), звук которого распугивает рыбу, и она устремляется прочь, попадая в расставленные сети.

197

Саво — эпический топоним, соотносимый с провинцией и финским племенем Саво.

198

Голица — кожаная рукавица без подкладки.

199

Куккели — своеобразный шлем в виде конусообразной накидки, спадающей на грудь, плечи и спину. Застегивался под подбородком. Такая шапка, оставляя открытой только часть лица, служила хорошей защитой от комаров.

200

Белочник (в стволы стучащий) — охотник, промышлявший белкой. Он стучал по стволам деревьев, вспугивал зверька, которого затем облаивала собака, чтобы охотнику было удобнее сбить ее стрелой из лука или самострела. Часто охотник имел помощника, который колотил по деревьям и подбирал выпущенные из лука стрелы.

201

Ику-Турсо — морское чудище, посланное хозяйкой Похьелы погубить похитивших у нее сампо калевальцев и уничтожить их корабль. Вяйнямёйнен ловит это чудовище и обезвреживает своими заклинаниями и магической силой, запрещая впредь появляться на пути мореходов и мешать проходу кораблей по морю. В народных рунах это чудовище пытается остановить корабль Иисуса и тот расправляется с этим поганым созданием.

202

Побережник — «…северо-западный ветер» (В.Даль).

203

Колки (тычки) — тычки на кантеле для натягивания струн.

204

Ловиатар — дочь смерти (Туони), родившая девять разных болезней и хворей. Обозленная тем, что калевальцы похитили у нее сампо, а Вяйнямёйнен сумел даже жалкие остатки разбившегося во время схватки на море сампо заставить приносить людям достаток, Ловхи послала эти болезни на Калевалу. Имя Л. того же корня, что и Ловхи.

205

Сетевой сарай — навес для хранения и сушки сетей на специальных вешалах.

206

Вьена — эпический гидроним, соотносимый с Белым морем (финск. Viena).

207

Алуэ — мифологический гидроним, озеро, в которое упала огненная искра. Попытки некоторых исследователей идентифицировать это название с каким-либо реальным водоемом оказались безуспешными, тем более что во многих локальных вариантах мифа название просто отсутствует.

208

Наволок — низменный мыс, полуостров.

209

Иглица — деревянная игла для вязания сетей с вырезкой для наматывания на нее нитки.

210

Паличка, палица (48:60) — пластинка, вокруг которой наматывают нить при вязании сети для получения ячеек одного размера.

211

Приводы (48:68) — верхняя подбора (см. Подбора), веревка, проходящая по верхнему краю невода.

212

Подбора (48:143,177), (48:144,177) — «…тетива, две продольные веревки, на коих невод посажен; верхний подбор с поплавками» (В.Даль).

213

Пану — дух огня, сам огонь.

214

Марьятта — имя девушки, родившей в непорочном зачатии от съеденной брусниченки чудесного мальчика, которого Вяйнямёйнен присудил, как безотцового ребенка, к смерти, а некий старик нарек королем Карелии, из-за чего Вяйнямёйнен ушел из мира сего. Имя М., по-видимому, восходит к имени пресвятой девы Марии. В то же время оно созвучно слову marja — ягода.

215

Сара речка — название мифической речки (ручья), где была баня Руотуса. В «К» этот гидроним явно имеет отношение к враждебной Похьеле.

216

Руотус — злой хозяин, который не разрешил забеременевшей от сьеденной бруснички девице Марьятте разрешиться в бане. Имя известно по народным легендарным рунам и образовано от библейского Herodes (Ирод).